КОЛЕТТ
СТРАННИЦА • РАННИЕ ВСХОДЫ
РОЖДЕНИЕ ДНЯ • ЗАКУТОК



КОЛЕТТ

СТРАННИЦА

•

РАННИЕ ВСХОДЫ

•

РОЖДЕНИЕ ДНЯ

•

ЗАКУТОК

XX ВЕК

Странница. Ранние всходы. Рождение дня. Закуток

Сидони-Габриель Колетт

Аннотация
КОЛЕТТ. _____. СТРАННИЦА. РАННИЕ ВСХОДЫ. РОЖДЕНИЕ ДНЯ. ЗАКУТОК. РОМАНЫ
ХЛЕБ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА
СТРАННИЦА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
II
III
IV
V
VI
VII
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
II
III
IV
V
РАННИЕ ВСХОДЫ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIIII
XIV
XV
XVI
XVII
РОЖДЕНИЕ ДНЯ

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
ЗАКУТОК
INFO

Аннотация

В сборник Колетт — известной французской писательницы нашего века (1873–1954) — вошли лучшие ее произведения, рассказывающие о судьбах женщин Франции, представительниц разных социальных прослоек. Романы Колетт отличаются тонким психологизмом, изяществом слога, острой наблюдательностью.





КОЛЕТТ

СТРАННИЦА

РАННИЕ ВСХОДЫ
РОЖДЕНИЕ ДНЯ
ЗАКУТОК

РОМАНЫ



МОСКВА
·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА·
1987

*

COLETTE
LA VAGABONDE, 1911
LE BLÉ EN HERBE, 1923
LA NAISSANCE DU JOUR, 1928
LE TOUTOUNIER, 1939

*

Редакционная коллегия серии «Зарубежный роман XX века»
Т. В. БАЛАШОВА, Д. В. ЗАТОНСКИЙ, С. В. НИКОЛЬСКИЙ,
П. В ПАЛИЕВСКИЙ, Т. П. РЕДЬКО, В. П. РЫНКЕВИЧ,
В. С. СТОЛБОВ

ПЕРЕВОДЫ С ФРАНЦУЗСКОГО

Предисловие
ВИКТОРА БАЛАШОВА

Художник
И. ШИПУЛИН

© Состав, предисловие, переводы, оформление.
Издательство «Художественная литература», 1987 г.

ХЛЕБ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА

У Колетт есть рассказ «Усики виноградной лозы» (1908) — изящная притча о вдохновении артиста и душе творчества. И соловей и рассказчица рвут виток за витком нити горькой лозы, оплетающие их. Вырвавшись на свободу, соловей превратился во вдохновенного артиста, одержимого музыкой любви. Вспомним «Дафниса и Хлою»: «Бог любви выпорхнул молодым соловьем». А рассказчица, разорвав путы несвободы — под этим подразумевается и отказ от рутины ремесла, и протест против подневольного положения личности в своекорыстном обществе, — обрела свой голос. Творить бесстрашно и самозабвенно, отвергая хитросплетения алгебры расчета, «сказать все, что знаю, все, о чем думаю, о чем догадывалась, все, что приводит меня в восторг, оскорбляет и вызывает удивление»[1] — вот по сути моцартовский путь, предугаданный Колетт в этой притче и избранный ею еще на заре своего творчества. И этому выбору пути она была

[1] Примечания: 1

Цит. по кн.: Французская новелла двадцатого века, 1900–1939. М., 1973, с. 213.

верна в своих лучших созданиях зрелой поры.

* * *

Жюль Ренар, Гийом Аполлинер, Сидони Габриэль Колетт, Роже Мартен дю Гар, Поль Клодель, Поль Элюар, Антуан Сент-Экзюпери, Альбер Камю — вот имена писателей XX века, удостоенных чести быть представленными в серии «Плеяда», авторитетном научном издании, подтверждающем, что книги, ими созданные, стали классикой нашего времени.

Колетт, наследница традиций Мари Мадлен Лафайет, Шодерло де Лакло, Антуана Франсуа Прево, Альфреда де Мюссе и французских реалистов XIX века, прошла долгий жизненный и творческий путь, путь, параллельный истории нашего века. Первая ее книга — «Клодина в школе» — вышла в 1900 году, последняя (если не считать посмертных изданий)— «Земной рай» — в 1953-м.

Творчество Колетт поразительно многообразно— изящные новеллы-миниатюры и психологические романы, философская дневниковая проза и поэтические «картинки» с натуры, книги путешествий и киносценарии, театроведческие статьи, пьесы, либретто…

Главное для писателя — талант, это бесспорно.

Но не менее бесспорно, что писатель должен быть Личностью. Сильной, незаурядной, независимой от чужих мнений и «модных» поветрий, способной увлечь своей мыслью читателя. Колетт была именно такой личностью; дарованные природой задатки развивала жизнь — полная трудностей и разочарований. От ударов, которые судьба обрушила на Колетт, впору было пасть духом и мужчине. Колетт выстояла. Одной из своих героинь она доверила выразить собственную убежденность:

— Ну, она из железа!

— Нет, она просто «из женщины», и этим все сказано.

(«Странница»)

В начале XIX века в городе Шарлевиль, что в Арденнах, открыл небольшую бакалейную лавку дед Колетт Анри Мари Ландуа. В этой семье, привыкшей трудом добывать хлеб насущный, помогать соседям, принимая близко к сердцу их горести и радости, выросла Сидони Ландуа, та самая Сидо, которую ее дочь — Сидони Габриэль — с восхищением увековечила в своем творчестве. От привычки писать письма матери, с ней первой делясь всем, что обрадовало или возмутило, Колетт не смогла отказаться и после ее смерти;

письма оставались в ящике стола, «оттеняя» потом эпизоды романов.

Сидони Габриэль посчастливилось родиться—28 января 1873 года — в семье, где родители были нежны друг к другу до самой старости и где мать имела редкий дар быть все время рядом с детьми, не стесняя их свободы, не ограничивая их желаний. Отец — Жозеф Жюль Колетт — потерявший в войнах ногу, устроился фининспектором в местечке Сен-Совер-ан-Пюизе (департамент Йонна), неподалеку от города Кламси — родины Ромена Роллана. В сердцевине Франции, в благословенной Бургундии и прошло детство Сидони Габриэль — привольное, веселое, неотделимое от естественной жизни леса и луга. Когда ее, застенчивую двадцатилетнюю девушку, с косами до пят, повел к венцу сын издателя Анри Готье-Виллар, ей рисовалась романтическая идиллия, а уверенность этого человека, на пятнадцать лет старше, казалась защитой от возможных бед. Греза обернулась жестокой реальностью, многолюдный Париж — одиночеством. Лишь изредка приходилось появляться в литературных салонах ради тщеславия мужа; мучительно было ждать его, привыкшего к разгульной жизни, до самого утра; а еще надо было спешно выполнять «работу

по заказу» мужа — писать романы, которые он выдавал за свои. «Считать, приобретать, копить деньги» — вот что изнутри подстегивало его лихорадочную активность. Не лишенный блеска ума Анри Готье-Виллар питал отвращение к усидчивости и «пугался чистого листа бумаги», он составил бригаду из литературных негров, которые делали ему имя. Жена неожиданно оказалась самым талантливым из них. Колетт вспоминала, что в детстве ее совсем не тянуло ни к перу, ни к книгам; проводя целые дни в саду, лесу или поле, она лишь посмеивалась над старшей своей сестрой Жюльеттой, которая предпочитала общению со сверстниками общение с печатной страницей.

Все романы о Клодине и Минне («Клодина в школе», 1900; «Клодина в Париже», 1901; «Клодина замужем», 1902; «Клодина уходит», 1903; «Минна», 1904; «Заблуждения Минны», 1905), вышедшие под псевдонимом Вилли, Колетт писала, по ее собственным словам, «прилежно и равнодушно». «Быстрей, малышка, в доме — ни гроша!» — подбадривал муж. Когда этому браку пришел конец, Колетт, хотя шесть ее романов уже увидели свет, пришлось начинать все сызнова. И начала она решительно, избрав «профессию

тех, кто не имеет профессии», — стала актрисой-мимом в Мулен-Руж. Длительные турне по разным городам Франции в составе театральной труппы вместе со своим наставником — прославленным мимом Жоржем Вагом — научили ее работать, сжав зубы, после трех-четырех часов сна, подавлять чувство голода, «преодолевать непреодолимое», как скажет она позднее. Эти же годы научили ее, что эгоизму, казавшемуся всесильным, пока рядом был Анри Готье-Виллар, поклоняются далеко не все; взаимовыручка актеров вернула веру в человека. Именно тогда формировался мужественный характер подлинной Колетт.

Писательский труд, который недавно еще утомлял как работа поденщика, теперь настойчиво манил к себе. Несколько книг («Диалоги животных», 1904; «Сентиментальное отшельничество», 1907; «Усики виноградной лозы», 1908) она подписала Колетт Вилли, еще не отказавшись совсем от имени, уже знакомого читателю по циклу о Клодине. С «Изнанки мюзик-холла» (1913) Колетт ставит только свое имя.

«Усики виноградной лозы» и «Странница» (1911) обозначили два основных пути, по которым будет отныне развиваться творчество Колетт

— психологические романы и философическая проза.

Некоторые из своих произведений Колетт инсценировала для театра («Шери», «Странница», «Другая») и кино («Клодина в школе», «Жижи», «Митсу»), выступала на сцене, печатала рассказы и театральные обозрения на страницах газет «Матен», «Фигаро».

Второй брак (с Анри де Жувенслем, редактором «Матен») был сравнительно недолгим, но подарил Колетт дочь; она родилась через год после кончины бабушки — Сидо — и дала Колетт возможность продолжить целительный диалог поколений.

В 1925 году Колетт познакомилась с высокообразованным и деликатным человеком — Морисом Гудкетом, рядом *с* которым прошли годы счастья мирной жизни и невзгод военной поры. Колетт то открывала маленький «Институт красоты», то помогала Гудкету в рекламе, то выступала с лекциями и беседами, то писала титры к кинофильмам, — денег постоянно не хватало. Только в канун войны супруги смогли избавиться от долгов, купить дом на берегу Средиземного моря.

Война опрокинула все планы. Опрометчиво решив вернуться домой, в Париж, супруги пе-

режили страшное потрясение при пересечении границы оккупированной зоны. Германский офицер долго всматривался в карие глаза служанки Колетт и подозрительно изучал буйную копну волос Колетт: «Вы еврейки?» Морис Гудкет не выдержал: «Если у кого и есть еврейская кровь, так только у меня!» Такая неожиданная защита успокоила офицера, и снова загорелся свет в окнах парижской квартиры, выходивших во двор Пале-Руаяль у миниатюрной площади, что носит ныне имя Колетт. Однако декабрьской ночью 1941 года ее двери содрогнулись от ударов; облава не обошла стороной и дом Колетт. Она собрала мужа в страшный путь быстро, молча, не проронив ни слезинки, а на следующий день, не боясь навлечь на себя беду, начала обивать пороги комендатур, звонить друзьям. Один из поклонников таланта Колетт, имевший, видно, связи с оккупационными властями, пришел к ней с предложением: «Уговорите мужа, ему достаточно согласиться работать в конторе лагеря (он заключен был в лагере Компьень) и изредка докладывать о поведении своих товарищей по бараку.

— Я отказываюсь.

— Но тогда его ждет смерть.

— Я выбираю смерть.
— Не спросив мужа?
— Мы выбираем смерть».

Судьба, словно испугавшись этого вызова, отступила. В феврале 1942 года Гудкета освободили; он вернулся домой, вынужденный таиться по ночам, опасаясь новых облав. Дочь Колетт — участница антифашистского подполья в Коррезе. Колетт в Париже еле сводила концы с концами, занося в свой дневник «Париж из моего окна» (1944) советы, как легче обмануть голод, как сохранить работоспособность при минусовой температуре в комнате.

В те годы Колетт жила в атмосфере тревоги, ожидания, надежды на избавленье, пристально всматриваясь в грозное лицо реальности, вбирая в себя боль и страдания жертв «нового порядка», подобно жизнерадостной Рене, которую *она едва* узнала в 1943 году — так постарела Рене, угнанная в Мюнхен, где над ней измывались с садистской жестокостью. Колетт не забыла об этом и в мирные дни. Запомнила и поведала о годах зловещей неволи, духе непокорства, Сопротивлении и днях освобождения в мемуарной книге «Вечерняя звезда» (1949): «У Пале-Руаяля было свое маки. Люди наши прятали парашютистов… давали

приют английским летчикам, укрывали от облавы евреев, спасали детей от свирепости «нового порядка», помогали молодежи «уклоняться» от угона в Германию… Единодушный отпор, исходивший от каждого камня, каждой женщины, сидевшей возле детской коляски, гнал захватчиков прочь… Тысяча пятьсот дней… И неужели за тысячу пятьсот дней войны, угнетения и организованного разрушения народ не лишается всего, что он имел, вплоть до надежды?» Нет, свидетельствует Колетт, французский народ не утратил веры в свое освобождение, не покорился мучителям-захватчикам с их дьявольской жестокостью: «Подлинное мужество, как и бравада, помогли гражданам Парижа выстоять». По праву разделенного с народом страдания и надежды запечатлела Колетт неудержимую радость освобождения Парижа — и праздничные орудийные залпы, и перезвон колоколов, и стремительный порыв «Марсельезы»: «Как странно, как хватает за сердце, когда смеется, и поет, и плачет вся улица! Так давно Париж не смеялся и не плакал открыто, на людях, свободно…»[2]

Признание Колетт свершилось еще в эпоху

---

[2] Примечания: 2

Цит. по кн.: С Францией в сердце. М., 1973, с. 564–567.

между двух войн: ее избрали в Королевскую Академию языка и литературы Бельгии (1935); тремя орденами Почетного легиона были отмечены ее заслуги в развитии французской культуры. В 1945 году она вошла в Академию Гонкуров, став ее президентом (1949). В 1948–1950 годах издается Полное собрание сочинений Колетт. Ее награждают (1953) большим офицерским орденом Почетного легиона — одним из высших знаков отличия во Франции. Но мужества в эти годы понадобилось больше, чем раньше. После перелома ноги к ней подбирался артрит, еще в военные годы лишивший ее возможности свободно передвигаться. С 1949 года Колетт была прикована к постели. Писала, принимала близких, смеялась, выезжала с помощью друзей на заседания Академии Гонкуров, жила энергично и полнокровно, без скидок на болезнь. Как и мать ее, передавшая дочери радостную любознательность, Колетт с детства имела привычку восклицать удивленно: «Смотри!» «Смотри!» — было, по свидетельству биографов, ее последним словом. Куда звала она обратить взор — к буйной августовской листве за окном? К солнечному зайчику на стене? К загадочной форме облака? «Мы не умеем смотреть, — сетовала не раз Колетт, — смотреть

внимательно, смотреть заинтересованно». Слово, слетевшее с остывающих губ, как завет потомкам: всмотреться, вслушаться в течение обычной жизни, разгадать ее тайны. Колетт скончалась 3 августа 1954 года.

По данным читательской анкеты Колетт было присвоено имя «королевы французской словесности». Отклоняя этот титул, она просила называть ее «королевой земли», потому что и в писательском слове больше всего ценила земную основу, «экстравагантность жизни».

Эта естественная связь с землей, со всем, что вершится на ней наивного или таинственного, полнее всего чувствуется в момент, когда перо Колетт описывает то, что по традиции надо бы назвать пейзажем, если бы не бился в этих зарисовках с натуры так отчетливо пульс интеллекта, размышляющего о законах бытия («Мир среди животных», 1916; «Прекрасные времена года», 1945).

По этому камертону земли выверяла Колетт свой слог с первых самостоятельных шагов в литературе. «К счастью для читателя, — говорил старейшина французской литературы Ролан Доржелес, — Колетт рано поняла, что высшая изысканность в простоте».

На этой границе изысканности и простоты и надо искать ключ к покоряющей художественной силе произведений Колетт. В гуле жарких литературных дебатов XX века она сумела сохранить свою непохожесть. «Не принадлежа ни к одной из литературных школ, сбежав от них, как сбегают из школы ребята, она всем этим школам утерла нос», — писал Жан Кокто.

Колетт — крупнейший во французской литературе XX века мастер лирического пейзажа и анималистического «портрета».

Природа и животные — в восприятии Колетт — не объект отстраненного художественного созерцания, а очень личная, одухотворенная, поэтичная сторона ее внутреннего мира, устремленного к подлинности чувств, радостной полноте жизни — глубинным родникам ее творчества. В природе и среди животных Колетт черпала нравственную силу для противостояния холоду людских отношений, их фальши, бездушному расчету, изведанных ею в юности, после замужества и на пороге зрелой поры. Символичен эпизод из ее биографии: после разрыва с Готье-Вилларом и переезда из особняка на улице Курсель в утлую квартирку на Вильжюст Колетт все же не в одиночестве, а как она сама сказала, «меж

кошкой и собакой безбоязненно встретила новую жизнь». И разве не характерно, что первая книга, подписанная именем Колетт, — ее творческое самоопределение, прозорливо поддержанное в предисловии Франсисом Жаммом, — называлась «Диалоги животных» (1904; 2-е доп. изд., 1905). Последующие книги — «Мир среди животных» (1916), «Двенадцать диалогов между животными» (1930) — утвердили анималистическую тему в творчестве Колетт. В ее гуманистическом осмыслении и художественном истолковании она была близка своим предтечам и современникам — классикам французского реализма конца XIX — первой половины XX века — Жюлю Ренару, мечтавшему подружиться с оленем, кормить его из рук травой («Естественные истории», 1896); Луи Перго, убежденному, что люди призваны любить животных, дружить, а не враждовать с природой (сб. рассказов «От Лиса до Марго», 1910); Жан Ришару Блоку, рассказавшему об охотнике, который в утреннем пробуждении природы, в пении птиц открыл внезапно проявление высшей гармонии и решительно швырнул патроны в воду (новелла «Рено идет на охоту», 1911); Анри Барбюсу, противопоставившему беснующейся толпе охотников из замка «спокойствие самой

природы», смотревшей из огромных глаз преследуемого оленя (рассказ «Улюлю», 1914). Эта плеяда французских писателей, и среди них Колетт, конечно, продолжала традиции И. С. Тургенева, его «Записок охотника» с их пронзительным чувством человечности и с удивительным, по словам Ф. И. Тютчева, сочетанием «реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного, и сокровенного природы со всей ее поэзией»[3].

Сочетание реальности, психологической глубины в изображении страстей и чувств человека и поэзии природы с ее извечной сменой времен года, восходами и закатами, таинством дня и ночи, могучими стихиями, морем, грозой, порывами ветра — характерно для художественного мира Колетт, в котором человек и природа не теснят одни другого, а будто равноправно осознают себя, дружелюбно всматриваясь друг в друга. Классический тому пример ее романы «Ранние всходы» и «Рождение дня». В последнем особенно отчетлива автобиографическая основа, придающая повествовательному искусству Колетт — эпическому по своей природе — явственно выраженную ли-

[3] Примечания: 3

Цит по публ.: Юшкин Ю. Встречи на Караванной. — Литературная Россия, 1986, 29 августа.

рическую, исповедническую тональность. Порой интимное, изведанное проступает в романе лишь в каком-либо мотиве или сюжетном повороте, неожиданной детали или же фразе, звучащей афористично, с удвоенной энергией таящегося в ней смысла, явного, извлеченного из общечеловеческого опыта, и сокровенного, выстраданного в превратностях своей судьбы. Одну из подобных сентенций встречаешь в романе «Кошка» (1933).

После трехмесячного супружества двадцатичетырехлетний Ален Ампара решил порвать со своей женой Камиллой Мальмер: из дикой ревности она чуть не погубила его любимую кошку, которая чудом спаслась. Ален и Камилла — не владельцы, а лишь наследники торговых фирм. И все же ему кажется, что его семейные дела сплетены с коммерческими. «При чем тут коммерческая точка зрения?» — возмущается его мать. Ведь у него и Камиллы нет общего торгового дела. И далее следует ее (и авторское) решительное наставление: «Супружеская чета — это не пара компаньонов в деле». Чтобы почувствовать, сколько страсти и горькой иронии вложено в это суждение, необходимо вспомнить о том дне в жизни Колетт, когда она осталась «меж кошкой и собакой» и когда ее донимали

записками из дома, который она была вынуждена покинуть. Одна из них гласила: «Мы были компаньонами в деле, не будем же врагами… Я рассчитываю на наши соглашения, которые еще действуют…» В отличие от героев «Кошки» Колетт действительно оказалась в юные годы в ситуации, когда ее семейной жизни грозило превращение в деловое предприятие. Она создавала ходкие романы, а Готье-Виллар издавал их под своим псевдонимом, Вилли, к собственной выгоде. Своему «компаньону» Колетт достойно ответила в те же давние годы. Но боль и горечь, изведанные ею, не изгладились и четверть века спустя… Но не просто стремилась она избыть их в романе 1933 года, своей максимой Колетт активно отвергала то, что было нормой семейных отношений в верхних слоях буржуазного общества, обличала извращение человеческих отношений, основанных на своекорыстии, а не на любви. Через три года после выхода в свет романа «Кошка» злосчастная записка была предана ею гласности в автобиографической книге «Годы ученичества» (1936).

И еще одно размышление мадам Ампара выражает по существу сокровенное кредо Колетт: «В течение своей жизни человек неминуемо

рождается несколько раз, побуждаемый к этому случаем, болью, заблуждениями...» И действительно, благодаря своему интеллектуальному мужеству, душевной щедрости, осознанию своего призвания и человеческого достоинства, несравненному дару любви героиням Колетт, какие бы социальные и психологические обстоятельства ни оказывали на них тяжкое давление, дано изведать радость духовного прозрения и раскрепощения от всего чуждого их уму и сердцу, радость второго рождения — и героине «Странницы», и впервые полюбившей Митсу, готовой изменить всю свою жизнь ради возлюбленного, и верной своему чувству подлинности мудрой героине «Рождения дня», и непреклонной в отважной защите своего счастья Жижи.

В своих повестях и романах Колетт поведала о порывах души молодой француженки, о ее стремлении к счастью, обретении чувства собственного достоинства, о пережитых мгновениях подлинного чувства и горьком опыте несчастливой любви; о подвижническом труде артиста, верного своему призванию в атмосфере потребительского отношения к искусству и меркантильных интересов. Проницательный критик социального неравенства, Колетт коснулась в своих психо-

логических романах многих экзистенциальных тем, которые тревожили литературу XX века и были центральными в творчестве Камю, Мальро, Жида, но заземлила их в будничном контексте. Все равнодушны ко всем в «Плену» (1913), «Другой» (1929), добровольно уходит из жизни герой «Дуэта» (1934); в «Изнанке мюзик-холла» у исполнителя опасных трюков «лицо приговоренного к геенне огненной». В романе «Конец Шери» герой, — из того, послевоенного «потерянного поколения» — разуверившийся во всех и в себе самом, пытается объяснить мотивы своей тоски матери, которой подобные муки абсолютно непонятны: «Да что с тобой? — Со мной то, что вокруг одни подлецы… — Не пойму, чего ты хочешь? — Хочу, чтобы не все были подлецами, или хочу хотя бы не видеть этого. — Так почему же ты это видишь?»

Колетт столкнула здесь не просто разные мировоззренческие позиции, «модели» поведения, но совершенно несовместимые характеры, человеческие типы. Экзистенциальные проблемы она вывела на уровень психологических. «Одиночество» — одно из ключевых по частоте употребления слов в произведениях Колетт, но сквозь одиночество ее герои умеют прорваться к

«солидарности в несчастье».

Необходимо как воздух чувство профессионального товарищества Рене Нере («Странница», 1911). Романом открывается тот период творчества, когда в общественной оценке личности Колетт наметилась резкая перемена. «Во всяком случае, — отметил А. В. Луначарский в 1914 году, — если прежняя эксцентричность этой богато даровитой женщины ставилась на первый план, а писательница в ней — на второй, то теперь наоборот, вы все чаще слышите по ее адресу эпитеты «самая крупная писательница современной Франции», «наша лучшая стилистка», «первая и самая яркая выразительница подлинно женских сторон души»[4].

В «Страннице» проявилось зрелое мастерство Колетт-психолога. Почему Рене, расположенная к «милому и доброму» Максиму, тем не менее отвергает возможность вести обеспеченную жизнь, занять положение в обществе? Не каждое юное создание из мюзик-холла устояло бы перед этим искушением. Но Рене не ординарна, она личность. Она не цепляется за неожиданное счастье, а бежит от него. Бежит, спасая свою

[4] Примечания: 4
Луначарский А. В. Собр. соч., т. 6. М., 1965, с. 454.

независимость, свободу, полноту восприятия жизни, неутраченную жажду работать, вовсе не чувствуя себя готовой рантьерски прозябать. Она отстаивает свою способность созидать — будь то книги, ею написанные, будь то танец, пантомима; она защищает свое право, отдавая частицу себя дивным городам и странам, смотреть на мир своими широко раскрытыми глазами, а не созерцать его «уменьшенное отражение во взгляде влюбленного» — этого «героического буржуа», «громоздкого рантье», как называла она Максима в минуты досады. В ней восстала глубокая, художественно одаренная натура, для которой «вечный союз» с «милым и добрым», имеющим все и не делающим ничего, означал бы отказ от самой себя, поражение. Не убоявшись одиночества, героиня сохранила верность своему характеру и призванию. Рене Нере в этом романе — духовная спутница Жан-Кристофа.

Рассказ о судьбе женщины XX века, о поиске женского счастья на стезе внерантьерского бытия Колетт продолжила в «Изнанке мюзик-холла» (1913), одном из наиболее резких по остроте социальной критики произведений писательницы.

Жизнь гастролирующей концертно-цирковой труппы открывает не только «изнанку» того,

что происходит на ярко освещенной сцене, под веселый смех публики, но и изнанку самого буржуазного строя, обрекающего своих граждан на столь тяжелое существование, рассчитанное на выживание только самых выносливых. Артисты вечно голодны, простужены, изнурены до крайности, таскают за собой по гастрольным путям-дорогам малых детей, которые тоже очень скоро вынуждены зарабатывать себе на пропитание, выходя на сцену под свет юпитеров. Артисты — те же поденщики, только едут они на работу в переполненном автобусе тогда, когда другие с нее возвращаются. Но именно в этой неизбывной нужде крепнет чувство солидарности. Не все равнодушны ко всем, а все помогают всем — таким тоже бывает закон жизни, и бесчестно этого не замечать. Колетт, сама испытавшая и горе, и поддержку коллег по сцене, уверенным пером ведет эту мелодию солидарности.

Рассказ идет от первого лица, и в повествовании сохраняется отчетливая дистанция между точкой зрения того или иного персонажа, рассуждающего нередко о жизни с немалой долей цинизма, и точкой зрения рассказчика — мудрого и совестливого, гуманного и мужественного. Писательница, воссоздавая самые разные ситуации

скитальческой актерской профессии, держит на своей палитре не только серые или мрачные краски, но и радостные, мажорные, оттеняя живой разговорный язык всеми оттенками юмора, иронии.

Особых высот достигает мастерство Колетт-психолога в романе «Ранние всходы» (1923).

По-отрочески любят друг друга Венка Ферре и Филипп Одбер, с раннего детства привыкшие проводить каникулы вместе, на небольшой вилле у Ла-Манша; их родители владеют ею сообща. Прогнозы родителей об их будущей взрослой жизни ничуть не удивляют подростков, но именно в это лето все простое стало вдруг сложным. Лето нежданно подарило им и радость, и боль, и страдания, отдалившие их от пасторальной идиллии Поля и Виргинии. Безмятежное будущее под угрозой: Фил оказался в плену чар Камил Даллерей — женщины бальзаковского возраста. Эта прелестная вестница повзросления стремится помочь тому, кто «торопится жить», утолить его любопытство. Чувственное приключение может обернуться душевным опустошением, Филиппа подстерегает удел тех, кто «заранее прожил свое достояние»; таков смысл французского идиома — manger son blé en herbe (съесть пшеницу без

спелого зерна). Об этой опасности напоминает — без назойливой дидактики название романа Le blé en herbe. Тончайшие нюансы мироощущения подростков, детская дружба, которая уже окрашена жаждой обладания, пробуждение чувственности, кристаллизация психологии мудрой женщины в девчонке с ободранными коленками — все ощущения здесь схвачены на уровне «тропизмов», тех неуловимых движений души, которые хотел, но не всегда умел показать «новый роман». «Отдавая, как и Пруст, предпочтение чувственной памяти, познающей мир, Колетт идет дальше него в расширении ее границ… Заинтересовавшись «иррациональным», она ощупью ищет способы, с помощью которых можно было бы приблизить, понять и покорить эту мало известную пока область…» — так определяет место Колетт в художественных исканиях XX века «Литературная история Франции».

И еще одна особенность искусства Колетт зримо проступает в романе: психологическое состояние героев, их переживания, — радость и горе, возмущение и гнев, любовь и отчаяние, крайнее напряжение всех душевных сил — обретают пластическое выражение в их зрительно представимом внешнем облике: в грациозных

или спонтанно-порывистых жестах, в голубом сиянии широко раскрытых глаз Венка, в движении их сильных, наделенных телесным совершенством фигур, «Обнаженное тело кажется мне прекрасным, — говорил Огюст Роден. — Для меня оно чудо, сама жизнь»[5]. И словно внимая мысли великого мастера, Колетт являет нам с удивительной скульптурной и живописной выразительностью очарование молодости и влюбленности. Не случайно один из гостей узрел сходство между Венка и эллинистической скульптурой-терракотой из Танагры. Но Фил и Венка не копии античной красоты, хотя их близость к Дафнису и Хлое — несмотря на разделяющие их века — несомненна. Внешний облик Фила и Венка, их современная грация в идиллической линии романа ассоциируется у нас с героями «Вечной весны» и «Первого поцелуя» Огюста Родена.

Правда, в «Ранних всходах» в идиллию вторгается драма повзросления, искушения, испытания любви. Не лишена драматизма и история Дафниса и Хлои, но там влюбленных оберегали боги, решившие претворить их жизнь в чудесную сказку. Да, в мире Колетт нет спасительного бо-

---

[5] Примечания: 5
Роден. М., 1960, с. 122.

жественного провидения. Вот только, оставив Хлою в неведении, и нимфы, и Пан не пожелали защитить Дафниса от хитрости цветущей Ликэнион, превратившей простодушного юношу в мужчину. Есть бесспорная аналогия между этим эпизодом и чувственным обольщением Фила Дамой в белом, Камил Даллерей; но у Колетт эта перипетия породила иные, нежели у Лонга, психологические и сюжетные коллизии. Сказку любви могут сложить — если сольются их чувство и воля — сами влюбленные. Вопреки искушениям и банальной, обыденной реальности, где опыт старших — этих бесплотных «теней» с их узким горизонтом житейских интересов и душевной глухотой— подталкивает юных на тропу унылого самоповторения, где «повторится все, как встарь… аптека, улица, фонарь». За кадром романа — суровая историческая действительность — недавняя война, унесшая миллионы юных жизней, убившая ролановских героев Пьера и Люс, сверстников Фила и Венка, — но атмосфера этих грозных социальных катаклизмов, враждебных жизни и любви, ощущается в романе, далеком от буколической идиллии, особенно, когда Фил стремится заглянуть в зыбкое будущее. Да, героям Колетт предоставлена одна возмож-

ность — рассчитывать только на себя, опираясь на общечеловеческий опыт. К сражению за право любить и быть любимой приготовилась Венка — отважная и самоотверженная душа. Недаром Колетт цепочкой внешних деталей сближает ее с Жанной д'Арк и Святым Себастьяном.

Волшебная сказка о Дафнисе и Хлое определила «замкнутый круг этого произведения»[6] (И. В. Гете). Открытый, разомкнутый финал «Ранних всходов» устремлен к драматической реальности, к внутреннему миру героев, от которых ныне зависит их будущее.

Во всех психологических романах Колетт («Странница», 1911; «Митсу», 1919; «Шери», 1920; «Конец Шери», 1926; «Жюли де Карнейлан», 1941 и др.) в центре — отношения между мужчиной и женщиной. Тонкий знаток женской души, Колетт даже острое развитие сюжета подчиняет психологическим задачам. Именно таково соотношение этих планов в романе «Закуток» (1939). Название можно перевести по-разному. Toutou — по-французски щенок, кутенок. Поэтому toutounier — это закуток, домик, любимый уголок, где играют дети, место, остающееся для

[6] Примечания: 6
Эккерман Иоганн Петер. Разговоры с Гете. М., 1981, с. 423.

них родным на всю жизнь. Сестры Эд — Алиса, Эрмина, Коломба, Бизута — так называют большой диван, где они маленькими возились, спали. Это для них символ нерушимого родства, дружбы, домашнего тепла. Роман остросюжетный; все три героини, появляющиеся на страницах романа, находятся в сложных жизненных обстоятельствах, вынуждены выбирать свою позицию, от чего-то отказываться, за что-то бороться. И в том, насколько своеобразно ведет каждая из них свою интимную «мелодию», выявляется глубина таланта Колетт-психолога. В отличие от героинь более ранних произведений Колетт, Алиса, Эрмина, Коломба уже не страдают от бедности, им не грозит ни холод, ни отсутствие крыши над головой. Из предыстории, намеченной ненароком, пунктиром, читатель узнает, что юность у них была суровой, в поте лица приходилось зарабатывать хлеб насущный. Но то время позади, есть материальная обеспеченность, однако по-прежнему нет настоящего счастья. Неустроенные горькие женские судьбы, предстающие в этом романе Колетт, опубликованном перед самой войной, как бы предвещают судьбы своих сестер разных национальностей, оставшихся после войны без мужа, жениха, брата.

И все-таки Колетт выдвигает снова на первый план веру В человека, силу его разума, щедрость сердца. Разным вариантам отчуждения она противопоставляет настоящую дружбу, связывающую не очень счастливых женщин, которых жизнь могла бы и ожесточить. Здесь, как это свойственно всему творчеству Колетт, торжествует гуманистическое восприятие жизни, несмотря на все невзгоды, которые несет человеку судьба, история.

Весенний мотив молодости, чистоты чувств, возмущенного человеческого достоинства, давний мотив вольнолюбивого соловья, который вырвался из пут «цепких усиков горькой лозы», вновь мажорно прозвучал в романе «Жижи» (1941) — повествовании о воспитании чувств юной Жильберты. Отроческое целомудрие и душевная прямота сказывались в ее движениях, поступках, в ее стойком характере. Мальчишку в юбке, стрелка из лука, непреклонного ангела — вот кого она напоминала. Но крылья ее стремились опутать сетью ложных наставлений. Ее родные — и мать, опереточная певица на вторых ролях, и бабушка, и тетушка с ее ласковой фривольностью— намеревались, движимые вроде бы добрыми намерениями, но ограниченные

горьким опытом собственной жизни, заманить ее в позлащенную клетку полусвета, по сути — заключить сделку с тем, кто обеспечит ее будущее. Подобно соловью, Жильберта не смирилась, а восстала против предуготованной ей участи падшего ангела. Непреклонность ее души и чувство собственного достоинства в психологическом поединке одержали верх над губительной расчетливостью близких и эгоистической влюбленностью Гастона Лашая — тридцатитрехлетнего сахарного принца Франции, прожигавшего жизнь в светских удовольствиях. Вооруженная по-детски мудрым всеведением, Жильберта разрывала сети обольщения. Ей пытались, например, внушить, что устойчивость домашнего гнезда зависит от умения со вкусом одеваться и от искусства поглощать омары по-американски, яйца всмятку и спаржу; Жильберта же в момент объяснения с Гастоном, с которым, по правде сказать, она любила сразиться в покер, вышла к нему в обычном платье и непреклонно бросила ему в лицо: «Скверный человек». Жильберту готовы были прельстить, играя на струнах неопытной души, манящей возможностью сладкой жизни, путешествиями в Италию, где и море фосфоресцирует, и любят под сенью гардении у фонтана, но она и в

гневе, сохраняя самообладание, стойко парировала все доводы соблазна, метко обличая опасную пустоту и фальшь скандального образа жизни.

Это роман со счастливой, как в сказке о Золушке, развязкой. Жильберта высвободилась из пут, вот только сердце свое не смогла унять: «Лучше быть несчастной с вами, — решила она, — чем без вас». И очарованный ею принц испросил, как великой чести и радости, ее руки…

История вольнолюбивой и неподкупной Жильберты, ее гордость, достоинство, чистота души, этот пленительный образ непреклонного ангела имели в год выхода романа и особый, сокровенный смысл, легко угадываемый современниками капитуляции Франции и разгорающегося Сопротивления.

Психологические романы и новеллы Колетт — основная линия ее творчества. Но как отмечалось ранее, с самого начала наметилась и вторая — философская лирическая проза («Сидо», 1930; «Дневник наоборот», 1941; «Париж из моего окна», 1944; «Вечерняя звезда», 1946; «Голубой фонарь», 1949; «Зрелый возраст», 1949). И советские и в большинстве своем французские исследователи единодушно считают книги, представляющие эту

линию, «лучшими произведениями Колетт»[7], «наиболее характерными для ее творчества»[8], заостряющими его новаторский смысл. К этой части наследия Колетт должны быть отнесены и зарисовки «с натуры», и мемуары, и произведения, жанр которых тяготеет к романному, — в том широком понимании, которое сообщил этому термину современный литературный процесс.

Примером такого романа является «Рождение дня» (1928). Каждая глава заключает какой-либо эпизод, представленный часто со сценической четкостью; многие из них начинаются с письма, которым задается лирическая нота, чье звучание и сообщает глубинный — иногда аллегорический— смысл эпизоду. Главы то связаны меж собой, то абсолютно независимы друг от друга, оставаясь, однако, спаянными «единством самобытного нравственного отношения автора к предмету»[9] (Л. Н. Толстой).

Основой служит исповедь-воспоминание; в

---

[7] Примечания: 7

История французской литературы, т. IV. М., 1963, с. 201.

[8] Примечания: 8

Фомин С. М. Творческий метод Сидони Габриель Колетт. Автореферат диссертации. М., 1985.

[9] Примечания: 9

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90 т. Юбилейное изд., т. 30. М., 1951, с. 19.

рамку воспоминаний вставлены сюжетные зарисовки, лирикофилософские размышления, «портреты», письма.

Если сопоставить эту книгу с другими романами Колетт, которые обычно отличаются ярко проявленным сюжетом, ее можно отнести к жанру воспоминаний. Но эволюцию Колетт важно представить в контексте современной ей литературной традиции, традиции повествования в XX веке, а эта традиция тяготеет, как известно, к стиранию граней между романом, эссе, мемуарами. «Рождение дня» — это поистине новаторское произведение, предвосхитившее художественно-выразительный синтез жанров, когда фабула опирается на документ, страничка письма вызывает по ассоциации цепочку воспоминаний, а какой-либо «случайный» эпизод служит основой для развернутых философских суждений о рождении и смерти, отношении поколений, верности своим природным задаткам, силе противостояния судьбе. Изящные ироничные афоризмы звучат здесь как рефрены, проявляющие — без всякой тяжеловесности и морализаторства— все оттенки гуманистической позиции писательницы.

Героиня «Рождения дня» — одновременно

и его рассказчица— Габриэль Сидони Колетт. Это единство в двух лицах позволило художнице с предельной объективностью и даже чуть отстраненно взглянуть на героиню романа и одномоментно выразить это с той субъективной нотой искренности, которая присуща лирической прозе. Интеллектуально-психологическое содержание «Рождения дня» обрело свободную форму исповеди. Внешняя канва романа — история взаимоотношений героини с Валером Вьялем и Элен Клеман, рассказ о том, как героиня «подарила» неотразимого молодого человека юной женщине, «сделав, честное слово, красивый жест, в котором были и блеск, и расточительство». Но нерв романа, его глубинный сюжет — во всеохватывающем самопознании героини — незаурядной женщины, которой ничто человеческое не чуждо, и мудрой художницы, размышляющей о своей жизни и, не без самоиронии, о том, что и как у нее получается в этом повествовании. Героиня вспоминает о своем прошлом, читает письма своей матери, в которых обретает нравственную опору, встречается с друзьями, прислушивается к порывам своего сердца, внимает памяти и рассудку, страдает, объясняется, принимая «поворотные» для себя и других решения, сочиняет, иронизиру-

ет над собой, возрождается к новому восприятию жизни, новому самосознанию, в основании которого жизнетворящая природа ее таланта. И обо всей этой тонкотканной диалектике чувств, переживаний и мыслей героини поведано как в симфонической поэме или многочастной сюите, где основная мелодия в единстве с темами и вариациями определяет гармонический лад целого. Движение героини к самой себе и тайне искусства, движение, выраженное ею с такой непосредственностью, грацией и экспрессией, что увлеченный ее искренним порывом забываешь о «технике» исполнения, — могло быть воплощено в словесной ткани лишь обладательницей особого дара, сродни стремительному танцу, поверенному, неведомо от зрителя, «двойным зрением» артиста. Вот как сказал об этом родственном Колетт (ведь она же еще и мимическая актриса) искусстве великий поэт: «Эта женщина в невесомости— победительница собственного тела; она обуздала легковесные желания — самые соблазнительные, но взамен получила высшую награду чистого танца — двойное зрение. Я хочу сказать, что в танце глаза ее, — не с ней, а перед нею, — следят за малейшим движением и чутко сверяют — его с образным единством, помогая

сохранить выразительную силу» неудержимого порыва[10].

В «Рождении дня» — повествовательное искусство Колетт предвосхищало новаторские искания реалистической прозы XX века в постижении внутренней правды характера, в стремлении творчески воспринять опыт, выразительные средства других родов искусства.

В таких книгах Колетт, как «Рождение дня», «Вечерняя звезда», «Голубой фонарь», «Пейзажи и портреты» (1958) с подлинным блеском развернулось мастерство Колетт-стилиста, владевшей, по определению Ролана Доржелеса, «лучше любого поэта суверенным языком Франции». Высоты этого мастерства предопределили обращение к текстам Колетт почти всех французских исследователей, которые принимались писать о художественной форме современной прозы (назовем, например, книги И. Берже «Стиль под микроскопом»; Ж. Пейтара «Мастерство выразительности», 1971; Мике Баля «Нератология», 1977; Жаклин Жири «Искусство внутренней речи», 1980).

В духе «новейших достижений современной

[10] Примечания: 10

Лорка Федерико Гарсиа. Чествование Антонии Мерсе-Архентины. — Книжное обозрение, 1986, 15 августа, № 33, с. 8.

эстетики, — отмечает «Литературная история Франции», — Колетт относилась к языку как к творчеству».

Если порой во Франции, да и в дооктябрьской России имя Колетт иногда несправедливо связывали *с* «розовой литературой», далекой от бурь современности, то полное творческое наследие Колетт, особенно романы, мемуарные книги и рассказы 20-40-х годов, — опровергает такую интерпретацию.

У нас восприятие творчества Колетт имело свою историю: двадцать переводов (в основном романы раннего цикла Колетт о Клодине) за пять лет — в 1908–1913 годах, а затем всего одно отдельное издание за полвека — «Конец Шери» в 1927 году. Лишь в 70-х годах появляются новые публикации — на русском и французском языках[11].

В обширном наследии Колетт не встретить широковещательных манифестов. Колетт — художник сокровенного слова, утоляющего жажду людей жить и любить, «сохранять чистоту, несмотря на войну и на нищету, несмотря на грозящую смерть» (П. Элюар). Ее искусству свойственны чувство глубокой человечности, светлое

---

[11] Примечания: 11

Colette. Oeuvres choisies (составление и предисловие Р. И. Кирнозе). Moscou, 1983.

мужество в воссоздании страстей человеческих, активное сострадание к униженным и оскорбленным, вера в преображающую, волшебную силу любви, в способность духовного пробуждения и нового рождения человека, не покоряющегося нравам среды, диктату обстоятельств. Колетт всегда чуралась декларативности, но никогда не таила от читателя своей сердечной симпатии к людям нелегкой судьбы — странствующим артистам, несчастным влюбленным, а в годы войны — узникам фашистского рабства; она находила действенные средства для выражения своего презрения и гнева ко всему, что нагло попирает человеческое достоинство, попирает жизнь, свободу человека и отчизны. Подобно своим старшим современникам А. П. Чехову и Жюлю Ренару Колетт проложила свой путь к душе читателя, вселяя в него свою веру в жизнь, любовь к людям, природе, родине.

Избранные романы, которые ныне советский читатель держит в руках, представляя разные периоды творческого пути писательницы и разные жанровые вариации, помогут наконец по-настоящему узнать Колетт — простодушную «королеву земли», искушенную «королеву французской словесности», чьим девизом было гордое, выстраданное всей жизнью и подтвержденное жизнеутверждающим творчеством признание: «Любовь — хлеб моего пера и моей жизни!»

Виктор Балашов

СТРАННИЦА



ПЕРЕВОД Л. ЛУНГИНОЙ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Половина одиннадцатого… А я уже готова, опять слишком рано. Браг, мой партнер — с его легкой руки я и попала в пантомиму, — вечно ругает меня за это, не очень-то стесняясь в выражениях:

— Чертова дилетантка! Спешит, как на пожар. Если жить по-твоему, то уже в половине восьмого, за ужином, давясь салатом, надо начинать мазать морду тоном…

Три с половиной года работы в мюзик-холлах и театрах ничему меня не научили, я всегда бываю готова раньше, чем нужно.

Десять тридцать пять… Если я не раскрою сейчас эту книгу, читаную-перечитаную — она почему-то валяется на гримировальном столике — или газету «Пари-спор», которую костюмерша исчеркала моим карандашом для бровей, отмечая победителей, я окажусь наедине с собой, лицом к лицу с этой загримированной наперсницей, что уставилась на меня из глубины зеркала своими запавшими глазами, окаймленными жирной

лиловатой подводкой. У нее розовые скулы того яркого тона, что у садовых флоксов, и красные в черноту губы, блестящие, будто лакированные… Она долго-долго глядит на меня в упор, и я знаю, что она вот-вот заговорит… Она скажет мне:

«Неужели это ты?.. Совсем одна, в этой камере с белыми стенами, которые нетерпеливые руки, заточенные здесь, не знающие, чем заняться, исчертили сплетенными инициалами и непристойными наивными рисуночками. На этих алебастровых стенах чьи-то ногти, покрытые алым лаком, как твои, процарапали какие-то знаки — как бы вырвавшийся из подсознания вопль одиночества… Вот у тебя за спиной явно женская рука начертила: Мари… Росчерк в конце слова взмывает вверх, будто крик… Неужели это ты, совсем одна, под этим гудящим потолком, который сотрясается, словно корпус работающей мельницы. Почему ты здесь совсем одна? Здесь, а не в другом месте?..»

Да, это опасные минуты прозрения… Кто постучит в дверь моей гримуборной? Чье лицо заслонит меня от глаз моей загримированной наперсницы, которая следит за мной из глубины зеркала?.. Его Величество Случай, мой друг и властелин, надеюсь, окажет мне милость и пришлет

вестников из своего сумбурного царства. Я теперь верую только в него и в самое себя. Но, главным образом, конечно, в него, ведь он всякий раз успевает вытащить меня из воды, когда, захлебнувшись, я иду ко дну, хватает меня, словно пес, за загривок и трясет, чуть прокусив зубами мою шею… Так что при каждом приступе отчаяния я жду теперь не своего конца, но приключенья, маленького банального чуда, того, что соединит блестящим колечком разъятую цепь моих дней.

Это вера, настоящая вера, с ее подчас наигранным ослепленьем, с лицемерием ее отрешений от всего на свете, с упрямой надеждой даже в тот миг, когда орешь не своим голосом: «Все меня оставили, все, все!..» И в самом деле, когда я в сердце своем назову Его Величество Случай иным именем, то стану образцовой католичкой.

Как вздрагивает пол там, наверху! И не удивительно, ведь холод собачий: русские танцоры усерднее обычного бьют чечетку, чтобы согреться. Когда они все вместе хриплыми фальцетами заорут «И-ех!», будет одиннадцать десять. Здесь я узнаю время не по часам. Все выверено до минуты, и так целый месяц, безо всяких сбивов. Десять часов — я прихожу. Мадам Кавалье поет три песни: «Бродяжки», «Я целую тебя на прощанье»,

«От горшка два вершка». Антоньев со своими собачками — десять двадцать две. Выстрел, лай — это кончается номер с собачками. Скрежещет железная лестница, кто-то кашляет — это спускается Жаден. Кашель прерывается проклятьями, потому что всякий раз она наступает на подол своего платья, это уже стало каким-то ритуалом. Десять тридцать пять — выступает куплетист Бути. Десять сорок семь— русские танцоры. И, наконец, одиннадцать десять — я!

Я… Мысленно произнеся это слово, я невольно поглядела в зеркало. И в самом деле это я сижу здесь с ярко нарумяненными щеками и подведенными синим карандашом глазами, густая краска на веках оплывает от жары… Неужели я буду ждать, пока весь мой грим не потечет? Буду ждать, пока мое отражение не превратится в разноцветную расплывшуюся кляксу, прилипшую к зеркальному стеклу, словно какая-то нечистая слеза?

Ну и холод, зуб на зуб не попадает! Я зябко потираю руки, какие-то серые от холода под тонким слоем жидкого тона, который, застывая, покрывается, словно паутиной, сеткой мелких трещин. Черт возьми, да батарея же просто ледяная! Ведь сегодня суббота, а по субботам здесь не топят

— пусть, мол, весело галдящие, подвыпившие простолюдины согревают зал своим дыханием. А об артистах в гримуборных никто не думает. От удара кулака затряслась дверь, и даже в ушах у меня зазвенело. Я поворачиваю ключ и впускаю моего партнера Брага. Он уже в костюме румынского бандита и искусно загримирован «под загар».

— На выход!

— Знаю. Заждалась уже. Тут околеешь от холода.

На верхних ступеньках железной лестницы, ведущей на сцену, сухой, пыльный, горячий воздух окутывает меня, как удобный, но грязный плащ. Пока Браг педантично следит за тем, чтобы все поставили, где положено, и чтобы не забыли приподнять у задника софит, изображающий свет заходящего солнца, я машинально смотрю в светящийся глазок в занавеси. Обычная субботняя публика в самом популярном кафешантане этого района. Зал погружен в полутьму, направленные на сцену прожектора его плохо освещают, и вы могли бы смело биться об заклад на сто су, что не увидите там ни одного белого воротничка, ну просто ни единого, от первого ряда партера до галерки. Рыжеватое облако табачного дыма

висит в воздухе, распространяя отвратительный запах погасших трубок и дешевых сигар, которые курят где-то в отдалении. Зато на авансцене — настоящий цветник… Прекрасная суббота! Но, как говорит малютка Жаден:

— Плевать я на это хотела, мне со сбора не платят!

С первых же тактов нашей увертюры я чувствую себя легко, словно заново рожденной, невесомой и свободной. Облокотившись о нарисованный на заднике балкон, я безмятежно гляжу на грязный пол (земля и глина, принесенные на подметках башмаков, пыль, клочья собачьей шерсти, раздавленная канифоль, — все это толстым слоем покрывает планшет сцены, на который я через несколько секунд должна буду стать голыми коленями) и вдыхаю химический запах искусственной красной герани. С этого мига я себе больше не принадлежу, все пойдет как положено. Я знаю, что не споткнусь во время танца, что не зацеплю каблуком подол юбки, что упаду, как подкошенная, когда Браг грубо швырнет меня на пол, но при этом не окровавлю себе локтей и не расквашу нос. И мускул не дрогнет на моем лице, когда в самый драматический момент молоденький рабочий сцены, стоя в кулисах,

начнет, как всегда, производить губами громкие физиологические звуки, чтобы заставить нас засмеяться… Бьющий в глаза свет прямо выталкивает меня вперед, музыка управляет моими движениями. Таинственная дисциплина сцены порабощает меня и одновременно защищает… Все идет хорошо.

Все идет даже очень хорошо. Необузданная публика субботнего вечера наградила нас рукоплесканиями, криками «Браво!», свистом, восторженными воплями и громкими непристойностями, которые выкрикивали, конечно же, в знак одобрения. А я даже получила грошовый букетик — он угодил мне прямо в губы, — букетик блеклых, анемичных гвоздик, которые цветочница прежде, чем уложить в свою корзинку, окунает в окрашенную воду, чтобы придать им хоть какой-то цвет… Я уношу его домой, приколов к отвороту жакета; он пахнет перцем и псиной. Уношу я и записку, которую мне только что передали:

«Мадам, я сидел в первом ряду партера. Ваш мимический талант заставляет меня предположить, что вам присущи и другие таланты, куда более изощренные и захватывающие. Не доставите ли вы мне удовольствие поужинать сегодня

со мной…»

Внизу стоит: «Маркиз де Фонтанж». Бог ты мой! Да-да, именно «маркиз», а записка написана в кафе «Дельта»… Сколько отпрысков дворянских семей, казалось, давно уже угасших, обжились теперь в том кафе?.. Как это не покажется неправдоподобным, но я просто носом чую, что этот маркиз де Фонтанж состоит в близком родстве с неким графом де Лавальер, который на прошлой неделе приглашал меня на файф-о-клок в свою холостяцкую квартиру. Банальное жалкое вранье, но в нем сказывается романтическая тяга к светской жизни и уважение к родовым гербам, которое еще живо в этом шумном квартале шалопаев и забулдыг в видавших виды кепках.

II

С глубоким вздохом, как обычно, захлопываю я за собой дверь своей квартиры на первом этаже. От усталости? Или от того, что можно наконец расслабиться? От облегчения или от страха одиночества? Не будем уточнять, не будем!

Что это со мной нынче вечером?.. Должно быть, все дело в этом декабрьском ледяном тумане. Иголочки инея дрожат в свете газовых фонарей,

окружая их радужными ореолами, и тают на губах, оставляя во рту едкий вкус креозота. К тому же этот новый район, раскинувшийся за площадью Терн, в котором я сейчас живу, весь белый, оскорбляет взгляд и угнетает сознание.

В зеленоватом свете фонарей моя улица в эти ночные часы как бы выставляет напоказ гладкую штукатурку своих домов цвета пралине, цвета кофе Мокко и желтой карамели — они похожи на оплывший кремовый торт, в котором вместо кусочков нуги белеют блоки бутового камня. Даже мой дом, стоящий чуть на отшибе, выглядит каким-то «невсамделишным», однако его новые стены и тонкие перегородки дают за умеренную плату вполне комфортабельное прибежище «одиноким дамам» вроде меня. Когда ты — «одинокая дама», то есть являешься для домовладельцев парией, внушаешь им ужас и отвращение, то не приходится особо выбирать, живешь где попало и вдыхаешь запах сырой известки… Дом, в котором я живу, великодушно приютил целую колонию «одиноких дам». Квартиру на бельэтаже занимает официальная любовница Йонга — главы автомобильной фирмы «Авто Йонг». Над ней живет холеная и избалованная подруга графа де Бравай. Еще выше — две сестры-блон-

динки, к которым ежедневно приходит один весьма-респектабельный-господин из высоких промышленных кругов. А самую верхнюю квартиру занимает гулящая девка, которая не знает покоя ни днем, ни ночью, словно взбесившийся фокстерьер. От нее все время доносятся какие-то крики, кто-то там барабанит на пианино, кто-то поет, а из окон швыряют на улицу пустые бутылки.

— Она позорит наш дом! — сказала как-то мадам Авто Йонг.

И наконец, на первом этаже, на уровне земли, живу я, которая не кричит, не играет на пианино, не принимает никаких господ, а уж тем более дам. Барышня легкого поведения с пятого этажа производит слишком много шума, я же — слишком мало, и консьержка не упускает случая меня в этом упрекнуть:

— Весьма странно, никогда не поймешь, дома ли мадам или нет. Вас решительно не слышно. Вот уж не подумаешь, что вы артистка!

Ах, до чего же уродлив этот декабрьский вечер. От калорифера почему-то несет больницей. Бландина забыла положить в постель бутылку с горячей водой, а моя собака явно в дурном настроении, ворчит, мелко дрожит от холода и едва

удостаивает меня взгляда, чуть подняв свою серо-белую морду. Она даже не вылезла из корзинки! Я вовсе не требую, чтобы меня встречали триумфальными арками и иллюминацией, но все же…

О! Сколько бы я не искала во всех углах, под кроватью, везде, тут нет никого, никого, кроме меня. И в большом зеркале моей спальни отражается не загримированная цыганка, а… я.

Так вот, значит, я, такая, как есть, без грима! В этот вечер мне не удастся избежать встречи с большим зеркалом, разговора с собой, от которого я сто раз уже уклонялась — начинала его, бежала от него, вновь возобновляла и опять обрывала… Увы, на этот раз — я это заранее чувствую — все попытки отвлечься будут тщетными. В этот вечер мне не удастся и заснуть, это ясно, и прелесть книги — новой книги, только из типографии, пахнущей бумагой, краской, запах которой вызывает в памяти морской прибой, паровозы, отъезды, — прелесть книги не отвлечет меня от себя самой…

Так вот, значит, я, такая, как есть, без грима! Одна, одна, и, наверное, на всю жизнь. Уже одна! Рановато. Я уже перешагнула через рубеж тридцати лет, но не почувствовала себя при этом несчастной. Ведь лицо, на которое я сейчас смотрю — мое лицо, — ни для кого не представляло бы

никакого интереса, не будь живости выражения, напряженности взгляда и той несмелой улыбки, что вот-вот готова осветить его, той улыбки, которую Маринетти называет gaiezza volpina… Бесхитростная лисичка, тебя и курица одолеет! Лисичка безо всяких желаний, которая помнит лишь капкан и клетку… Веселая лисичка, да, но только потому, что в уголках рта притаилась неосознанная улыбка… Лисичка, уставшая от танца, но неспособная сопротивляться звукам музыки.

А ведь я и в самом деле похожа на лисичку. Но ведь красивая, тоненькая лисица — это же не уродливо, верно? Правда, Браг говорит, что я бываю похожа на крысу, когда вдруг выпячиваю губы и прищуриваюсь, чтобы лучше видеть… Но я не обижаюсь.

До чего же я не люблю себя, когда мой рот, как сейчас, искажен гримасой отчаяния, плечи вяло опущены, и все мое унылое тело стало каким-то кособоким, — отдыхая, я перенесла центр тяжести на одну ногу!.. Волосы мои развились и висят, словно ветви плакучей ивы, — их надо будет долго разглаживать щеткой, прежде чем они снова заблестят, как бобровая шкурка. Под глазами нестертые тени синей подводки, сомни-

тельные следы облупившегося красного лака на ногтях… Наверное, придется мокнуть в ванне не меньше сорока — пятидесяти минут, прежде чем приведу себя в порядок… Уже час ночи… Чего это я, собственно говоря, жду? Очевидно, нужен удар хлыста, резкий, чувствительный удар, чтобы сдвинуть с места заупрямившуюся скотину… Но мне не от кого его ждать. Потому что… Да потому что я здесь совсем одна! И в продолговатом кадре зеркальной рамы прекрасно видно, что я уже привыкла жить одна.

Ради любого пришедшего сюда человека, будь он хоть кто — посыльный из магазина или моя горничная Бландина, — я бы тотчас подняла свою бессильно упавшую голову, подтянулась, выпрямив свое скривившееся тело, я бы соединила опущенные руки… Но этой ночью я так безнадежно одна…

Одна! Похоже, что я жалуюсь!

— Раз ты живешь одна, — сказал мне как-то Браг, — значит, тебе это нравится, ты сама этого хочешь, ведь так?

Конечно, «мне это нравится», я даже сама этого «хочу». Но вот только… бывают дни, когда одиночество в мои годы — хмельное вино, которое пьянит свободой, в другие дни оно — горькая

тонизирующая настойка, но, увы, бывают и такие дни, когда оно — яд, от которого бьешься головой об стену.

Но сегодня мне хотелось бы ничего не выбирать, а лишь сомневаться, и не знать в точности, отчего я вздрагиваю, скользнув в ледяные простыни — от страха или от наслаждения.

Одна… и уже давно. Потому что у меня появилась эта привычка говорить сама с собой, с огнем в печи, со своим отраженьем в зеркале… Это мания, которая бывает у отшельников и заключенных. Но ведь я свободна… и если я веду внутренние диалоги, то это из склонности к писательству, к тому, чтобы точно формулировать свои мысли и находить им ритмы.

На меня смотрит из глубины зеркала, из таинственной камеры отражений, образ «писательницы, которая плохо кончила». Про меня также говорят, что я «занимаюсь театром», но меня никогда не называют актрисой. Почему? Тут тонкий нюанс, вежливый отказ публики, да и моих друзей тоже, признать, что я хоть чего-то достигла на том поприще, которое я теперь себе избрала… «Писательница, которая плохо кончила», вот кем я должна для всех остаться, хотя я больше не пишу, хотя я не позволяю себе радости,

роскоши писать…

Писать! Иметь возможность писать! Это значит подолгу сидеть, склонившись над пустой страницей, о чем-то задумавшись, машинально что-то чертить на полях, водить пером вокруг кляксы, подыскивая замену неточному слову, зачеркивать его сперва одной чертой, потом множеством мелких, превратить его сначала в колючку, затем разукрасить усиками и лапками, чтобы оно потеряло свой облик слова, свой смысл, стало бы каким-то фантастическим насекомым и в конце концов улетело бы, будто волшебная бабочка.

Писать… Это значит не сводить загипнотизированного взгляда с отражения окна на серебряной чернильнице и, умирая от счастья, записывать холодеющей рукой слова, в то время как лоб и щеки пылают божественным жаром. А еще это значит потеря чувства времени, ленивое валянье на диване, разгул выдумки, после которого чувствуешь себя разбитой, поглупевшей, но вознагражденной за потраченные усилия теми добрыми сокровищами, которые потом медленно перекладываешь на девственный лист бумаги, лежащий в небольшом кругу света от настольной лампы…

Писать! Скорее обнажить в каком-то поры-

ве бешенства всю свою подноготную на таком соблазнительно чистом листе бумаги. Скорее, скорее, но рука не поспевает за мыслью, отказывает, загнанная бесом нетерпенья… А на утро увидеть на исписанном листе вместо золотого цветка, чудом распустившегося в час вдохновения, высохший стебелек с этаким чахлым увядшим бутоном…

Писать! Это радость и страданье праздных людей! Писать!.. Я и теперь еще испытываю время от времени неодолимую потребность, подобную жажде летом, записывать, описывать… Я хватаю ручку, чтобы начать эту гибельную и разочаровывающую игру, чтобы поймать и зафиксировать раздвоенным кончиком стального перышка блистательное, неуловимое, захватывающее определение… Но это лишь короткие приступы старой болезни, невыносимый зуд уже давно зарубцевавшейся раны…

Ведь нужно так много свободного времени, чтобы писать! *И к* тому же я не Бальзак… Хрупкая сказочка, которую я пытаюсь сочинить, разом рушится, стоит лишь постучать в дверь посыльному из лавки или подмастерью сапожника со счетом на заказанные мною туфли, или позвонить по телефону моему адвокату, или театральному им-

пресарио, чтобы пригласить меня в свою контору и договориться о моем выступлении на «званом вечере в одном весьма фешенебельном доме, хозяева которого, увы, не имеют привычки платить высокие гонорары»...

А с тех пор как я живу одна, мне прежде всего надо было суметь выжить, затем развестись и продолжать жить. Все это потребовало невообразимых сил и упорства. Чтобы достичь чего? Нет у меня другой пристани, кроме этой заурядной комнаты, обставленной дешевой мебелью, так сказать, в стиле Людовика XVI, нету другого места, кроме как перед этим зеркалом, в которое нельзя войти, и я упираюсь лбом в лоб своего отражения!..

Завтра воскресенье. Два спектакля утром и вечером в «Ампире-Клиши». Сейчас уже два часа ночи!.. Писательнице, которая плохо кончила, пора спать.

III

— Да пошевеливайся ты поскорей! О, боже!.. Скорей, слышишь!.. Жаден не явилась.

— Как не явилась? Заболела?

— Еще чего! Загуляла!.. Но нам один черт: вы-

ходить на двадцать минут раньше!

Мим Браг выскочил из своего закутка, где он гримируется, — он был страшен, покрытый тоном цвета хаки, — чтобы предупредить меня, и я опрометью кидаюсь в свою гримуборную, в ужасе от мысли, что могу впервые в жизни не быть готовой вовремя.

Жаден не явилась! Я тороплюсь, дрожа от волнения. С нашей публикой шутки плохи, особенно на воскресных утренниках. Если мы хоть на пять минут «оставим их голодными», как говорит наш Режиссер-Укротитель, — его так прозвали, потому что он единственный, кто умеет управляться с этим залом, — затянув паузу между номерами, то не избежать гневных криков, окурки и апельсиновые корки так и полетят на сцену.

Жаден не явилась… Этого надо было ждать.

Жаден — наша новенькая певичка. Она так недавно выступает на эстраде, что не успела еще вытравить свои каштановые волосы перекисью водорода. Дитя Внешних бульваров, она одним прыжком оказалась на сцене кафешантана и обалдела от того, что стала зарабатывать двести франков в месяц за исполнение песенок. Ей восемнадцать лет. Удача (?) безжалостно стиснула ее в своих объятьях, и она, по-бойцовски упрямо

склонив свою голову и вся подавшись вперед, как бы локтями защищается от ударов грубой, обманной судьбы.

Она поет, как поют белошвейки, как поют на улице, не подозревая даже, что можно петь по-другому. Она безжалостно форсирует свое надсадное, хватающее за душу контральто, которое так подходит к ее румяным щекам и надутым губкам девчонки из предместья. Такой, какая она есть, в чересчур длинном платье, купленном в первой попавшейся лавочке, с каштановыми волосами, которые она даже не завивает, с опущенным плечом, будто от тяжести бельевой корзинки, с пушком на верхней губе, белом от грубой пудры, публика ее обожает. Наша директриса обещала ей с будущего сезона крупный шрифт в афише, как второй «звезде» программы, а может, даже и надбавку. На сцене Жаден так и сияет, там ей море по колено. Каждый вечер она узнает кого-нибудь из зрителей на галерке, своих товарищей по детским развлечениям, и, ничтоже сумняшеся, прерывает вдруг свою душещипательную песенку, чтобы весело подмигнуть им, прыснуть со смеха, как школьница, а то и звонко шлепнуть себя по ляжке… Вот ее-то и нет сегодня в программе. Через полчаса они поднимут в зале

невообразимый шум и начнут орать «Жаден! Жаден!», стучать деревянными подметками своих башмаков и звенеть кофейными ложечками в чашках.

Того, что Жаден не явится на спектакль, можно было ожидать. Тут же за кулисами пополз слух, что она вовсе не больна. И наш помреж ворчит:

— Да, грипп у нее, как бы не так!.. В койку она упала, вот что! Там ее живо вылечат. Если бы она по-настоящему заболела, то предупредила бы…

Жаден как будто нашла себе обожателя, причем не из этого района. Жить-то надо… Впрочем, она и так жила то с одним, то с другим, короче, со всеми… Увижу ли я когда-нибудь снова ее тоненькую фигурку, всю подавшуюся вперед, с наклоненной по-бойцовски головой, в надвинутой до бровей пилотке — «последний крик моды», — которую она сама себе спроворила? Еще вчера вечером она, приоткрыв дверь, просунула в щель кое-как напудренную мордашку, чтобы похвалиться своим последним произведением — меховой шапочкой из кролика «под песца», чересчур узкой, плотно прижимающей к голове ее маленькие розовые ушки.

— Прямо вылитый Аттила! — сказал Браг очень серьезным тоном.

Длинный коридор, в который выходят все двери крошечных гримуборных, гудит, как потревоженный улей. Оказывается, все предчувствовали этот побег и теперь посмеиваются, все, кроме меня… Бути, комик-куплетист, прогуливается перед моей дверью в гриме гориллы, со стаканом молока в руке и витийствует:

— Яснее ясного! Я-то думал, что она проторчит здесь еще дней пять-шесть, ну, максимум, месяц! Представляю себе рожу нашей хозяйки… Но даже после этого горького опыта она и не подумает прибавить артистам, которые тянут на своих плечах всю программу. Запомните, что я вам скажу: Жаден вернется. Эта эскапада не более, чем экскурсия. У нее свой стиль жизни, ее содержателя надолго не хватит, уж поверьте…

Я отворяю дверь, чтобы поговорить с Бути, не прекращая мазать свои руки белилами.

— Она вам ничего не рассказывала, Бути?

Он пожимает плечами, повернув ко мне свое лицо в маске рыжей гориллы с обведенными белым глазами:

— С чего бы! Я ведь ей не мать…

Он маленькими глотками потягивает молоко, голубоватое, как раствор крахмала. Бедный милый Бути со своим хроническим энтеритом и

неизменной бутылкой молока! Без красно-белого грима его умное, с мягкими чертами лицо выглядит каким-то болезненно-трогательным. У него красивые нежные глаза и отзывчивое сердце бездомной собаки, готовое обожать всякого, кто его приласкает. Его болезнь и тяжелая профессия день ото дня убивают его, питается он только молоком и макаронами без соуса и при этом находит в себе силы петь и плясать негритянские танцы в течение двадцати минут. По окончании своего номера он всякий раз, вконец измученный, буквально падает за кулисами, не в состоянии спуститься вниз в свою гримуборную… Его хилое тело, словно труп, распростертое на полу, часто преграждает мне путь на выход, и я совершаю над собой усилие, чтобы не наклониться над ним, не приподнять его, не позвать на помощь. Его товарищи и старый машинист сцены, стоя неподалеку, лишь покачивают головами и говорят со значением:

— Бути из тех артистов, кто выкладывается до конца.

— Скорей, скорей, поезд отходит! Они там, в зале, не так уж бесятся из-за отсутствия Жаден. Нам повезло!

Браг подталкивает меня вверх по железной

лестнице. От пропыленной жары и резкого света прожекторов у меня начинает кружиться голова. Утро пронеслось, словно беспокойный сон, оглянуться не успела, как пролетела половина дня, остался только нервический озноб и какое-то томление в желудке, которое бывает, когда тебя вдруг резко будят посреди ночи. Через час уже время обедать, а потом придется брать такси, и все начинать сначала… И так я буду жить еще целый месяц! Нынешний спектакль пользуется, можно сказать, успехом, и его надо сохранить до обновления программы.

— Нам здесь хорошо, — говорит Браг. — Сорок дней можно ни о чем не думать!

И он довольно потирает руки.

Ни о чем не думать… Если бы я могла, как он. А у меня и эти сорок дней, и весь год, и вся жизнь, чтобы думать… Сколько еще лет мне суждено таскаться со своим «дарованием», которое все в один голос вежливо именуют «интересным», из мюзик-холла в театр, а из театра в казино. Кроме того, у меня отмечают «выразительную мимику», «четкую дикцию» и «безупречную пластику». Это очень мило с их стороны. Это даже больше, чем можно было бы желать. Но… куда это ведет?

Ну вот! Я чувствую, что надвигается полоса

мрачного настроения… Я жду его, как чего-то привычного, со спокойным сердцем, заранее зная, что различу все его обычные этапы и еще раз сумею его одолеть. Никто ничего не узнает. Сегодня вечером Браг сверлит меня своим проницательным глазом, но ограничивается банальной фразой:

— Опять витаешь в облаках, да?..

Вернувшись в свою гримуборную, я смываю с рук смородинную кровь перед зеркалом, в котором я и моя загримированная наперсница меряемся силами, как достойные друг друга противники.

Страдать… Сожалеть… Продлевать бессонницей и всяким бредом самые глубокие часы ночи — всего этого мне теперь не избежать. Я шагаю навстречу этой неизбежности в каком-то раже мрачной веселости, со всем бесстрашием молодого существа, способного еще сопротивляться, видавшего и не такое… Две привычки позволяют мне сдерживать слезы: привычка таить свои мысли и привычка красить ресницы…

— Войдите!

В дверь мою постучали, и я откликнулась машинально, целиком ушедшая в себя.

Это не Браг, не старая костюмерша, а какой-то

незнакомец, высокий, худощавый, темноволосый. Он склоняет голову и выпаливает на одном дыхании:

— Мадам, вот уже неделя, как я каждый вечер прихожу в «Ампире», чтобы аплодировать вам. Извините меня за то, что мой визит, быть может… неуместен, но мне казалось, что восхищение вашим талантом… вашей пластичностью, отчасти оправдывает такое… некорректное вторжение, и что…

Я ничего не отвечаю этому идиоту. Еще вся мокрая, в полурасстегнутом платье, я, тяжело дыша, смываю с рук красную краску и гляжу на него с таким бешенством, что его красивая фраза испускает дух, так и не дойдя до конца…

Дать ему пощечину? Отпечатать на его щеках мою мокрую, недомытую пятерню? Или гневно крикнуть ему в лицо, так резко очерченное, костлявое, перерезанное линией черных усов, слова, которым я обучилась за кулисами и на улице?..

У этого захватчика угольно-черные печальные глаза… Уж не знаю, как он понял мой взгляд и мое молчание, только выражение его лица вдруг изменилось.

— Простите, мадам, я повел себя, как болван и грубый человек, но, увы, слишком поздно это за-

метил. Выставите меня за дверь, я это заслужил. Но только позвольте прежде выразить вам свое искреннее уважение.

И он поклонился, как бы собираясь уйти, но… не ушел. С уличной мужской наглостью выжидает он секунду-другую награду за то, что так повернул разговор и — бог ты мой, не такая уж я непреклонная! — получает ее:

— В таком случае, мосье, я скажу вам любезно то, что сказала бы, не щадя вас: уходите!

Я с улыбкой, уже добродушно, указываю ему на дверь. Но он не улыбается. Он стоит, упрямо склонив голову, и кисть его опущенной вдоль тела руки сжата в кулак. В этой позе есть что-то почти угрожающее и вместе с тем неуклюжее, — у него сейчас нелепый вид дровосека в воскресном костюме. Свет лампы, висящей под потолком, бликует в его черных, разделенных на пробор, гладких, словно бы покрытых лаком, волосах. Но его глубоко посаженных глаз я не вижу…

Он не улыбается, потому что хочет мной обладать, это ясно.

Он не желает мне добра, этот человек, он желает меня. Ему сейчас не до улыбок, даже двусмысленных. Меня это начинает тяготить, я предпочла бы, чтобы он был весело возбужден и чувствовал

себя уверенно в роли мужчины, который хорошо пообедал, а потом долго пялил глаза на сцену из первого ряда партера…

Страстное желание отягощает его, словно тяжелый меч.

— Чего же вы не уходите, мосье?

Он отвечает поспешно, словно я его разбудила:

— Ухожу, ухожу, мадам! Конечно, ухожу. Прошу вас принять мои извинения и…

— …выражение глубокого к вам почтения! — невольно подхватила я.

Ничего смешного здесь не было, но он смеется, наконец смеется, с его лица слетело то упрямое выражение, от которого я терялась…

— Как мило вы мне подсказали, мадам. Я хотел у вас еще спросить…

— Ну, уж нет! Немедленно выметайтесь! Я и так проявила непонятное долготерпение и рискую заболеть бронхитом, если тотчас не скину этого платья, в котором мне было так жарко, как трем грузчикам вместе взятым.

Указательным пальцем я толкаю его к выходу, потому что едва я сказала, что должна снять платье, как на его лице снова появилось мрачное, сосредоточенное выражение… Уже затворив за ним дверь и задвинув задвижку, я слышу его

приглушенный, молящий голос:

— Мадам, мадам, я только хотел бы знать, любите ли вы цветы, и какие?

— Мосье, мосье, оставьте меня в покое! Я ведь не спрашиваю вас, каких поэтов вы любите, и предпочитаете ли вы море горам! Уходите!

— Ухожу, мадам! Всего доброго!

Уф!.. Этот долговязый мужлан прервал мой приступ мрака. И за то спасибо.

Вот такие-то победы я и одерживаю последние три года… Господин с одиннадцатого места в партере, господин с четвертого места ложи на авансцене, сутенер с галерки… Записка, еще одна записка, букет цветов, снова записка, и всё! Мое молчание их быстро охлаждает, и я должна признаться, что особенно они не упорствуют в своих домогательствах.

Судьба, которая отныне бережет мои силы, как будто сама отводит от меня упрямых обожателей, этих охотников, которые ни перед чем не отступают… Те, кому я нравлюсь, не посылают мне любовных писем. Торопливые, грубые и неуклюжие записки выдают их желания, но не мысли… Исключение составляет лишь один бедный мальчик, который на двенадцати страницах излагал свою болтливую и униженную любовь.

Должно быть, он был очень молод. Он воображал себя этаким прекрасным принцем, бедняга, и богатым, и всемогущим: «Я пишу вам все это за стойкой у торговца вином, где я завтракаю, и всякий раз, когда я поднимаю голову, я вижу в зеркале свою противную рожу…»

И тем не менее этот поклонник с «противной рожей» о ком-то мечтал в своих воздушных замках и заколдованных лесах.

А вот меня никто не ждет на моем торном пути, который не ведет ни к славе, ни к богатству, ни к любви.

Впрочем, к любви, это я хорошо знаю, вообще не ведет никакой путь. Это она сама кидается вам наперерез. Она навсегда преграждает вам путь, а если почему-либо сходит с него, то путь ваш оказывается перерытым, разрушенным.

То, что осталось от моей жизни, напоминает детскую игру, состоящую из двухсот пятидесяти маленьких, пестрых, неправильной формы кусочков фанеры. Должна ли я терпеливо подбирать эти кусочки, прикладывая их один к другому, чтобы составить в конце концов простенькую картинку: мирный домик, окруженный густым лесом? Нет, нет, кто-то стер все линии этого милого пейзажа. Я не отыщу даже частичку синей

крыши, расцвеченной желтым лишайником, ни нетронутого виноградника, ни дремучего леса без птиц.

Восемь лет в браке и три года в разводе — вот, что заполнило треть моей жизни.

Мой бывший муж? Да вы все его знаете. Это Адольф Таиланди, художник, прославившийся своими пастельными работами. Вот уже двадцать лет, как он пишет одни и те же портреты женщин: на дымно-золотистом фоне, заимствованном у Леви-Дюрмера, стоит декольтированная дама, ее волосы, будто драгоценная вата, этаким нимбом окружают бархатистое лицо. Кожа у висков, на затененной шее, в округлости груди, все такая же немыслимо бархатистая, окрашена радужным отливом, подобным голубоватой дымке на темном винограде, к которому так и тянутся губы.

— Ни Потель, ни Шабо не написали бы лучше, — сказал однажды Форэн, любуясь пастелью моего мужа.

Если не считать уменья изобразить эту пресловутую «бархатистость», то у Адольфа Таиланди, как мне кажется, нет таланта. Но я охотно признаю, что его портреты на редкость привлекательны, особенно для тех женщин, которые ему позируют.

Ну, прежде всего, в каждой своей модели он самым решительным образом прозревает блондинку. Даже скудную шевелюру мадам де Гюимон-Фотрю он расцветил неизвестно откуда взявшимися ало-золотистыми отсветами, дающими рефлексы на ее матовых щеках и крыльях носа, превратив тем самым эту худосочную брюнетку в блудливую златокудрую венецианку.

В свое время Таиланди сделал и мой портрет… Меня невозможно узнать в этой маленькой вакханке *с* каким-то странно светящимся носом — солнечный блик прикрыл мое лицо, словно перламутровая маска, — и я до сих пор помню, как была удивлена, обнаружив себя яркой блондинкой. Помню также шумный успех, который имела эта пастель и все последовавшие за ней. Это были портреты мадам де Гюимон-Фотрю, баронессы Авло, мадам де Шалис, мадам Робер-Дюран, певицы Жанны Доре, а потом пошли модели менее прославленные, поскольку их имена сохранялись в тайне и обозначались инициалами: мадемуазель Ж. Р., мадемуазель С. С., мадам У., мадам фон О., мистрисс Ф. В.

Это было уже в то время, когда Адольф Таиланди с цинизмом красивого мужчины, который так ему шел, заявлял:

— Моделями мне могут служить только любовницы, а любовницами — модели.

Что до меня, то я все же обнаружила в нем настоящий талант — талант к вранью. Ни одна женщина, ни одна из его женщин не могла так, как я, оценить его исступленную страсть к вранью, восхищаться ею, бояться и проклинать ее. Адольф Таиланди врал одержимо, сладострастно, неутомимо и почти невольно. Для него адюльтер был лишь одной из форм, и вовсе не самой желанной, все того же вранья. Он буквально расцветал во вранье, врал с такой охотой, разнообразием и щедростью, что годы не смогли этого исчерпать. В то время как он, учитывая тысячи мелочей и предосторожностей, искусно плел тончайшее кружево своих тщательно продуманных предательств с изысканным рисунком, сочиненным его коварством, этой основополагающей чертой его характера, он без удержу тратил свой пыл на грубую, совершенно бессмысленную, хамскую ложь, на глупые детские сказочки.

Я встретилась с ним, вышла за него замуж и прожила с ним больше восьми лет… Что я о нем знаю? Что он рисует пастелью и имеет любовниц. А еще я знаю, что ему каждодневно удается чудо являть себя разным людям в разных обличиях:

для одного он «работяга», который думает только о своей профессии, для другой — соблазнительный распутник, без совести и чести, для третьей — по-отечески заботливый любовник, который придает мимолетной связи острый привкус кровосмесительства, для четвертой — усталый разочарованный стареющий мастер, украшающий свою осень изысканной идиллией. Есть и такая, для которой он всего лишь еще крепкий мужчина, начисто лишенный предрассудков, готовый на любую шалость, а еще есть гусыня из хорошей семьи, влюбленная в него без памяти, которую Адольф Таиланди хлещет наотмашь, терзает, отвергает, потом снова приближает к себе со всей литературной жестокостью «художника из светского романа».

Тот же Таиланди безо всякого перехода появляется в не менее традиционной, но куда более старомодной маске «художника», который, чтобы побороть последнее сопротивление семейной дамочки, матери двоих детей, крошит свои мелки, рвет в клочья набросок, проливает настоящие слезы, от которых намокают его усы а ля Вильгельм II, и, схватив испанскую фетровую шляпу, очертя голову бежит топиться в Сене.

Есть еще и много других Таиланди, которых

я так никогда и нс узнаю. Впрочем, еще одного Таиланди я знаю и, быть может, самого страшного: Таиланди — делового человека, ловкого стяжателя, мошенника, циничного и грубого, то неподвижного, то неуловимого в соответствии с требованиями момента.

Кто же изо всех этих Таиланди настоящий? Откровенно скажу, что не знаю. Я думаю, что *настоящего* Таиланди просто нет… Этот бальзаковский гений вранья вдруг, в один прекрасный день, перестал приводить меня в отчаяние, даже интересовать перестал. Но прежде он был для меня чем-то вроде ужасного Макиавелли. А на самом деле он был всего лишь Фриголи.

Между тем он продолжает жить, как жил. Иногда я думаю с тепловатым сочувствием о его второй жене… Торжествует ли она еще, благодушная, влюбленная, то, что называет своей победой надо мной? Нет, теперь она, испуганная и бессильная, начинает узнавать того, за кого вышла замуж.

Господи! Как я была молода и как любила этого человека! И как страдала!.. Это не крик боли, не жалоба, не жажда возмездия, я иногда произношу эти слова тем же тоном, как говорят: «Если бы вы только знали, как тяжело я болела четыре года

тому назад». Когда я теперь признаюсь: *«Я* ревновала его так, что хотела убить и самой умереть», то это вроде того, как старики рассказывают: «В семидесятом году мы ели крыс…» Они это помнят, но от тех ужасных дней осталось лишь одно воспоминание. Они знают, что ели крыс, но не могут оживить в себе ни дрожи отвращения, ни голодного озноба.

После его первых измен, после бунта и смирения молодой любви, которая так упорствовала в своем желании надеяться и жить, я начала страдать, страдать гордо и упрямо, и заниматься литературой.

Ради удовольствия снова найти себе прибежище в недавнем прошлом, я написала небольшой роман из провинциальной жизни «Плющ на стене», безмятежный, плоский и ясный, как озера на моей родине, целомудренный роман о любви и замужестве, довольно простодушный, милый, который имел неожиданный и ничему не соответствующий успех. Во всех иллюстрированных журналах появилась моя фотография, а «Современная жизнь» присудила мне свою ежегодную литературную премию. Так неожиданно мы, Адольф и я, стали «самой интересной парой в Париже», которую все приглашают на обед и

демонстрируют знатным иностранцам… «Вы не знаете чету Таиланди? У Рене Таиланди замечательный талант. — В самом деле! А он? — О! Он — неотразим!»

Моя вторая книга «Рядом с любовью» расходилась куда хуже. Между тем, сочиняя ее, я предавалась сладострастию письма, терпеливой борьбе с фразой, которая вдруг становится податливой и распластывается перед тобой, как ручной зверек… А иногда все по-другому — долгое ожидание, засада, и нужное слово поймано… Верно, второй мой роман плохо продавался, но он принес мне, как это говорят? — ах да! — «уважение в литературных кругах». Что же до третьей книги — «Лес без птиц», то она сразу же провалилась и так и не вынырнула. Она-то и есть моя любимица, мой «неведомый шедевр»… Ее находят многословной, сбивчивой, растянутой, непонятной… Но и теперь еще, когда я ее открываю, она мне по-прежнему нравится, да и я себе в ней нравлюсь. Непонятно? Для вас, быть может. Но для меня ее теплая темнота высветляется. Для меня то или иное слово мигом оживляет в памяти запахи и цвета прожитых часов, оно звучит, оно полно жизни и таинственно, как раковина, в которой гудит море. И мне кажется, что я меньше

бы любила эту книгу, если бы вы ее тоже любили… Можете не волноваться! Второй такой книги я уже не напишу, я просто не смогу.

Теперь у меня другая работа, другие заботы, и главная из них — зарабатывать себе на жизнь, менять на звонкую монету свои движения, свои танцы, звуки своего голоса… К этому я быстро привыкла и даже вошла во вкус, проявив чисто женскую жадность к деньгам. А то, что я зарабатываю себе на жизнь, — это факт. В минуты доброго расположения я говорю себе и не устаю это радостно повторять: «Я сама зарабатываю себе на жизнь!» Мюзик-холл, где я выступаю, как пантомимистка, танцовщица, а при случае — и как актриса, превратил меня в честную, жесткую коммерсант-ку, которая, себе на удивление, стала считать, вести деловые переговоры и торговаться…

Никто не понимал нашего разрыва. Но кто бы мог понять мое прежнее долготерпенье, мое трусливое жалкое попустительство? Увы! Простить трудно лишь первый раз… Адольф очень скоро убедился, что я принадлежу к лучшей породе истинных самок, к тем, которые, простив в первый раз, готовы, если с ними обходиться умело, терпеть обман и постепенно к нему привыкнуть…

О, каким он был умелым учителем! Как ловко сочетал снисходительность с требовательностью. Случалось даже, что он поднимал на меня руку, когда я проявляла излишнюю строптивость, но не думаю, чтобы он это делал охотно. Человек, потерявший самообладание, не бьет так рассчетливо, а он бил меня время от времени исключительно для того, чтобы поднять свой авторитет. Во время нашего развода все были склонны обвинять меня одну, чтобы обелить «неотразимого Таиланди», виноватого лишь в том, что он нравится и предает. Я чуть было не отступила, совсем растерялась и едва не вернулась к своей прежней покорности из-за того шума, который поднялся вокруг нас…

— Представляете, он изменяет ей уже восемь лет кряду, а она только спохватилась!..

Меня посещали друзья, пользующиеся большим весом в обществе, и авторитетно заявляли: «Такова жизнь». Приходили и пожилые родственники, чей самый серьезный аргумент звучал так:

— Что делать, детка!..

Что делать? Это я очень хорошо знала. С меня было довольно. Что делать? Лучше умереть, чем дальше влачить эту жалкую жизнь униженной женщины, у которой «есть все, чтобы

быть счастливой». Лучше умереть или отведать горечь нищеты перед самоубийством, но только не видеть больше Адольфа Таиланди, того самого Адольфа Таиланди, который так берег интимность супружеских отношений и умел предупреждать меня, не повышая голоса, но выпячивая свою страшную челюсть жандармского адъютанта:

— Я завтра начинаю писать портрет мадам Мотье. И будьте любезны, чтобы не было такой недовольной рожи.

Лучше умереть, пережить самые страшные крушения, чем вдруг заметить неуклюжее движение, когда прячут помятое письмо, или присутствовать при фальшиво-безразличном разговоре по телефону, или перехватить красноречивый взгляд лакея, или слушать, как он бросает мне небрежным тоном:

— Если не ошибаюсь, вы собирались провести два дня у вашей матушки?

Лучше навсегда покинуть этот дом, чем унизиться до того, чтобы весь день гулять с одной из любовниц моего мужа, в то время как он в полной безопасности развлекается с другой. Лучше навсегда покинуть этот дом и умереть, лишь бы не делать больше вида, что ни о чем не

подозреваешь, не ждать ночи напролет, лежать, не сомкнув глаз, в слишком большой пустой кровати, не строить больше планов мести, которые рождаются в темноте и становятся все более и более замысловатыми от гневных ударов отравленного ревностью сердца, но разом исчезают при повороте ключа в замке, когда знакомый голос весело восклицает:

— Как, ты еще не спишь?

С меня было довольно.

Можно привыкнуть к голоду, к зубной боли, к резям в желудке, можно даже привыкнуть к отсутствию любимого существа, но к ревности привыкнуть невозможно. И случилось то, что Адольф Таиланди, который обычно все до мелочи учитывал, не мог предвидеть: в тот день, когда он, чтобы непринужденней расположиться с мадам Мотье на большом диване в своей мастерской, весьма бесцеремонно выставил меня за дверь *моей* квартиры, я домой не вернулась. Я не вернулась ни в этот вечер, ни в следующий, ни потом. И вот тут-то и кончается, вернее, начинается моя история.

Не буду говорить о коротком и печальном периоде моей новой жизни, когда я принимала все с тем же мрачным видом и порицания, и утеше-

ния, и советы, и даже поздравления. Я вела себя так, что и у моих самых упорных друзей — их было совсем немного, — которые звонили в дверь моей крошечной, снятой, не выбирая, квартирки, вскоре опустились руки. Навещавшие меня люди давали мне понять, что они бросают вызов общественному мнению, нашему святому, всевластному и гнусному общественному мнению, и я, оскорбленная этим, в приступе ярости разом разорвала все нити, связывающие меня с моим прошлым.

Ну так что же? Одиночество? Да, одиночество, не считая двух-трех друзей. Упрямцы, не отлипавшие от меня, готовые терпеть все мои фокусы. Как нелюбезно я их встречала, но как я их любила! И как боялась, провожая, что они больше не вернутся!..

Одиночество? Да, одиночество. Оно пугало меня как лекарство, которое могло стать смертельным. А потом я обнаружила, что… я всего-навсего продолжаю жить одна. Я давно к этому привыкла, с самого детства, и лишь первые годы замужества ненадолго прервали эту привычку, а потом с первых же супружеских измен все пошло по-прежнему — я жила, стиснув зубы, слез уже не было, и это самое банальное в моей истории.

Сколько женщин знают этот уход в себя, эту терпеливую покорность, пришедшую на смену бунту и рыданиям? Я отдаю им должное, а тем самым и возношу себя: только в страдании женщина может преодолеть свою посредственность. Ее выдержка не имеет предела, ее терпенье можно испытывать, злоупотреблять им, не боясь, что она умрет, конечно, при условии, что физический страх или религиозные соображения не позволят ей прибегнуть к спасительному самоубийству.

«Она умирает от горя… Она умерла от горя…» Услышав эти стереотипные фразы, не испытывайте сочувствия, а покачайте головой скептически: женщина не может умереть от горя. Это такое могучее животное, его не так-то легко убить. Вы, наверное, думаете, что горе ее подтачивает? Ничуть не бывало. Родившись немощной, слабой, она обретает благодаря страданию железные нервы, несгибаемую гордость, способность выжидать и таиться — и это придает ей значительность и презрение к тем, кто счастлив. Страдание и притворство, как ежедневная опасная гимнастика, делают ее сильной и гибкой… Ибо она постоянно пребывает во власти соблазна, самого захватывающего, самого сладостного, самого привлекательного — соблазна

отомстить. Случается, что она, слишком слабая либо слишком любящая, убивает… В этом случае она явит миру пример озадачивающей женской выдержки. Она изумит своих судей, утомит их во время нескончаемых заседаний, исчерпает их силы, словно матерая волчица, петляющая, чтобы вконец измотать преследующую ее свору молодых собак… Вы можете не сомневаться, что долгое терпенье и тайные страданья сформировали, закалили, ожесточили эту женщину, о которой все говорят:

— Ну, она из железа!..

Нет, она просто «из женщины», и этим все сказано. Одиночество… Свобода… Моя веселая и трудная работа пантомимистки и танцовщицы… Радостные и усталые мышцы, новая забота, которая помогает забыть старую, — самой зарабатывать себе на хлеб, на одежду, на жилье… Вот какой сразу же стала моя судьба, причем к этому надо еще добавить яростное недоверие и отвращение к той среде, в которой я прежде жила и страдала, дурацкий страх перед мужчиной, перед всеми мужчинами, да и женщинами тоже… У меня появилась болезненная потребность не знать, что происходит вокруг меня, и общаться с совсем уж примитивными созданиями, которые

почти не думают… И еще одна странность, которая появилась у меня очень скоро — чувствовала себя в безопасности, огражденной от мне подобных, только на сцене — барьер рампы оборонял меня от всех.

IV

Еще одно воскресенье… Пасмурные холодные дни сменились ясными, и мы с собакой, чтобы проветриться, решили погулять часочек, от одиннадцати до полудня, в Булонском лесу… Это животное меня просто разоряет. Не будь ее, я бы поехала в лес на метро, но мне не жалко трех франков на такси, потому что прогулка *с* ней доставляет мне удовольствие. Ее черная, как сажа, шерсть, которую я долго расчесываю щеткой и полирую фланелькой, блестит на солнце. Сейчас весь Булонский лес принадлежит моей маленькой Фасетте, и она хозяйничает в нем, вереща по-поросячьи и шелестя сухими листьями…

Как хорош Булонский лес в такое ясное воскресенье! Это наш с Фасеттой лес, наш парк — ведь мы, городские странницы, совсем не попадаем за город… Фасетта бегает быстрее меня, но зато я хожу быстрее нее, и когда она не играет со мной

в «поезд» и не тянет меня за собой на поводке, вывалив язык и сверкая обезумевшими глазами, она с трудом поспевает за мной, сбоит, как лошадь, то и дело переходя с трусящей рысцы на нелепый галоп, и прохожие смеются.

Негустой розоватый туман умеряет яркость солнечных лучей, и на блеклое солнце можно глядеть, не щурясь… Над оголенными клумбами поднимаются, дрожа и серебрясь, отдающие грибами испарения земли. Вуалетка прилипла мне к носу, и я вся, разогретая от бега, подхлестнутая холодом, устремлена вперед… Ну, что, собственно говоря, во мне изменилось с моих двадцати лет? Таким вот зимним утром в самые мои юные годы разве я чувствовала себя бодрее, гибче и счастливей телом, чем сейчас?

Так думала я, пока носилась по лесу… Когда же пришла домой, усталость вернула меня к действительности— это уже была *другая* усталость. В двадцать лет я бы безотчетно наслаждалась, погрузившись в полудрему-полумечту, этим мимолетным утомлением. А теперь? Теперь же моя усталость кажется мне горькой, она подобна печали тела.

Фасетта с рождения — настоящая комедиантка и создана для богатой жизни, она испытывает

подлинную страсть к подмосткам и на улице так и норовит вскочить в любую шикарную машину… А ведь купила я ее у танцовщика Стефана, и она ни дня не жила у какой-нибудь богатой актрисы. Танцовщик Стефан — мой товарищ. Сейчас он работает в том же заведении, что и я, в «Ампире-Клиши». Этот белокурый галл, которого с каждым годом все больше пожирает туберкулез, не может не замечать, как тают его бицепсы, его розовые бедра, покрытые поблескивающим золотистым пушком, весь его красивый мускулистый торс, которым он с полным основанием гордился. Ему уже пришлось сменить профессиональный бокс на танцы и на фигурное катанье на роликах по наклонной сцене. С этим номером он и выступает у нас. К тому же он преподает танцы и выкармливает на продажу карликовых бульдогов. Зимой его мучает кашель. Часто во время представлений он заходит ко мне в гримуборную, долго кашляет, садится и предлагает купить у него «бульдожку, девочку, серой масти, неземной красоты, которая не получила золотой медали только из-за интриг…».

Я иду в подвале по коридору, куда выходят все квадратные гримировальные загоны, как раз в тот момент, когда танцовщик Стефан, закончив

свой номер, сбегает вниз по железной лестнице. Широкоплечий, с узкой талией, затянутый в польский зеленый доломан, отороченный искусственным мехом под шиншиллу, в меховой шапочке, лихо сбитой на ухо, этот голубоглазый парень с нарумяненными щеками еще до сих пор привлекает к себе женские взгляды. Но он худеет, медленно, неутомимо, и его бурные успехи у дам лишь ужесточают его болезнь.

— Привет!

— Привет, Стефан! Публика есть?

— Полным-полно. Какого… они здесь торчат, эти м…, когда за городом такая благодать? Слушай, купи у меня породистую сучку. Весит всего шестьсот граммов… Я с трудом выпросил ее у знакомых… Не упускай случая.

— Шестьсот граммов!.. Благодарю тебя, но у меня слишком маленькая квартира.

Он смеется в отвез и не настаивает. Я хорошо знаю этих породистых сучек весом в шестьсот граммов, которых продает Стефан. В каждой — не меньше трех кило. Но это не бесчестность, это коммерция.

Что он будет делать, танцовщик Стефан, когда болезнь изъест его второе легкое, когда он уже не сможет танцевать и спать со своими замужними

подругами, которые покупают ему сигары, галстуки и платят за его аперитивы в кафе?.. В какой больнице, в какой богадельне найдет последний приют его красивая, опустелая оболочка?.. Ох! Как все это невесело, и как невыносимо сознавать, что столько людей в беде!..

— Привет, Бути! Привет, Браг... Известно что-нибудь о Жаден?

Браг молча пожимает плечами, всецело поглощенный подводкой бровей, для чего он использует темно-лиловый цвет, потому что «так получается более свирепый вид». У него есть особый синий карандаш для нанесения морщин, особая красно-оранжевая краска для внутренней стороны губ, особый охристый тон для лица, особый жидкий кармин для крови, а главное — особые белила для маски Пьеро, «секрет которых — уверяет он — я бы не выдал и родному брату!». Впрочем, он очень ловко управляется со своим гримом, несмотря на свою манию многоцветия, которая является единственной комической чертой этого умного, пожалуй, даже чересчур серьезного мима.

Бути, худой как жердь, в широченном клоунском балахоне делает мне таинственный знак.

— Я видел ее, нашу малютку Жаден. На бульва-

ре, с каким-то типом. Вот такие перья на шляпе! Вот такая муфта! А морда, и не говорите!.... за сто франков в час!

— Если она и в самом деле получает сто франков за час, то жаловаться ей не приходится, — рассудительно заметил Браг.

— Не спорю, старик, но, поверь, не долго ей гулять на бульваре. Эта девчонка не знает цены деньгам, я давно за ней наблюдаю. Она со своей матерью живет в одном дворе со мной...

Из моего гримировального загона, сквозь распахнутую дверь уборной Брага я вижу симпатягу Бути, который вдруг замолчал, так и не закончив фразы. Он поставил запечатанную бутылку с молоком, чтобы его согреть, на трубу отопления, которая проходит на уровне пола через все гримуборные. Густой красно-белый клоунский грим скрывает подлинное выражение его лица. И все же мне кажется, что с того дня, как Жаден исчезла, Бути стал мрачнее обычного.

Чтобы покрыть белым тоном плечи и колени, которые все в синяках, — Браг не очень-то бережет меня, когда швыряет наземь, — и попудрить их, я притворяю свою дверь. Впрочем, я не сомневаюсь, что Бути больше ничего не скажет. Как и все здесь, как и я сама, он никогда не говорит о

своей личной жизни. Из-за этого молчания, из-за этой неизменной деликатной стыдливости я не смогла верно оценить своих товарищей, когда начала работать в мюзик-холле. Самые экспансивные и тщеславные говорят о своих успехах и честолюбивых надеждах с непременным пафосом и полным отсутствием юмора. Самые злые позволяют себе поносить на чем свет стоит и заведение, в котором работают, и своих товарищей по сцене. Самые болтливые пересказывают остроты, услышанные ими на подмостках или за кулисами, и только, может быть, один из десяти испытывает потребность сказать: «У меня жена, двое детей, моя мать хворает, моя подружка мучает меня…»

Молчание, которое они хранят по поводу своей личной жизни, это как бы вежливая форма сказать вам: «Все остальное вас решительно не касается». Едва успев снять грим и надеть платок или шляпу, они расходятся в разные стороны с поспешностью, продиктованной и гордостью, и скрытностью в равной мере. Почти все они удивительно горды и бедны. Даже аккомпаниатора никто в мюзик-холле к себе не приближает. Симпатия, которую я испытываю ко всем моим товарищам по сцене, никому не отдавая предпо-

чтения и никак ее не выражая, возрастала за эти три года по мере того, как я их лучше узнавала.

Артисты кафешантана… Как плохо их знают, как все их незаслуженно чернят, как никто не хочет их понять! Наивные фантазеры, неукротимые честолюбцы, они исполнены нелепой старомодной веры в Искусство. Только они, последние из актерской братии, смеют еще утверждать со священным трепетом в голосе:

— Артист не должен… Артист не может принять… Артист никогда не согласится…

Да, слов нет, они горды, потому что, если у них и срывается с языка «Ну, и гнусная же профессия!» или «Вот проклятая жизнь!», я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь прошептал: «Я несчастен…»

Они горды и готовы на то, чтобы существовать для мира только один час из двадцати четырех часов суток! Ведь несправедливая публика, даже если она им аплодировала, тут же их забывает. Какая-нибудь газета может с нескромной настойчивостью день за днем следить за жизнью мадемуазель Икс из Комеди Франсез, и ее высказывания по поводу моды, политики, кухни и любви будут еженедельно развлекать миллионы бездельников во всем мире. Но вот вы, бедный

милый Бути, такой умный и нежный, кому придет в голову поинтересоваться, что вы делаете, о чем думаете, о чем молчите, когда вас поглощает полночная тьма, и вы торопливо шагаете по бульвару Рошешуар, такой тощий, чуть ли не прозрачный, в вашем долгополом пальто в английском вкусе, купленном на распродаже в «Самаритене»?

Уж в который раз перемалываю я в мыслях своих все эти невеселые вещи. А мои пальцы тем временем делают свою обычную работу: жирный белый тон, жирный розовый, пудра, румяна, коричневые тени, красные, черные… Едва я кончаю гримироваться, как слышу, что острые когти скребут дверь моей уборной. Я тут же ее отворяю, потому что узнаю настойчивую лапу маленького барбасонского терьера, который «работает» в первом отделении нашего спектакля.

— Это ты, Нелли?

Она входит уверенная, серьезная, словно секретарша, пользующаяся доверием начальства, и милостиво разрешает погладить свою шерсть на ребрах, все еще вздрагивающую после выступления, в то время как ее зубы, пожелтевшие от возраста, разгрызают сухое печенье. У Нелли рыжая лоснящаяся шерсть, и черная обезьянья

мордочка, и блестящие красивые беличьи глаза.

— Дать еще печеньице, Нелли?

Хорошо воспитанная, она соглашается без улыбки. В коридоре Нелли ожидает ее семья. Она состоит из высокого поджарого господина, молчаливого и непроницаемого, который никогда ни *с кем не* перекинется словом, и двух светлых колли, хорошо воспитанных и очень похожих на своего хозяина. Откуда взялся этот человек? Какие дороги привели сюда его и этих собак, похожих на трех разорившихся князей? Жест, которым он снимает шляпу и кланяется, изобличают в нем светского человека, так же как и его резко очерченное продолговатое лицо… Мои товарищи, которые все подмечают, за глаза называют его «великим князем».

Он терпеливо ждет в коридоре, пока Нелли справится с крекером. Нет ничего более печального, более достойного и более надменного, нежели этот человек и его три собаки, горделиво принявшие свою судьбу странников.

— Прощай, Нелли!

Я притворяю дверь и прислушиваюсь к удаляющемуся стуку когтей по доскам пола… Увижу ли я ее еще когда-нибудь? Ведь сегодня как раз две недели, как идет наша программа, и, быть может,

заканчивается контракт номера «Антоньев и его собаки». Куда они теперь направятся? Где будут блестеть красивые карие глаза Нелли, которые мне как бы говорят: «Да, ты меня гладишь… Да, ты меня любишь… Да, у тебя есть для меня пачка крекеров… Но завтра или там послезавтра мы уедем. Не жди от меня ничего, кроме простой вежливости милой собачки, которая умеет ходить на передних лапах и делать сальто-мортале. Нежность, так же как и отдых, и чувство уверенности в завтрашнем дне для нас — недоступная роскошь…»

V

Если небо ясное, то с восьми утра до двух часов дня в окна моей квартирки на первом этаже дома, зажатого, словно скалами, огромными новостройками, попадает солнце. Сперва сверкающий мазок задевает мою кровать, потом он увеличивается, становясь как бы квадратной скатеркой, и тогда перина на моих ногах посылает на потолок теплый розовый отсвет… И я, нежась в постели, жду, чтобы солнце доползло до моего лица и ослепило бы меня сквозь прикрытые ресницы, и тогда тени прохожих за окном

скользят по мне, словно синие крылья. А потом я либо вскакиваю с постели, заряженная энергией утра, чтобы начать лихорадочно обихаживать мою собаку, мыть ей уши и расчесывать жесткой щеткой ее шерсть, чтобы она блестела… Либо пристрастно разглядываю в неподкупном свете дня огорчительные знаки, которые уже запечатлелись на моем лице: сухой муар век, горькие складки, появляющиеся в уголках рта, когда я улыбаюсь, и тройной ряд морщинок вокруг шеи, называемый ожерельем Венеры, который чья-то незримая рука с каждым днем прорезает все глубже и глубже.

Этот придирчивый осмотр и прервал сегодня своим появлением мой партнер Браг, как всегда, оживленный, серьезный и наблюдательный. Я принимаю его безо всяких церемоний, словно у себя в гримуборной, накинув лишь крепоновое кимоно, к тому же разукрашенное в один из дождливых дней отпечатками лап Фасетты в виде четырехлепестковых сероватых цветков… Для Брага мне не надо ни пудрить нос, ни увеличивать синей чертой разрез моих глаз… Браг глядит на меня только во время репетиций, чтобы сказать: «Не делай этого жеста, это не изящно… Не запрокидывай голову с раскрытым ртом, ты

становишься похожей на рыбу… Не моргай глазами, как белая крыса… Не верти задом, ты же не кобыла…»

Пусть не первым шагом, но первым своим движением на сцене я уж во всяком случае, обязана Брагу, и если я до сих пор исполнена к нему доверия ученицы, то и он не упускает случая напомнить мне, что я всего лишь способная любительница. Иными словами, он всегда проявляет нетерпимость в споре со мной, ему важно настоять на своем. Вот он входит, привычным движением приглаживает волосы на затылке, словно поправляет парик, и так как его свежевыбритое каталонское лицо выражает заинтересованную серьезность, столь для него характерную, я не могу понять, *с* доброй ли он пришел вестью или с дурной… Он разглядывает солнечное пятно, как драгоценный предмет, затем поворачивается к окнам и спрашивает:

— Сколько ты платишь за этот первый этаж?

— Я тебе уже говорила: тысячу семьсот.

— И в доме к тому же лифт!.. Шикарное солнце, можно подумать, что мы в Ницце!.. Но я ведь пришел по делу: у нас появилась халтура.

— Когда?

— Когда? Сегодня вечером.

— Ой!

— Что за «ой!»? Ты не довольна?

— Нет-нет! Будем играть нашу пантомимку?

— Никакой пантомимки. Выступление слишком ответственное. Ты будешь танцевать, а я покажу им своего «Пьеро-неврастеника».

Я вскакиваю со стула, всерьез разволновавшись.

— Я не могу танцевать. К тому же я потеряла в Эксе ноты. И девчонка, которая мне аккомпанирует, куда-то переехала… Вот дня через два…

— Это исключено, — невозмутимо отвечает Браг. — У них должна была выступать Бадэ, но она заболела.

— Ну вот, только этого не хватало. Мы что, для всякой бочки затычки? Показывай своего Пьеро, если хочешь, я танцевать не буду.

Браг не спеша закуривает и роняет всего два слова:

— Пять сотен.

— На двоих?

— Нет, тебе. И мне столько же.

Пять сотен!.. Четверть моей квартплаты. Браг курит, не глядя на меня, — он знает, что я соглашусь.

— Пять сотен — это конечно… А в котором

часу?

— В полночь, разумеется… Так что поторапливайся, чтобы найти ноты и прочее… Ясно? Ну, пока, до вечера… Ах да, ведь Жаден вернулась!..

Я снова отворяю дверь, которую он прикрыл за собой.

— Не может быть! Когда?

— Вчера вечером, ты только ушла… Ну и рожа у нее!.. Впрочем, сама увидишь, ее взяли назад… Тысяча семьсот, говоришь?.. Позавидуешь! И на каждом этаже живут женщины!

Он уходит, как всегда, серьезный и оживленный.

Халтура… Выступление в частном доме. Эти три слова ввергают меня в ужас. Я не смею сказать этого Брагу, но себе я в этом признаюсь, поглядев в зеркало — у меня и вправду похоронный вид, и трусливые мурашки бегут по спине…

Вновь *их* увидеть… Тех, с кем я так резко порвала. Которые некогда звали меня «мадам Рене», как бы нарочно не желая присвоить мне имя моего мужа. Вновь увидеть этих мужчин и этих женщин! Особенно женщин, которые обманывали меня с моим мужем или знали, что я обманута… Прошло время, когда я в каждой женщине видела любовницу Адольфа, нынешнюю или будущую,

мужчины же никогда не внушали мне никаких опасений, для этого я была слишком влюбленной женой. Но я сохранила с тех времен дурацкий страх перед гостиными, где я могу встретить свидетелей или соучастников моих бывших страданий…

Предстоящее вечером выступление портит мне завтрак с моим старым верным и наивным другом Амоном, уже вышедшим из моды художником, который время от времени навещает меня, и мы вместе едим макароны… Мы почти не разговариваем, он сидит, то и дело откидывая на спинку глубокого кресла свою тяжелую голову — голову больного Дон Кихота, — а после завтрака мы играем в особую жестокую игру — мучаем друг друга. Он вспоминает Адольфа Таиланди — не для того, чтобы меня огорчать, но чтобы оживить то время, когда он, Амон, был счастлив. А я говорю с ним о его молоденькой злючке жене, на которой он женился в минуту безумия и которая бросила его месяца через четыре после свадьбы, сбежав уж не помню с кем…

Мы позволяем себе провести в таких печальных беседах несколько часов, после чего чувствуем себя исчерпанными, постаревшими, на лицах наших появляются глубокие складки, рот пере-

сыхает, потому что мы говорим друг другу только то, отчего можно прийти в отчаяние, и, расставаясь, клянемся больше никогда так не терзать друг друга… Однако в следующую субботу мы снова встречаемся у меня за столом, радуемся, что мы опять вместе, но тут же выясняется, что мы неисправимы: Амон вспоминает давнюю сплетню про Адольфа Таиланди, а я, в свою очередь, чтобы довести до слез моего лучшего друга, вытаскиваю из ящика любительский снимок, на котором стою об руку с молоденькой мадам Амон, белокурой, агрессивной, прямой, как змея, поднявшаяся для удара… Однако сегодня наш завтрак не клеится. А ведь Амон, оживленный и озябший, принес мне изумительные грозди темного винограда, какие бывают только в декабре, и каждая виноградина цвета сливы, словно маленький бурдючок, полна сладостного прозрачного нектара. Вот только это проклятое предстоящее выступление в частном доме с утра портит мне настроение.

В четверть первого ночи мы с Врагом приезжаем на авеню дю Буа. Роскошный особняк, — как там, наверное, величественно скучают… Импозантный швейцар проводит нас в «гостиную для артистов» и предлагает мне помочь снять пальто, но получает резкий отказ: неужели он думает,

что я, задрапированная всего лишь несколькими метрами тончайшего газа, скрепленного на плече скарабеем, с четырьмя нитками бус на шее, буду ждать своей очереди развлекать этих господ?

Воспитанный куда лучше меня, швейцар не настаивает и оставляет нас одних. Браг потягивается, глядя на себя в зеркало — с намеленным лицом и в широченной блузе он кажется бестелесным духом… Он тоже не любит выступать в частных домах. Не то что ему не хватает, как мне, «огней рампы», отделяющих артистов от публики, но он невысоко ставит «клиентов» из частных гостиных и возвращает светским зрителям долю того презрительного равнодушия, которое они проявляют к нам, артистам.

— Подумать только! — восклицает Браг. — Эти люди не в состоянии правильно написать моей фамилии, — и он протягивает мне картонную карточку. — Видишь, они называют меня Брань в своей программке!

И в самом деле обидевшись, он исчезает за зеленой портьерой, поджав кроваво-красные губы, потому что другой слуга, не менее импозантный, чем швейцар, очень вежливо пригласил его на выход, тоже исказив его имя.

Через четверть часа настанет мой черед… Я гля-

жусь в зеркало и нахожу себя уродливой, может, из-за того, что тут нет резкого электрического света, к которому я привыкла в своей гримуборной, — он окутывает стены, как бы промывает зеркала, высветляет грим и придает бархатистость лицу… А вдруг место для выступления не покрыто ковром? Хоть бы они раскошелились, как говорит Браг, на какое-нибудь подобие рампы… Этот парик Соломен сжимает мне виски и усиливает мигрень. Мне зябко…

— Твой черед, старуха! Иди продавать свой талант.

Едва войдя в гостиную, Браг тут же принимается стирать с лица слой белил, исчерченный бороздками струящегося пота. Продолжая говорить, он надевает пальто:

— Все там из высшего общества, это ясно. И сидят тихо. Переговариваются, конечно, вполголоса и громко не смеются… На, возьми два пятьдесят, моя доля за такси… Я ухожу.

— Ты меня не подождешь?

— Нам все равно в разные стороны. Ты в Терн, а я на Монмартр. А кроме того, у меня завтра в девять утра урок… Спокойной ночи, до завтра.

Ну, все! Пошла!.. Моя жалкая, рахитичная пианисточка уже сидит за инструментом. Чуть

дрожащей от волнения рукой я поправляю сине-лиловую легчайшую ткань, которой я как бы спеленута. Пятнадцать метров газа, это и есть мой костюм…

Сквозь тонкую газовую сетку, в которую я поймана, я сперва вообще ничего не вижу. Мои чуткие босые ноги касаются жесткого шерстяного ворса настоящего персидского ковра…

Увы, рампы нет…

Короткое музыкальное вступление пробуждает и заставляет встрепенуться голубоватую куколку бабочки, которую я изображаю, музыка расковывает меня. Мало-помалу обволакивающая меня ткань разматывается, наполняется воздухом, взлетает, плавно опускается мне на плечи, и я предстаю почти обнаженной перед сидящими в зале, которые прервали свою бешеную болтовню, чтобы меня получше разглядеть…

Я их вижу, вижу помимо своей воли. Танцуя, изгибаясь, вертясь, я их вижу и узнаю!..

В первом ряду женщина, еще довольно молодая, которая длительное время была любовницей моего бывшего мужа. Она не ждала увидеть меня сегодня, а я давно уже не думала о ней… Ее огромные синие глаза, единственно, что в ней было красивого, полны недоумения и страха… Не меня

она боится, но мое внезапное появление резко вернуло ее в прошлое — она столько страдала из-за Адольфа, готова была все бросить ради него, устраивала бурные сцены с рыданьями и криками, собиралась убить своего мужа и меня, бежать с Адольфом. Но он уже не любил ее, она была ему в тягость. Он заставлял меня проводить с ней целые дни с просьбой, да что я говорю, с просьбой, с приказом! — вернуться не раньше семи вечера. Нельзя себе представить более удручающего времяпрепровождения, чем эти прогулки — две обманутые женщины, которые друг друга ненавидят. Случалось иногда, что эта несчастная принималась рыдать, и я безжалостно глядела на ее слезы, гордясь тем, что сдерживаю свои…

И вот она — в первом ряду. Стульями заняли все свободное пространство, и она сидит так близко от меня, что я могла бы, будто в насмешку, коснуться рукой ее белокурых волос — она теперь красится, потому что сильно поседела. Она заметно сдала за эти четыре года и глядит на меня с ужасом. Сквозь меня она прозревает свой грех, свое отчаяние, свою любовь, которая, быть может, уже умерла.

Я узнаю и сидящую за ней женщину… и еще одну. Они обе приходили ко мне пить чай каж-

дую неделю, когда я была замужем. Возможно, они тоже спали с моим мужем. Впрочем, это не имеет значения… Ни одна из них не подает виду, что мы знакомы, но мне ясно, что они меня узнали, потому что одна изображает рассеянность и тихо, но нарочито оживленно разговаривает со своей соседкой, другая демонстративно подчеркивает свою близорукость, а третья усиленно обмахивается веером и, покачивая головой, безостановочно шепчет:

— Как жарко, как жарко!..

С тех пор как я порвала с этими фальшивыми подругами, они все изменили свои прически… Теперь они причесаны по новой моде — волосы шапкой прикрывают уши и подхвачены лентой или металлическим обручем, что придает этим женщинам вид выздоравливающих больных с немытыми головами… Не видно больше милых затылков — ведь волосы больше не зачесывают кверху, ни нежных висков, вообще ничего не видно, кроме маленьких мордочек — челюсть, подбородок, рот, нос, — и поэтому они все стали теперь похожи на каких-то зверюшек… Вдоль стен зала и в глубине, за рядами стульев, темная линия стоящих мужчин. Они устремлены вперед с тем острым любопытством и ленивой галант-

ностью, которые светский человек испытывает к женщине по слухам «деклассированной», которой они прежде почтительно целовали кончики пальцев в ее гостиной, а теперь она, полуголая, танцует перед ними…

Ну, хватит! Что-то я сегодня слишком ясно все вижу, и если не возьму себя в руки, то вконец испорчу свой танец… И я танцую, только танцую… Вот прекрасная змея свивается в кольцо на персидском ковре, вот египетский кувшин наклоняется, проливая поток душистых волос, вот собирается и возносится грозовая синяя туча, вот хищный зверь рвется вперед, замирает, настороженно изогнувшись, вот сфинкс цвета белого песка лежит, опершись локтями о пол, и напряженная грудь покоится между лапами. Я беру себя в руки и ничего не упускаю. Танцуй! Танцуй! Да разве эти люди в зале существуют? Нет, реальны только танец, свет, свобода, музыка… Ритмом передать свою мысль, выразить ее в красивых жестах. Одно мое ничем не стесненное движение, разве его недостаточно, чтобы посрамить эти плотные тела, затянутые в жесткие корсеты, оскорбленные модой, которая непременно требует худобы?

Но есть и более увлекательное занятие, неже-

ли их унижать. Я хочу хоть на мгновение их покорить! Еще одно небольшое усилие: уже головы сидящих в зале, тщательно причесанные, украшенные драгоценностями, послушно поворачиваются вслед за мной. Сейчас погаснет в их глазах мстительный пламень, эти очарованные звери покорятся мне и улыбнутся…

Танец окончен, аплодисменты и негромкий шум прерывают возникшее очарование. Я исчезаю, чтобы тут же вернуться на поклоны и одарить всех улыбкой… В самом конце этой большой гостиной я замечаю мужчину, который, жестикулируя, кричит «браво!». Мне знакомы и этот голос, и эта высокая темная фигура.

Да ведь это же как будто тот тип, что приперся ко мне в гримуборную… Долговязый мужлан!.. Все сомнения на этот счет разом рассеиваются, потому что он, потупив глаза, входит в гостиную для артистов, где кроме меня находится и моя аккомпаниаторша. Он не один, его сопровождает другой долговязый мужлан, по повадке судя — хозяин дома.

— Мадам, — приветствует он меня.

— Мосье…

— Разрешите мне поблагодарить вас за то, что вы согласились принять участие… и выразить

вам наше восхищение…

— Да полноте, мосье…

— Я — Анри Дюферейн-Шотель.

— Весьма рада…

— А это мой брат, Максим Дюферейн-Шотель, который жаждет быть вам представлен.

Мой вчерашний Долговязый Мужлан снова кланяется и ухитряется схватить для поцелуя мою руку, которой я придерживаю свой синий газовый шлейф… Он стоит молча и явно чувствует себя куда менее уверенно, нежели накануне в моей гримуборной…

Тем временем Дюферейн-Шотель № I смущенно мнет в руках запечатанный конверт.

— Я… Должен ли я передать это господину Саломону, вашему импресарио, или, быть может, непосредственно вам?..

Дюферейн-Шотель № 2, ставший вдруг пунцовым, несмотря на смуглость кожи, метнул на брата гневный взгляд, и в этот момент оба оказались удивительно похожими друг на друга.

Чего же тут смущаться? Я весело прихожу им на помощь:

— Мне, мосье, просто мне! Давайте сюда ваш конверт, или лучше суньте его в мои ноты, потому что, признаюсь вам, костюм, в котором я

танцую, не имеет карманов!..

Оба хохочут с облегчением, по-мальчишески, а я, отклонив лукавое предложение Дюферейн-Шотеля № 2, который пугает меня хулиганами в районе площади Терн, возвращаюсь домой одна, радостно сжимая купюру в пятьсот франков, и ложусь спать.

VI

Чтобы опустить руку в ящик для записок артистам, висящий на стенке у входа в мюзик-холл, где билетеры проверяют билеты, я вынуждена потревожить красивого «кота» в кепке — этакого типичного представителя тех уличных молодцов, которыми кишмя кишит район вокруг «Ампире-Клиши». Хотя благодаря рисункам, карикатурам, театрам и кафешантанам уже давным-давно высмеян внешний облик сутенеров, они по-прежнему остаются верны своим свитерам, цветным сорочкам без воротничков, кепкам, пиджакам, кокетливо обтягивающим ягодицы из-за того, что руки всегда засунуты в карманы, прилипшим к губам погасшим окуркам и домашним туфлям на войлочной подметке, чтобы неслышно ступать… По субботам и воскресеньям эти господа

наполовину заполняют наш зал, теснятся на балконе, а кое-кто из них раскошеливается на лишние два франка двадцать пять сантимов, чтобы заранее приобрести билеты у самой рампы. Это наши верные и страстные поклонники. Они вступают в разговоры с артистами, шикают, освистывают, устраивают овации и умеют бросить двусмысленное словечко или выкрикнуть явную непристойность, которые будоражат весь зал.

Бывает, они просто пьянеют от своего успеха, и тогда поднимается невесть что. С одной стороны балкона на другую идет переброска известными шутками на самом что ни на есть площадном жаргоне, потом все начинают орать как полоумные и швырять друг в друга тем, что попадется под руку, и тогда тут же появляется наряд полиции... Артисту, исполняющему в это время свой номер, надлежит скромно выжидать с нейтральным выражением лица окончания этого безумия, иначе все апельсинные корки, скомканные программки и мелочь изменят свое направление и полетят на сцену. Из соображения элементарной безопасности артисту нельзя продолжать петь свою прерванную песню.

Но это, повторяю, лишь краткие вспышки, перепалки, которые случаются только в субботние

и воскресные вечера. Служба порядка очень хорошо поставлена в «Ампире-Клиши», где во всем чувствуется твердая рука госпожи директрисы — Хозяйки!

Энергичная брюнетка, вся в драгоценностях, она восседает в эту пятницу, как и каждый вечер, за конторкой возле билетеров. От ее блестящих, шустрых глаз ничто не ускользает, и служители, убирающие зрительный зал, ни за что бы не рискнули оставить невыметенными даже самые темные углы. В этот момент взгляд ее ужасных глаз испепеляет крепко скроенного мужчину, по виду — настоящего бандита, пришедшего, чтобы зарезервировать на субботу свое излюбленное место в центре первого ряда балкона, напротив сцены, одно из тех плетеных кресел, в котором можно расположиться, так сказать, по-жабьи, подавшись вперед, облокотившись о барьер и уперев подбородок в сложенные кисти рук. Хозяйка решительно отказывает ему, но без лишнего шума, с видом истинной укротительницы диких зверей.

— Забирай свои сорок пять су, и чтобы духа твоего здесь не было!

Крепыш, беспомощно уронив руки, стоит перед ней, покачиваясь, как медведь:

— Это почему же, мадам Барне? Что я такого сделал?

— И ты еще спрашиваешь: «Что я такого сделал?» Думаешь, я не видела тебя в прошлую субботу? Ведь это ты сидел на первом кресле балкона, так или не так?

— Ну, сидел…

— И это ты встал во время пантомимы и закричал: «Она показывает только одну сиську, а я заплатил за билет две монеты, по одной за каждую!» Так или не так?

Крепыш, красный как рак, прижимая руку к сердцу, пытается оправдаться:

— Ну, я… Но, мадам Барне, поверьте, я умею себя вести. Ну, поверьте, мадам Барне, я знаю, что так поступать нехорошо!.. Я обещаю, мадам Барне, что больше я…

Королева «Ампире» безжалостно взмахивает десницей.

— Ты мне не запудривай мозги! Я ведь тебя видела, верно? Этого довольно. Раньше, чем через неделю, билета тебе не будет. Кому говорю, спрячь свои сорок пять су и не появляйся здесь до следующей субботы или воскресенья. А теперь — марш отсюда!

Сцена изгнания крепыша, наказанного на

восемь дней, стоит того, чтобы я потеряла еще несколько минут. Ссутулившись, он выходит, бесшумно ступая своими войлочными подметками, и только на улице его физиономия обретает свое привычное наглое выражение. Но видно, что душа у него ни к чему не лежит, походка его унылая, и на некоторое время нет разницы между этой опасной тварью и ребенком, оставленным без сладкого.

На железной лестнице, ведущей в гримуборные, вместе с теплым воздухом от калорифера, отдающим сырой известкой, углем и почему-то нашатырным спиртом, до меня то внятно, то невнятно доносится пенье Жаден. Ах, эта маленькая дрянь, она все-таки вернулась к своей публике и снова овладела ею! Стоит только послушать, как громовые волны хохота прокатываются по залу, как захлестывает сцену одобрительный гул ей в поддержку.

Ее теплое, чуть с хрипотцой контральто, уже потускневшее от кутежей, а быть может, и от начала туберкулеза, расплавляет сердца публики самым низменным и безотказным путем. Забреди случайно какой-нибудь знаменитый антрепренер, «весьма дальновидный и тонкого художественного вкуса» в наш вертеп, он тут же

воскликнул бы, услышав пенье Жаден:

— Я беру ее, создаю ей рекламу, и вы увидите, что я из нее сделаю через три месяца!

Самовлюбленную и озлобленную неудачницу — вот что он из нее сделает… Опыты такого рода обычно не сулят ничего хорошего: где она, наша плохо причесанная Жаден, могла бы ярче блистать, чем здесь?

Вот она уже спускается по лестнице, ей-богу, точно такая же, какою удрала отсюда, — чересчур длинное платье, подол которого изодран каблуками ее туфель, пожелтевшая от несущегося из зала табачного дыма, косынка а ля Мария-Антуанетта, кое-как прикрывающая ее юную тонкую шею с торчащими ключицами, приподнятое плечико и дерзкий рот со вздернутой верхней губой, нежный пушок которой превратился от слоя дешевой грубой пудры в некое подобие усиков…

Я испытываю настоящую радость, что снова вижу ее, эту уличную девчонку с вульгарной речью. Она тоже прямо скатывается с последних ступенек лестницы, чтобы кинуться ко мне и схватить мои руки своими горячими лапками: ее многодневный «загул» нас странным образом как-то сблизил…

Она идет за мной в мою гримуборную, и там

я позволяю себе выразить ей весьма сдержанно свое осуждение:

— Я не нахожу слов, Жаден, это просто отвратительно! Разве так можно бросать своих товарищей!

— Я ездила к матери, — говорит Жаден с самым серьезным видом.

Но в зеркале она видит, что у нее выражение лица лгуньи, и ее разбирает смех, ее детская мордочка становится круглой и собирается в складки, как у ангорских котят.

— Да кто мне поверит!.. Тут, наверно, без меня сдохнуть можно было от скуки!

Она так и сияет от наивного тщеславия, и в глубине души удивлена, что во время ее отсутствия «Ампире-Клиши» не закрылось…

— А я не изменилась, верно?.. Ой, какие красивые цветы! Разрешите?

И ее цепкие пальцы воровки, когда-то ловко хватавшие апельсины с рыночных лотков, вытаскивают большую темно-красную розу прежде, чем я успеваю распечатать маленький конвертик, приколотый к огромному букету, который ждал меня на гримировальном столике:

Максим Дюферейн-Шотель
в знак глубокого уважения.

Дюферейн-Шотель! Так вот, оказывается, какая фамилия у Долговязого Мужлана. С того вечера, как мы выступали в их особняке, я, ленясь открыть справочник «Весь Париж», в мыслях называла его то Тюро-Данген, то Дюжарден-Бомец, то Дюге-Труин…

— Вот это клевые цветы! — восклицает Жаден, пока я раздеваюсь. — Это от вашего друга?

Я протестую с ненужной искренностью:

— Нет, нет! Это в знак благодарности… за один вечер…

— Как жалко, — говорит Жаден со знанием дела. — Это цветы от человека из хорошего общества. Тот тип, с которым я проваландалась все эти дни, тоже дарил мне такие…

Я не в силах не расхохотаться — Жаден, рассуждающая о качестве «цветов» и «типов», неповторима… Она краснеет под осыпающейся, словно мука, дешевой пудрой и обижается.

— Чего это вы ржете? Небось думаете, я свищу, что это был мужчина из общества? Спросите-ка лучше у машиниста сцены, у Каню, сколько монет я принесла вчера вечером! Вы только-только ушли.

— Сколько?

— Тысячу шестьсот франков, дорогуша! Это не

брехня, спросите у Каню, он их видел.

Выражает ли мое лицо изумление? Сомневаюсь…

— А что вы будете с ними делать, Жаден?

Она беспечно вытягивает нити из обтрепанного подола своего старого сине-белого платья:

— В кубышку не положу, это уж точно! Позвала в кафе всех рабочих сцены. Пятьдесят дала Мириам, чтобы она купила себе новую тряпку, она попросила в долг. А потом и другая подружка, и третья, стали плакаться, что они без гроша… Может, и правда… А, вот и Бути пришел! Привет, Бути!

— А, загульная, явилась! Привет!

Бути, галантно убедившись, что я уже в кимоно, отворяет дверь моей гримуборной и, тряся протянутую Жаден руку, повторяет «привет — привет». Жесты его высокомерны, а голос нежный… Но Жаден тут же забывает о нем и, стоя за моей спиной, продолжает говорить, обращаясь к моему отражению в зеркале:

— Поймите, мне просто тошно иметь *столько денег!*

— Но… Вы купите себе новые платья… Хотя бы одно, чтобы заменить вот это.

Она откидывает тыльной стороной руки легкие

прямые волосы, которые распадаются на пряди.

— Да что вы! Это платье еще вполне послужит до постановки ревю. И что *они* скажут, увидев, что я бегаю на сторону, чтобы зашибить деньгу, и возвращаюсь сюда в пижонских платьях!..

Она права. *Они* — это *ее* знаменитая здешняя публика, требовательная, ревнивая, которой она вроде бы изменила и которая готова ей это простить, но только, если она вновь появится точно так же плохо одетой и плохо обутой и будет по-прежнему выглядеть дешевой уличной девчонкой. Короче говоря, она должна быть точь-в-точь такой, какою была до побега, до своего проступка… Помолчав немного, Жаден снова начинает болтать, она явно в своей тарелке, несмотря на мрачное, напряженное молчание Бути:

— Я, знаете, купила себе то, что мне было больше всего нужно: шляпу и муфту *с* шарфом. Но вы бы видели, какую шляпу! Я вам потом ее покажу… Ну, пока! Бути, ты остаешься?.. Учти, Бути, я теперь богатая. Я могу купить тебе все, что захочешь!

— Это слишком мало для меня, спасибо.

Бути ведет себя подчеркнуто холодно, всем своим видом выражая неодобрение. Если бы я

сказала вслух, что он любит Жаден, я стала бы всеобщим посмешищем. Поэтому ограничусь тем, что буду так думать.

Бути вскоре уходит, и я остаюсь одна с букетом роз, большим, но вполне заурядным букетом, стянутым светло-зеленой лентой… Иного букета и не мог преподнести Долговязый Мужлан, а ведь именно таков мой новый поклонник!

«В знак глубокого уважения»… За последние три года я получала немало таких «знаков», признаюсь в этом со всей откровенностью, но никакого «уважения» я в них не замечала. И все же эти «знаки» почему-то тайно тешили мою еще неутраченную наследственную буржуазность, словно за ними не таилось, каким бы «уважением» они ни прикрывались, одно намерение, всегда одно и то же.

В первом ряду партера я, несмотря на свою близорукость, замечаю господина Дюферейна-Шотеля-младшего. Он сидит прямо, словно аршин проглотил, с серьезным выражением лица, а его черные волосы блестят, как шелк цилиндра. Обрадовавшись тому, что я его увидела и узнала, он безотрывно следит за всеми моими движениями на сцене, поворачивая голову на собачий

манер, вроде Фасетты, которая вот так глядит на меня, когда я одеваюсь, чтобы уйти из дому.

VII

Идут дни. Ничего не меняется в моей жизни, кроме того, что появился человек, который терпеливо выслеживает меня.

Миновали рождество и Новый год. Шумное, лихорадочное веселье сотрясало наш кафешантан в рождественскую ночь. Больше половины зрителей были пьяны и все как один орали. С авансцены, где сидели дамы в сверкающих блестками платьях, швыряли на галерку мандарины и двадцатисантимовые сигары. Жаден, которая еще с утра набралась, перепутала текст песни и принялась лихо отплясывать какой-то дикий танец, задирая юбку так, что были видны во всю длину чулки со спущенными петлями, а растрепавшиеся волосы шлепали ее по спине… Это был и вправду очень веселый вечер, а хозяйка нашего заведения с величественным видом восседала в своей ложе и мысленно подсчитывала королевскую выручку, не спуская при этом глаз с бокалов на откидных столиках, привинченных к спинкам кресел…

Браг тоже напился как следует, в нем вдруг взыграла какая-то скабрезная фантазия, он скакал за кулисами, будто маленький черный похотливый козел, а потом в своей гримуборной сымпровизировал монолог человека, мучимого эротическими галлюцинациями. Он потешно отбивался от преследовавших его демонов, выкрикивая: «Ой, нет, хватит!.. Оставь меня!..» или: «Только не так, только не так!.. Ну, ладно уж, один разок!..» и сопровождал это вздохами и стонами, словно его вконец истерзал сладострастный бес.

Что же до Бути, то он, скорчившийся от желудочных спазм, то и дело прикладывался к бутылке с подогретым голубоватым молоком…

Вместо рождественского ужина я съела прекрасный виноград, выращенный в теплице, который принес мой старый друг Амон. Мы отпраздновали рождество вдвоем с Фасеттой — она грызла конфетки, присланные Долговязым Мужланом, а я боролась со своего рода ревностью — чувством, похожим на горе ребенка, которого забыли пригласить на елку…

А что бы я, собственно говоря, хотела? Ужинать с Врагом, или с Амоном, или с Дюферейн-Шотелем? Бог ты мой, конечно, нет! Так что же? Я не лучше и не хуже других, и бывают минуты, когда

мне хочется запретить людям веселиться в то время, как я тоскую…

Мои друзья, настоящие, верные, такие, как Амон, — об этом стоит сказать — все — неудачники, все живут в печали. Может быть, нас всех связывает что-то вроде «солидарности несчастья»? Нет, я так не думаю.

Мне скорей кажется, что я привлекаю и удерживаю возле себя меланхоликов, людей одиноких, обреченных на отшельническую жизнь либо на бродячую, вроде меня… Людей, похожих друг на друга…

Я пережевываю эти пустяковые мысли, возвращаясь после визита к Марго.

Марго — это младшая сестра моего бывшего мужа. С детства она мрачно откликается на это забавное уменьшительное имя, которое подходит ей как корове— седло. Она живет одна, и всем своим обликом — седеющими, коротко стриженными волосами, блузой с русской вышивкой и длинным черным жакетом — удивительно похожа на нигелистку.

Разоренная мужем, угнетаемая братом, обобранная своим поверенным в делах и обворованная слугами, она ушла в какую-то мрачную безмятежность, проявляющуюся одновремен-

но и в неизбывной доброте, и в молчаливом презрении к миру. По укоренившейся издавна привычке ее обкрадывать, окружающие продолжают общипывать ее ренту, и она, как правило, не препятствует этому, но иногда ее вдруг охватывает бешенство, и тогда она выбрасывает на улицу свою кухарку из-за какой-нибудь жалкой морковки, из-за обсчета в десять франков.

— Я не против, чтобы меня обворовывали, — кричит Марго, — но пусть это делают хоть элегантно.

Потом она на долгое время вновь замыкается в своем высокомерном презрении к окружающим.

В годы моего замужества я мало знала Марго, которая всегда была холодна, учтива и малословна. Ее сдержанность не поощряла моей откровенности.

Однако в тот день, когда мой разрыв с Адольфом стал уже окончательным, она выставила из своего дома, очень вежливо, без лишних слов, моего изумленного мужа и с тех пор больше с ним никогда не виделась. Так я узнала, что в лице Марго приобрела союзницу, друга и поддержку — ведь это она ежемесячно дает мне те триста франков, которые оберегают меня от нищеты.

— Прими их, не упирайся, — сказала мне Мар-

го. — Ты не причинишь мне никакого урона. Это те десять франков, которые ежедневно выцыганивал у меня Адольф!

Конечно, я не найду у Марго ни утешения, ни той веселой атмосферы, которую мне рекомендовали для исцеления. Но Марго несомненно любит меня на свой лад, правда, обескураживающий, выражающий ее отчаяние и порой приводящий в отчаяние и меня, особенно, когда она предрекает мне печальный колец.

— Тебе, дочь моя, — сказала она мне сегодня, — здорово повезет, если ты снова не влипнешь в историю с каким-нибудь господином в духе Адольфа. Ты создана, чтобы тебя сожрали, точь-в-точь как я. Ну, что я, как дура, проповедую тебе, все равно вернешься на круги своя — сколь волка ни корми, он все в лес смотрит. Ты ведь из тех, для кого одного Адольфа мало, опыт тебя ничему не учит.

— Я не перестаю вам удивляться, Марго, всякий раз все та же обвинительная речь, — ответила я ей со смехом. — «Ты такая, ты сякая, ты из тех, кто… из тех, которые…» Дайте мне сперва согрешить, а уж потом будете на меня сердиться.

Марго кинула на меня один из тех взглядов, которые делают ее такой значительной, — она

как будто взирает на тебя с какой-то недосягаемой высоты!

— Я не сержусь на тебя, дочь моя. И не буду на тебя сердиться, когда ты согрешишь, как ты это называешь. Но только тебе будет очень трудно не совершить глупости, потому что есть только одна глупость: начать все сначала… Кто-кто, а уж я это знаю… И при этом, — добавила она со странной улыбкой, — я ведь никогда не знала волнений страсти…

— Так что же мне делать, Марго? Что вы осуждаете в моей нынешней жизни? Должна ли я, как вы, отгородить себя от мира из страха пережить еще большее несчастье и, как вы, отдавать свое сердце только гладкошерстным терьерам брабасонской породы?

— Нет! Не вздумай этого делать! — воскликнула Марго с детской непосредственностью. — Маленькие брабасонские терьеры! Нету более злых тварей! Вот от этой мерзавки, — и она указала на маленькую рыжую собачку, удивительно похожую на бритую белочку, — я не отходила пятнадцать ночей, когда она болела бронхитом. А если я себе разрешаю хоть на час оставить ее одну дома, то она, представь, делает вид, что не узнает меня, когда я возвращаюсь, и лает до хрипа, будто

я бродяга!.. Ну, а помимо этого, дитя мое, как ты поживаешь?

— Спасибо, Марго, очень хорошо.

— Покажи язык… Теперь глаза… Пульс?

Она оттянула мне веки, уверенной рукой, со знанием дела, сосчитала пульс, словно я была брабасонской собачкой. Ведь мы с Марго знаем цену здоровью, знаем, как страшно его потерять. Жить одной — *с* этим еще можно справиться, к этому можно приноровиться, но болеть одной, дрожать в лихорадке, кашлять по ночам, которым нет конца, плестись на подгибающихся ногах к окну, в которое стучит дождь, а потом уже совсем без сил добрести до постели, смятой, влажной… И все одна, одна, одна!..

В прошлом году, в течение нескольких дней я на себе испытала, как ужасно валяться в постели, метаться в бреду и сквозь затуманенное сознание испытывать мучительный страх умереть вот так, вдали от всех, всеми забытой… С тех пор, по примеру Марго, я старательно лечусь, не забываю, что у меня есть кишечник, желудок, горло, кожа, слежу за их состоянием с маниакальной пристальностью, как хороший хозяин за своим добром… Сейчас я думаю о странном выражении Марго. Она сказала, что «никогда не знала волне-

ний страсти»… А я?

Страсть… Когда-то очень давно, мне кажется, я думала о ней…

Страсть? Вопросы чувственности… Марго как будто считает, что это важно. Лучшая литература, да и худшая, впрочем, тоже, стараются меня убедить, что, когда говорит чувственность, все другие голоса умолкают. Надо ли этому верить?

Браг как-то сказал мне тоном врача:

— Жить так, как ты живешь, вредно для здоровья.

И добавил, как Марго:

— Впрочем, тебе все равно этого не избежать, как и всем остальным, запомни мои слова.

А я не люблю об этом думать. У Брага есть манера все за всех решать и становиться в позу всеведающего… Но слова Брага ничего не значат… Так или иначе, я не люблю об этом думать.

В нашем мюзик-холле я часто присутствую, отнюдь не прикидываясь ханжой, при разговорах, в которых со статистической и анатомической точностью обсуждаются вопросы секса, и я выслушиваю их с тем же отчужденно-уважительным интересом, с которым читаю в газете сообщение о жертвах чумы в Азии. Я готова ужасаться, но все же предпочитаю не вполне верить тому, что

говорят. Так или иначе, я не люблю думать обо всем этом…

А еще есть этот человек — Долговязый Мужлан, который ухитряется… как бы это сказать… жить в моей тени, шагать по моим следам с собачьей преданностью…

В своей гримуборной я нахожу цветы, а Фасетта получает в подарок никелированную мисочку для еды. Дома, на моем письменном столе стоят рядком три крошечных зверька: аметистовая кошка, слоник из халцедона и крошечная жаба из бирюзы. Кольцо из нефрита цвета древесной лягушки соединяло стебли роскошных белых лилий, которые мне вручили первого января… Что-то я чересчур уж часто стала встречать на улице Дюферейна-Шотеля, который всякий раз кланяется мне с наигранным изумлением…

Он заставляет меня слишком часто вспоминать, что существует желание — этот властный полубог, этот выпущенный на волю хищник, который бродит вокруг любви, но не подчиняется ей, — заставляет вспоминать, что я одна, здоровая, еще молодая, даже, пожалуй, помолодевшая за время моего затянувшегося духовного выздоровления…

Чувственность? Да, я не лишена ее… Во вся-

ком случае, она у меня была в те времена, когда Адольф Таиланди снисходил до того, что занимался со мной любовью. Чувственность робкая, обыденная, расцветающая от простой ласки, пугающаяся всяких изысков и полной раскрепощенности… Чувственность, которая медленно возгоралась, но и медленно затухала, одним словом, здоровая чувственность…

Измена и годы страданий усыпили ее. Надолго ли? В дни веселья и бодрого самочувствия я восклицаю «Навсегда!», радуясь своей чистоте, тому, что я не такая женщина, как все…

Но бывают и другие дни, когда я все вижу в истинном свете и жестко говорю сама себе: «Будь начеку! Не расслабляйся ни на миг! Все те, кто пытается к тебе приблизиться, таят в себе опасность. Но злейший враг — это ты сама! Не успокаивай себя, все повторяя, что ты мертва, опустошена, без плоти, зверь, о котором ты забываешь, спит, он как бы зазимовал в тебе, и этот долгий сон лишь придает ему силу…»

Я стараюсь не вспоминать, какой я была прежде, из страха стать *живой. Я* ничего не хочу, ни о чем не сожалею… до грядущего крушения моей доверчивости, до неизбежного кризиса, и я с ужасом предвижу, как снова подкрадется ко мне

печаль и обхватит меня своими мягкими сильными руками, поводырь и спутник всех услад…

Вот уже несколько дней, как мы с Братом начали репетировать новую пантомиму. Там будет лес, пещера, старый троглодит, молодая дриада и фавн в самом расцвете сил.

Фавна изображает Браг, лесную нимфу — я, а что до старого троглодита, то о нем еще думать рано. У него роль эпизодическая, и на нее, говорит Браг, «у меня есть на примете один мой ученик, ему восемнадцать лет, он отлично сыграет доисторического старца!».

С десяти до одиннадцати утра нам разрешили репетировать на сцене мюзик-холла. В это время убранные кулисы и задники обнажают глубину сцены, которая расстилается перед нами во всей своей наготе. Как там печально и тускло, когда я прихожу на репетицию! Я, конечно, без корсета, вместо блузки на мне свитер, а под короткой юбкой черные сатиновые штаны.

Как я завидую Брагу, что он всегда бывает самим собой, собранный, подтянутый, волевой. Я вяло борюсь с холодом, скованностью тела и с отвращением вдыхаю спертый воздух непроветриваемого зала с его запахами вчерашнего пота и кислого пунша. Пианист разбирается в нотах. Я

никак не могу разъять мои сцепленные пальцы, движения мои угловаты, плечи зябко вздернуты, я чувствую себя бездарной, неуклюжей, потерянной…

Браг, привыкший к моей утренней неподвижности, знает секрет, как меня расковать. Он безостановочно одергивает меня, скачет вокруг, словно пес, иногда выкрикивает поощрительные слова, громкие междометия, которые меня подстегивают…

Из зала на сцену несутся клубы пыли — уборщики выметают вместе с прилипшей к коврам уличной грязью все, что осталось на полу со вчерашнего вечера: скомканные бумажки, вишневые косточки, окурки, пепел…

За нами — ведь нам отдана не вся сцена, а лишь незначительная ее часть шириной не больше двух метров — группа акробатов работает на толстом ковре. Эти красивые розовокожие белокурые немцы молчаливы и упорны. На них омерзительные репетиционные трико, и в паузах между номерами, когда они отдыхают, их забавы тоже похожи на акробатические трюки. Двое, например, пытаются с каким-то странным, сонным смехом удержать равновесие в позе, в которой удержать его совершенно немыслимо…

Впрочем, не исключаю, что через месяц они совершат это чудо. Их номер кончается тем, что акробаты с серьезными лицами выстраивают пирамиду, которую венчает самый молоденький из них, мальчуган с личиком девочки и длинными золотистыми локонами. Его подкидывают вверх и ловят, кто на ладонь, кто на стопу. Со стороны кажется, что он просто летает, и локоны этого воздушного существа развеваются то по горизонтали, то вздымаются вверх и трепещут, как пламя над его головой, когда он падает вниз, оттянув носочки и прижав руки к телу…

— Ритм! Держи ритм! — кричит Браг. — Опять не сделала как надо! Ну и репетиция, все мимо денег!.. Неужели так трудно сосредоточиться на том, что делаешь?

Надо признаться, что мне и в самом деле это не легко. Над нами на трех трапециях сейчас летают гимнасты, издавая резкие крики, словно ласточки… Сверкают никелированные трапеции, скрипят наканифоленные ладони о полированные перекладины… Как щедро тратят они свою элегантную пружинистую силу! С каким неизменным презрением относятся к опасности… В конце концов это вдохновляет меня, возбуждает, заражает… Но только я начинаю двигаться как

надо — красоту каждого завершенного движения я ощущаю, словно сияние драгоценной диадемы в своих волосах, как только начинаю точно передавать пластические выражения испуга или желания, нас прогоняют со сцены… Обретя форму слишком поздно, я трачу остаток неизрасходованной энергии на то, чтобы погулять с Фасеттой, которую любая репетиция приводит в тихое бешенство, и поэтому, едва оказавшись на улице, она кидается на огромных псов. Мы идем домой пешком, и она, как гениальный мим, терроризирует всех встречных собак, искажая свою мордочку японского дракона в страшных гримасах, тараща глаза и задирая верхнюю губу, при этом она обнажает бледно-розовые десны и белые клыки, торчащие косо, словно доски расшатанного ветром забора.

Выросшая за кулисами мюзик-холла, она знает его лучше, чем я, уверенно семенит по темным коридорам подвала, скатывается вниз по лестницам, находит дорогу по привычному запаху мыльной воды, рисовой пудры и нашатырного спирта… Ее мускулистое тело привыкло к поглаживанию покрытых белилами рук. Она милостиво сгрызает сахар, который статисты собирают для нее с блюдечек в нижнем кафе.

Капризная, она иногда требует, чтобы я взяла ее вечером с собой на спектакль, а в другие дни, свернувшись калачиком в своей корзинке, глядит, как я ухожу, с презреньем бездельной старухи, для которой нет важней дела, чем в покое заняться пищеварением.

— Сегодня суббота, Фасетта, побежали, не то Амон придет раньше нас!

Мы бежали как безумные, вместо того, чтобы нанять фиакр, потому что воздух сегодня утром очень мягкий и напоен уже предощущением весны… И столкнулись с Амоном как раз в тот момент, когда он подошел к моему светлому, словно обмазанному сливочным маслом, дому. Но на этот раз Амон был не один: он стоял на тротуаре и разговаривал с Дюферейном-Шотелем младшим, по имени Максим, прозванным Долговязым Мужланом…

— Как! Снова вы?!

И не дав ему времени опомниться, я строго спрашиваю Амона:

— Вы знакомы с мосье Дюферейн-Шотелем?

— Конечно, — спокойно отвечает Амон. — Вы тоже, как я вижу. Но вот я знал его, когда он был еще совсем маленьким. У меня до сих пор хранится фотография мальчика с белой повязкой на

руке и надписью: «В память о первом причастии Максима Дюферейн-Шотеля, 1 мая 18..»

— Правда! — воскликнул Долговязый Мужлан. — Это мама вам ее послала. Она находила, что я на ней очень красив.

Я не смеюсь вместе с ними. Я недовольна тем, что они знакомы. Я чувствую себя неуютно в ярком полуденном свете, с растрепанными волосами, кое-как забранными под меховую шапку, с блестящим носом, явно требующим пудры, с пересохшим от жажды ртом…

Я пытаюсь прикрыть складками юбки свои репетиционные башмачки со шнуровкой, сильно разношенные— сквозь их ободранное шевро проглядывает синеватая мездра, но они хорошо стягивают щиколотку, и их стертая подметка стала гибкой, как у балеток… Тем более что Долговязый Мужлан пялит на меня глаза, словно впервые увидел. Я перебарываю внезапно нахлынувшее глупое желание разреветься и спрашиваю его зло, будто собираюсь укусить:

— В чем дело? Что, у меня нос запачкан?

Он не торопится с ответом.

— Нет… Как странно, когда видишь вас только вечером, никогда не подумаешь, что у вас серые глаза, из зала они кажутся карими.

— Я знаю. Мне это уже говорили. Послушайте, Амон, наш омлет остынет. Прощайте, мосье.

Впрочем, я тоже его никогда не видела при свете дня. Его глубоко сидящие глаза не черные, как я полагала, а каштанового цвета с рыжеватым отливом, как у пастушеских собак…

Они бесконечно долго трясли друг другу руки. А потом Фасетта, эта продажная сучка, стала кокетничать *с* мосье, растянув в улыбке свою людоедскую пасть до ушей. А тут еще этот Долговязый Мужлан, как только услышал про омлет, с мольбой поглядел на меня, словно нищий, почуявший запах жаркого. Неужто он ждет, чтобы я его пригласила? Нет уж!..

Я сержусь на Амона, хоть это и не справедливо. Я молча наспех мою руки и рожу перед тем, как присоединиться к моему старому другу в маленькой гостиной, которая служит мне кабинетом и где Бландина накрывает на стол. Я ведь давно уже упразднила в своей квартире ту унылую и бесполезную комнату, которую называют столовой и где люди проводят не более одного часа в сутки. К тому же Бландина живет у меня, а снимать для нее комнату было бы мне не по карману.

— Вот новости! Вы, оказывается, знакомы с Максимом! — восклицает Амон, разворачивая

салфетку.

Так я и знала!

— Я? Знакома? Да я его совсем не знаю! Просто я выступала в доме его брата и там я его видела. Вот и все.

При этом я не упоминаю — почему? — о нашей первой встрече, о том, как Долговязый Мужлан, взволнованный, ворвался ко мне в гримуборную…

— А он вас знает. И восхищен вами. Мне даже кажется, что он влюблен.

О, проницательный Амон! Я гляжу на него с насмешливой снисходительностью, которую вызывает у женщин мужская наивность.

— Он знает, что вы любите розы, фисташки в шоколаде. Он заказал ошейник для Фасетты.

Я вспыхиваю:

— Он, видите ли, заказал ошейник для Фасетты!.. Но в конце концов меня это не касается, — добавляю я со смехом. — У Фасетты нет никаких моральных устоев, она, не сомневаюсь, примет этот подарок, она на это способна.

— Мы, естественно, говорили о вас… Я думал, что вы большие друзья…

— О, вы бы об этом знали, Амон.

Мой старый друг опускает глаза, польщенный…

Ведь в дружбе тоже есть ревность.

— Он очень славный малый, уверяю вас.

— Кто?

— Максим. Я познакомился с его матерью в… в общем, лет тридцать тому назад, нет, пожалуй, тридцать пять…

Этого еще не хватало! Теперь я должна выслушивать историю Дюферейн-Шотелей, матери и сына… Рано овдовев, она сама стала вести все дела семьи… Лесопилки в Арденнах… Гектары леса… Максим — младший сын, немного ленивый, но мать его балует… Куда умней, чем кажется. Ему тридцать три с половиной… Вот как! Мой ровесник.

Амон наклоняется ко мне через маленький столик и разглядывает меня с вниманием художника-миниатюриста:

— Вам в самом деле тридцать три, Рене?

— Никому не рассказывайте. Может, не догадаются.

— Да никогда…

— О, я знаю, что со сцены…

— И в жизни тоже.

Амон ограничивается этим комплиментом и возвращается к истории семьи Дюферейн-Шотелей. Я медленно ем виноград. Я недовольна.

Этот Долговязый Мужлан все-таки умудрился проникнуть в мою жизнь, хоть я ему этого не разрешала. В этот час мы с Амоном должны были, как обычно, ворошить свои дурные воспоминания, расцветающие еженедельно от горького аромата наших дымящихся чашек чая…

Бедный Амон! Ведь это ради меня он изменил своей печальной, но дорогой ему привычке. Я знаю, что мое одиночество его пугает. Если бы он посмел, он сказал бы мне, по-отцовски желая меня пристроить:

— Вот, дорогая, тот любовник, который вам нужен! Молод, здоров, в карты не играет, не пьет и денег достаточно… Благодарить будете!

Еще четыре дня, и я расстанусь с «Ампире-Клиши».

Всякий раз, когда заканчивается длительный срок моих выступлений в каком-нибудь мюзик-холле, я испытываю в последние дни странное чувство скорого освобождения, к которому я вовсе не стремлюсь. Конечно, прекрасно, что я стану свободной и смогу проводить вечера дома, но все же я этому почему-то не радуюсь, и мое восклицание «Наконец-то!» звучит не совсем искренно.

Однако на этот раз мне кажется, что я и в самом

деле рада наступающим каникулам, и, сидя в гримуборной Брага, рассказываю своему партнеру, чем я их заполню, хотя знаю, что ему на это наплевать.

— Прежде всего, я закажу новые чехлы для всех диванных подушек, потом передвину диван в самый угол комнаты, а над ним на стене повешу бра.

— Отлично, — серьезно отвечает Браг, — прямо как в публичном доме.

— Дурак!.. У меня столько дел накопилось. Я забыла, когда занималась своей квартирой.

— Конечно, — все тем же серьезным тоном поддакивает Браг. — А для кого ты все это собираешься делать?

— Как для кого? Для себя!

Браг отворачивается от зеркала и глядит на меня, у него подведен еще только правый глаз, и кажется, что ему его подбили.

— Для себя? Для себя одной?.. Извини, но по мне это просто… глупость! А кроме того, неужели ты полагаешь, что я допущу простой нашей пантомимы? В ближайшее же время тебе придется отправиться в какой-нибудь перворазрядный зал в провинции или за границу… К слову сказать, наш импресарио просил передать тебе, чтобы ты

зашла к нему.

— Как? Уже?

Браг с безапелляционным видом пожимает плечами:

— Спокойно! Я наизусть знаю эти ваши «уже». А если бы я сказал, что работы нет, ты бы пищала, как комар: «Когда мы уедем? Когда мы уедем?» Все вы, бабы, одинаковы.

— Это точно, — подтвердил с порога печальный голос. Это был Бути.

Он за этот месяц еще похудел и с каждым выступлением «выкладывается» все больше и больше. Я поглядываю на него как бы невзначай, чтобы его не ранить. Но что можно разглядеть под этой красной маской с обведенными белым глазами?.. Мы молчим и вслушиваемся в голос Жаден, доносящийся оттуда сверху, со сцены.

Ты говоришь:

«Марго, найди укромный уголок!»

Ты говоришь:

«Хочу воткнуть… в петлицу свой цветок».

О-ля-ля-ля, о-ля-ля-ля, как закачалася земля!..

Композитор вальса «Ландыш», опытный про-

фессионал, сделал весьма двусмысленную цезуру в предпоследней строке.

— Итак, еще четыре дня повтыкает она ландыш, и все, — вдруг говорит комик, поглядев в потолок.

— Да, еще четыре дня… А мне тут нравилось. Спокойно…

— Ну, знаешь… Насчет спокойствия… — возражает Бути, — есть и более спокойные места. Вы-то легко найдете себе что-нибудь получше. Я ничего не хочу сказать дурного о публике, но все-таки здесь полно всякого сброда. Я знаю, — ответил он на мой жест, что мне, мол, все это безразлично, — везде можно чувствовать себя на месте, но все же… Вы только послушайте, как они орут там, наверху. Неужели вы думаете, что женщина, я хочу сказать, молодая женщина, у которой нет никаких представлений о жизни, которая любит веселье и кутежи, может здесь набраться чего-нибудь путного… Чокнутая, заводная, ну, такая, как Жаден, например…

Бедный Бути. Страдания любви пробуждают в нем вдруг аристократизм и презрение к этой публике, которая так хорошо принимает нас, артистов. Он ищет для Жаден извинения и находит его, сам придумывает теорию влияния среды, в

которую я не верю.

Русские танцоры уже уехали. Антоньев, «великий князь», со своими собаками — тоже. Куда? Неизвестно. Никто из нас даже не поинтересовался этим. Их место заняли другие номера, приглашенные кто на неделю, кто на четыре дня. Потому что готовится новое ревю. Я встречаю на сцене и в коридорах незнакомые лица, обмениваюсь полуулыбками или вместо приветствия просто поднимаю и опускаю брови.

Из старой программы остались только мы, Жаден, которая получит — о, боже! — роль в новом ревю, и Бути. Мы грустно разговариваем по вечерам, как ветераны «Ампире-Клиши», которых забыли тут при передислокации полка новобранцев.

Где и когда я повстречаюсь с теми, кого здесь знала? В Париже, в Лионе, в Вене или в Берлине? Быть может, никогда, быть может, нигде. Мы встречаемся на пять минут в конторе мосье Саломона, нашего импресарио. Крепкие актерские рукопожатия, чрезмерно громкие голоса. Только успеваешь понять, что мы еще существуем, обменяться друг *с* другом неизбежным «Как дела?» и узнать, что либо «порядок», либо «что-то пока не вытанцовывается».

Что-то пока не вытанцовывается… За этой неопределенной фразой мои бродячие товарищи скрывают жизненные крушения, отсутствие работы, денежные затруднения, а подчас и нищету… Они никогда не признаются в своем поражении, поддерживаемые героической гордостью, за которую я их так люблю…

Кое-кто из них, уже потеряв всякую надежду, вдруг получает какую-нибудь крошечную роль в настоящем театре, но, странное дело, они вовсе не хвалятся этим. Никому не известные, они терпеливо выжидают, пока им снова не улыбнется удача и они не получат долгожданного ангажемента в мюзик-холле, выжидают того благословенного часа, когда они снова наденут юбку с блестками или фрак, пахнущий бензином, и в дрожащем свете прожекторов наконец-то выступят в своем репертуаре!

— Нет, что-то не вытанцовывается, — говорит мне один из таких бедолаг и добавляет — Подался в кино.

Кинематограф, который поначалу был форменным бедствием для безвестных артистов мюзик-холла, теперь их спасает. Они лишь приноравливаются к этой безличной деятельности, не приносящей им ни славы, ни удовольствия,

они его не любят, к тому же кинематограф заставляет их изменять своим привычкам, путает их распорядок дня, часы еды, отдыха, работы. Во времена кризисов сотни эстрадных артистов спасает кино, но лишь единицы остаются там навсегда. В кино и без них хватает и статистов, и звезд.

— Что-то не вытанцовывается… Нет, не вытанцовывается..

Эту фразу бросают, как бы не придавая ей значения, но вместе с тем серьезно, однако излишне не педалируя, не жалуясь, а небрежно помахивая шляпой или потертыми перчатками. Безработный эстрадник всегда хорохорится, на нем пальто в талию, с преувеличенно широкими полами — по предпоследней моде, ибо главное, без чего он никак не может обойтись, это вовсе не приличный костюм, а заметное пальто, которое все прикрывает, — и поношенный жилет, и видавший виды пиджак, и брюки, пожелтевшие на коленках, броское пальто, шикарное, которое обязано производить впечатление и на директора, и на импресарио, такое, в каком легко произнести с лихостью, словно рантье, знаменитую фразу «что-то пока не вытанцовывается».

Где мы окажемся через месяц?.. Вечером Бути потерянно бродит по коридору, покашливает,

пока я наконец не приоткрываю дверь и не приглашаю его посидеть несколько минут у меня. Он осторожно усаживается, откинув свою тощую, как у худой собаки, спину на расшатанный, белый, облупившийся стул и поджимает ноги, чтобы не мешать мне. Вскоре появляется и Браг, он примащивается, как бродяга, на трубе парового отопления, чтобы зад был в тепле. Я стою между ними, заканчивая свой туалет, и при каждом движении обмахиваю их подолом своей красной с желтой вышивкой юбки… Нам не хочется разговаривать, но мы все же болтаем, преодолевая потребность молчать, прижаться друг к другу и дать волю чувствам…

Из нас троих Браг наиболее активен, он сохраняет любопытство, ясность ума и коммерческий интерес к будущему. Что до меня, то будущее здесь ли, там ли… Мой поздно пробудившийся вкус — благоприобретенный, несколько искусственный — к перемене мест, к поездам прекрасно уживается с врожденным спокойным фатализмом мещанки. Отныне я принадлежу богеме, и гастроли влекут меня из города в город. Да, я стала актеркой, но актеркой, любящей порядок, которая сама чинит свои аккуратные тряпки и не расстается с замшевой сумочкой, где в одном

отделении лежат медяки, в другом — серебро, а в потайном кармашке тщательно упрятаны золотые монеты…

Ну и пусть, что я странница, но я покорно готова ходить по одному и тому же кругу, как и эти мои товарищи, мои братья… Всякий раз отъезд меня и печалит, и опьяняет, это правда, и что-то от меня остается там, где я побывала, — новые страны, небо, ясное или покрытое тучами, жемчужное море под дождем хранят частицы меня, которые прикипают ко всему так страстно, что мне кажется, будто я оставляю на своем пути тысячи маленьких фантомов, моих отражений, — их подхватывают волны, убаюкивает листва деревьев, обволакивают облака… Но один маленький призрачек, тот, что больше всех похож на меня, не остается ли он дома, не сидит ли в углу у камина, тихий и мечтательный, склоненный над книжкой, которую забывает читать?..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

«Какой прелестный уютный уголок! И как трудно представить себе вас в мюзик-холле, когда видишь здесь, между этой лампой под розовым абажуром и вазой с гвоздиками!»

Вот что сказал уходя мой поклонник в тот день, когда он впервые пришел ко мне на обед вместе с Амоном, этим старым сводником…

Итак, у меня появился поклонник. Иначе, чем этим вышедшим из моды словом, я его назвать не могу. Он не мой любовник, не человек, с которым я флиртую, не мой сутенер… Он — мой поклонник.

«Прелестный уютный уголок»… В тот вечер я горько рассмеялась ему вслед… Неяркая лампа, хрустальная ваза, в которой мерцает вода, кресло, придвинутое к столу, просиженный диван, вмятины в котором умело скрыты ловко разбросанными подушками — и случайный гость, окинув все поверхностным взглядом, ослеплен, он воображает, что в этих тускло-зеленых стенах женщина высшего порядка ведет свою уединен-

ную жизнь, отдавая все свободное время книгам и раздумьям… Но ведь он не заметил пустой запыленной чернильницы, давно высохшего пера, неразрезанной книжки, лежащей на пустой коробке из-под писчей бумаги…

Сухая ветка остролистника, съежившаяся, словно вытащенная из пламени, засунута в глиняный горшок… Небольшая пастель — эскиз Адольфа Таиланди — в рамке с треснутым стеклом, которое давно уже надо бы заменить… Небрежно, наспех, на один вечер сколотое булавкой подобие абажура из какого-то обрывка бумаги, до сих пор прикрывает электрическую лампочку над камином. Тяжелая пачка фотоснимков, наклеенных на серые паспарту, сцены нашей пантомимы «Превосходство», — пятьсот штук — лежит на резной шкатулке из слоновой кости XV века, рискуя ее проломить.

От всей обстановки веет безразличием, запущенностью, так и слышится вопрос «А зачем?», словно ожидается скорый отъезд… Уютно? Да какой уют может возникнуть вокруг лампы с выгоревшим абажуром? *Я* рассмеялась и устало вздохнула после ухода моих двух гостей. И ночь тянулась бесконечно, меня мучало какое-то смутное чувство стыда, пробужденного неумеренным

восхищением Долговязого Мужлана. Его наивный восторг увлеченного мужчины открыл мне глаза на самое себя, как случайно брошенный взгляд в стекло витрины на углу улицы или в зеркало в подъезде вдруг обнаруживает огорчительные изменения твоего лица и фигуры…

Потом были и другие вечера, которые приводили ко мне Амона с моим поклонником или поклонника без Амона… Мой старый друг добросовестно изменяет своей, как он ее называет, грязной профессии. То он опекает с непринужденностью бывшего светского остроумца своего протеже, одиночные визиты которого, искренне признаюсь, были бы мне в тягость, то исчезает, но ненадолго, заставляя себя ждать, однако ровно столько, сколько надо, тратя на меня свою уже несколько заржавевшую дипломатию бывшего завсегдатая художественных салонов…

К их приходу я не наряжаюсь, остаюсь в каждодневной блузке с застроченными складками и в темной прямой юбке. Я не «делаю себе лица», не крашу губ, плотно сжатых в гримасе усталости, не подвожу глаз, которые от этого кажутся погасшими, упорству моего поклонника я противопоставляю вялый облик девицы, которую хотят насильно выдать замуж…

Пожалуй, только я стала следить, причем скорее для себя, чем для них, за обманчиво-обжитым видом своего интерьера, в котором я сама так мало нахожусь.

Бландина наконец соблаговолила вытереть пыль в укромных уголках моего кабинета-гостиной, а мягкие подушки в кресле у стола хранят следы моего отдыха.

У меня есть поклонник. Почему именно он, а не кто-то другой? Понятия не имею. С удивлением гляжу я на этого человека, который ухитрился проникнуть в мой дом, черт возьми! Он этого так добивался. Он не упускал ни одного подходящего случая, и Амон ему в этом помогал. Однажды, когда я была одна дома, я открыла дверь, услышав робкий звонок: как можно было не впустить этого человека, который смущенно стоял рядом с Амоном, неуклюже держал в руках розы и умоляюще глядел на меня? Так он и ухитрился проникнуть в мой дом. Видно, этого было не избежать…

Всякий раз, когда он приходит, я разглядываю его лицо так, будто вижу его впервые. От носа к уголкам рта у него уже пролегли глубокие складки, которые скрываются в усах. У него красные губы, темнокрасные, какие бывают у очень смуглых брюнетов. Его волосы, брови, ресницы, все

это черное, как смоль, как у дьявола. Понадобилось яркое солнце, чтобы я в один прекрасный день увидела, что несмотря на всю эту черноту глаза у моего поклонника серые, темно-серые с рыжими искрами.

Когда он стоит, можно и вправду подумать, что он долговязый мужлан, так он несгибаемо прям, так неестественно держится, худой, как скелет. Но когда он сидит или полулежит на диване, он словно обретает свободу и вдруг становится как бы другим человеком, ленивым, раскованным, *с* гармоничными жестами и беспечно откинутой на подушки дивана головой…

Когда я знаю, что он меня не видит, я исподтишка наблюдаю за ним — меня несколько смущает сознание того, что я ведь его совсем не знаю, что его пребывание в моем доме выглядит так же нелепо, как пианино на кухне.

Необъяснимо, почему он, влюбленный в меня, не встревожен тем, что так мало меня знает. Видимо, он просто об этом не думает и занят лишь двумя вещами— успокоить меня и затем покорить. Он очень быстро научился — держу пари, по совету Амона — скрывать от меня свое желание, говоря со мной, смягчать и взгляд, и голос, но если он, со звериной хитростью, делает вид, что

забыл, чего он, собственно, от меня хочет, он не предпринимает решительно никакой попытки узнать меня, расспросить, угадать мою сущность, и я замечаю, что он куда внимательнее следит за игрой света на моих волосах, чем вслушивается в мои слова…

Как все это странно!.. Вот он сидит подле меня, тот же луч солнца касается его щеки и моей, и если его ноздря окрашивается при этом в карминный цвет, то моя в ярко-коралловый… Он как бы отсутствует, он в тысяче миль отсюда. Меня так и подмывает встать и сказать: «Почему вы здесь? Уходите!» Но я почему-то этого не делаю.

Думает ли он о чем-нибудь? Читает ли? Работает ли?.. Мне кажется, что он принадлежит к весьма многочисленной и вполне заурядной категории людей, которая интересуется всем на свете и ни черта не делает. Настоящего ума у него, похоже, нет, но зато есть быстрота понимания и более чем достаточный запас слов, которые он произносит очень красивым глухим голосом. А еще он легко смеется, легко впадает в какое-то ребяческое веселье, как, впрочем, и многие мужчины. Вот каков он, мой поклонник.

Чтобы быть до конца правдивой, скажу и о том, что мне больше всего в нем нравится: порой у

него бывает отсутствующий взгляд, словно чего-то ищущий, потаенная улыбка, вспыхивающая только в глазах, свойственная натурам страстным, но затаенным.

Конечно, он путешествовал, как все: не очень далеко, не очень часто. И читал он то, что все читали, он знает «немало людей», но не может назвать, кроме брата, хотя бы трех близких друзей. Я прощаю ему всю эту ординарность за его удивительное простодушие, в котором, однако, нет ничего униженного, и еще потому, что он не умеет рассказывать о себе.

Его взгляд редко встречается с моим — я всегда отвожу глаза. Я ни на минуту не забываю, зачем он здесь и почему проявляет такое терпенье. И все же, как отличается этот человек, который садится сейчас на диван, от той наглой твари, что ворвалась ко мне в гримуборную, одержимая вожделением! По моему поведению совсем не видно, что я помню нашу первую встречу, разве только то, что я почти не разговариваю с Долговязым Мужланом. Когда он пытается со мной заговорить, я всегда отвечаю очень кратко либо, обращаясь к Амону, говорю ему то, что может служить ответом моему поклоннику… Этот способ непрямого разговора придает нашим беседам ка-

кую-то замедленность и нарочитую веселость…

Мы с Врагом все еще репетируем новую пантомиму. То в «Фоли-Бержер», куда нас пускают по утрам, то в «Ампире-Клиши», где нам на час предоставляют сцену. А еще мы мечемся между кабачком «Гамбринус» — там обычно во время гастролей репетирует труппа Баре — и танцевальным залом Карнуччи.

— Что ж, вырисовывается в общих чертах, — говорит Браг, скупой на похвалы как другим, так и себе.

Старый троглодит репетирует вместе с нами. Это отощавший, всегда голодный мальчик лет восемнадцати, которого Браг то и дело хватает за грудки, поминутно одергивает и так поносит, что мне его становится жалко.

— Зачем ты так наваливаешься на мальчишку, ведь он вот-вот заплачет.

— Пусть плачет! Я ему еще сейчас ногой по заднице врежу. Слезы — это не работа.

Быть может, Браг и прав… Старый троглодит глотает слезы, старается изогнуть спину на доисторический манер и самоотверженно охраняет Дриаду, которая изгаляется перед ним в белом трико…

Как-то утром на прошлой неделе Браг дал себе труд лично зайти ко мне, чтобы предупредить, что назначенная на завтра репетиция отменяется. Он застал у меня Амона и Дюферейна-Шотеля, мы втроем завтракали.

Мне пришлось попросить Брага посидеть с нами хоть несколько минут, я предложила ему кофе, представила его моим гостям… Я заметила, что Браг нет-нет, да и поднимает свои черные блестящие глаза на моего поклонника, с любопытством и одобрением разглядывает его, он был явно доволен, и от этого я почему-то смутилась. Просто глупость какая-то!..

Когда я провожала Брага до дверей, он не задал мне ни одного вопроса, не позволил себе ни фамильярной шутки, ни двусмысленного намека, и от этого мое смущение лишь усугубилось. Чтобы не показаться смешной, я не посмела пуститься в объяснения типа: «Знаешь, это один мой приятель… Это друг Амона, он привел его ко мне завтракать…»

На Фасетте теперь красный сафьяновый ошейник, украшенный позолоченными гвоздиками в спортивном духе — на редкость безвкусный предмет. Я не посмела сказать, что нахожу его безобразным… А она — проклятая, угодливая

сучка! — пресмыкается перед этим хорошо одетым господином, который пахнет мужчиной и табаком и ласково похлопывает ее по спине. Блан-дина тоже лезет из кожи вон, до блеска протирает оконные стекла, а когда приходит мой поклонник, сама, без моей просьбы, приносит поднос с чаем…

Все, следуя примеру Амона, находятся как бы в заговоре против меня, все они за Максима Дюферейна-Шотеля… Но, увы! Мне не стоит большого труда оставаться равнодушной!..

Равнодушной и более чем бесчувственной: отвергающей. Когда я пожимаю моему поклоннику руку, то прикосновение к его длинным пальцам, теплым и сухим, вызывает у меня удивление и неприязнь. А если я ненароком дотрагиваюсь до сукна его сюртука, меня пронизывает нервная дрожь. Когда он говорит, я невольно отстраняюсь, чтобы меня не обдало его дыханием… Я ни за что бы не согласилась завязать ему галстук и предпочла бы скорее пить из стакана Амона, чем из его… Почему?

Да, потому что… он *мужчина.* Помимо своей воли я все время помню, что он *мужчина.* Амон не мужчина для меня, он — друг. И Браг не мужчина — он товарищ. Бути — тоже товарищ. Стройные

и мускулистые акробаты, у которых благодаря серому обтягивающему трико обнаруживается вся скульптурная рельефность их мужской стати… что ж, они тоже не мужчины, они — акробаты!

Когда на сцене Браг так сжимает меня в своих объятьях, что трещат ребра, или прижимается губами к моим губам, изображая страстный поцелуй, приходило ли мне когда-нибудь в голову, что он существо другого пола?.. Нет, никогда! А вот любой, даже случайно брошенный взгляд моего поклонника или даже самое невинное его рукопожатие напоминают мне, зачем он здесь и на что надеется. Какое это было бы прекрасное времяпрепровождение для кокетки! Какой возбуждающий флирт!

Несчастье заключается в том, что флиртовать я не умею. К этому у меня нет никакой склонности, да и нет опыта, легкомыслия, а главное… О, это главное!.. Мне мешает память о моем муже!

Стоит мне хоть на одно мгновенье представить Адольфа Таиланди за его любимым занятием, когда он, исполненный азарта, выходит, так сказать, «на охотничью тропу», готовый на все, чтобы соблазнить свою очередную жертву, я сразу становлюсь холодной, скованной, враждебной ко всему, что имеет отношение к «любви»… Я

слишком хорошо знаю выражение его лица после очередной победы, плывущий взгляд, детский рот в хитроватой ухмылке, чувственное подрагиванье ноздрей, улавливающих любой летучий запах… Бог ты мой! Все эти уловки, вся эта кухонная возня вокруг любви — вокруг цели, которую даже нельзя назвать любовью, — неужели я могу быть к ним причастной, ими пользоваться? Бедный Дюферейн-Шотель! Порой мне кажется, что это вас здесь обманывают, что я должна была бы вас предупредить… Предупредить о чем? О том, что я стала старой девой, что не испытываю никаких желаний, что я на свой лад заточила себя в монастырь, избрав в виде кельи гримуборную мюзик-холла.

Нет, я вам всего этого не скажу, потому что мы с вами обмениваемся, словно на втором уроке иностранного языка по системе Берлица, лишь самыми простейшими фразами, в которых чаще всего употребляются такие слова, как хлеб, соль, окно, температура, театр, семья…

Вы мужчина, тем хуже для вас! Все в моем доме помнят об этом, но не как я, а чтобы вам служить, начиная с Бландины, которая глядит на вас с нескрываемым обожанием, до Фасетты, чья собачья улыбка от уха до уха говорит о том же:

«Наконец-то! В доме появился мужчина. Вот он — МУЖЧИНА!»

Я не умею с вами разговаривать, бедный Дюферейн-Шотель. Я колеблюсь между тем языком, на котором говорю я, резким, с оборванными фразами, где каждому слову придается его первородное значение, — язык бывшего синего чулка, и тем живым, грубоватым образным жаргоном, на котором говорят в мюзик-холле и который пестрит всякими там «обалденно!», «кончай выступать!», «в гробу я их видел», «меня ободрали».

Так как я колеблюсь, то предпочитаю молчать.

II

— Дорогой Амон, я так рада, что мы завтракаем вместе! Сегодня нет репетиции, светит солнце, да еще вы здесь, со мной. Все хорошо!

Мой старый друг, которого ни на миг не отпускает ревматическая боль, улыбается мне. Он польщен. Как он постарел, похудел, стал почти невесомым, и от этого кажется еще выше. Заострившийся нос, чуть искривленный… До чего же он похож на Рыцаря Печального Образа…

— Но мне кажется, что мы уже имели удовольствие вместе завтракать на этой неделе, не

правда ли? Сколько нежности вы дарите, милая Рене, такому старому скелету…

— Правда, я полна нежности к вам. Сегодня такая чудная погода. Мне как-то удивительно весело и еще… мы одни!

— Что вы хотите сказать?

— Конечно, вы сами догадались: здесь нету этого Долговязого Мужлана.

Амон печально склоняет свое продолговатое лицо:

— В самом деле, я замечаю, что вы испытываете к нему какое-то отвращение.

— Вовсе нет, Амон! Вовсе нет! Я испытываю… Я ничего не испытываю!.. Вот уже несколько дней, как я думаю, не сказать ли вам всю правду: дело в том, что я не нахожу в себе и тени какого-либо чувства к Дюферейн-Шотелю. Разве что некоторое недоверие.

— Это уже кое-что.

— Знаете, за все это время у меня не сложилось о нем никакого мнения.

— В таком случае, я с радостью предложу вам свое. Это честный, порядочный человек, его репутация ничем не омрачена. Никаких историй.

— Этого мало.

— Мало? Я могу к этому отнестись только как к

провокации. К тому же вы не даете ему возможности говорить о себе.

— Этого еще не хватало! Вы только представьте себе, как он положит свою огромную ручищу на свое огромное сердце: «Поверьте, я не такой как все…» Ведь это бы он сказал мне, верно? В такие моменты мужчины обычно говорят то же, что и женщины.

Амон устремляет на меня ироничный взгляд:

— Я люблю вас, Рене, когда вы вот так приписываете себе опыт, которого, к счастью, у вас нет. «Мужчины поступают так… мужчины говорят это…» Откуда у вас берется такая уверенность? Мужчины!.. Мужчины! Вы что, знали многих мужчин?

— Одного-единственного. Но зато какого!..

— А я про что говорю. Уж не обвиняете ли вы Максима в том, что он напоминает вам Таиланди?

— Нет. Он мне никого не напоминает. Никого… У него не живой ум, он не духовен…

— Влюбленные всегда глупеют. Вот я, когда любил Жанну…

— А я сама, когда любила Адольфа! Но это, так сказать, сознательная глупость, почти доставляющая наслаждение. Помните, когда мы *с* Адольфом

были приглашены на обед, у меня всегда был жалкий вид, вид «бесприданницы», как говорила Марго? Мой муж красовался, улыбался, острил, блистал… все смотрели только на него, а если кто-нибудь замечал меня, то только, чтобы его пожалеть. Мне все давали понять, что без него я — ноль, не существую!..

— О, вы несколько преувеличиваете, позвольте вам заметить.

— Ничуть, Амон! Не спорьте! Я изо всех сил старалась быть незаметной. Я его так любила, как… как идиотка.

— А я! А я! — восклицает Амон, оживляясь. — Помните, как моя куколка Жанна высказывалась о моих картинах: «Анри с рождения очень добросовестный, но старомодный», а я стоял и помалкивал.

Мы смеемся, мы радуемся, чувствуем себя помолодевшими оттого, что ворошим горькие и унизительные воспоминания… Ну, зачем мой старый друг портит эту субботу, так полно отвечающую установившейся у нас традиции, упомянув имя Дюферейна-Шотеля? Я недовольно поджимаю губы:

— Опять вы о том же. Не приставайте ко мне с разговорами об этом господине! Что я о нем знаю?

Что он аккуратен, прилично воспитан, любит бульдогов и курит сигареты. А что он к тому же еще и влюблен в меня — это, будем скромны, никак особо его не характеризует.

— Но вы делаете все от вас зависящее, чтобы его никогда так и не узнать.

Амон теряет терпенье и с неодобрением щелкает языком.

— Ваше право… Ваше право!.. Вы рассуждаете, как ребенок, уверяю вас, мой дорогой друг!..

Я освобождаю руку, которую он прикрыл своей ладонью, и почему-то говорю торопясь:

— В чем вы меня уверяете? Что он предмет неординарный? Да и что вы хотите в конце концов? Чтобы я спала *с* этим господином?

— Рене!

— Бросьте, давайте называть вещи своими именами! Вы хотите, чтобы я поступала как все? Чтобы я, наконец, решилась? Этот или другой, какая в конце концов разница? Вы хотите разрушить мой с таким трудом обретенный покой? Хотите, чтобы у меня появилась другая забота, помимо терпкой, но такой укрепляюще-естественной заботы зарабатывать себе на кусок хлеба? А может, вы посоветуете мне завести любовника из соображений здоровья, как при-

нимают кроветворное лекарство? Зачем мне это? Чувствую я себя хорошо и, слава богу, не люблю, не люблю… И никогда больше никого, никого, никого не буду любить!

Я прокричала это так громко, что от смущения замолчала. Амон, существенно менее взволнованный, нежели я, дал мне время поостыть. Кровь, бросившаяся мне в лицо, отхлынула к сердцу…

— Вы больше никого не будете любить? Возможно, это и правда. Но, поверьте, это было бы печальнее всего… Вы молодая, сильная, нежная… Да, это воистину было бы печальнее всего…

Я прямо задохнулась от возмущения, едва сдерживая слезы, гляжу на своего друга, который посмел мне такое сказать.

— О, Амон! И это вы… Вы говорите мне!.. После всего, что с вами… с нами случилось, вы еще надеетесь на любовь?

Амон отводит взгляд в сторону, его глаза, светлые молодые глаза, контрастирующие с его морщинистым лицом, устремлены в окно, и он невнятно произносит:

— Да… Я вполне счастлив теперь… И готов жить так, как сейчас живу. Но сказать, что я ручаюсь за себя, заявить: «Отныне я никого больше не

полюблю», нет, на это бы я не решился…

На этом странном ответе Амона наш спор иссяк, потому что я терпеть не могу говорить о любви… Не моргнув глазом, я могу выслушать любую скабрезность, но вот о любви я говорить не люблю… Мне кажется, если бы я потеряла любимого ребенка, я никогда не могла бы произнести его имя.

— Приходи сегодня ужинать в «Олимп», — сказал мне Браг на репетиции, — а потом зайдем навестить ребят, которые сейчас работают в ревю в «Ампире-Клиши».

Я далека от того, чтобы обмануться, речь, конечно, идет не о *приглашении* на ужин. Мы ведь *товарищи,* и законы товарищества между артистами — а они существуют— не терпят в этих вопросах никакой двусмысленности. Итак, я вечером встречаюсь с Врагом в баре «Олимп», пользующемся весьма дурной славой. Дурной славой? О, это меня ничуть не заботит. Я больше не должна блюсти свою репутацию, и поэтому безо всякого смущения, но, признаюсь, и без удовольствия переступаю порог этого маленького монмартрского ресторана, где от семи до десяти вечера царит благопристойная тишина, зато всю остальную часть ночи ресторан гудит от безудержной гульбы: крики, звон посуды, звуки

гитар. В прошлом месяце я иногда ходила туда обедать, второпях, одна или с Врагом, перед тем как бежать в «Ампире-Клиши».

Официантка, явная провинциалка, с невозмутимой медлительностью, никак не реагируя на адресованные ей крики, подает нам свиную корейку с тушеной капустой — блюдо здоровое, хоть и тяжелое, особенно, наверное, для слабых желудков дешевых проституточек этого квартала, которые ужинают одни, без мужчин, за соседним столиком. Они едят с тем ожесточением, которое возникает перед полной тарелкой у животных и у недоедающих женщин. Да, в этом баре не всегда бывает весело!

В дверях появились две женщины, совсем молоденькие, тоненькие, в идиотских шляпках, которые, казалось, плыли, нелепо покачиваясь, на волнах их взбитых причесок, и Браг тут же стал насмехаться над ними, хотя, я знаю, что в глубине души он их жалеет. Одна из девиц просто поражала своим обликом, в ее горделивой посадке головы был какой-то дьявольский вызов, а в противоестественной худобе, подчеркиваемой узким платьем из розового сатина-либерти, купленном в лавчонке на углу, — особая грация. Несмотря на ледяной ветер этого февральского вечера, она

куталась не в пальто, а в тоненькую накидку из такого же сатина, только синего цвета, сильно вылинявшего, расшитого серебряными нитями… Она окоченела, просто обезумела от холода, но ее серые, полные какого-то ожесточения глаза не допускали никакого сочувствия. Казалось, она готова оскорбить, исцарапать каждого, кто сокрушенно скажет ей: «Бедная девочка!»

В этой особой стране, имя которой Монмартр, девчонки, гибнущие от гордости и нищеты, прекрасные в своей крайней обездоленности, являются отнюдь не редкой разновидностью, и я частенько встречаю их то тут, то там. В поношенных платьицах из тончайшей материи перелетают они от столика к столику в ночных харчевнях на монмартрском холме. Веселые, пьяные, злые, как собаки, готовые вцепиться в глотку любому обидчику, они никогда не бывают ни мягкими, ни нежными, ненавидят свою профессию, но никуда не денешься — «работают». Мужчины с добродушным презрением, смеясь, называют их «чертовыми куклами», потому что эти отпетые создания никогда ни в чем не уступят, ни за что не признаются, что голодны, что замерзают, что любят; помирая, они упрямо будут твердить: «Нет, нет, я не больна!» Когда

же их бьют смертным боем, они хоть и истекают кровью, но яростно дают сдачи. Да, я знаю породу этих девчонок, и о них я думаю, глядя на только что вошедшую в «Олимп» закоченевшую гордячку.

Глухой говор голодных людей наполняет бар. Двое накрашенных парней вяло переругиваются через весь зал из конца в конец. Девочка-подросток, которая вместо обеда не спеша потягивает мятную воду в зыбкой надежде, что вдруг кто-нибудь угостит ее ужином, словно бы нехотя встревает в их спор. Нажравшаяся до отвала бульдожка тяжело дышит на потертом ковре, шаром выкатив свое брюхо, на котором, будто гвоздики, торчат блестящие сосцы…

Мы с Врагом болтаем, разомлев от жара газовых ламп. Я мысленно перебираю в памяти все дешевые ресторанчики во всех городах, где мы вот так сиживали, усталые, ко всему равнодушные, но все же любопытные, перед тарелками с какой-то непонятной едой… У Брага железный желудок, ему нипочем скверная пища привокзальных буфетов и гостиниц, а я, если «телятина по-господски» или «баранина по-домашнему» оказываются жесткими, как подметка, накидываюсь на сыр и омлет.

— Послушай, Браг, вон тот, спиной к нам, это не танцор Стефан?

— Где?.. А! Конечно, он… С подружкой.

С такой «подружкой», что я прямо столбенею: брюнетка лет пятидесяти, не меньше, да еще с усами… А танцор Стефан, словно почувствовав наши взгляды, полуоборачивается к нам и заговорщицки подмигивает, так, как это делают на сцене, мол. «Тс-с, тайна!», но с таким расчетом, чтобы это видел весь зал.

— Бедняга! — шепчет Браг. — Тяжелый у него хлеб… Кофе, пожалуйста, мадмуазель! Мы сматываемся!.. — кричит он официантке.

Кофе здесь напоминает чернильную жижу с оливковым отливом, которая оставляет внутри чашечки трудно смываемый след. Но поскольку я больше не могу позволить себе пить хороший кофе, то я даже полюбила эти горячие, горькие отвары, пахнущие лакрицей и хиной… В нашей профессии скорее можно обойтись без мяса, но не без кофе!..

Нам так долго не подают кофе, что танцор Стефан «смотался» раньше нас, — он теперь участвует в ревю в «Ампире-Клиши», — торопясь за своей перезрелой спутницей, он, бесстыдно ухмыльнувшись, изображает тяжелоатлета,

рывком поднимающего штангу весом в двести килограммов, и у нас хватает духа рассмеяться… Потом и мы выходим из этого унылого заведения, которое называется «увеселительным», где все в этот час дремлет в тусклом свете ламп под розовыми абажурами: и обожравшаяся бульдожка, и изможденные девчонки, и провинциалка официантка, и управляющий с нафабренными усиками…

На Внешнем бульваре и на площади Бланш гуляет ледяной ветер, он срывает с нас дрему, и я с радостью чувствую, что меня захлестывает какая-то стихия активности, потребность *работать*… Потребность таинственная и неопределенная, которую я с одинаковым успехом могу удовлетворить и танцами, и писательством, бегом или игрой в театре, или даже толканием ручной тележки…

Словно охваченный тем же ощущением жизни, Браг вдруг говорит мне:

— Знаешь, я получил записку от Саломона… Поездка, о которой я тебе говорил, вроде состоится. День в одном городе, два дня в другом, неделя в Марселе, неделя в Бордо… Ты по-прежнему готова ехать?

— Я? Да хоть сейчас! А почему ты спрашива-

ешь?

Он искоса глядит на меня.

— Не знаю… Просто так… Иногда… Я знаю, как бывает в жизни…

А, понятно! Браг, конечно, не забыл о Дюферейн-Шотеле и, видно, думает, что… Мой резкий смех не разубеждает его, а лишь еще больше запутывает, но я чувствую себя нынче такой веселой, такой задорной, будто я уже в пути… О, да! Уехать, вновь уехать, забыть, и кто я есть, и названье города, приютившего меня вчера, и ни о чем не думать, и любоваться красотой пейзажа, который мчится вдоль поезда, и запечатлеть его в своей памяти, — вот это свинцовое озеро, в котором небо отражается не голубым, а зеленым, вот эта сквозная ажурная звонница, множество ласточек вокруг…

Однажды, я помню… Уезжая из Ренн майским утром… Помню, поезд очень медленно ехал вдоль ремонтирующихся путей, между белыми, как кипень, кустами цветущего терновника, розовым великолепием яблонь, отбрасывающих на траву голубые тени и молодыми ивами с прозрачной, нефритовой листвой… На опушке леса стояла девочка лет двенадцати и глядела, как я проезжаю мимо нее. Меня поразило ее сходство

со мной. Серьезная, с чуть насупленными бровями, с персиковыми щечками — какими были мои, *с* выгоревшими на солнце волосами, она держала пушистую веточку в руке, загорелой и исцарапанной, как мои. И это замкнутое лицо, эти глаза без возраста, скорее мальчишечьи глаза, которые, казалось, все на свете принимают всерьез — тоже мои, в самом деле мои!.. Да, перед кустами подлеска стояло мое нелюдимое детство и, ослепленное восходящим солнцем, глядело, прищурившись, как я проезжаю мимо…

— Может быть, соблаговолишь переступить порог?

Эта ироничная фраза Брага возвращает меня к действительности — оказывается, мы уже дошли до подъезда «Ампире-Клиши», расцвеченного фиолетовыми огнями, такими яркими, что, как говорит Браг, они «просто ранят задницу глаз», и мы входим в подвал — знакомый запах отсыревшей штукатурки, нашатырного спирта, крема «Симон» и дешевой рисовой пудры вызывает у меня почти приятное отвращение… Мы пришли сюда повидать товарищей, а не смотреть ревю.

Я вхожу в свою бывшую гримуборную, которую теперь занимает Бути, а та, в которой прежде гримировался Браг, преображена ослепительным

присутствием Жаден, исполняющей в этом ревю три роли.

— Скорей, скорей! — кричит она нам. — Вы как раз поспеете к моей песенке «Париж ночью»!

Увы!.. Жаден на этот раз одели в костюм эстрадной звезды! Черная юбка, черный корсаж с большим вырезом, ажурные чулки, красная бархатка на шее, а на голове традиционный парик в форме каски, украшенный алой, словно кровь, камелией! Ровным счетом ничего не осталось от той народной, за душу хватающей прелести уличной девчонки, которая как-то кособоко стояла на сцене…

Впрочем, этого надо было ожидать… Как быстро и неумолимо превратило время такую свеженькую, отчаянную озорницу в рядовую кафешантанную певичку. «Ну, как дела?.. Что нового?.. У вас вытанцовывается?..», а я все гляжу на Жаден, которая мечется по своей гримуборной, и с горечью замечаю, что ходит она уже «изячной» актерской походкой, как все, подтянув живот и выкатив грудь, что говорит поставленным голосом и даже ни разу не матюгнулась с тех пор, как мы пришли…

Бути, который будет танцевать с Жаден неизбежный галоп, лихо заломил шелковую каскетку,

он молча сияет. Еще немного, и он сказал бы нам: «Вот таким путем!», указав жестом хозяина на свою партнершу. Покорил ли он ее наконец? Он небось тратит немало сил, во всяком случае, я в этом уверена, чтобы убить в Жаден все самобытное. И вот они оба, перебивая друг друга, рассказывают, что готовят «сенсационный» номер для «Кристалпалас» в Лондоне и рассчитывают заработать кучу денег!..

Как все быстро меняется!.. Особенно женщины… Вот Жаден, например, за несколько месяцев потеряет всю свою пикантность, свою покоряющую естественность и непредсказуемую эксцентричность. Подлая наследственность консьержек и алчных мелочных торговок, пробьется ли она в натуре этой шальной восемнадцатилетней девчонки, которая пока еще так расточительно тратит и себя, и свои жалкие гроши? Почему, глядя на нее, я вспомнила «Группу Белл» — немецких партерных акробатов с английской фамилией, которых мы с Брагом встретили в Брюсселе? Они не знали себе равных по силе и грации, от вишневых трико их тела казались беломраморными, однако несмотря на свой успех и хорошие заработки они впятером теснились в двух крошечных комнатах без всякой мебели, где сами готовили

себе на чугунной печурке, и все свободное время — нам это рассказывал импресарио — вели какие-то таинственные разговоры, зачитывали до дыр биржевые ведомости, до хрипоты спорили о золотых приисках и о египетском кредитном банке! Деньги, деньги, деньги!..

Без пустой болтовни Жаден наш визит был бы томительным. После того как Бути, который выглядит теперь не таким тощим, как прежде, сказал, что чувствует себя лучше и что «кое-что вытанцовывается на следующий сезон», воцарилось тягостное молчание, и мы почувствовали себя неловко, не зная, о чем говорить. Ведь мы — случайные друзья, которых свел случай и случай разведет… Я перебираю лежащие на столике грим и растушевки с актерским смаком, с ненасытной жаждой гримироваться, переживаемой всеми, кто выступал на сцене… К счастью, прозвенел звонок и Жаден вскочила:

— Ой, быстро наверх! Пожарник уступит вам свое место в осветительской ложе. Вы увидите, как я их сейчас всех уложу песенкой «Париж ночью»!

Сонный пожарник охотно уступает мне табурет из плетеной соломы в маленькой ложе. Я сижу, прижав лицо к решетке, сквозь которую

проходит луч теплого красноватого света, и, оставаясь невидимой, могу рассмотреть два ряда до среднего прохода в партере, три ложи бенуара, и напротив… кусочек аванложи, где сидит дама в шляпе с огромными полями — жемчуг, кольца, платье с блестками — и двое мужчин, которые не кто иные, как братья Дюферейн-Шотель, старший и младший, оба в черном с белым, начищенные и отутюженные. Они резко освещены и в обозримом мною квадрате выделяются среди публики.

Женщина, которую я вижу, не просто женщина, а дама, видимо, мадам Дюферейн-Шотель-старшая. Моего поклонника как будто очень забавляет комический проход старьевщиц в интермедии, а вслед за ними — женщин-кучеров, ищущих клиентов.

Спев куплеты с подтанцовыванием, они тоже покидают сцену.

И наконец появляется Жаден, которая сама себя объявляет:

— А я, я королева ночного Парижа!

И тут я вижу, как мой поклонник оживленно склоняется над программкой, а потом поднимает глаза и весьма пристально разглядывает мою подружку сверху донизу от парика в форме каски до щиколоток, обтянутых ажурными чулками…

Странным образом именно он и становится для меня спектаклем, потому что я вижу только профиль малютки Жаден, которую слепящая рампа делает курносой, будто лучи света обглодали ее лицо, черную ноздрю и вздернутую губу над сверкающими, как лезвие ножа, зубами…

С красной лентой на шее, изогнутой, словно колено водосточной трубы, эта юная девочка кажется мне вдруг похожей на какую-нибудь сладострастную нимфу Ропса. Когда, исполнив свою песенку, она дважды выходила кланяться, притиснув каблучки друг к другу и прижимая пальчики к губам, мой поклонник хлопал ей своими огромными смуглыми ладонями, да так старательно, что прежде, чем исчезнуть, она послала ему персональный воздушный поцелуй, кокетливо выпятив подбородок.

— Ты что, заснула, что ли? Я уже дважды тебе сказал, что нельзя здесь больше оставаться. Видишь, ставят декорации «Гелиополиса».

— Да, да, иду…

Мне и в самом деле кажется, что *я* засыпала, а может быть, очнулась от тех бездумных мгновений, которые обычно предшествуют какой-нибудь особенно горькой мысли, предвещают какое-то душевное напряжение.

III

— Ну, так: решайся или откажись. Тебе это подходит или нет?

Оба они, и Браг, и Саломон, теснят меня и взглядами, и словами. Один посмеивается, чтобы меня успокоить, другой обиженно ворчит. Тяжелая рука, рука Саломона, ложится на мое плечо:

— Вот контракт так контракт!

Я держу его в руках, этот напечатанный на машинке контракт, и перечитываю, наверное, в десятый раз, боясь пропустить между пятнадцатью короткими строчками какой-нибудь подвох, неясный пункт, который можно понять двояко… Но, главным образом, я перечитываю его, чтобы выгадать время. Потом я гляжу в окно и вижу сквозь накрахмаленные тюлевые занавески чистый унылый двор…

Похоже, что я сосредоточенно думаю, но на самом деле я вовсе не думаю. Колебаться — это не значит думать… Я рассеянно разглядываю этот кабинет, обставленный в английском стиле, который я уже столько раз видела, со странными фотографиями на стенах: поясные портреты каких-то дам, сильно декольтированных, тща-

тельно причесанных, улыбающихся этакими «венскими» улыбками. Портреты мужчин во фраках, про которых трудно сказать, кто они — певцы или акробаты, мимы или наездники…

Итак, сорок дней гастролей по полтораста франков в день, это составит ровно шесть тысяч франков. Ничего не скажешь, кругленькая сумма. Но…

— Но, — говорю я наконец Саломону, — но я не желаю, чтобы ты отстегнул себе мои шестьсот монет! Десять процентов — да это просто грабеж среди бела Дня!

Я вновь обрела дар речи, уменье ею пользоваться и нашла те самые слова, которые подходили для этого случая. Саломон стал цвета своих волос, а именно— кирпичного, даже его бегающие глазки налились кровью, но с его толстых губ сорвалась почти любовная мольба:

— Дорогая, золотце мое, только не говори глупостей… Месяц… Целый месяц я занимался твоим маршрутом! Спроси у Брага! Месяц я из кожи вон лезу, чтобы найти для тебя точки класса… самого высшего!.. И афиши, как у… как у мадам Отеро! Да, да!.. И ты так меня благодаришь? У тебя что, совсем нет сердца? Десять процентов! Да ты должна была бы мне дать двенадцать, слышишь?

— Слышу. Но я не желаю, чтобы ты отстегнул себе мои шестьсот франков. Ты их не стоишь.

Маленькие красные глазки Саломона становятся еще меньше. Его тяжелая рука на моем плече вроде бы ласкает меня, но хочет раздавить:

— О, ядовитое семя! Погляди-ка на нее, Браг! И этому ребенку я сделал ее первый договор!

— Этот ребенок давно уже вырос, старина, и ему необходимо обновить свой гардероб. Мой костюм в пантомиме «Превосходство» уже никуда не годится. А за новый надо отдать не меньше тридцати золотых, и башмачки для танца сносились, и тюлевое покрывало, а еще все аксессуары! Ты мне даешь на них деньги, старый негодяй?

— Ты только погляди на нее, Браг! — повторяет Саломон. — Мне стыдно за нее перед тобой! Что ты о ней думаешь?

— Я думаю, — спокойно говорит Браг, — что она поступила бы правильно, согласившись на эти гастроли, но совершила бы ошибку, если бы дала тебе шестьсот франков.

— Хорошо. Верните мне контракт.

Тяжелая рука отпускает мое плечо. Саломон как-то разом сморщился, побледнел и сел за свой письменный стол в английском стиле, не удостаивая нас даже взгляда.

— Кончайте ломать комедию, Саломон! Когда я начинаю злиться, мне уже на все плевать, и если меня дурачат, то я, не задумываясь, откажусь от любого ангажемента.

— Мадам, — отвечает Саломон с достоинством, ледяным тоном, — вы говорили со мной, как *с* человеком, которого вы презираете, и это ранило мое сердце!

— Слушай, ты… — вдруг вмешивается Браг, не повышая голоса, — кончай трепаться! Шестьсот франков с ее доли, четыреста пятьдесят с моей… Ты что, принимаешь нас за немецких акробатов?! Дай-ка сюда эти листочки, сегодня мы подписывать не будем. Мне нужны сутки, чтобы посоветоваться со своею семьей.

— Тогда все погорело, — бросает Саломон скороговоркой, но как-то неуверенно, — люди, которые подписали этот контракт — директора шикарных заведений, они… не любят, когда их заставляют ждать, они…

— …сидят задницей в кипящем масле, знаю, — прерывает его мой товарищ. — Так вот, скажи им, что я зайду к тебе завтра… Пошли, Рене!.. А ты, Саломон, получишь с каждого из нас по семь с половиной процентов. Я считаю, что и это чересчур щедро.

Саломон вытирает платком сухие глаза и мокрый лоб:

— Да, да, вы оба хорошие свиньи!

— Но ведь и про вас не скажешь, Саломон, что вы так хороши…

— Оставь его, Рене, ведь это золотой человек! Он сделает все, как мы хотим. А кроме того, он тебя любит, ведь так, Саломон?

Но Саломон дуется. Он отворачивается от нас, словно толстый ребенок, и говорит плачущим голосом:

— Нет. Уходите. Я не хочу вас больше видеть. Я переживаю настоящее горе. С тех пор как я занимаюсь контрактами, меня впервые так унизили! Уходите, мне необходимо побыть одному. Я не желаю вас больше видеть.

— Ладно. До завтра.

— Нет, нет! Между нами все кончено!

— Так, значит, в пять часов?

Саломон, не вставая из-за стола, поднимает к нам *полные слез* глаза.

— В пять? Я еще должен из-за вас отменить свиданье в «Альгамбре»? Не раньше шести, слышите?

Обезоруженная, я пожимаю его короткопалую лапу, и мы выходим.

Обилие прохожих и уличный шум делают разговор практически невозможным, и мы молчим. Я заранее боюсь малолюдья бульвара Малерб, где Браг наверняка начнет спорить со мной и меня уговаривать. А собственно, чего меня уговаривать, я и так готова уехать… Амон, несомненно, будет недоволен. Марго скажет: «Ты, конечно, права, дочь моя», хотя и подумает обратное и даст мне прекрасные советы, а может быть, несколько упаковок патентованных пилюль от мигрени, запора и температуры.

А Дюферейн-Шотель, что он скажет? Представляю себе, какое у него будет лицо. Он утешится, ухаживая за Жаден… Уехать… Кстати, а когда?

— Какого числа мы уезжаем, Браг? Я не обратила на это внимание, читая контракт.

Браг пожимает плечами и останавливается рядом со мной в толпе прохожих, которые покорно ждут, когда наконец белый жезл ажана прорубит проход в потоке машин, чтобы мы могли перейти с тротуара бульвара Осман на площадь Сент-Огюстен.

— Только ты так ведешь себя, когда предлагают выгодную поездку, мой бедный друг! Мадам кричит, мадам прямо становится на уши, на одно мадам согласна, на другое — не согласна, а потом

вдруг говорит: «Я даже не обратила внимания на дату!»

Я милостиво разрешаю ему насладиться своим превосходством. Обращаться со мной, как с новичком, как с ученицей, которая только и делает, что совершает непоправимые ошибки — одно из главных удовольствий Брага… Мы бежим, повинуясь указанью ажана, до бульвара Малерб…

— С пятого апреля по пятнадцатое мая, — продолжает Браг. — Ты не против, тебя здесь ничто не удерживает?

— Ничто…

Мы идем вверх по бульвару, тяжело дыша от тепловатой сырости, которая поднимается с мокрой мостовой. После короткого ливня все вдруг начало таять, темно-серый булыжник отражает, как в кривом зеркале, разноцветные огни. Продолжение бульвара теряется в густом мареве, рыжеватом от остатка сумеречного света… Я невольно оборачиваюсь, гляжу вокруг, ищу что? Ничего. Нет, ничто меня здесь не удерживает, ни здесь, ни в любом другом месте на земле. Нет, не возникнет из тумана дорогое мне лицо, как возникает из темной воды белая лилия, мне некому крикнуть в порыве чувств: «Не уходи!»

Итак, я еще раз уеду. До пятого апреля еще да-

леко — сегодня лишь пятнадцатое февраля, но я чувствую себя уже уехавшей. Браг называет города, гостиницы и цифры, цифры… Но я пропускаю все это мимо ушей.

— Ты меня хоть слушаешь?

— Да.

— Значит, до пятого апреля ты ничем не занята?

— Насколько я знаю, ничем.

— У тебя нет маленького скетча или комической сценки, годной для гостиных, чтобы тебе было, чем заняться на это время?

— Да вроде нет.

— Если хочешь, я подыщу тебе что-нибудь, чтобы ты поработала недельку-другую?

Я расстаюсь со своим товарищем, поблагодарив его за внимание, я глубоко тронута тем, что он пытается занять меня в мое простойное время, зная, что ничто так не деморализует, не обедняет и не ввергает актеров в депрессию, как вынужденное безделье…

Три головы поворачиваются в мою сторону, когда я вхожу в свою маленькую гостиную: Амона, Фасетты и Дюферейна-Шотеля. Плотно придвинувшись к столику, освещенному лампой с розовым абажуром, они в ожидании меня играли

в экарте. Фасетта умеет играть в карты на бульдожий манер: усевшись на стуле, она внимательно следит за движениями рук партнеров, готовая схватить на лету отбрасываемую карту.

Амон воскликнул: «Наконец-то!», Фасетта тявкнула «Гав!», а Дюферейн-Шотель ничего не сказал, но мне показалось, что он вот-вот залает…

Радостный прием, приглушенный свет отогрели меня после зябкого уличного тумана, и в порыве сердечной радости я воскликнула:

— Добрый вечер! Знаете, я уезжаю!

— Уезжаете? Как, когда?

Не обращая внимания на то, что в интонации моего поклонника, помимо его воли, появилось что-то приказное, инквизиторское, я снимаю перчатки и шляпу.

— Я расскажу вам все во время обеда. Прошу вас, останьтесь оба, ведь это уже почти прощальный обед!.. Доигрывайте спокойно ваш экарте, а я тем временем пошлю Бландину за котлетами и надену халат, я так устала!

Я возвращаюсь, утопая в складках кимоно из розовой фланели, и сразу же замечаю, что у обоих, и у Амона, и у Дюферейн-Шотеля, какой-то решительный, заговорщицкий вид. Ну и пусть, мне-то что до этого? Мое хорошее настроение, пожалуй,

на руку моему поклоннику: я предлагаю ему «обмыть» предстоящую поездку и угостить нас Сен-Марсо. Он бросается, даже не надев шляпы, в бакалейную лавочку по соседству и возвращается с двумя бутылками шампанского.

В каком-то лихорадочном оживлении, чуть-чуть навеселе, я гляжу на своего поклонника не колючим взглядом, как обычно, — такого взгляда он еще никогда не видел. Я громко смеюсь — такого смеха он тоже никогда не слышал. Я закидываю наверх широченный рукав своего кимоно, обнажая до плеча руку «цвета банана», как он говорит… Я веду себя предупредительно, мило, я чуть ли не готова подставить ему щечку для поцелуя: ну и что тут в конце концов особенного? Ведь я уезжаю! Больше я его не увижу! Сорок дней? Да за это время все мы можем умереть!

Бедный поклонник, как я все-таки плохо с ним обращалась!.. Я нахожу его приятным, тщательно одетым, хорошо причесанным… Так смотрят на того, кого больше не увидят! Ведь когда я вернусь, я его забуду, и он тоже меня забудет… с малюткой Жаден или *с* какой-нибудь другой… Но скорее всего, все-таки с малюткой Жаден.

— Ма-лютка Жа-ден!

Я громко произнесла ее имя, и это показалось

мне весьма остроумным.

Мой поклонник, который сегодня вечером почему-то смеется с трудом, смотрит на меня, насупив брови угольщика:

— Что малютка Жаден?

— Она вам здорово пришлась по вкусу в тот вечер в «Ампире-Клиши»?

Дюферейн-Шотель наклоняется вперед, явно заинтересованный. Его лицо выходит из зоны, затененной абажуром, и я теперь вижу оттенок его карих глаз в рыжину со светлыми искрами, — такими иногда бывают некоторые агаты.

— Вы были в тот вечер в зале? Я вас не видел!

Перед тем как ответить, я допиваю шампанское и говорю с таинственным видом:

— Да-да, не угодно ли!..

— Смотри! Оказывается, вы были там!.. Да, она мила, эта малютка Жаден. Вы с ней знакомы? Я нахожу ее очень привлекательной.

— Больше, чем я?

Я заслужила, чтобы на эту необдуманную, дурацкую, недостойную меня фразу он ответил бы иначе, нежели просто удивленным молчанием. Я готова провалиться сквозь землю… Но какая разница? Ведь я уезжаю!.. Я начинаю говорить о своем маршруте… Объеду всю Францию, но

выступления будут только в больших городах, и афиши, как у… как у мадам Отеро! И какие прекрасные места мы будем проезжать, и на юге будет тепло и солнечно… И… И…

Шампанское — три бокала, больше не надо — пресекло мою счастливую болтовню. Говорят, это слишком большая трата энергии, если ты целыми днями молчишь!.. Мои друзья теперь курят, и за клубами дыма все удаляются от меня, удаляются и удаляются. Как я далеко от них, меня уже нет, предстоящая поездка — мое надежное прибежище… Их голоса становятся все более тихими, еле слышными, они смешиваются с грохотом мчащегося поезда, паровозными гудками, с убаюкивающей музыкой воображаемого оркестра… О, желанный отъезд, желанный сон, уносящий меня к берегу, который можно увидеть только раз…

— Что?.. Что такое?.. Уже шесть часов?.. Спасибо… Вы еще здесь?

Я спала, и мне снилось путешествие. Мальчик-слуга в гостинице колотил кулаком в дверь моего сна и кричал, что уже шесть часов… И я очнулась на моем старом просиженном диване, где задремала от усталости и выпитого шампанского. Долговязый Мужлан стоял передо мной и, каза-

лось, упирался головой в потолок. Я разомкнула веки слишком быстро и щурилась от света лампы — края абажура и углы освещенного стола больно резали глаза, словно сверкающие лезвия.

— Вы еще здесь? А где Амон?

— Он только что ушел.

— Который час?

— Полночь.

— Полночь!

Значит, я спала больше часа!

Я машинально взбиваю спутавшиеся волосы, расчесывая их пальцами, потом стягиваю вниз подол своего кимоно, чтобы спрятать и шлепанцы.

— Полночь? А почему вы не ушли с Амоном?

— Мы побоялись, что вы испугаетесь, если проснетесь одна… Вот я и остался…

Что, он смеется надо мной, что ли? Я не могу разглядеть его лица, оно в тени, где-то там, высоко…

— Понимаете, я была такой усталой.

— Прекрасно понимаю.

Что это за сухой тон, словно он выговаривает мне? Я разом вернулась к реальности. И действительно, будь я трусихой, мне бы в самый раз позвать на помощь, одна с этим черным субъектом, который, не сводя глаз, глядит на меня

сверху!.. Может быть, он тоже выпил лишнего.

— Скажите, Дюферейн-Шотель, вам нездоровится?

— Нет, я не болен.

Слава богу, он зашагал по комнате; мне было неприятно видеть его так близко возле себя.

— Я не болен, я в гневе.

— Вот как!

С минуту я думаю, потом довольно глупо добавляю:

— Из-за того, что я уезжаю?

Дюферейн-Шотель останавливается:

— Из-за того, что вы уезжаете? Я об этом даже не думал. Раз вы еще здесь, мне нечего пока думать о том, что вы уедете. Нет, я сержусь на вас. Я сержусь на вас потому, что вы спали.

— В самом деле?

— Это просто какое-то безрассудство заснуть вот так, в присутствии Амона или даже меня. Ясно, что вы представления не имеете о том, какое бывает у вас лицо во время сна. Либо вы нарочно засыпаете, когда у вас гости, но тогда это недостойно вас.

Он резко садится, словно переламывается на три части, и оказывается рядом со мной, а его лицо совсем на высоте моего:

— Когда вы спите, кажется, что вы вовсе не спите, а… В общем, кажется, что вы закрыли глаза, чтобы спрятать радость, которая сильнее вас! Да-да! У вас не лицо спящей женщины… Ну, вы сами понимаете, что я хочу сказать! Это просто возмутительно. Когда я думаю, что вы вот так спали перед многими людьми, я не знаю, что я готов с вами сделать!

Он как-то косо сидит на краешке шаткого стула, полуотвернув от меня свое удрученное лицо с двумя глубокими складками — одна на лбу, другая разрезает щеку, словно кожа его лопнула от гнева. Я не испугалась, напротив, я испытываю облегчение от того, что он вновь стал искренним, похожим на того человека, который два месяца назад ворвался в мою гримуборную.

Итак, вот и снова передо мной мой враг, мой мучитель с присущим ему детским гневом, животным упорством, рассчитанной искренностью — любовь! Тут обмануться невозможно, я уже видела когда-то так же упрямо склоненный лоб, то же выражение глаз, так же конвульсивно стиснутые пальцы, да, все это я уже видела… в те дни, когда Адольф Таиланди меня желал.

Но что мне делать вот с этим господином? Я не оскорблена, я даже не взволнована, или только

чуть-чуть, но что мне делать? Как ему ответить? Затянувшееся молчание становится еще более невыносимым, чем его признание. Хоть бы он ушел… Но он не двигается с места. Я тоже сижу неподвижно, в страхе, что вздох или движение складок моего кимоно оживят моего противника — я не смею больше сказать «моего поклонника», нет, он меня слишком любит!..

— И это все, что вы мне можете сказать?

Звук его голоса, уже помягчевшего, доставляет мне такую острую радость, что я улыбаюсь, освобожденная от невыносимого молчания.

— Я, право, не вижу…

Он повернулся и поглядел на меня с обременительной милотой большой собаки:

— Верно, вы не видите… Какой у вас счастливый талант ничего не видеть! Как только речь идет обо мне, вы не видите, вы ничего не видите! Вы глядите сквозь меня, вы улыбаетесь не для меня, вы разговариваете не со мной!.. А я разыгрываю из себя человека, который не замечает, что вы меня не замечаете. До чего хитро! Как это достойно вас и меня!

— Послушайте, Дюферейн-Шотель!

— И к тому же вы называете меня Дюферейн-Шотель. Я и без вас знаю, что у меня смешная

фамилия, фамилия, которая под стать депутату, промышленнику или директору конторы по учету векселей, но это же не моя вина!.. Смейтесь, смейтесь, счастье еще, — добавил он, чуть понизив голос, — что я хоть могу вас рассмешить…

— А как бы вы хотели, чтобы я вас называла? Дюферейн или Шотель? Или Дюдюф? Или просто Максим? Или, может быть, Макс?.. Будьте добры, передайте мне, пожалуйста, ручное зеркальце, вон оно там, на маленьком столике… И пуховку: у меня, должно быть, такой видик!.. Шампанское, сон, и вся пудра стерлась…

— Это не имеет никакого значения, — нетерпеливо сказал он. — Для кого вы собираетесь пудриться в такой поздний час?

— Прежде всего для себя. А потом для вас.

— Для меня не стоит. Вы обращаетесь со мной, как с человеком, который за вами ухаживает, вам и в голову не приходит, что я человек, который вас просто любит?

Я гляжу на него и пугаюсь еще больше, чем прежде. Сбитая с толку тем, что этот человек, как только речь зашла о любви, обнаруживает и ум, и уверенность, так хорошо сокрытые за его внешностью Долговязого Мужлана. Способность любить — вот что я угадываю в нем, вот чем он

удивляет меня и ввергает в смущение.

— Скажите откровенно, Рене, то, что я вас люблю, вам отвратительно или безразлично, или, быть может, хоть как-то приятно?

Его слова не звучат ни оскорбительно, ни униженно, ни слезливо, ни застенчиво, ни лукаво… Переняв его простоту, я, осмелев, отвечаю:

— Понятия не имею.

— Так я и думал, — сказал он серьезно. — В таком случае…

— Что в таком случае?

— Мне остается только уйти.

— Конечно, уже половина первого.

— Нет, вы меня не поняли. Я хочу сказать, не видеть вас больше, уехать из Парижа!

— Уехать из Парижа? Зачем? — искренне удивляюсь я. — В этом нет никакой необходимости. К тому же я вам не запретила видеть меня.

Он пожал плечами.

— Я вам скажу почему… Когда что-нибудь не ладится, когда у меня… неприятности, я уезжаю к нам.

Он очень мило произнес это «к нам», совсем по-провинциальному и очень нежно.

— У вас там красиво?

— Да. Там лес, все больше еловый, но есть и

дубы. Я очень люблю гулять после лесоповала — свежие пни, одиноко стоящие ели, оставленные на развод, и огромные круглые кострища, где делают уголь, — там на другой год будет полно земляники…

— И ландышей…

— Да, и ландышей… И наперстянки. Вы знаете, что это? Они вот такие высокие, и когда мы были маленькие, мы совали в ее колокольчики пальцы…

— Знаю…

Мой арденнский дровосек рассказывает плохо, но я так ясно вижу все, что он говорит!

— Каждое лето я еду туда на машине. А когда наступает осень, я хожу иногда на охоту. Это, конечно, мамины владения. У нас там ее прозвали «Стальная Пила», — говорит он со смехом. — Она валит деревья, валит, распиливает и продает.

— Ой!

— Но она леса не губит, не думайте. Она в этом знает толк, разбирается, как мужчина, даже лучше, чем мужчина!..

Я слушаю его с возникшей вдруг симпатией, я рада, что он забыл обо мне на минуту, что он говорит сейчас, как потомственный дровосек, о своем родном лесе. Я не помнила, что он из

Арденн, а он не спешил сообщить мне, что так любит свой край. Теперь я понимаю, почему у него вид мужлана! Потому что он носит обычную городскую одежду, будто она воскресная, с милой неизменной неуклюжестью, как крестьянин, приодевшийся к празднику.

— …Но, если вы меня отошлете, Рене, мать моя сразу поймет, что я приехал «лечиться», и ей снова захочется меня женить. Вот в какую историю могу я попасть из-за вас.

— Ну и позвольте ей вас женить.

— Надеюсь, вы не серьезно?

— Почему не серьезно? Оттого, что мой личный опыт был плачевен? Ну и что с того? Вы должны жениться, это бы вам очень пошло. Знаете, у вас уже вид женатого человека. Вот вы холостяк, а выглядите, как молодожен, обожаете сидеть у камина, нежны, ревнивы, упрямы, ленивы, словно избалованный муж, и в глубине души деспот и по натуре моногамен!

Ошеломленный мой поклонник молча глядит на меня, потом вскакивает.

— Да, я таков, — восклицает он, — я именно таков. Вы это сказали! Да, я таков.

Я сухо осаживаю его:

— Замолчите! Что вы так раскричались? Что с

вами? Услышав, что вы эгоист, лентяй и обожаете сидеть у камина, вы так обрадовались, что готовы пуститься в пляс?

Он покорно вновь садится на диван, но его глаза пастушьей собаки победно и преданно глядят на меня:

— Мне не важно, какой я есть, но я готов плясать от того, что вы это знаете!

— Ой, какая же я дура!

Он торжествует, он чувствует себя весьма уверенно из-за моего признания, признания в любопытстве, а может быть, и в более живом интересе к нему… Да, он победитель, его просто трясет от желания еще полнее раскрыться. Он прокричал бы мне, если бы решился: «Да, я такой! Но вы, значит, снизошли, чтобы разглядеть меня, а я, признаться, уже потерял всякую надежду, что буду когда-нибудь существовать для вас! Присмотритесь ко мне! Узнайте меня до конца, придумайте мне слабости, смешные привычки, обвините в вымышленных пороках… Поверьте, мне не важно, что вы увидели меня таким, каков я есть на самом деле: сотворите вашего поклонника по вашему хотенью и лишь потом — как мастер поправляет и доводит до совершенства посредственную картину любимого ученика, —

лишь потом исподволь, тайно, я доведу его до полного сходства с собой!»

Сказать ему, о чем он сейчас думает, чтобы его окончательно смутить? Стоп! Я чуть было не совершила еще одну ошибку. Он вовсе не смутится. Он с восторгом выслушает чтенье его мыслей и будет горячо восхвалять мое искусство ясновидения, чреватое любовью!.. Что он ожидает теперь? Что я брошусь в его объятья? Ничто не может удивить влюбленного. Как мне хотелось бы, чтобы его сейчас здесь не было… Я борюсь с желанием отдохнуть, расслабиться, поднять руку и крикнуть: «Чурчура! Я больше не играю. Я не умею играть в эту игру. Если у меня появится охота, мы когда-нибудь начнем ее снова, но сейчас у меня нет сил вам подыгрывать, вы же видите, я все время попадаю впросак…»

Он сосредотачивает свой пристальный взгляд то на моих приспущенных веках, то на губах, словно читает на моем лице мои мысли… Вдруг он встает и отворачивается, видно, почувствовав всю нескромность своего взгляда:

— Прощайте, Рене, — говорит он, понизив голос. — Извините, что я так засиделся, но Амон посоветовал мне…

Я протестую в светском замешательстве:

— О, пустяки, это не страшно… Напротив…

— Ваша консьержка крепко спит?

— Надеюсь, что нет…

Мы так смешны в этом дурацком разговоре, что во мне снова пробуждается чувство юмора.

— Знаете что, — говорю я ему, — мне бы не хотелось, чтобы вы будили консьержку. Вылезайте-ка через окно.

— Через окно? Помилуйте, Рене…

— Это же первый этаж.

— Я знаю. Но не боитесь ли вы… что меня увидят. Кто-нибудь из живущих в этом доме может возвращаться домой…

— А мне-то что до этого!

Я ответила и пожала плечами с таким презрительным равнодушием, что мой поклонник даже обрадоваться не посмел. А ведь его уход в час ночи, через окно, причем, заметьте, из моей спальни, должен был бы его наполнить этакой студенческой радостью. О, молодость!

— Прыгайте! Вот так! Прощайте!

— До завтра, Рене?

— Если вам угодно, мой друг…

Какое мальчишество!.. А ведь этому человеку уже тридцать три года!.. И мне тоже… Через шесть месяцев исполнится тридцать четыре…

Я слышала, как он бежит по тротуару под мелким липким дождиком, намочившим булыжник улиц и подоконник, о который я облокотилась, словно влюбленная… Но большая постель за моей спиной не потревожена, не тронута, простыня натянута без складок, и я в своей привычной бессоннице ее даже не помну.

Он ушел. Он вернется завтра и будет приходить во все последующие дни, раз я ему это разрешила. Он будет приходить почти счастливый, неуклюжий, полный надежд, с невинным видом — я, мол, ни о чем не прошу, — который день ото дня меня все больше раздражает, как монотонная просьба нищего… А ведь было так просто обидеть его решительным отказом, чтобы он ушел навсегда, со своей свежей, но вполне излечимой раной!..

В освещенном квадрате моего окна сеет косой дождичек, белый на черном фоне ночной улицы, словно сыплется отсыревшая мука…

Разрешив этому человеку прийти ко мне завтра, я уступила, признаюсь, уступила желанию сохранить его не как поклонника, не как друга, но как зрителя моей жизни, исполненного безграничного интереса к моей личности. «Надо катастрофически постареть, — сказала мне как-то Марго, — чтобы отказаться от тщеславного

желания жить на глазах у кого-то!»

Могу ли я искренне утверждать, что вот уже несколько недель не получаю удовольствия от постоянного присутствия этого страстного зрителя? Я не дарила ему ни заинтересованного взгляда, ни непринужденной улыбки, я следила за тем, чтобы в разговоре с ним голос мой был нейтрально ровным, а лицо ничего бы не выражало, но… Но не делала ли я всего этого, чтобы он убедился, опечаленный, обескураженный, что вся моя сдержанность адресована ему, что ради него я стараюсь быть такой неприступной? Ведь во всяком притворстве есть доля кокетства, и чтобы постоянно стараться быть более уродливой, чем ты есть на самом деле, нужно не меньше усилий и внимания, чем для того, чтобы выглядеть более привлекательной.

Если мой поклонник из темноты следит сейчас за моим окном, он может торжествовать! Я не жалею, что он ушел, я не испытываю потребности в его обществе, но я думаю о нем. Я думаю о нем так, как если бы я хотела осмыслить свое первое поражение…

Свое первое? Нет, второе. В моей жизни уже был однажды вечер — о, какое горькое воспоминанье, я готова проклясть его за то, что оно

всплыло именно сейчас! — вечер, когда я вот так же, облокотившись на парапет балкона, глядела в невидимый в ночи сад. Мои чересчур длинные волосы, заплетенные в косу, словно шелковый канат, раскачивал ветер… Сознание любви разом обрушилось на меня. Но оно не надломило моей юной силы, наоборот, я несла его с гордостью. Ни сомнение, ни даже самая сладкая печаль не омрачили этой ликующей, одинокой ночи, увенчанной глициниями и розами!.. Мною владел слепой, невинный восторг, но что сделал с этим чувством человек, который его вызвал?

Закроем окно, скорее закроем окно! Я слишком боюсь, что сквозь тонкую сетку дождя вдруг увижу зелено-черный провинциальный сад, серебристый в свете восходящей луны, и тень девушки на дорожке, которая, мечтая, наматывает себе на руку косу, словно ласкового ужа.

IV

— Марсель, Ницца, Канн, Тулон…

— Нет, Ментона, а потом Тулон…

— И Гренобль! У нас и Гренобль!

Мы перечисляем города, в которых будем выступать, как дети перебирают свои стеклянные

шарики. Браг решил, что мы повезем *с* собой костюмы и реквизит для обеих наших пантомим: и для «Превосходства», и для «Дриады».

— В городах покрупнее, где мы задержимся на четыре, а то и на шесть дней, лучше всегда иметь возможность сменить репертуар.

Я соглашаюсь. Я сегодня на все согласна. Нельзя себе представить более благожелательного и покладистого существа, чем я сегодня утром. В мастерской Карнуччи, где мы репетируем, только и слышится, что голос Брага да хохот «Старого троглодита», который в восторге от того, что едет на гастроли и будет зарабатывать по пятнадцати франков в день: его изможденное лицо с синими запавшими глазами так и светится радостью, за что ему как следует попадает от Брага:

— Я тебе поулыбаюсь, чертова глиста, ты что, балерина, выбежавшая на поклон? Можно подумать, что ты никогда не видел троглодита!.. Морду перекоси!.. Кому говорят?.. Да пострашней, слышишь?.. И чтобы глаз был идиотский! И челюсть чтобы дрожала, как у Шаляпина, ясно?

Браг вытирает вспотевший лоб и в отчаянье поворачивается ко мне.

— Какого черта я из кожи вон лезу ради этого ублюдка? Когда я говорю о Шаляпине, он счита-

ет, что я его ругаю последними словами!.. А ты сама, чего это ты, собственно говоря, в потолок уставилась?..

— Теперь настал мой черед, да?.. А я все думаю, что-то давно Браг не шепчет мне слов любви!

Мой товарищ и учитель глядит на меня с наигранным презрением.

— Слова любви пусть тебе шепчут другие: кажется, хватает желающих. Все! На сегодня заседание закончено!.. Завтра полный прогон, в костюмах и с реквизитом. Это значит, что ты будешь танцевать в своей вуали, а присутствующему здесь юному господину придется таскать большой свечной ящик вместо обломка скалы, который он швырнет на нас сверху. Мне уже надоело глядеть, как ты танцуешь с платочком величиной с ползадницы, а этот тип вместо гранитной глыбы держит в руках скомканный «Пари-Журналь». Завтра здесь в десять утра. Все!..

Как раз в тот момент, когда Браг закончил свою гневную речь, солнечный луч позолотил стеклянный потолок мастерской, и я подняла голову, словно меня кто-то сверху окликнул.

— Ты слышишь, что я говорю, девочка Рене? — одернул меня Браг.

— Да…

— Да? Так какого же дьявола ты не уходишь? Пришло время есть суп. Лови солнце на улице. Небось тянет на волю, за город?

— От тебя ничего не утаишь. Пока, до завтра.

Меня и правда все время тянет за город… Но совсем не так, как это думает мой железный товарищ. И веселая сутолока, царящая в полдень на площади Клиши, не смогла отвлечь меня от неприятного совсем свежего воспоминания.

Вчера Амон и Дюферейн-Шотель повезли меня в Медонский лес, словно два начинающих живописца молоденькую модистку. Мой поклонник должен был обновить свой автомобиль, пахнущий сафьяном и скипидаром, — эдакая роскошная игрушка для взрослых.

Его смуглое юное лицо было озарено желанием преподнести мне этот сверкающий лаком и никелем вибрирующий предмет, который был мне решительно ни к чему. Но я смеялась, потому что Амон и Дюферейн-Шотель надели для этого бегства в Медону одинаковые коричневые шляпы, с большими полями и замятой тульей, и я чувствовала себя такой крошечной между этими огромными дьяволами-искусителями! Сидя напротив меня на откидном сиденье, мой

поклонник деликатно поджимал ноги, чтобы его колени не коснулись моих. Светлый серый денек, очень мягкий, весенний, во всех подробностях высветил мне его лицо, еще более темное по контрасту с золотисто-коричневым фетром шляпы, и я разглядела какой-то особый оттенок его век, словно чуть закопченных, задымленных, и его густые жесткие, будто проволочные, ресницы. Рот, наполовину скрытый черными в рыжину усами, показался мне таинственным. Разглядела я и еле заметную сеточку тоненьких морщинок в углах глаз, и разлетающиеся брови длинней глазниц, тоже густые, незаметно сходящие на нет и кустистые у переносицы, как у охотничьего грифона… Я стала нервно копошиться в сумочке, ища зеркальце…

— Вы что-то потеряли, Рене?

Но я уже беру себя в руки:

— Нет, нет, ничего, спасибо.

С какой стати я буду перед ним разглядывать в зеркальце приметы увядания своего лица, давно отвыкшего, чтобы на него смотрели при ярком свете. Если умело использовать коричневый карандаш и синие тени да неярко накрасить губы, то этого вполне хватает — как вчера, так, впрочем, и в любой другой день, — чтобы при-

влекать внимание к трем манящим огонькам на моем лице, к трем его магнитам. Я никогда не кладу румян ни на чуть впалые щеки, ни на скулы, которые усталость и учащенное миганье исчертили едва заметными морщинками…

Радость Фасетты — она сидит у меня на коленях и безотрывно смотрит в окно лимузина — служит нам темой для вялой переброски репликами, так же как и прелесть этого еще зимнего леса — переплетение серых веток на фоне неба цвета шиншиллового меха… Но стоит мне потянуться к окну, чтобы вдохнуть горький, мускатный запах прелых листьев, который приносил слабый ветер, как я чувствую, что уверенный взгляд моего поклонника как бы охватывает меня всю…

За долгую дорогу от Парижа до Медонского леса мы не сказали друг другу и ста фраз. Сельский пейзаж не побуждает меня к красноречию, а мой старый Амон начинает скучать, как только выезжает за городскую заставу. Наше молчание могло бы заставить помрачнеть любого человека, но только не моего поклонника, который испытывал эгоистическую радость от того, что заточил меня в свой автомобиль и может не спускать с меня глаз. Я сижу в какой-то апатии, но скорее довольная нашей прогулкой, и улыбаюсь, когда

машина подскакивает на неровностях лесной дороги…

Властная Фасетта, коротко тявкнув, решила, что дальше ехать не надо, что неотложное дело призывает ее углубиться в оголенный лес по тропинке, на которой, словно круглые зеркала, блестят лужи — ведь только что прошел дождь. Мы, не возражая, пошли за ней, широко шагая, как люди, привыкшие много ходить пешком.

— Замечательно пахнет! — сказал Долговязый Мужлан, глубоко вдыхая воздух. — Как у нас.

Я помотала головой.

— Нет, не как у вас, а как у *нас.* Чем это пахнет, Амон?

— Осенью, — сказал Амон усталым голосом.

Больше мы не говорили, а, запрокинув головы, глядели на небесный ручей, струящийся меж верхушек огромных деревьев, и вслушивались в живой шепот леса, сквозь какой-то сырой, прозрачный, звенящий от мороза посвист дрозда, объявляющего этим свой вызов зиме…

Вдруг из-под ног выскочила и юрко зашуршала в листьях маленькая рыжая зверушка, то ли куничка, то ли ласка. Фасетта кинулась за ней следом, и мы покорно пошли за обезумевшей, упрямой, хвастливой собакой, которая просто

заходилась от лая: «Я ее вижу! Она от меня не уйдет!», хотя явно шла по ложному следу.

Захваченная энтузиазмом Фасетты, я помчалась вслед за ней, испытывая животное наслаждение от быстрого бега. Скунсовую шапочку я натянула на уши и обеими руками приподняла юбку, чтобы ногам ничего не мешало…

Когда, вконец задохнувшись от бега, я остановилась, то увидела, что Максим стоит рядом.

— Вы бежали за мной? Как это я не услышала?

Он учащенно дышал, глаза его блестели под раскидистыми бровями, волосы растрепались. Он выглядел, как влюбленный угольщик, и, казалось, от него всего можно было ожидать.

— Я не отставал от вас… Это не хитро. Чтобы вы не слышали моих шагов, я старался бежать с вами в ногу. Только и всего.

Да… Это, действительно, не хитро. Но об этом надо было подумать. Вот мне, например, это никогда бы и в голову не пришло. Еще опьяненная быстрым бегом, словно лесная нимфа, возбужденная, неосторожная, я рассмеялась ему в лицо, как бы провоцируя его. Мне хотелось, чтобы вновь вспыхнуло в глубине его красивых серых с рыжими искрами глаз злое желтое пламя… Угроза этого, пожалуй, промелькнула, но я почему-то не

унималась, как наглый упрямый ребенок, который сам нарывается на пощечину. И, конечно, была наказана гневным поцелуем, поспешным, неудачным, который только разочаровал мои губы…

…Вот эти минуты вчерашнего дня я подробно перебираю в памяти, пока иду по бульвару Батиньоль, но не для того, чтобы их с удовольствием заново пережить, и не для того, чтобы найти себе хоть какое-то оправдание. Нет, оправдания тут не найти, разве что для того человека, которого я сама так откровенно вынудила это сделать. «Просто себя не узнаю!» — мысленно воскликнула я вчера, когда мы, недовольные друг другом и смущенные, возвращались к Амону… А что я о себе знаю? «У тебя нет более страшного врага, чем ты сама…» Лицемерная рассеянность, лицемерная осторожность — вот что лежит в основе так называемых импульсивных натур, а я совсем не импульсивная натура! Надо сурово судить тех, кто восклицает: «Ах, я потеряла голову, не знаю, что делаю!», и уметь разглядеть в их растерянности большую долю предусмотрительности и хитрости..

Я не считаю, что с меня может быть снята хоть часть ответственности за то, что случилось. Что

я смогу сказать этому человеку сегодня вечером, если он попытается меня обнять? Что я не желаю этого, что я вовсе не имела в виду его соблазнять, что это игра? Что я предлагаю ему свою дружбу, сроком на месяц и десять дней, которые отделяют нас от предстоящих гастролей? Нет! Придется принять какое-то решение! Именно, придется принять какое-то решение…

И я иду, ускоряя шаг всякий раз, как вижу свое отражение в витрине, — мне неприятно это театрально-озабоченное, волевое выражение своего лица, а глазам под нахмуренными бровями не хватает убедительности. Я хорошо знаю это выражение! Оно как бы афиширует мой аскетизм, полную отрешенность от всего. Но на самом-то деле за ним скрывается ожидание маленького чуда, знака, который должен мне подать мой хозяин Случай, того фосфоресцирующего слова, которое вспыхнет на черной стене, когда я погашу ночью лампу… Какой чудный запах распространяют мокрые фиалки и белые нарциссы на уличных тележках. Старик, заросший густой бородой, продает подснежники прямо с луковичками, облепленными землей, а сами цветки на тоненьких стебельках, как драгоценные подвески, похожи по форме на пчел. Их запах, пожалуй, напомина-

ет запах апельсинов, но он такой слабый, почти неуловимый…

Ну, что ж! Придется принять решение. А я все иду и иду, будто не знаю, что, несмотря на все мои всплески энергии, на все сомнения, на всю тяжесть вины, которую я пытаюсь на себя взвалить, я приму *это* решение, а не *другое!..*

V

Слабость!.. Боже мой, какая ужасная слабость!.. Заснула после обеда, как иногда случается в дни репетиции, и вот проснулась совсем разбитой! Проснулась, словно возвратилась *с* того конца земли — я удивлена, опечалена, голова моя пуста, я с неприязнью обвожу взглядом до ужаса знакомую мебель. Это пробуждение я могу сравнить только *с* пробуждениями в те годы, когда я так страдала. Но ведь теперь я уже не страдаю, так почему же?..

Я не в силах пошевелиться. Гляжу на свою бессильно висящую руку, будто она не моя. Не узнаю своего платья… Куда делась сплетенная из кос, лежащих вокруг головы, как у строгой юной богини Цереры, диадема над моим лбом? Я была… Я была… Сад… Небо в час заката цвета розоватого

персика… Звонкий детский голос, откликающийся на посвист ласточек… И будто грохот далекого водопада, то грозный, то затихающий — это шум леса… Я вернулась к истокам своей жизни. О, сколько надо было пройти, чтобы отыскать себя там. Я хочу снова заснуть, быть окутанной темной завесой, которая только что раздернулась, обнажив меня. Меня знобит… Больные, когда им кажется, что они уже выздоровели, знают, как тяжелы рецидивы. Они недоумевают и жалуются: «А я-то думал, что уже все прошло!» Я готова была, как и они, громко стонать…

Гибельный и сладкий сон, который меньше, чем за час, уничтожил мое представление о себе! Откуда я возвращаюсь и какие крылья меня несут, если я, униженная, отторгнутая от самой себя, так медленно вползаю в свою шкуру?.. Рене Нере, танцовщица и мим… К этому ли готовили меня мое честолюбивое детство и задумчивая, страстная юность, которая так бесстрашно приняла любовь?..

Марго, всегда обескураживающая меня подруга, почему у меня нет сил вскочить на ноги, кинуться к вам и сказать?.. Но вы цените во мне только силу духа, и я не посмею предстать перед вами слабой. Мне кажется, что ваш решитель-

ный взгляд и пожатие вашей маленькой сухой руки, шершавой от холодной воды и простого мыла, скорее готовы вознаградить меня за победу над собой, нежели поддержать в повседневной внутренней борьбе.

Мой предстоящий отъезд? Свобода?.. Ну и что! По-настоящему она пленительна лишь в начале любви, первой любви, в тот день, когда ты можешь сказать, отдавая ее тому, кого полюбил: «Берите! Я хотела бы дать вам еще больше…»

Новые города, новые страны, едва увиденные, как бы проскользнувшие мимо, которые сливаются потом в воспоминаниях… До новых ли стран тому, кто вертится, словно белка в колесе? Мои жалкие порывы, подстегивающие меня каждое утро, каждый вечер, фатальным образом приводят меня в первоклассные казино и кафешантаны, которые мне так расхваливали Саломон и Браг.

Сколько уже я их перевидала, этих *первоклассных* казино и кафешантанов! Если глядеть на них глазами публики, то это дьявольски освещенный зал, где клубы сизого табачного дыма не в силах пригасить сусальное золото лепнины. Если же глядеть глазами артистов— это грязные душные клетушки гримуборных и скользкая железная

лестница, ведущая в гнусные сортиры…

Итак, придется в течение сорока дней сражаться с усталостью, невозмутимо сносить пакостные шутки рабочих сцены, злобное тщеславие провинциальных дирижеров, скверную еду в гостиницах и вокзалах, находить в себе и постоянно восстанавливать так быстро иссякающие запасы энергии, без которых невозможна жизнь одиноких странников. А главное — от этого мне уж никуда не деться — бороться с одиночеством… А, собственно, ради чего? Ради чего?

Когда я была маленькой, мне говорили: «Усилие уже само по себе награда», и я после каждого своего усилия ждала некоей таинственной, необычайной награды, своего рода божьей милости, которая была бы для меня безмерно щедрой. Я и теперь еще жду ее…

Звонок в дверь, который приглушенно доносится до спальни, и лай Фасетты освобождают меня от горьких размышлений. Вот я уже на ногах, удивленная тем, что так легко вскочила с постели и, оказывается, готова продолжать жить…

— Мадам, — говорит Бландина вполголоса. — К вам пришел господин Дюферейн-Шотель. Можно его впустить?

— Нет… Минутку…

Напудрить щеки, накрасить губы, откинуть упавшие на лоб вьющиеся волосы — это я делаю машинально, быстро, даже не глянув в зеркало, вроде того, как мою ногти щеточкой — подстегивает не кокетство, а скорее чувство приличия.

— Вы здесь, Дюферейн-Шотель? Входите. Сейчас я зажгу свет…

Я не чувствую никакой растерянности оттого, что вновь его вижу. То, что он вчера так бездарно ткнулся губами мне в губы, нимало не смущает меня сейчас. В конце концов неудачный поцелуй обязывает куда меньше, чем заговорщицкий обмен взглядами… И я чуть ли не удивляюсь, что у него такой несчастный и разочарованный вид. Я назвала его, как обычно, Дюферейн-Шотель, словно у него нет имени… Я всегда обращаюсь к нему: либо «Вы», либо «Дюферейн-Шотель»… Быть может, мне надо позаботиться о том, чтобы он чувствовал себя здесь менее скованным?

— Вы пришли… Как вы поживаете?

— Благодарю вас, хорошо.

— Что-то по вас этого не видно.

— Потому что я несчастен, — говорит он без обиняков.

Долговязый Мужлан, и все тут!.. Я улыбаюсь его несчастью, его маленькому несчастью мужчи-

ны, плохо поцеловавшего женщину, в которую влюблен. Я улыбаюсь ему издалека, с того берега целомудренной темной реки, где я только что купалась… Я протягиваю ему портсигар с его любимыми сигаретами — светлый табак, пахнущий медовыми пряниками…

— Вы что, решили сегодня не курить?

— Почему? Курю… Но я все равно несчастен.

Сидя на диване и опершись о подушки, он затягивается и выпускает из ноздрей длинные струи дыма. Я тоже курю, чтобы чем-то заняться, чтобы делать то же самое, что и он. С непокрытой головой он выглядит привлекательней. Цилиндр уродует его, а мягкая фетровая шляпа ему, правда, идет, но делает его похожим на авантюриста. Он курит, уставившись в потолок, словно важность тех слов, которые он, видимо, собирается произнести, не позволяют ему заниматься мной. Длинные блестящие ресницы — единственная женственная и чувственная деталь его ярко выраженного мужского лица — часто смыкаются, выдавая волнение и нерешительность. Я слышу, как он дышит. А еще я слышу тиканье моих дорожных часов и тихое позвякивание каминной заслонки, которую колышет ветер…

— Что, на улице дождь?

— Нет, — отвечает он, вздрогнув. — Почему вы об этом спрашиваете?

— Просто так. Я не выходила после обеда из дому и не знаю, какая погода.

— Какая вам разница… Рене!..

Он бросает сигарету в пепельницу и резко выпрямляется. Он берет меня за руки и придвигается так близко ко мне, что лицо его кажется мне огромным. Я разглядываю его во всех подробностях — поры кожи, влажные пульсирующие уголки его широко расставленных глаз… Сколько любви… да, именно любви в этих глазах. До чего же они говорящие, и нежные, и совершенно влюбленные! Его огромные руки сжимают мои с какой-то равномерной, передающейся мне силой, и я чувствую, как они убедительны!..

Впервые я не высвобождаю своих рук. Сперва, чтобы укротить свою неприязнь, а потом жар его ладоней одолевает меня, покоряет, и я уже больше не сопротивляюсь так давно мне неведомой, братской, ни с чем не сравнимой радости молча довериться другу, прижаться к нему на миг, чтобы набраться сил у недвижимого, теплого, ласкового, молчаливого существа… О, какое счастье обхватить руками шею любого живого существа, собаки или человека, существа, кото-

рое меня любит!..

— Рене! Рене, вы плачете?

— Я плачу?

Да он прав! Ярчайший свет от множества преломленных и перекрещенных лучиков в моих наполненных слезами глазах. Я быстро смахиваю их уголком носового платка. Но я и не думаю делать вид, что их нет. И я улыбаюсь при мысли, что чуть всерьез не расплакалась. Когда же я плакала в последний раз? С тех пор прошли… годы, годы!..

Мой друг потрясен, он привлекает меня к себе и усаживает — впрочем, я особенно не сопротивляюсь — рядом с собой на диван. Его глаза тоже увлажнились, ибо он всего лишь мужчина, а, значит, может наигрывать чувства, но скрывать их он не в силах.

— Что с вами, мое дорогое дитя?

Забудет ли он когда-нибудь мой вырвавшийся в ответ сдавленный крик и охватившую меня дрожь? Надеюсь… «Мое дорогое дитя»… Вот первые ласковые слова, которые он сказал мне: «Мое дорогое дитя!» Те же слова и та же интонация, что и у того, *другого.*

Детский страх вырывает меня из его объятий, словно тот, другой, только что появился в дверях,

я вижу его усы а ля Вильгельм II, его лживый томный взгляд, его квадратные плечи и мускулистые крестьянские ляжки…

— Рене! Дорогая! Скажите хоть что-нибудь…

Мой друг стал бледным, как полотно, и не пытается привлечь меня к себе… Пусть хоть не узнает, какую боль он мне только что причинил! Мне уже не хочется плакать. Мои малодушные сладостные слезы медленно откатываются назад, к своему истоку, обжигая глаза и гортань… Чувствуя, что голос мне еще может изменить, я жестом успокаиваю моего друга…

— Я вас чем-нибудь огорчил, Рене?

— Нет, мой друг.

Я сама снова сажусь рядом с ним, но делаю это робко, боясь, что мое движение, мои слова вызовут новое нежное, но слишком хорошо мне знакомое и ненавистное слово.

Инстинкт подсказал ему не радоваться такой быстрой покорности. Рука, которая меня поддерживает, больше не прижимает меня к себе, я больше не чувствую всепроникающего, опасного и благотворного тепла… Он, видимо, достаточно любит меня для того, чтобы догадаться, что если я и смиренно склонила свою голову к его сильному плечу, то это еще не дар, но лишь попытка…

Мой лоб уткнулся в плечо мужчины!.. Быть может, мне это снится? Нет, я не сплю и не грежу наяву. Ни моя голова, ни мои чувства не воспламенены, я пребываю в каком-то мрачном покое. Однако в той вялости, которая удерживает меня в этой позе, есть нечто большее, чем равнодушие, и если я рассеянно и небрежно играю золотой цепочкой от часов, прикрепленной к петле его жилета, то только потому, что чувствую себя вдруг защищенной, укрытой от опасности, словно бездомный котенок, которого подобрали и который умеет играть и спать только, когда у него появляется дом.

Бедный мой поклонник… О чем он думает, сидя вот так неподвижно, уважая мое молчание? Я запрокидываю голову, чтобы поглядеть на него, и тотчас же зажмуриваюсь, ослепленная, смятенная выражением лица этого человека. О, как я завидую ему, что он может так сильно любить и становиться от этой страсти таким красивым! Встретив мой взгляд, он героически улыбнулся.

— Рене… Как вы думаете, когда-нибудь вы сумеете меня полюбить, хоть когда-нибудь?

— Полюбить вас? Как бы я этого хотела, мой друг! Мне кажется, что вы… вы не злой… Неужто вы не чувствуете, что я привязываюсь к вам?

— Вы привязываетесь ко мне… Именно этого я и боюсь, Рене: это не путь любви…

Он так глубоко прав, что я и не пытаюсь возражать.

— Но… Повремените… Никому не дано знать… Быть может, когда я вернусь после гастролей… А потом, в конце концов глубокая дружба…

Он качает головой… Видимо, ему решительно не нужна моя дружба. А вот я была бы рада иметь менее старого, менее изношенного друга, чем Амон, настоящего друга…

— Когда вы вернетесь… Прежде всего, если бы вы в самом деле надеялись меня когда-нибудь полюбить, Рене, вам бы не захотелось от меня уехать. Через два месяца, как и сейчас, та же Рене протянет мне свои маленькие холодные руки, глаза ее так же не впустят мой взгляд, и у нее будут те же губы, которые, даже предлагая себя, не отдаются.

— Я в этом не виновата… Но вот они, мои губы… Вот они…

Я вновь опускаю голову ему на плечо и прикрываю глаза, скорее с покорностью, чем с любопытством, но через мгновение вновь открываю их, удивленная тем, что он не впивается в мои губы со вчерашней жадностью… Он только

чуть поворачивается и мягко полуобнимает меня правой рукой, а левой — сжимает обе мои руки и наклоняется ко мне, — я вижу, как медленно приближается это серьезное чужое лицо, этот человек, которого я так мало знаю…

Уже почти нет ни расстояния, ни воздуха между нашими лицами, я порывисто вздыхаю, будто тону, и делаю судорожное движение, чтобы освободиться. Но он крепко держит мои руки и еще сильнее сжимает мою талию. Я тщетно пытаюсь откинуть голову в тот миг, когда губы Максима касаются моих губ…

Я не закрыла глаза. Я нахмурила брови, чтобы отпугнуть нависшие надо мной зрачки, которые пытаются подчинить, поглотить мои. Губы, что целуют меня, мягкие, свежие, но какие-то безличные, те же губы, что вчера, и их бесплотность приводит меня в ярость… Но вот они становятся другими, и я уже не узнаю его поцелуя, — он оживает, упорствует, чуть гаснет и вспыхивает с новой силой, становится инициативным, ритмичным, потом вдруг замирает, словно ожидая ответа, но не получает его…

Я едва заметно отвожу голову — его усы, пахнущие ванилью, медовым табаком, щекочут мне ноздри… Ой!.. И тут, помимо моей воли, губы мои,

дрогнув, начинают разжиматься… Вот они уже совсем раскрылись, — с той же неумолимостью, с какой лопается на солнце созревшая слива… От губ до чрева, и ниже, до колен, проносится судорожная волна, возрождается и охватывает все мое тело требовательная мука, нечто сродни набуханию бутона, который должен лопнуть и расправить лепестки — забытое мною сладострастие…

Я позволяю мужчине, разбудившему меня, утолить свою жажду. Мои руки, только что еще такие напряженные, стали в его руке теплыми и мягкими, а мое опрокинутое навзничь тело прильнуло к его телу. Изогнувшись на поддерживающей меня руке, я удобнее умащиваюсь на его плече, теснее прижимаюсь к нему, но слежу при этом, чтобы наши губы не разомкнулись, чтобы не прервался наш поцелуй. Он понимает мое желание и отвечает мне счастливым мычанием… Теперь уже уверенный, что я не убегу, он отодвигается от меня, переводит дыханье и глядит на меня, чуть покусывая свои влажные губы. Я опускаю веки, мне больше не нужно его видеть. Быть может, он меня разденет и полностью овладеет мною… Но какое это имеет сейчас значение! Я исполнена какой-то безответственной, ленивой радости…

Спешить нам некуда, только бы вновь соединил нас этот нескончаемый поцелуй. У нас еще все впереди… Гордый своей победой, мой друг хватает меня поперек туловища, как сноп, укладывает на диван *и* устраивается рядом. Его губы имеют теперь вкус моих и слегка пахнут моей пудрой… Эти умелые губы хотят показаться новыми, стремятся разнообразить ласку, но я уже смею выказать свое предпочтение к неподвижному, долгому, безотрывному поцелую. Неторопливое слияние двух цветков, в сердцевине которых лишь вибрируют два пестика, касающиеся друг друга…

Теперь мы отдыхаем. Длинная пауза, чтобы отдышаться. На этот раз я оторвалась от него. Я встала, испытывая потребность вытянуть руки, потянуться, вырасти. Мне захотелось поправить волосы и посмотреть на свое новое лицо, я взяла ручное зеркало и засмеялась, увидев, что у нас обоих сонные глаза и вздрагивающие, блестящие, слегка припухшие губы. Максим остался на диване, и его молчаливый призыв получает самый желанный для него ответ: мой взгляд покорной собаки, несколько сконфуженной, слегка побитой, щедро обласканной и готовой принять все: поводок, так поводок, ошейник, так ошейник, а

главное— место у ног хозяина…

VI

Он ушел. Мы поужинали вместе чем попало: Бландина подала котлеты с соусом и корнишоны… Я умирала от голода. «Воистину, любовь вытесняет все желания, кроме…» — пошутил он, показав к тому же, что читал Верлена.

После ужина мы не кинулись снова друг другу в объятия, не стали любовниками, потому что он целомудренный, и экспромты мне не по душе… Но я радостно и безо всякого кокетства все ему обещала:

— Нам ведь некуда спешить, правда, Макс?

— Как сказать, дорогая! Я стал таким старым за то время, что вас ждал.

Таким старым!.. Он не знает, сколько мне лет!..

Он ушел. Завтра он снова придет… Он не мог от меня оторваться, я боялась, что сдамся, я отталкивала его, вытянув руки… Мне было тепло, он в запальчивости принюхивался ко мне, словно собираясь укусить… Наконец он ушел. Я говорю «наконец», потому что смогу думать о нем, о нас…

«Любовь…» — сказал он. Любовь ли это? Хоте-

лось бы в этом быть уверенной. Люблю ли я его? Моя чувственность меня испугала. Но, может, это лишь вспышка, разгул той силы, которую я слишком долго обуздывала, а потом я скорее всего пойму, что люблю его… Если бы он сейчас вернулся и постучал в мою ставню… Да, конечно же, я его люблю. Я с волнением вспоминаю какие-то его интонации, эхо его влюбленного гула еще гудит во мне, и у меня перехватывает дыхание, и еще он добрый и сильный, он спас меня от одиночества, когда я уткнулась в его плечо. Да, да — я его люблю! Кто сделал меня такой пугливой? Я так долго не колебалась, когда…

О какую могилу споткнулась моя мысль? Бежать уже поздно, я снова встретилась с моей безжалостной наперсницей, с той, что следит за мной из Зазеркалья.

«Ты так долго не колебалась, когда любовь, обрушившись на тебя, раскрыла всю меру твоего безумия и твоей храбрости! В тот день ты не спрашивала себя, *любовь ли это!* Ты не могла ошибиться: это была она, любовь, *первая любовь*. Это была она, и больше ее уже никогда не будет! В своем простодушии маленькой девочки ты ее сразу узнала и, не торгуясь, отдала ей свое тело и свое детское сердце. Это была она — она не

объявляет о себе, ее не выбирают, с ней не спорят. И она никогда больше не повторится. Он взял у тебя то, что ты можешь отдать только единожды: доверие, религиозное изумление перед первой лаской, новизну твоих слез, цветок твоего первого страдания!.. Люби, если тебе удастся, это тебе скорее всего еще будет дано, но только для того, чтобы в лучший час твоего бедного счастья ты бы помнила, что в любви бесценна только первая любовь, чтобы ты ежеминутно терпела наказание, вспоминая прежнее, и переживала бы ужас вечных сравнений! Даже когда ты скажешь: «Это лучшее из всего, что было!», ты будешь страдать, понимая, что ценно только единственное. Есть бог, который говорит грешнику: «Ты меня не искал бы, если бы уже не нашел…» Но Любовь не так милосердна: «Ты, который меня нашел однажды, — говорит она, — теряешь меня навсегда! Ты думала, что, расставшись с одним, ты отстрадала свое? Увы, этому нет конца! Смакуй, пытаясь воссоздать в своей памяти себя такой, какой ты была прежде, свою деградацию! Осушай на каждом пиру твоей новой жизни бокал с ядом, который будет тебе подливать твоя первая, твоя единственная любовь!..»

Надо будет поговорить с Марго, признаться ей

в том, что произошло, рассказать про этот солнечный удар, который перевернул мою жизнь… Ибо все решилось— мы любим друг друга! Все решилось, да, впрочем, я и сама полна решимости. Я послала к чертям все свои воспоминания и сожаления, и свою манию плести, как я это называю, сентиментальную филигрань, все свои «если», свои «потому что», свои «но», свои «тем не менее»…

Мы видимся ежедневно, постоянно, он увлекает меня за собой, ошеломляет своим присутствием, мешает думать. *Он все* решает сам, почти приказывает, и я кладу к его ногам не только свою свободу, но и свое самолюбие, потому что позволяю сорить ради меня деньгами, заваливать мой дом цветами и фруктами, привезенными из заморских стран, а еще я ношу на шее сверкающую стрелочку, она как бы впилась мне в горло, расцвеченная, словно моей кровью, шлифованными рубинами.

Однако мы не стали еще любовниками! Отныне, исполненный терпенья, Макс обрекает себя и меня на пост помолвки, который нам обоим дается совсем не легко — меньше, чем за неделю, мы оба осунулись и истомились. У него это не порок, но кокетство мужчины, которому

хочется быть желанным и вместе с тем дать мне то время, которое необходимо, чтобы я как бы сама приняла решение…

Впрочем, мне и выжидать-то, собственно говоря, больше нечего… Теперь я опасаюсь только этой неведомой мне прежде страсти, вспыхнувшей при первом же прикосновении к нему и готовой слепо повиноваться… Он, конечно, прав, оттягивая час, который нас соединит до конца. Теперь я знаю, чего хочу, знаю, что дар, ожидающий его, будет поистине великолепен. *Я не* сомневаюсь, что превзойду все его самые дерзкие надежды! А пока пусть он понемногу обрабатывает свой сад, если хочет…

А он это часто хочет. К моей радости и тревоге, случаю было угодно, чтобы этот красивый рослый парень с простыми чертами лица оказался на редкость проницательным любовником, просто созданным для женщин, он настолько интуитивен, что его ласки всегда соответствуют всем моим желаниям. Мне вспоминается— и я краснею — дурацкая фраза одной моей товарки по мюзик-холлу, когда она расхваливала изощренность своего нового кавалера: «Поверь, дорогая, сама бы себе лучше не сделала!»

Но… Во что бы то ни стало мне нужно погово-

рить с Марго! Бедная Марго, которую я забываю… Что до Амона, то он исчез с моего горизонта. Он все знает от Макса и обходит мой дом, как тактичный родственник…

А Браг? Ой, ну и видик же был у него на нашей последней репетиции! Когда я вышла из автомобиля Макса, он встретил меня своей самой горькой улыбкой Пьеро, но промолчал. Он даже вел себя с несвойственной ему и мною не заслуженной любезностью, потому что *в* то утро мысли мои были заняты другим, я все время ошибалась и смущенно просила прощения. Наконец его все-таки прорвало:

— Убирайся! Возвращайся туда, откуда пришла. Натешься с ним вволю, и не появляйся мне на глаза, пока все это тебе не осто..!

Чем больше я хохотала, тем больше он ярился, похожий на маленького азиатского дьявола:

— Смейся, смейся! Ты бы лучше поглядела на свою рожу!

— Мою ро..!

— На ней же все написано вот такими буквами! И не смотри на меня глазами Мессалины!.. Вы только полюбуйтесь! — обращаясь к невидимым богам, вопил он. — В полдень она является с такими вот зыркалами! А когда я требую, чтобы

она выложилась в любовной сцене Дриады, она, будто назло, изображает из себя невинность.

— Это и в самом деле на мне видно? — спросила я Макса, когда он вез меня домой.

В то же зеркало заднего вида над ветровым стеклом, в котором тогда отражалось мое разочарованное лицо, я вижу теперь свои чуть впалые щеки и лукавую улыбку любезной лисички. Но словно отсвет какого-то бегущего пламени то и дело озаряет мои черты, как бы гримируя их, если можно так выразиться, под «изможденную юность».

Итак, я во всем признаюсь Марго: расскажу ей, что снова попала в плен, что счастлива, назову имя того, кого люблю… Мне это будет не легко. Марго не из тех, кто говорит: «Я это тебе предсказывала!», но думаю, я ее огорчу и разочарую, хотя она и виду не подаст. «Вот уж точно — семь шкур содрали, а ты снова в живодерку бежишь». Ну, конечно, бегу, да еще с какой охотой!..

Я застаю Марго в ее большой комнате-мастерской, где она и спит, и ест, и выращивает своих собак брабасонской породы. Она, как всегда, верна себе во всем. Высокая, прямая, в неизменной вышитой московской косоворотке и длинном черном жакете, с коротко подстриженными

жесткими седыми волосами, обрамляющими ее пергаментно-бледное лицо монахини, она склонилась над корзинкой, где копошится маленький желтый недоносок — крошечная собачка в фланелевой попонке, которая подымает к ней голову, — я вижу выпуклый, как у бонзы, лоб и красивые умоляющие глаза белочки… Вокруг меня тявкают и вертятся, как черти, еще шесть наглых тварей, и только удар хлыста заставляет их разбежаться по своим плетеным конуркам.

— Как, Марго, еще один брабасонец? Вот это настоящая страсть!

— Бог видит, что нет, — говорит Марго и садится напротив меня, баюкая на коленях больную собаку. — Эту бедняжку я совсем не люблю.

— Вам ее подарили?

— Нет, я ее, конечно, купила. Это послужит мне наукой, я теперь буду обходить лавку этого старого негодяя Артмана, который торгует собаками. Ты бы только видела эту сучку в витрине, — съежившаяся, мордочка больной крысы и позвонки, которые можно было перебирать, как четки… Но главное — ее взгляд… Ничто теперь меня не трогает, разве что глаза собаки, которую продают… Вот я ее и купила. Она полуживая— у нее тяжелейший энтерит. В лавке этого нельзя заметить:

им, как допинг, дают какодилат… Я тебя давно не видела, дитя мое, скажи, ты работаешь?

— Да, Марго, я репетирую…

— Это видно, ты устала.

Привычным движением она берет меня за подбородок, чтобы запрокинуть и приблизить к себе мое лицо. Я с тревогой закрываю глаза.

— Да, ты устала, — говорит она серьезным тоном, — ты постарела.

— Постарела! Ой! Марго!..

Этим криком отчаяния и слезами, хлынувшими из глаз, я выдаю весь свой секрет. Я припадаю к груди моей суровой подруги, которая гладит меня по плечу, приговаривая: «Бедняжка, бедняжка!», точно так, как она только что успокаивала больную собачку.

— Ну, хватит, бедняжка, успокойся… На, это раствор борной кислоты, промой глаза. Я его только что навела для Миретты. Нет, не платком, возьми кусок ваты… Ну вот и хорошо… Тебе, видно, сейчас очень нужна твоя красота, бедняжка?

— О, да!.. О, Марго…

— «О, Марго!» Можно подумать, что я тебя била. Погляди на меня! Ты рассердилась, бедняжка?

— Нет, Марго…

— Ты же прекрасно знаешь, — продолжает она

своим ровным и мягким голосом, — что ты всегда найдешь у меня любую помощь, даже самую мучительную: правду… Что я такого тебе сказала? Я сказала: ты постарела…

— Да… О, Марго!..

— Не начинай все сначала. Ты постарела за *эту неделю!* Ты постарела *сегодня!* Завтра или через час ты будешь снова на пять лет моложе, а может, на десять… Если бы ты пришла вчера или завтра, я бы, наверно, сказала тебе: «Гляди-ка, а ты помолодела!»

— Подумайте только, Марго, мне скоро исполнится тридцать четыре года!..

— Жалуйся! А мне пятьдесят два.

— Это не одно и то же. Мне сейчас просто необходимо, Марго, быть красивой, молодой, счастливой… Я… Я…

— У тебя появился любовник?

Голос у нее по-прежнему мягкий, но выражение лица чуть-чуть изменилось.

— У меня нет любовника, Марго. Но несомненно, что… вскоре он будет… Но… знаете, я его люблю!

Эта глупая попытка как бы оправдаться развеселила Марго.

— А-а! Ты, оказывается, его любишь?.. И он тебя

тоже любит?..

— О!

И горделивым жестом я заверяю подругу, что на этот счет не может быть и тени сомнений.

— Это хорошо. А… сколько ему лет?

— Мы ровесники, Марго, ему тоже вскоре тридцать четыре.

— Это хорошо.

Мне больше нечего добавить. Я чувствую себя ужасно неловко. Я рассчитывала, что после первого смущения смогу не спеша выболтать ей свою радость, рассказать все о моем друге — и про цвет его волос, и про форму рук, и про его доброту, и про его честность…

— Он… Вы знаете… он очень милый, Марго… — отважилась я сказать, хоть и очень робко.

— Тем лучше, дитя мое. У вас есть какие-нибудь планы?

— Планы?.. Нет, мы еще ни о чем таком не думали… Время есть…

— Это верно, время у вас есть… А твои гастроли? Эти новые обстоятельства им не помешают?

— Мои гастроли? Все остается в силе.

— А твоего… этого самого… ты что, *с* собой берешь?

Хотя слезы мои еще не высохли, я не могу не

рассмеяться: Марго говорит о моем друге с деликатным отвращением, как о чем-то грязном.

— Да, я его беру с собой… То есть, по правде говоря, Марго, я еще не знаю. Посмотрим…

Моя свояченица поднимает брови:

— Ты не знаешь! У тебя нет планов! Ты посмотришь!.. Честное слово, вы меня удивляете! О чем вы только думаете? Ведь у вас должна быть лишь одна забота — строить планы и готовить свое будущее!

— Будущее… О, Марго, я не люблю о нем думать. Готовить будущее? Бр-р! Оно само готовится и всегда наступает слишком быстро.

— Речь у вас идет о браке или о прелюбодеянии?

Я не сразу отвечаю, впервые в жизни смущенная грубой прямотой целомудренной Марго.

— Ни о чем еще речь не идет… Мы знакомимся, узнаем друг друга…

— Узнаете друг друга!

Марго наблюдает за мной, поджав губы, и в ее маленьких светящихся глазках мерцает какое-то жестокое веселье.

— Узнаете друг друга!.. Это период, когда красуются друг перед другом. Так?

— Уверяю вас, Марго, мы не красуемся, — гово-

рю я, делая усилие, чтобы улыбнуться. — Эта игра для очень молодых людей, а мы уже, ни он, ни я, не молодые.

— Тем более, — безжалостно настаивает на своем Марго. — Вам больше надо скрывать друг от друга… Деточка, — добавила она ласково, — ты сама знаешь, что над моей манией надо смеяться, но брак мне кажется чем-то таким чудовищным! Я тебя уже веселила рассказом о том, как с первого же дня своего замужества я отказалась спать в одной комнате с мужем, потому что считала безнравственным жить в такой близости с молодым человеком не из моей семьи. Это у меня врожденное, что поделаешь, я не исправлюсь… Ты сегодня пришла без Фасетты?

Я, как и Марго, пытаюсь развеселиться:

— Да, Марго, ваша свора так негостеприимно встретила ее в прошлый раз.

— Что правда, то правда. Она сейчас не в блестящей форме, моя свора. Эй, калеки, выходите!

Повторять этого не пришлось. Из стоящих рядком плетеных конурок выскочили с полдюжины дрожащих и жалких собак, самая крупная из которых могла бы спрятаться в шляпе. Я знала почти всех ее собачек, Марго спасла их от «торговцев собаками», вырвала из этих дурацких,

зловредных лавочек, где в витринах выставляют больных, перекормленных или, наоборот, голодных, накаченных алкоголем несчастных животных… Некоторых ей удалось выходить, и они стали у нее здоровыми, веселыми и крепенькими. Но были и такие, у которых так и остался больной желудок, лишаи и непроходящая истерия… Марго их лечит, как может, но ее приводит в отчаяние мысль, что все ее усилия тщетны, что вечно будут выставлять на продажу «породистых собачек».

Больная сучка заснула. Я молчу, не зная, что сказать… Обвожу взглядом большую комнату, которая у Марго всегда немножко похожа на лазарет, может быть, потому, что на окнах нет занавесок. На столе расставлены аптечные пузырьки с лекарствами, лежат бинты и крошечный термометр, да еще маленькая резиновая клизмочка для промывания собачьих кишечников. Пахнет йодом и креозоловой мазью… Меня вдруг охватывает острое желание уйти отсюда немедленно, да-да, немедленно! Вновь увидеть мой тесный теплый дом, просиженный диван, цветы и моего друга, которого я люблю…

— Прощайте, Марго, я ухожу…

— Иди, дитя мое.

— Вы на меня не очень сердитесь?

— За что?

— За то, что я такая безумная, смешная, в общем, влюбленная… Я ведь зарок давала…

— На тебя сердиться? Бедняжка, это было бы очень жестоко с моей стороны!.. Новая любовь… Тебе и так, должно быть, не сладко… Бедняжка!..

Я спешу вернуться домой. Мне зябко и грустно, я чувствую себя скованной… Уф!.. Все равно, дело сделано. Я все сказала Марго. Она окатила меня ледяным душем, но я этого и ждала, а теперь я бегу, чтобы высохнуть, встряхнуться и расцвести у жаркого пламени… Моя опущенная вуалетка скрывает следы моих огорчений, и я бегу — бегу к нему.

— Мосье Максим здесь. Он вас ждет, мадам.

Бландина теперь говорит «мосье Максим» с нежностью, будто речь идет о порученном ей младенце.

Он здесь!

Я кидаюсь в спальню и запираю дверь, чтобы он не увидел моего лица. Скорей! Рисовая пудра, карандаш для глаз, помада… Ой, вот под нижними веками перламутровая синева… «Ты постарела…» Дура, зачем ты плакала, как маленькая? Разве ты не научилась страдать «всухую»?

Прошло время моих сверкающих слез, которые катились по лицу, не оставляя влажных следов на бархате щек. Чтобы вновь завоевать своего мужа, я научилась в свое время украшать себя слезами: я рыдала, подняв к нему лицо, мои глаза были широко открыты, и я стряхивала, не вытирая, медленно катящиеся жемчужины слез, которые делали меня только еще более привлекательной… Бедная я!

— Вот наконец вы и пришли, дорогая, благоуханная, желанная моя, моя…

— Господи, до чего же вы глупы!

— О, да! — вздыхает мой друг с восторженной убежденностью.

И тут же начинает свою любимую игру, которая заключается в том, что он поднимает меня чуть ли не до потолка и целует щеки, подбородок, уши, губы. Я отбиваюсь настолько энергично, что ему приходится показать свою силу. Наша борьба кончается его победой. Он стискивает меня так, что голова моя оказывается внизу, а ноги болтаются в воздухе. Тогда я начинаю кричать: «На помощь!», и он снова ставит меня на пол. Собака кидается на мою защиту, и в нашу утомительную игру, которая мне так по душе, вплетается громкий собачий лай, крики и смех…

Ах, как прекрасна эта забавная, здоровая глупость! Какой у меня веселый товарищ, он не озабочен ни тем, чтобы показаться остроумным, ни тем, чтобы поберечь свой галстук!.. До чего же здесь жарко!.. И вскоре эта возня и смех двух игрунов пробуждают в них сладострастие. Он готов ее съесть, свою ненаглядную. Он медленно смакует ее, как гурман.

— Я бы тебя съел, дорогая!.. Губы твои сладкие, но руки, когда я их покусываю, солоноватые, да, чуть-чуть солоноватые, и твои плечи, и колени… Я уверен, что ты вся соленая, от головы до ног, как свежая морская ракушка, правда?

— Вы это очень скоро узнаете, Долговязый Мужлан!

Я все еще называю его «Долговязый Мужлан», но… с другой интонацией.

— А когда?.. Сегодня вечером? Ведь сегодня четверг, верно?

— Да, кажется… А почему вы спрашиваете?

— Четверг… Это очень счастливый день…

Макс несет всякие глупости, развалившись на подушках, он очень счастлив. Прядь волос как бы перечеркивает его бровь, у него плывущие глаза, глаза особо острых накатов желания — он тяжело дышит, приоткрывая рот. Как только он дает себе

волю, он сразу становится похожим на красивого деревенского парня, на дровосека, прилегшего отдохнуть на траву, но и это мне нравится…

— Встаньте, Макс, нам надо серьезно поговорить.

— Я не хочу, чтобы вы меня огорчали! — жалобно молит он.

— Макс, да что вы!

— Нет, я знаю, что значит «говорить серьезно»… Это мамины слова, когда она собирается говорить со мной о делах, деньгах или браке!

Он еще глубже зарывается в подушки и закрывает глаза. Не впервые он проявляет такое упорное легкомыслие…

— Макс! Вы помните, что я уезжаю пятого апреля?

Он поднимает веки с длинными женскими ресницами и долго восхищенно глядит на меня.

— Вы уезжаете, дорогая? Кто это решил?

— Саломон, мой импресарио, и я.

— Так. Но ведь я еще не дал своего согласия… Хорошо, вы уезжаете. Что ж, тогда вы поедете со мной!

— С вами? — переспрашиваю я с испугом. — Значит, вы не знаете, что такое гастроли?

— Знаю. Это путешествие… со мной.

Я повторяю:

— С вами? Сорок пять дней! Выходит, у вас нет никаких дел?

— Что вы, есть! С тех пор как я вас знаю, у меня ни минуты нет свободной, Рене.

Конечно, он ответил очень мило, но все же…

Я в растерянности смотрю на этого человека, которому ничего не надо делать, у которого всегда в кармане полно денег… Ему ничего не надо делать, это правда, я просто никогда об этом не думала. У него нет профессии, даже нет синекуры, которая бы прикрывала его свободу бездельника?.. Как это странно! До него я никогда не встречала ничем не занятого человека… Он может всецело отдаваться любви… день и ночь напролет, как… шлюха.

Эта странная мысль, что из нас двоих куртизанка— он, меня развеселила, и его чуткие брови тут же сдвинулись.

— Почему ты смеешься?.. Ты не уедешь!

— Как решительно! А неустойка?

— Я ее уплачу.

— А неустойка Брага? А неустойка Старого Троглодита?

— Я их тоже уплачу.

Даже если это шутка, она мне не очень-то по

душе. Я уже не могу больше сомневаться, что мы любим друг друга: мы на грани первой ссоры!..

Но я ошиблась. Мой друг придвинулся ко мне вплотную, он почти у моих ног.

— Все будет так, как вы захотите. Вы же это знаете, моя Рене!

Он коснулся ладонью моего лба и глубоко заглянул мне в глаза, чтобы увидеть там послушание. Так, как я захочу? Увы!

Сейчас я хочу только его!

— В гастролях вы будете играть «Превосходство»?

— И «Дриаду» тоже… Какой у вас лиловый галстук! Лицо от него кажется желтым.

— Стоит ли говорить о галстуке? «Превосходство» и «Дриада» — это лишь новый повод показывать публике ваши красивые ноги… и все остальное!

— Не вам на это жаловаться! Разве не на подмостках это «все остальное» имело честь быть вам продемонстрировано?

Он до боли крепко прижимает меня к себе.

— Не говорите об этом! Я все прекрасно помню! Каждый вечер в течение пяти дней я ругал себя и принимал окончательное решение кончать *с* этой глупостью, не ходить больше в «Ампи-

ре-Клиши», как ты его называешь. И когда ты покидала сцену, я тут же вставал, понося себя, на чем свет стоит. А на следующий день я опять малодушно находил себе оправдание: «Ну, сегодня уж наверняка в последний раз! Мне просто необходимо разглядеть цвет глаз Рене Нере, да к тому же вчера я пришел не к началу». Одним словом, я уже тогда стал идиотом!

— Идиотом! Как вы, однако, колоритно подменяете слова, Макс! Мне, по совести, кажется странным влюбиться в женщину, лишь глядя на нее…

— Это зависит от той, на которую смотришь. Вы ничего не понимаете в этих вещах, Рене Нере… Представь себе, после того, как я впервые увидел тебя в пантомиме «Превосходство», я потратил не меньше часа, чтобы изобразить на бумаге схему твоего лица. Мне это в конце концов удалось. Потом я множество раз изображал на полях книги маленький геометрический чертежик, расшифровать который мог только я один… А еще в твоей пантомиме есть один момент, когда ты вдруг переполняешься… как бы это сказать… немыслимой радостью, что ли: сидя за столом, ты читаешь полное угроз письмо от человека, которого ты обманываешь, помнишь? И вдруг ты

начинаешь ударять себя по бедру и так хохотать, что опрокидываешься навзничь. И ясно, что под тонкой тканью юбки твое бедро нагое. Твои жесты вульгарны, как и подобает базарной торговке, но лицо твое при этом одухотворено яростным, вдохновенным гневом, просто не предположимом в таком всем доступном теле. Помнишь?

— Да-да!.. Это так… Браг был доволен мной в той сцене… Но это, Макс, это… восхищение, желание! Превратилось ли это *с тех* пор в любовь?

Он глядит на меня с крайним изумлением:

— Превратилось? Я никогда об этом не думал. Я полюбил вас с той самой минуты… Есть много женщин куда более красивых, чем вы, но…

Движением руки он выражает все, что есть в любви непонятного и неумолимого…

— А если бы вы, Макс, напали не на меня, такую добропорядочную мещанку, а на ловкую, холодную стерву, злобную, как змея? Вас это не пугало?

— Такое мне и в голову не могло прийти, — говорит он со смехом. — Что за странная мысль? Разве думаешь, когда любишь?

Эти слова звучат для меня тяжелым упреком. Я-то все время думаю, думаю о стольких вещах!

— Маленький мой, — шепчет он. — Почему ты

работаешь в кафешантане?

— Долговязый Мужлан, а почему вы не работаете краснодеревщиком? Только не отвечайте, что у вас есть возможность жить и без этого. Я знаю. Но вот как я должна, по-вашему, зарабатывать себе на хлеб? Шить, печатать на пишущей машинке или выходить на панель? Мюзик-холл — это профессия тех, у кого нет профессии.

— Но…

Я слышу по его голосу, что он сейчас скажет нечто серьезное и малоприятное. Я поднимаю голову, которая покоилась у него на плече… и внимательно разглядываю его лицо: прямой, грубоватый нос, грозные брови, нависшие над нежными глазами, жесткие усы, прикрывающие сочные губы…

— Но, дорогая, вам не нужен больше мюзик-холл, раз есть я, и…

— Тс-с-с!

Взволнованная, почти испуганная, я заставляю его замолчать. Да, есть он, готовый на любую щедрость. Но меня это не касается, и я не желаю, чтобы меня это касалось. Из того факта, что мой друг богат, я не могу сделать никакого вывода относительно себя. Я не в состоянии определить для него то место в моем будущем, на которое он

претендует. Наверное, со временем это придет. Я привыкну. Я с великой охотой готова соединить наши губы и заранее чувствовать, что я ему принадлежу, но я не в силах соединить наши жизни! Объяви он мне: «Я женюсь», мне кажется, я бы вежливо ему ответила: «Примите мои поздравления», а про себя подумала: что мне до этого? А ведь мне не понравилось, когда он две недели назад с увлечением разглядывал малютку Жаден…

Сентиментальные бредни, жеманство, лукавое мудрствование, психологические монологи. Бог ты мой, до чего же я смешна! Разве не было бы по сути честнее и достойнее для влюбленной женщины ответить ему: «Ну, конечно, есть ты, и раз мы любим друг друга, я все возьму у тебя. Это так просто! Если я тебя действительно люблю, ты все должен мне дать, и нечист «тот хлеб, который я получаю не из твоих рук».

То, что я сейчас думаю, это правильно. И мне надо было бы сказать это вслух вместо того, чтобы молчать и нежно тереться щекой о бритую щеку моего друга, бархатистую, как хорошая пемза.

VII

Мой старый Амон вот уже столько дней упорно отсиживается дома, ссылаясь то на ревматизм, то на грипп, то на срочную работу, так что мне пришлось просто потребовать, чтобы он безотлагательно явился ко мне. Больше он тянуть не стал, и выражение его лица, одновременно скромное и непринужденное, как у доброго родственника, пришедшего с визитом к молодоженам, лишь удваивает радость, которую я испытываю от того, что вновь его вижу.

И вот мы, исполненные сердечного тепла друг к другу, сидим вдвоем, как прежде.

— Как прежде, Амон! Однако какая перемена!

— Слава богу, дитя мое. Вы будете наконец счастливы, да?

— Счастлива?

Я гляжу на него *с* искренним удивлением.

— Нет, счастливой я не буду. Об этом я даже и не думаю. С чего это мне быть счастливой?

Амон щелкает языком: это его способ меня ругать. Он считает, что у меня приступ неврастении.

— Что вы, Рене, что вы… Значит, все не так

хорошо, как я думал?

— Нет, Амон, все хорошо! Даже слишком хорошо! Боюсь, мы начинаем просто обожать друг друга.

— Так что же?

— Вы считаете, что от этого я должна чувствовать себя счастливой?

Амон не может сдержать улыбки, а я предаюсь меланхолии:

— На какую ужасную муку вы меня вновь обрекли, Амон? Потому что во всем виноваты вы, признайтесь, вы… Правда, эту муку, — добавила я, понизив голос, — я не променяю ни на какую радость.

— Ох! — с облегчением вздыхает Амон. — Вы теперь хоть освободились от вашего прошлого, которое все еще точило вас. Я, право, не мог уже больше видеть вас такой мрачной, недоверчивой… Вы все время вспоминали Таиланди, боялись его! Простите меня, Рене, но я был способен бог знает на что, только бы у вас появилась новая любовь.

— В самом деле! Вы думаете, что «новая любовь», как вы говорите, разрушает память о той, первой, или, наоборот, оживляет ее?

Растерянный от жестокости этого вопроса,

Амон не знает, что сказать. Он так неуклюже коснулся моего больного места… Но в конце концов он мужчина, откуда ему это знать? Он, наверно, любил много раз: он забыл… Я вижу, что он подавлен, и это меня трогает.

— Нет, мой друг, я не счастлива. Я… это то ли больше, то ли меньше, чем счастье. Вот только… я совершенно не понимаю, куда иду. Мне необходимо сказать вам это перед тем, как стать по-настоящему любовницей Максима.

— Или его женой?

— Его женой?

— А почему бы нет?

— Потому что я не хочу.

Мой торопливый ответ опередил движение мысли — так зверь отскакивает от капкана прежде, чем успевает его увидеть.

— Впрочем, это не имеет значения, тут нет никакой разницы.

— Вы думаете, что тут нет никакой разницы? Для вас, быть может, как и для многих мужчин. Но не для меня! Помните ли вы, Амон, чем был для меня брак?… Нет, речь не идет об его изменах, вы ошибаетесь! Речь идет о супружеском быте, о постоянном прислужничестве, которое делает из многих жен своего рода *нянек* для взрослых…

Быть замужем это… как бы сказать?.. Это дрожать, что котлета для мосье непрожарена, что минеральная вода недостаточно охлаждена, что сорочка плохо выглажена, а пристежной воротничок не накрахмален как надо, что вода в ванне слишком горячая, — одним словом, это значит взять на себя утомительную роль посредника-буфера между мосье и его дурным настроением, его скупостью, его обжорством, его ленью…

— Вы почему-то упускаете постель, — перебивает меня Амон.

— Черта с два, ничего я не упускаю!.. Короче, роль медианы между мосье и всем человечеством. Вам это не дано знать, Амон, ведь вы так недолго были женаты! Брак это… Это: «Завяжи мне галстук!.. Выгони горничную!.. Обрежь мне ногти на ногах!.. Встань и завари ромашку!.. Приготовь мне клистир!..» Это: «Подай мне новый костюм и уложи вещи в чемодан — я еду к ней…» Интендантша, сиделка, нянька— хватит, хватит, хватит!

В конце этого монолога я начинаю смеяться над самой собой и над вытянувшейся, опечаленной физиономией моего старого друга…

— Бог ты мой, Рене, до чего же вы меня огорчаете вашей привычкой все обобщать. «В этой

стране все служанки — рыжие!» Не всегда выходят замуж за Таиланди. И я вам клянусь, что лично я никогда бы не стал просить у жены те мелкие услуги, о которых… Напротив!

Я хлопаю в ладоши.

— Здорово, теперь я все узнаю! «Напротив!» Я уверена, никто лучше вас не умел застегивать пуговички на женских башмачках или крючки на юбке… Увы, не всем дано выйти замуж за Амона!..

Помолчав, я продолжаю уже с настоящей усталостью в голосе:

— Позвольте мне обобщать, как вы говорите, хотя у меня за спиной один-единственный опыт, правда, я от него еще до сих пор не оправлюсь. Я не чувствую себя ни достаточно молодой, ни достаточно воодушевленной, ни достаточно великодушной, чтобы вновь вступить в брак, то есть, если угодно, начать жить вдвоем. Позвольте мне раздетой и праздной ожидать в своей комнате прихода того, кто выбрал меня для своего гарема. Я не хочу от него ничего, кроме нежности и страсти. Одним словом, от любви я хочу только любви…

— Я знаю многих, — говорит Амон после паузы, — которые бы назвали такую любовь

распутством.

Я пожимаю плечами, раздраженная тем, что не могу объяснить ему, что я имею в виду.

— Да, — настаивает Амон, — распутством! Но для меня, который вас знает немного… это выглядит скорее как некая нереальная, иллюзорная, неосуществимая мечта: влюбленная пара, заточенная в теплой спальне, отгороженная от всего мира четырьмя стенами. Это обычная мечта юной девицы, совсем не знающей жизни…

— Или зрелой женщины, Амон!

Он вежливо и неопределенно качает головою, уклоняясь от прямого ответа.

— В любом случае, мое дорогое дитя, это не любовь.

— Почему?

Мой старый друг бросает сигарету почти *с* гневом:

— Потому что! Вы мне только что сказали: «Брак для женщины — это готовность прислуживать, мучительная и унизительная, брак — это завяжи мне галстук, приготовь мне клистир, не пережарь мне котлету, терпи мое дурное настроение и мои измены!» Надо было сказать любовь, а не брак. Ибо только любовь делает легким, радостным и достойным то прислужничество, о котором вы го-

ворите. Вы его теперь ненавидите, проклинаете, вас от него тошнит, потому что вы больше не любите Таиланди! Вспомните время, когда любовь превращала галстук, ножную ванну, ромашку в священные символы, внушавшие трепет и страх. Вспомните свою жалкую роль! Я дрожал от негодования, видя, что Таиланди заставляет вас быть чуть ли не посредницей между ним и его подругами, но в тот день, когда я, потеряв такт и терпение, выразил вам свое возмущение, вы мне ответили: «Любить — это слушаться!..» Будьте честны, Рене, будьте прозорливы и скажите мне откровенно, не стали ли вы все принесенные вами жертвы расценивать совсем по-другому с тех пор, как вы снова обрели свободу воли? Теперь, когда вы уже не любите, вы понимаете их настоящую цену! А прежде, — это происходило на моих глазах, я вас знаю, Рене, — разве вы не были, не сознавая этого, конечно, под воздействием анестезии, которую милостиво делает любовь?

Зачем отвечать?.. Однако я готова спорить, но с самым злым намерением: никто у меня теперь не вызовет умиления, разве что этот несчастный человек, который обсуждает мои семейные беды, думая о своих. До чего же он еще молод душой, и «раним», и отравлен тем ядом, от которого хотел

уберечься!.. Как далеко мы отошли от моей истории и от Максима Дюферейна-Шотеля…

Я хотела все доверительно рассказать Амону и испросить у него совета… Какие только дороги не ведут нас неизбежно к прошлому, и мы идем по ним, изодранные сухими колючками. Мне кажется, что войди сейчас Максим, мы с Амоном не успели бы достаточно быстро перестроиться и предстали бы перед ним такими, какими никто нас не должен видеть: Амон пожелтел от желчи, и левая скула его подергивается, а я сдвинула брови, будто меня терзает мигрень, и вытягиваю вперед шею, еще вполне крепкую, но уже теряющую округлость юной плоти.

— Амон, — мягко окликаю я его, — не забыли ли вы, что я уезжаю на гастроли?

— Уезжаете?… Да, да, — подхватывает он как человек, которого разбудили. — Ну и что?

— Как, что? А Максим?

— Вы, конечно, возьмете его с собой?

— «Конечно!» Это не так-то просто, как вам кажется! В такой поездке очень тяжело живется. А вдвоем — тем более. Приходится подыматься и уезжать ни свет ни заря, а часто и ночью, нескончаемо долго тянутся вечера для того, кто ждет, да еще эти чудовищные гостиницы!.. Плохое начало

для медового месяца!.. Даже двадцатилетняя женщина побоялась бы предрассветного освещения и дневного сна в вагонах, когда засыпаешь сидя после утомительной работы, и выглядишь, как труп, с уже чуть отекшим лицом… Нет, нет, для меня это слишком большая опасность. Мы оба, и он, и я, стоим лучшего. Я думала о том, чтобы отложить наше…

— Ваше слияние сердец…

— Спасибо… до конца гастролей, и тогда уже начать жизнь, о, такую жизнь!.. Ни о чем больше не думать, Амон, удрать с ним куда-нибудь в глушь, в такой край, где я могла бы коснуться рукой всего того, что меня соблазняет, но проносится мимо, когда я стою у окна вагона: мокрые листья, цветы, которые колышет ветер, покрытые как бы патиной фрукты, а главное, ручьи — свободные, капризные, журчащие потоки… Понимаете, Амон, когда живешь уже дней тридцать в поезде, то от вида воды, текущей между берегами, поросшими свежей травой, буквально съеживаешься, и начинает мучить просто невыносимая жажда… Вы себе этого даже представить не можете… Во время моих последних гастролей мы ехали в поезде каждое утро, а часто и после обеда тоже. В полдень на лугах девушки, работав-

шие на фермах, доили коров: я видела стоящие в густой траве медные луженые ведра, в которые тонкими, тугими струйками стекало пенящееся молоко. Боже, как мне хотелось выпить кружку парного молока, увенчанного пеной, какая меня мучила жажда! Это стало настоящей каждодневной пыткой, я вас уверяю… Так вот, мне хотелось бы разом насладиться всем, чего мне не хватает: чистым воздухом, плодородным краем и моим другом…

Я бессознательно протягиваю руки, словно для того, чтобы получить все, чего желаю. Хотя я и умолкла, Амон как бы продолжает меня слушать.

— Ну, а потом, дитя мое, что потом?

— Как «потом»? — горячо говорю я. — Потом? Это все! Больше мне ничего не надо.

— Это счастье! — бормочет он про себя… — Я хочу спросить: как вы будете жить потом с Максимом? Вы откажетесь от гастролей? Вы не… не будете работать в мюзик-холле?

Его вопрос, такой естественный, сразу меня останавливает, и я смотрю на своего старого друга с растерянностью, с тревогой, чуть ли не со смущением.

— Почему не буду? — говорю я неуверенно.

Он пожимает плечами.

— Но послушайте, Рене, будьте разумной! Вы сможете с Максимом жить свободно, даже роскошно, и… снова взять в руки, мы все на это надеемся, ваше блестящее перо, которое, увы, ржавеет… И, возможно, будет ребенок… Какой чудесный был бы малыш!

О, как неосмотрителен этот Амон! Не поддался ли он, как бывший художник, своей склонности изображать жанровые сценки? Эта картина моей будущей жизни с верным любовником и прелестным ребенком производит на меня странное, удручающее впечатление… А он, несчастный, тем временем продолжает! Он настаивает на своем, не замечая, что в моих глазах запрыгали подлые насмешливые чертики, что я избегаю его взгляда и отвечаю только «да», «наверное», «не знаю», как скучающая ученица, которой не терпится, чтобы кончился урок.

Прелестный ребенок, верный муж… Над чем тут, собственно говоря, было смеяться?

Я и теперь еще не понимаю причины моего тогдашнего злого веселья… Прелестный ребенок… Признаюсь, об этом я прежде не думала. Когда я была замужем, у меня на это не было времени. Сперва я была поглощена любовью, потом

ревностью, одним словом, я была полностью порабощена Таиланди, который ничуть не заботился о потомстве, мешающем жить и стоящем много денег…

И вот мне уже минуло тридцать три, а я даже не задумывалась о том, чтобы стать матерью. Быть может, я монстр?.. Прелестный ребенок… Серенькие глазки, остренькая мордочка лисички, как у мамы, большие руки и широкие плечи, как у Максима… Нет, как я ни стараюсь, я его *не вижу*, *я* его не люблю, этого малыша, который мог бы быть, который у меня, может быть, будет…

— Что вы об этом думаете, дорогой Долговязый Мужлан, скажите?..

Он неслышно вошел в комнату, и он уже так прочно поселился в моем сердце, что я продолжаю уже вместе с ним разбираться в самой себе.

— Что вы думаете насчет ребенка? Вот Амон настаивает, чтобы у нас был ребенок, представляете себе!

Мой друг округляет рот, как Пьеро, выражая изумление, широко распахивает глаза и восклицает:

— Шикарная мысль! Да здравствует Амон! Он его получит, этого ребеночка! Мы можем начать хоть сейчас, Рене, если вам угодно!

Я отбиваюсь, потому что он начинает меня обнимать, целовать, чуть покусывает с такой жадностью и жаром, который меня несколько пугает.

— Ребенок! — кричит он. — Наш ребенок! Я об этом не думал, Рене. Ну, что за умница этот Амон! Гениальная мысль!

— Вы находите, дорогой? Какой же вы страшный эгоист! Значит, вам наплевать, что я стану пузатой, уродливой и что я буду страдать.

Он снова хохочет и, протянув руки, валит меня на диван.

— Пузатая? Уродливая? Да вы просто безмозглая гусыня, мадам! Ты будешь великолепной, малыш тоже, и нам будет очень весело втроем!

Вдруг он перестает смеяться и сдвигает свои суровые брови над нежными глазами.

— И тогда ты хоть не сможешь меня больше бросить, не будешь одна мотаться по дорогам, ты будешь поймана…

Поймана… Я не сопротивляюсь и доверчиво перебираю пальцы его руки, которая меня придерживает… Но такая податливость — это тоже уловка слабых… Поймана… Он сам это сказал в запальчивости эгоиста… Я правильно оценила его, когда, смеясь, назвала моногамным обывате-

лем, этаким отцом семейства, просиживающим все вечера у камина.

Значит, я смогу мирно прожить свою жизнь, свернувшись клубочком в его большой тени. Будут ли его верные глаза с той же любовью глядеть на меня, когда время возьмет свое, и я начну увядать?.. Ах, как он отличается, как разительно отличается от того… *другого!*

Но только тот, *другой,* тоже разговаривал со мной, как хозяин, и шептал, стискивая мои пальцы: «Иди! Вперед! Я тебя держу». Я страдаю… Мне больно от их сходства, мне больно от их различия… И я глажу лоб этого, ничего не знающего, невинного, и говорю ему: «Мой маленький…»

— Не называйте меня «мой маленький», дорогая. Это делает меня смешным.

— Если мне хочется, я могу делать вас смешным. Вы «мой маленький», потому что вы моложе… своего возраста, потому что вы очень мало страдали, мало любили, потому что вы не злой… Послушайте, мой маленький: я уеду.

— Но только вместе со мной, Рене!

С какой мольбой он это выкрикнул! Я вздрогнула от горя и радости.

— Нет, без вас, мой дорогой, без вас! Так надо. Послушайте… Нет… Макс… Я все равно скажу

то, что хочу… Послушайте, Макс. Выходит, вы не хотите, не можете меня ждать? Вы что, недостаточно меня любите?

Он вырывается из моих рук и резко отстраняется.

— Недостаточно!.. Недостаточно!.. О, эти женские рассуждения. Я тебя недостаточно люблю, если следую за тобой, и недостаточно, если остаюсь. Признайся, если бы я ответил: «Хорошо, дорогая, я буду тебя ждать», ты бы тоже плохо подумала. Ты вот собираешься уехать, хотя могла бы и не уезжать, как же я могу поверить тебе, что ты меня любишь? В самом деле…

Он становится передо мной, набычившись, и глядит на меня с недоверием:

— В самом деле, ты мне никогда этого не говорила…

— Чего именно?

— Что ты меня любишь.

Я чувствую, что краснею, словно он поймал меня с поличным.

— Ты мне никогда этого не говорила, — повторяет он упрямо.

— О, Макс!

— Ты мне говорила… Ты мне говорила: «Дорогой… мой любимый Долговязый Мужлан…

Макс… Дорогой друг». Ты даже застонала, словно пропела, в тот день, когда…

— Макс!

— Да, в тот день, когда ты не удержалась и сказала мне: «Любовь моя». Но ты ни разу не говорила: «Я тебя люблю».

Это была правда. Я наивно надеялась, что он этого не заметит. Однажды, в какой-то вечер, я так сладостно замерла в его объятиях, что слова «…люблю тебя» вырвались неслышно, как воздух, но я тут же овладела собой, умолкла и стала холодной…

«Люблю тебя…» Я не хочу больше этого говорить, я никогда больше не захочу этого сказать! Я не хочу больше слышать этот голос, мой прежний голос, надломленный, тихий, который станет бормотать прежние слова… Но других слов я не знаю… Других слов нет…

— Скажи мне, скажи, что ты меня любишь! Скажи мне, прошу тебя!

Мой друг стал на колени передо мной, и я знаю, эта его настойчивая просьба отныне не даст мне покоя. Я улыбаюсь ему, почти вплотную приблизившись к нему, словно я не говорю этих слов, продолжая любовную игру. И вдруг во мне вспыхивает желание сделать ему больно, чтобы он

тоже немного пострадал… Но он такой ласковый и так далек от моей печали! Зачем нагружать его ею? Он заслуживает лучшего…

— Бедненький мой… Не сердитесь, не грустите! Да, я вас люблю, я люблю тебя! О! Я тебя люблю… Но я не хочу тебе этого говорить. Ведь я очень гордая! Если бы ты только знал, какая я гордая!

Склонив голову ко мне на грудь, он закрывает глаза, он принимает мою ложь с нежной доверчивостью и продолжает слышать мои слова «Я тебя люблю», хотя я уже молчу.

Странный груз отягощает мои руки, те руки, которые так долго ничего не держали. Я не умею баюкать такого большого ребенка. Боже, какая тяжелая у него голова!.. Но пусть он отдыхает у меня на руках, уверенный во мне!

Уверенный во мне… Ибо в силу широко распространенной психологической аберрации он ревнует меня к настоящему, к моему бродячему будущему, но он *с* полным доверием прикорнул у этого сердца, которое столько лет принадлежало другому. Мой честный и неосмотрительный возлюбленный не думает о том, что он делится мною с моим прошлым и что ему так и не изведать того высшего торжества, когда можно сказать: «Я приношу тебе радость, боль, которых ты не знала…»

Вот он, прильнувший к моей груди… Почему именно он, а не другой? Не знаю. Я склоняюсь над его лбом, мне хотелось бы защитить его от самой себя, просить у него прощения, что не могу ему дать даже своего исцеленного сердца, раз уж не нетронутого. Я хотела бы оградить его от зла, которое могу ему причинить… Да! Марго это предсказала, истерзанная кошка возвращается на живодерку… Правда, на этот раз на отдохновенную живодерку, которая совсем не похожа на ад, а скорее подобна кипящему чайнику на семейном столе…

— Проснитесь, дорогой!

— Я не сплю, — шепчет он, не поднимая своих красивых ресниц. — Я дышу тобой…

— Где вы собираетесь меня ждать, пока я буду на гастролях, в Париже, или поедете в Арденны, к вашей матери?

Он поднимается на ноги, не ответив, и рукой приглаживает растрепавшиеся волосы.

— Почему вы молчите?

Он берет лежащую на столе шляпу и направляется к двери, опустив глаза и не проронив ни слова. Одним скачком я оказываюсь рядом с ним и хватаю его за плечи.

— Не уходи! Не уходи! Я сделаю все, что ты хо-

чешь!.. Вернись! Не оставляй меня одну! Ой! Не оставляй меня одну!..

Что это со мной случилось? Я вдруг превратилась в мокрую от слез тряпку… Я почувствовала, что вместе с ним от меня уходят теплота, свет, эта вторая любовь, правда, перемешанная с еще горячим теплом первой, но такая мне дорогая, на которую я и надеяться не смела… Я повисаю на руке моего друга, как утопающая, и, заикаясь, все твержу, не слыша, что он говорит:

— Все меня бросают! Я совсем одна!..

Он, который меня любит, прекрасно знает, что для того, чтобы меня успокоить, не нужны ни слова, ни рассуждения. Баюкающие руки, теплое дыханье, когда бормочешь невнятные ласковые слова, и поцелуи, поцелуи…

— Не глядите на меня, мой дорогой! Я некрасивая, ресницы потекли, нос красный… Мне стыдно, что я такая дура!

— Моя Рене! Маленькая моя, совсем маленькая, каким скотом я был!.. Да, да, настоящим скотом!.. Ты хочешь, чтобы я тебя ждал в Париже — буду ждать в Париже; хочешь, чтобы поехал к маме — поеду к маме…

Смущенная своей победой, я уже сама не знаю, чего хочу.

— Послушайте меня, дорогой Макс, вот что надо сделать: я уеду одна — с чувством побитой собаки… Мы будем писать друг другу каждый день. Мы будем вести себя героически, не правда ли? И дождемся прекрасного дня, пятнадцатого мая, который нас соединит.

Мой герой с унылым видом покорно кивает.

— Пятнадцатого мая, Макс!.. Мне кажется, — продолжаю я, понизив голос, — что в тот день я кинусь к вам, как кидаются в море, с той же осознанной неотвратимостью…

От его объятий и взгляда, которым он мне отвечает, я чуть не теряю голову:

— Послушай, в конце концов… если мы не сможем ждать, что ж, ничего не поделаешь. Ты приедешь ко мне… Я позову тебя… Теперь ты доволен?.. Ах, вообще-то героизм — это идиотство, а жизнь так коротка!.. Договорились?.. Тот, кто будет уж совсем несчастным, приедет или позовет к себе… Но мы все же попробуем, потому что… Медовый месяц в вагоне… Ну, ты доволен?.. Что ты ищешь?

— Я хочу пить, просто умираю от жажды. Позови Бландину.

— Она не нужна. Подожди минутку, я сейчас все принесу.

Счастливый, успокоенный, он позволяет мне подать ему стакан. Я гляжу, как он пьет, словно он оказывает мне этим великую милость. Если он захочет, я стану завязывать ему галстук и решать, что дать ему на обед, и приносить шлепанцы… И он сможет спросить меня хозяйским тоном: «Куда ты идешь?» Была самкой, и вот опять оказываюсь самкой — себе на радость и страданье…

Сумерки не позволяют разглядеть мое лицо, наспех приведенное в порядок, и, усевшись к нему на колени, я разрешаю ему прижать свои губы к моим, еще вздрагивающим после недавних рыданий. Я поцеловала его руку, которая скользила с моего лба к груди. Я снова оказываюсь в его объятьях, чувствую себя в его нежной власти и тихо жалуюсь на то, чему помешать уже не могу, да и не хочу…

Но вдруг я рывком вскакиваю, несколько секунд молча борюсь с ним, и, наконец, мне удается вырваться.

— Нет! — кричу я.

Я чуть было не сдалась, прямо тут, на диване. Его натиск был таким неистовым, таким умелым!.. Теперь, уже вне опасности, я гляжу на него без гнева и позволяю себе только такой упрек:

— Зачем вы так, Макс? Это нехорошо.

Он плетется ко мне, послушный, раскаявшийся, на ходу опрокидывает маленький столик и стулья и бормочет что-то вроде: «Прости… Больше не буду!.. Дорогая, как трудно ждать…» с подчеркнуто детской интонацией…

Я уже не вижу его лица, потому что спустилась ночь. Но в резкости его попытки я угадала не только порыв, но и расчет… «Ты будешь поймана и не сможешь одна мотаться по дорогам»…

— Бедный Макс, — ласково сказала я.

— Вы что, издеваетесь надо мной? Я был смешон, да?

Он занимается самоуничижением, но произносит эти фразы очень мило, хоть и не без умысла. Он хочет, чтобы я сосредоточилась на его поступке, чтобы не думала о его истинных мотивах… И я, желая его успокоить, позволяю себе солгать.

— Я не издеваюсь над вами, Макс. Нет на свете мужчины, который отважился бы вот так грубо кинуться на женщину, как вы, черт этакий, не потеряв при этом своего достоинства. Вас спасает только ваша крестьянская повадка и еще глаза влюбленного волка. У вас был вид батрака, который в сумерках, после работы, по дороге домой опрокидывает навзничь девку в канаве…

Я ухожу в другую комнату подвести глаза, что-

бы взгляд стал глубже и бархатистей, накинуть пальто и приколоть к волосам шляпной иглой глубокую шляпу, форма и оттенки цвета которой напоминают Максу «Ожившие цветы» Шанфлори, этих маленьких фей цветов, у которых на головах шапочки в виде перевернутого колокольчика мака, ландыша или большого ириса с падающими на лицо лепестками.

Мы поедем вдвоем кататься на автомобиле по темному Булонскому лесу. Эти вечерние прогулки мне очень дороги, я держу его за руку, чтобы знать, что он рядом, и чтобы он знал, что я рядом. Я могу тогда закрыть глаза и грезить, что мы вместе отправляемся в неизвестную страну, где у меня нет ни имени, ни прошлого и где я как бы снова появлюсь на свет с новым лицом и ничего не ведающим сердцем.

VIII

Еще неделя, и я уезжаю…

Уеду ли я на самом деле? Бывают часы, даже дни, когда я в этом сомневаюсь. Особенно в те дни, когда остро пахнет ранней весной, и мой друг увозит меня из Парижа в загородные парки. Мы бродим по дорогам, разбитым автомобиль-

ными и велосипедными шинами, но из-за этого пронзительного времени года они все равно выглядят таинственными. Под вечер лиловый туман углубляет аллеи, и случайно найденный дикий гиацинт, нервно вздрагивающий на ветру своими наивно синими колокольцами, кажется настоящей драгоценностью.

На прошлой неделе мы долго бродили солнечным утром по Булонскому лесу, где конюхи прогуливали лошадей. Мы шли рядом, плечо к плечу, бодрые, довольные, немногословные. Я вполголоса напевала ритмичную песенку, чтобы шагалось быстрей… На повороте пустой аллеи для верховой езды мы оказались буквально нос к носу с выскочившей из-за деревьев ланью, совсем молоденькой, золотистой, которая при виде нас так растерялась, что вместо того, чтобы убежать, остановилась, как вкопанная.

От волнения она громко и порывисто дышала, тонкие ножки дрожали, но ее продолговатые глаза, удлиненные еще подобием коричневых бровей — как мои — выражали скорее смущение, нежели испуг. Мне захотелось прикоснуться к ее ушам, покрытым легким пушком, как листья медвежьего уха, и к ее нежным бархатистым ноздрям. Когда же я протянула к ней руки, она

диким движением откинула голову и умчалась.

— Вы бы убили ее на охоте, Макс? — спросила я.

— Убить лань? А почему тогда не женщину? — бесхитростно ответил он.

В тот день мы обедали в Виль д'Авре, как и все, гуляющие в Булонском лесу, в том ресторане, у которого над гладью пруда нависают живописные террасы. Там можно не только пообедать, но и получить комнату для отдыха. Но мы вели себя чинно, как уже насытившиеся друг другом любовники. Мне было приятно отметить, что свежий воздух, ветер, деревья приводили Макса в то же состояние умиротворенности, которое испытывала я... Облокотившись о балюстраду, я глядела на плоскую, чуть колышущуюся воду и на заросли орешника с мохнатыми, словно гусеницы, почками. Потом взгляд мой снова возвращался к моему доброму спутнику, и я была полна надежды построить с ним счастье, такое же долгое, как сама жизнь...

Уеду ли я вообще? Бывают часы, когда я, как сомнамбула, начинаю готовиться к отъезду. Я вынула из шкафа сумку для туалетных принадлежностей, дорожный плед, плащ — все эти вещи давнишние, чиненые-перечиненые, словно

уставшие от путешествий. Я с отвращением опорожнила банки с застарелым светлым тоном и с пожелтевшим кремом для снятия грима, который стал отдавать керосином.

К этим принадлежностям моей профессии я отношусь теперь безо всякой любви. А Брага, который забежал узнать, как я поживаю, я приняла так рассеянно и невнимательно, что он ушел явно обиженный и, что еще хуже, сказал на прощанье: «До свиданья, моя дорогая» самым что ни на есть светским тоном. Ах, не важно! За сорок дней гастролей я с ним вдоволь наговорюсь и сумею сгладить это впечатление!.. А сейчас я его жду, чтобы получить последние указания перед отъездом. Макс придет попозже.

— Добрый день, моя дорогая.

Так я и знала, он все еще сердится.

— Ты что, с ума сошел, Браг! Хватит! Тебе совершенно не идет этот изысканный тон. Что за стиль аристократического предместья? Нам ведь надо серьезно поговорить. Когда ты называешь меня «моя дорогая», ты напоминаешь мне Дранеля в роли Короля-Солнца!

Браг рассмеялся, однако он не сдается:

— А почему бы мне не говорить в стиле аристократического предместья? Когда захочу, я могу

превзойти самого Кастелане! Ты когда-нибудь видела, как я ношу фрак?

— Нет.

— И я нет… Что-то темновато здесь в твоем будуарчике… Может, пойдем в спальню, там вроде посветлее.

— Пошли…

Браг сразу же замечает стоящую на камине фотографию Макса — Макс в новом, каком-то негнущемся пиджаке, чернота его волос слишком черная, а белизна белков слишком белая, он выглядит официально *и* чуть комично. Но все же он очень красивый. Браг разглядывает портрет, свертывая сигарету.

— Этот тип в самом деле твой друг?

— Это… мой друг, да.

И я мило улыбаюсь, хоть вид у меня, наверное, идиотский.

— Шикарный господин, ничего не скажешь. Не иначе, как член правительства! Чего ты смеешься?

— Да так… Член правительства! Это ему ужасно не подходит.

Браг закуривает и искоса поглядывает на меня.

— Ты повезешь его с собой?

Я пожимаю плечами:

— Нет, что ты! Это же невозможно! Как ты себе это представляешь?..

— Я именно этого себе никак не представляю! — восклицает Браг. — Ты молодец, старуха! Сколько я видел сорванных гастролей из-за того, что мадам не может расстаться с мосье или мосье должен ревниво следить за мадам! Начинаются споры, поцелуи, ссоры, примирения, после чего из койки ее не вытащишь, на сцене — ватные ноги, и вот такие синяки под глазами. Короче, не жизнь, а дрянь!.. Другое дело — ездить с товарищами. Ты меня знаешь, я всегда придерживался принципа: не путать любовь с работой. Это несоединимо. Да и вообще-то сорок дней не вечность. Пишешь письма, ждешь встречи и потом снова вместе. У этого, твоего, своя контора?

— Контора?.. Нет, у него нет конторы.

— Тогда автомобильный завод? Словом, он работает?

— Нет.

— Ничего не делает?

— Ничего.

Браг свистит, что можно понять по меньшей мере двояко.

— Так-таки ничего?

— Ничего. То есть у него гектары леса.

— Восхитительно!

— А что тебя тут восхищает?

— Что можно так жить. Нет ни конторы, ни завода, ни тебе репетиций, ни скаковых конюшен. А тебе что, это не кажется странным?

Я смотрю на него сверху вниз немного смущенно, даже, пожалуй, заговорщицки…

— Кажется.

Я не могу ответить иначе. Безделье моего друга, этакое шатанье мецената в вечных каникулах, часто приводит меня в недоуменье, чуть ли не в неистовство…

— Я бы сдох, — заявляет Браг, помолчав. — Впрочем, это вопрос привычки!

— Наверно…

— А теперь, — сказал Браг, садясь, — давай поговорим о деле… У тебя для поездки есть все, что надо?

— Еще бы! Конечно. Новый костюм дриады — мечта! Зеленый, как кузнечик, и весит не больше полкило. А старый, для «Превосходства», реставрирован, заново вышит, почищен — выглядит как новый. Выдержит шестьдесят спектаклей, как пить дать.

Браг кривит рот.

— Гм… Ты уверена? Уж не могла раскошелиться

на новый?

— Ты, что ли, вернул бы мне эти деньги, да? Я же тебя не упрекаю, что твои замшевые штаны в «Превосходстве» не поймешь уже какого цвета! Сколько эстрад ты ими вытер?

Мой товарищ наставительно воздевает руки.

— Прости, прости, не будем путать разные вещи! Мои штаны просто великолепны, на них осела пыль времени, они живописны, как художественная керамика; заменить их было бы преступлением перед искусством.

— Ты скряга! — сказала я, передернув плечами.

— А ты скупердяйка!

Неплохо иногда так схлестнуться, отдыхаешь душой. Мы оба достаточно находчивы, чтобы наш спор походил на бурную репетицию.

— …Стоп! — кричит Браг. — С костюмами вопрос ясен. Перейдем к вопросу о багаже.

— Для этого ты мне не нужен. Что, мы первый раз с тобой едем? Или ты хочешь меня научить складывать рубашки?

Браг, приподняв свои морщинистые из-за профессиональной мимики веки, бросает на меня уничтожающий взгляд:

— Несчастное созданье! Да что ты понимаешь в делах, дурацкая твоя башка! Мели, мели языком!

Буду ли я учить тебя складывать рубашки? Еще как буду!.. Послушай и постарайся понять, если сможешь: излишек багажа мы отправляем за свой счет, ясно?..

— Тс-с-с!

Я останавливаю его движением руки — до меня донеслись из прихожей два коротких звонка, и я разволновалась… Это *он!* А Браг все еще здесь… Но в конце концов они уже знакомы.

— Входите, Макс, входите… Это Браг… Мы говорим о наших гастролях. Вам не будет скучно?

Нет, ему не будет скучно, но меня его присутствие немного смущает. Мои театральные дела не бог весть какие, но они требуют точности и коммерческого расчета, и мне не хотелось бы в них посвящать моего дорогого бездельника. Браг, который, когда хочет, умеет быть милым, любезно улыбается Максу:

— Разрешите, мосье, нам закончить разговор. Мы обсуждаем кухню нашей профессии, а я очень экономный повар, у меня ничего не пропадает зря, но и на чужое я не позарюсь.

— Прошу вас! — восклицает Макс. — Напротив, мне это чрезвычайно любопытно. Я ведь в ваших делах решительно ничего не смыслю, хоть что-то новенькое узнаю.

Лгун! Для любопытствующего человека у него слишком злой и печальный вид.

— Я продолжаю, — снова заговорил Браг. — Если ты помнишь, во время нашей последней поездки в сентябре мы платили по десять, а то и по одиннадцать франков в сутки за лишний багаж, будто мы какие-нибудь Карнеги…

— Не всегда, Браг, не всегда.

— Верно, бывали дни, когда это обходилось нам в три-четыре франка — тоже немало. Что до меня, то я не согласен швырять деньги на ветер. Что ты берешь помимо саквояжа?

— Мой черный кофр.

— Этот огромный? Безумие! Я не согласен!

Макс кашлянул.

— Вот что мы сделаем: ты будешь пользоваться моим сундуком. В верхней коробке мы уложим наши театральные костюмы, в средней — наше белье: твои рубашки, панталоны, чулки, мои сорочки, кальсоны, ну и все прочее…

Макс заметно нервничает.

— …а в самом низу — обувь, мои костюмы, твои платья, ну и всякую мелочь. Понятно?

— Да, это разумно.

— Однако… — начинает Макс.

— Таким образом, — перебивает его Браг, — у

нас будет одно большое место. О Троглодите я не беспокоюсь, его мать ощипывает битую птицу и даст ему какую-нибудь корзинку. Понимаешь, один сундук на двоих, и все. Не надо будет платить за лишний вес, да и чаевых носильщикам и рабочим сцены меньше, ну и так далее… Если каждый из нас не сэкономит на этом по сто су в день, то я готов запеть тенором!.. Скажи, как часто ты меняешь белье в поездке?

Я краснею из-за присутствия Макса.

— Каждые два дня.

— Впрочем, это твои заботы. Так как прачечные есть только в больших городах, в Лионе, Марселе, Тулузе, Бордо, мы должны взять каждый по двенадцать смен белья. Видишь, как я великодушен и широк. Короче, я надеюсь, что ты будешь разумна.

— Не беспокойся.

Браг встает и пожимает руку Максу.

— Видите, мосье, как мы быстро обо всем договорились. С тобой мы встречаемся на вокзале, во вторник, утром, в семь пятнадцать.

Я провожаю его до дверей, а когда возвращаюсь, меня встречает буря возражений, жалоб и упреков.

— Рене, это же чудовищно, невозможно, вы про-

сто сошли с ума! Ваши рубашки, ваши маленькие коротенькие панталончики, любовь моя, вперемежку с кальсонами этого типа! А ваши чулки — с его носками!.. И все это безобразие, чтобы сэкономить всего по сто су в день, да это просто смешно, такое крохоборство!

— Крохоборство? Ведь на этом мы сбережем по двести франков.

— Понятно. Но это такая скаредность!..

Я сдерживаю себя, чтобы не сказать того, что его бы обидело: откуда ему, избалованному ребенку, знать, что деньги, деньги, которые зарабатываешь своим трудом, вещь серьезная, достойная уважения, говорить о них надо с почтением и распоряжаться осмотрительно.

Он отирает лоб красивым шелковым лиловым платком. Все последнее время мой друг явно старается быть элегантным. У него появились дорогие рубашки, носовые платки в цвет галстука, ботинки с замшевыми гетрами… Я на это сразу же обратила внимание, потому что любая деталь одежды на этом Долговязом Мужлане с его грубоватой внешностью становится очень заметной, даже как-то шокирует.

— Почему ты соглашаешься? — спрашивает он с упреком. — Такая общность просто отвра-

тительна.

Общность! Именно этого слова я и ждала. Его теперь стали часто употреблять… «Общность закулисной жизни…»

— Скажите, дорогой, — я зажала меж пальцев кончики его шелковистых черных с рыжиной усов, — если бы речь шла о *ваших* сорочках и *ваших* кальсонах, вы бы не говорили об отвратительной общности? Поймите, я всего-навсего маленькая кафешантанная актриса, которая своей профессией зарабатывает себе на жизнь…

Он судорожно обнимает меня и даже чуть придавливает, явно нарочно:

— Чтобы черти ее унесли, эту профессию!.. О, когда ты уже будешь совсем моя, то поверь, ты будешь ездить только в международных вагонах, и сетка в купе будет полна цветов, а о платьях и говорить нечего! Ты получишь все лучшее, что я увижу и что выдумаю!

Его красивый голос придает благородство этому банальному обещанию. За этими истертыми словами я слышу, как в нем вибрирует желание положить к моим ногам весь мир…

Платья? Наверное, ему кажутся слишком строгими и однообразными мои костюмы — серый, коричневый, темно-синий, в которых я, этакая

куколка бабочки, всегда хожу, и только когда зажигается рампа, меняю их на цветной газ, на сверкающие блестки, на развивающиеся и переливающиеся всеми цветами радуги юбки… Международные вагоны? Зачем? Они едут по тем же маршрутам, что и простые…

Фасетта просунула между нами свою голову бонзы, блестящую, как палисандровое дерево… Она чует отъезд. Она узнала мой саквояж с обтрепанными уголками, плащ, видела, что я достала английскую коробку, украшенную черной эмалью, гримировальный ящик… Она знает, что я ее не возьму с собой, она заранее принимает другой образ жизни, впрочем, вполне приятный, — прогулки с Бландиной на фортификационном валу, вечера у консьержки, обеды в гостях и полдники в Булонском лесу. «Я знаю, что ты вернешься, — читаю я в ее глазах, наполовину прикрытых складками кожи, — но когда?»

— Макс, она к вам привязана, вы ее не бросите?

От одного того, что мы вместе склонились над растревоженной собачкой, мы уже готовы разрыдаться. Я сдерживаю слезы с таким усилием, что у меня щиплет горло и нос… Как красивы глаза моего друга, увеличенные хрустальной линзой

слез, дрожащих на его ресницах! Зачем я уезжаю от него?

— Я должен пойти… — прошептал он сдавленным голосом, — за сумкой… Я заказал ее для тебя… Очень прочная… как раз для путешествия…

— Правда, Макс?

— Да… из свиной кожи особой выделки…

— Ну, послушайте, Макс, будьте более мужественны, чем я.

Он вынул платок и высморкался, всем своим видом выражая свое неудовольствие.

— А почему, собственно, я должен быть мужественным? Я этого совсем не хочу, напротив!

— Мы сейчас просто смешны. Ни один из нас не решился бы проливать над собой слезы, а вот на Фасетте наши чувства прорвались. Это как история с «маленьким столиком» в «Манон Леско» или в сцене с муфтой Полиш, помните?..

Максим вытирает глаза долго и тщательно, с той естественностью, с которой он делает все и из-за которой он никогда не кажется смешным.

— Возможно, Рене… Вы правы… Во всяком случае, если вам угодно, чтобы я превратился в неиссякаемый фонтан слез, то не говорите со мной о вещах, которые окружают вас здесь, в этой маленькой квартирке… — ведь всего этого я не

увижу до вашего возвращения. И старого дивана, и кресла, в котором ты сидишь, когда читаешь, и твоих портретов, и этого солнечного луча, ползущего по ковру от полудня до двух часов…

Он взволнованно улыбнулся.

— Не говори со мной о совке для золы, о камине, о щипцах для угля, не то я рухну.

Макс отправился за обещанной им красивой сумкой из свиной кожи.

— Когда мы будем уже совсем вместе, — сказал он нежно, перед тем как уйти, — ты мне подаришь всю мебель из этой маленькой гостиной, а я тебе взамен закажу другую.

Я улыбнулась, чтобы не сказать «нет». Моя мебель у Макса? Эти жалкие остатки нашей семейной меблировки, оставленные мне Таиланди в виде компенсации, ничему не соответствующей, конечно, за авторские права, которые он в свое время ловко у меня выманил, я так и не заменила из-за отсутствия денег. Разве я могла бы спеть куплет о «маленьком столике» над этим столом из мореного дуба, претендующего на голландский стиль, или над старым, скрипящим диваном, с продавленными от любовных игр пружинами, игр, в которых всегда обходились без меня. За этой мебелью прячутся привидения,

и я часто просыпаюсь в безумном страхе, что моя свобода лишь приснилась мне… Странный это был бы подарок моему любовнику! Уезжая, я покидаю не *дом,* а пристанище; вагоны первого и второго класса, гостиницы низких разрядов и гнусные гримуборные мюзик-холлов в Париже, провинции и за границей были мне больше домом и лучше охраняли меня, чем это помещение, которое мой друг назвал «прелестным интимным уголком»!

Сколько раз я убегала из этой квартиры на первом этаже, чтобы убежать от себя. Теперь я уезжаю по-другому — меня любят, я сама влюблена, но мне хотелось бы, чтобы меня любили еще больше, чтобы и я любила еще больше и стала бы другой, неузнаваемой для самой себя. Наверное, я хочу слишком многого, еще не время… Но так или иначе, а уезжаю я в волнении, полная сожалений и надежд, с желанием поскорее вернуться, нацеленная на свою новую судьбу с той неумолимостью, с которой змея сбрасывает свою омертвевшую кожу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Прощайте, любимый друг… Сундук закрыт. Красивая сумка из «свиной кожи», дорожный костюм, шляпа с длинной вуалью — все эти вещи покорно и печально лежат на нашем большом диване и ждут, когда я завтра проснусь. Я чувствую себя уже уехавшей, ни вы, ни моя собственная слабость уже не властны что-либо изменить, поэтому я позволяю себе радость написать вам свое первое любовное письмо…

Вы получите его пневматической почтой завтра утром, как раз в тот самый час, когда я уеду из Парижа. Мне просто захотелось пожелать вам спокойной ночи прежде, чем самой лечь спать, и сказать, что я так люблю вас, так дорожу вами? Я просто в отчаянии от того, что мы расстаемся…

Не забывайте, что вы мне обещали писать «все время» и утешать Фасетту. А я вам обещаю, что ваша Рене вернется к вам, усталая от «гастролирования», похудевшая от одиночества и свободная от всего, кроме вас.

Ваша Рене.

…По моим закрытым векам стремительно промчалась тень моста, и тогда я их приоткрываю, чтобы увидеть, как слева пронесется такое знакомое мне маленькое картофельное поле, прижавшееся к высокой стене старого военного укрепления.

Я одна в купе. Браг, экономящий на всем, едет вместе со Старым Троглодитом во втором классе. День серенький, словно только что рассвело, за окном моросит дождичек и прибивает к ландшафту густые заводские дымы. Сейчас восемь утра, начался первый день моего путешествия. Возбуждение, которое меня охватило на вокзале, сменилось глубокой подавленностью, однако вскоре меня одолела какая-то хмурая неподвижность, что позволяло надеяться на сон.

Я встаю и, как опытная пассажирка, принимаюсь почти машинально устраиваться поудобнее: разворачиваю плед из верблюжьей шерсти, надуваю две резиновые подушки в шелковых наволочках — одну под голову, другую под поясницу — и повязываю голову вуалевой косынкой того же цвета, что и мои волосы… Все это я делаю методично, тщательно, но вдруг меня охватывает гнев, такой, что начинают дрожать руки… Приступ ярости, направленной на самое себя!

Каждый оборот колес удаляет меня от Парижа, я уезжаю, ледяная весна кажется сокрытой в твердых как камень дубовых почках, все вокруг холодное, промозглое от сырого тумана, еще пахнущего зимой. Я уезжаю, хотя в этот самый час могла бы расцветать от счастья, согретая теплом моего возлюбленного. И мне кажется, что этот гнев пробуждает во мне необузданную, прямо-таки звериную тягу ко всему прекрасному, шикарному, легкому, эгоистичному. Потребность скользить вниз по мягкому склону, руками и губами схватить позднее, безусловное, самое заурядное и пленительное счастье.

Как мне тоскливо глядеть на эти знакомые предместья Парижа, по которым мы едем, на эти траченные временем виллы, где сейчас позевывают буржуазки в коротеньких ночных рубашках, встающие поздно, чтобы легче было скоротать пустой день… Не надо было мне расставаться с Врагом, уж лучше было бы сидеть рядом с ним в купе второго класса, на синей затертой обивке, слушать дружескую болтовню и вдыхать густой человечий запах полного вагона, перемешанный с дымом сигарет по десять су пачка.

«Та-та-та» поезда — я его невольно все время слышу— служит аккомпанементом к мелодии

танца Дриады, которую я напеваю с маниакальной настойчивостью. Как долго продлится это состояние упадка? Я чувствую себя какой-то съежившейся, ослабевшей, будто от потери крови. Даже в мои очень тихие дни самый заурядный пейзаж, — лишь бы он быстро бежал мимо окна вагона и временами перекрывался густыми клубами паровозного дыма, раздираемыми в клочья живыми изгородями колючих кустарников, — действовал на меня, как целительное тонизирующее средство. Мне холодно. Меня одолевает тяжелая утренняя дрема, мне кажется, что я теряю сознание, а не забываюсь сном, беспокойным, полным обрывочных детских страхов с назойливо повторяющейся фразой: «Если ты оставила там половину себя, то выходит, что ты потеряла пятьдесят процентов своей изначальной стоимости!»

Дижон, 3 апреля

«Да, да, я чувствую себя хорошо. Да, я получила Ваше письмо. Да, я имею успех… Ах, мой дорогой, я скажу Вам всю правду! Расставшись с Вами, я пришла в самое нелепое, самое невыносимое отчаяние. Почему я уехала? Почему я Вас бросила? Сорок дней! Да в жизни я этого теперь не вынесу! А мы только в третьем городе.

В третий город вступая,
Тебя, дорогая,
В золотую одену парчу…

Увы, мой возлюбленный, мне не нужны ни золото, ни парча, а только вы. В первых двух городах, где мы играли, шел дождь, видимо, для того, чтобы я больше прониклась сознанием своего ужасного одиночества среди гостиничных стен, затянутых шоколадными или бежевыми тканями, в этих обеденных залах, обставленных дешевой мебелью «под дуб», кажущихся еще более темными из-за газового освещения.

О, избалованный сын «Стальной Пилы»! Вам и невдомек, что такое отсутствие комфорта. Когда мы вновь встретимся, я вам расскажу, чтобы вы возмущались и баловали меня еще больше, как я плелась в полночь в гостиницу и тащила тяжелый ящик с гримом, который оттягивает руку, как долго стояла под мелким дождем, перед дверью, ожидая, когда же проснется швейцар, потом входила в кошмарный номер — отсыревшие простыни и крошечный кувшин давно остывшей воды… И Вы думаете, что я могла бы заставить Вас делить со мною эти повседневные радо-стн? Нет, дорогой, я должна испить всю чашу до дна,

прежде чем крикнуть: «Приезжай, я больше не могу!»

Погода в Дижоне стоит пока чудесная. И я робко принимаю это солнышко, как подарок, который у меня вот-вот отнимут.

Вы обещали мне утешать Фасетту, она ваша, как и моя, но будьте с ней осторожны, она не простит Вам, если в мое отсутствие Вы уделите ей чрезмерное внимание. Ее собачий такт требует большой строгости в проявлении чувств, и она оскорбляется, если в мое отсутствие кто-то третий, даже ласковый, замечает ее горе и пытается ее развлечь.

Прощайте, прощайте! Я Вас целую и люблю. Какой здесь в сумерки наступает холод, если бы Вы только знали!.. Небо зеленое и чистое, как в январе, когда ударяет сильный мороз.

Пишите мне, любите меня и согрейте

Вашу

Рене».

10 апреля

«Мое последнее письмо, должно быть, Вас огорчило. Я не довольна ни собой, ни Вами. Ваш красивый почерк — твердый, размашистый и вместе с тем тонкий, с элегантными завитками, как растеньице, которое у нас называют «цве-

тущим вьюнком». Таким почерком нетрудно исписать четыре страницы, а то и восемь разными «я тебя обожаю», любовными проклятиями и жгучими сожалениями, и все это прочитывается одним махом, за двадцать секунд! При этом я уверена, что Вы чистосердечно считаете, что отправили мне длинное письмо. К тому же вы говорите в нем только обо мне!..

Мой дорогой, я только что проехала, правда, не остановившись, мою родину, край моего детства. Мне показалось, что добрая ласка коснулась моего сердца… Когда-нибудь, обещай мне, мы сюда приедем вместе. Нет, нет, что я пишу? Мы ни за что сюда не приедем! Ваши могучие арденнские леса унизили бы в Вашем воспоминании мои дубовые рощицы, заросли ежевики и боярышника, и Вы не увидите, как я, что над ними, так же как и над бурливыми ручьями и синими холмами, украшенными высокими чертополохами, дрожит в воздухе еле видимая радуга, которая нимбом обрамляет все в моем краю!..

Ничего там не изменилось. Несколько новых крыш, выкрашенных в ярко-красный цвет, вот и все. Да, ничего там не изменилось, ничего, кроме меня. Ах, мой дорогой друг, какая я уже старая! Сможете ли вы полюбить такую старую молодую

женщину? Здесь *я* краснею за себя. Почему вы не знали высокую девочку с царственными косами, молчаливо бродившую тут, словно лесная нимфа? Такой я была, и все это я отдала другому, другому, а не вам! Простите меня за этот крик, крик моей тревоги, который я сдерживаю с тех пор, как люблю вас. И что только Вы любите во мне теперь, когда уже поздно, когда ничего не осталось, разве лишь то, что меня искусственно украшает, что Вас обманывает — завитые локоны, пышные, как листва, удлиненные синим карандашом глаза, таинственно мерцающие из-за наложенных теней, фальшивая матовость кожи, достигнутая с помощью пудры? Что бы вы сказали, если бы я вдруг предстала перед вами, какой была? Узнали бы Вы меня в той девочке с тяжелой копной прямых волос, со светлыми ресницами, не знающими черной туши, с короткими бровями, которые легко хмурились, с такими глазами, *с* какими меня родила мать — серыми, узкими, с горизонтальным разрезом, глядевшими на мир быстрым и жестким взглядом, как мой отец?

Не бойтесь, мой дорогой друг! Я вернусь к вам примерно такой, какой уехала, может, чуть-чуть более усталой, чуть-чуть более нежной…

Моя родина, всякий раз, когда я проезжаю через нее, опьяняет меня печалью, которая, однако, проходит. Не поэтому ли я не решаюсь там останавливаться. А может, она мне кажется такой прекрасной именно потому, что я ее потеряла…

Прощайте, дорогой, дорогой Макс. Завтра мы очень рано уезжаем в Лион, иначе у нас не состоится оркестровая репетиция. За это я отвечаю, а Браг, который никогда не бывает усталым, занимается тем временем программками, афишами, продажей почтовых открыток с нашими фотографиями…

Ой, как я замерзла вчера вечером в своем легком костюме, когда мы показывали «Превосходство». Холод— мой враг, он не дает мне ни жить, ни думать. Вы-то это хорошо знаете, потому что мои руки, съежившиеся от холода, как листья, всегда отогревались в ваших руках. Мне тебя не хватает, дорогое мое тепло, как солнца.

Твоя Рене».

Наше турне идет своим ходом. Я ем. Я сплю. Хожу, играю в пантомимах и танцую. Нет особого вдохновения, но и особых усилий делать тоже не приходится. Единственная волнующая минута за весь день, это когда я спрашиваю у дежурной мюзик-холла, нет ли для меня писем.

Все, что я получаю, я читаю с жадностью, прислонившись к грязной двери актерского входа, стоя на зловонном сквозняке, где тянет подвалом и нашатырным спиртом… Следующий за этим час для меня самый тяжелый, потому что читать больше нечего. Я уже разобрала число отправления, тщательно разглядев печать на марке, и не раз трясла конверт, словно надеясь, что из него выпадет цветок или картинка…

Меня не интересуют города, в которых мы играем. Я их знаю, и у меня нет никакой охоты их подробнее узнавать. Я всюду хожу с Врагом, который чувствует себя в этих знакомых «городках», как он говорит, — в Реймсе, Нанси, Бельфлоре, Безансоне, — добродушным завоевателем.

— Видела? Все та же харчевня на углу набережной! Держу пари, что они меня узнают, когда мы с тобой пойдем вечером есть там сосиски в белом вине!

Он всей грудью вдыхает воздух, бегает по улицам с радостью истинного странника, разглядывает витрины лавочек, подымается на все колокольни соборов. Теперь я иду вслед за ним, а ведь в прошлом году я тащила его за собой. Я плетусь в его тени, а иногда мы забираем с собой и Старого Троглодита, но обычно он ходит один,

осунувшийся, жалкий в своем тонком пиджачке и брюках, из которых он давно вырос… Где он спит? Где он ест? Я этого не знаю, а когда я спросила об этом Брага, он мне ответил весьма лаконично:

— Где хочет. Я ему не нянька!

Прошлым вечером в Нанси я заглянула в комнату, где гримируется Троглодит. Он стоял и откусывал прямо от большого батона, а двумя пальцами деликатно держал тонкий ломтик дешевого сыра — вот уж поистине еда бедняка! И это резкое движение челюстей голодного человека… У меня сжалось сердце, и я кинулась к Брагу.

— Скажи, Браг, есть ли у Троглодита деньги, чтобы жить? Он ведь получает в день свои пятнадцать франков, правда? Почему он так ужасно питается?

— Он экономит, — ответил Браг. — *Все* экономят в поездках. Не все Вандербильды и Рене Нере, чтобы снимать комнаты за сотню су в сутки и заказывать кофе с молоком себе в номер по утрам. Троглодит должен мне за свой костюм. Он отдает мне по пять франков в день. Через двадцать дней он сможет жрать устриц и мыть ноги в коктейле, если захочет. Его дело.

Получив такую отповедь, я умолкла… И я ведь

тоже «экономлю», прежде всего, по привычке, а еще, чтобы не отличаться от своих товарищей, не вызывать у них ни зависти, ни презрения. Эта женщина, которую сейчас отражает закоптевшее зеркало в грошовой «Лотарингской харчевне», эта женщина, сидящая за столиком с равнодушным видом, спокойная и недоступная, как все те, кто повсюду чужой, эта путешественница *с* синяками под глазами, с большой вуалью, завязанной под подбородком, одетая с головы до ног во все серое, цвета пыльной дороги, — неужели это подруга Макса? Усталая актриса, которая в корсете и нижней юбке роется в сундуке Брага, чтобы взять себе чистую смену белья на завтра и уложить свои тряпки, расшитые блестками, — неужели это возлюбленная Макса, его светлая возлюбленная, которую он, полуголую, в одном розовом кимоно, сжимал в своих объятиях?..

Каждый день я жду письма от своего друга. Каждый день оно меня утешает и разочаровывает одновременно. Он пишет просто, но, это чувствуется, писать ему не просто. Его красивый витиеватый почерк замедляет порыв его руки. Он стесняется своей нежности, и своей печали тоже, и с простодушием на это жалуется: «Когда я тебе повторю раз сто, что люблю тебя и что ужасно на

тебя сержусь за то, что ты от меня уехала, что я смогу тебе еще сказать? Моя дорогая жена, мой маленький синий чулок, вы будете смеяться надо мной, но мне это все равно… Мой брат собирается ехать в Арденны, и я поеду вместе с ним. Пиши мне в Саль-Нев, к маме. Я еду за деньгами, за деньгами для нас, для нашего дома, любимая моя!»

Так он мне рассказывает обо всех обстоятельствах своей жизни, о своих поступках, не пускаясь ни в какие комментарии, не позволяя себе никаких словесных виньеток. Он приобщает меня к своей жизни и называет своей женой. Его горячая забота — он об этом догадывается— доходит до меня уже остывшей, изложенной каллиграфическим почерком на листке бумаги. А на таком расстоянии разве нам могут помочь слова? Нужен был бы… какой-нибудь невероятный рисунок, весь пламенеющий от буйных красок…

11 апреля

«Только этого еще не хватало! Вы заставляете Бландину гадать вам на картах! Дорогой мой, вы пропали! Бландина имеет привычку предсказывать самые ужасные катастрофы, стоит мне только уехать из дому. Когда я бываю в поездках, ей все снятся кошки и змеи, бурная вода, сложенное стопкой белье, а карты ей открыва-

ют трагические приключения Рене Нере (дама треф) с пиковым Валетом. Не слушайте ее, Макс, считайте дни, как это делаю я, и улыбайтесь, — о, эта улыбка, которая чуть-чуть морщит ваши ноздри — при мысли, что первая неделя почти кончилась…

Через месяц и четыре дня, это я вам предсказываю, мне предстоит «дальняя дорога», чтобы встретиться с «сердечным другом» и что «вас ждет исполнение желаний», а ваш соперник останется при «пиковом интересе», так же как и таинственная дама Пик.

Пять дней мы пробудем в Лионе. Вы думаете, это отдых? Конечно, если вы имеете в виду, что я смогу четыре утра кряду резко вскакивать с постели на рассвете в безумном страхе, что опоздала на поезд, а потом снова валиться на простыню в противной лени, от которой бежит сон, и долго слушать, как все пробуждается вокруг меня: стучат каблучки горничных, звенят звонки постояльцев, гудят машины на улице! Это куда хуже, мой дорогой, чем ежедневный отъезд на рассвете. Мне кажется, что, лежа в постели, я присутствую при запуске какого-то огромного механизма, из которого меня изъяли, что мир начинает «крутиться» без меня… К тому же больше

всего мне не хватает вас, когда я лежу в постели, мне нечем защититься от своих воспоминаний, меня терзают тоска и чувство бессилия…

О, дорогой враг мой, мы могли бы провести здесь эти пять дней вместе… Не считай, что я бросаю тебе вызов: я не хочу, чтобы ты приезжал!.. Не умру же я здесь без тебя, черт возьми! Тебе все время кажется, что я уже умерла от разлуки с тобой! Мой прекрасный крестьянин, я лишь заснула от нее, у меня зимняя спячка…

Дождя нет, погода теплая, мягкая, серая, хорошая погода для Лиона. Наверно, глупо, что я в каждом письме даю подробные метеорологические сводки, но если бы вы только знали, в какой мере во время гастролей наша судьба и наше настроение зависит от цвета неба!.. «Когда капает дождь, не капают деньги», — говорит Браг.

За последние четыре года я провела в целом в Лионе семь или восемь недель. Поэтому как только мы приехали в город, я первым делом помчалась в парк Сен-Жан навестить оленей, особенно светленьких маленьких оленят — у них такие нежные глуповатые глаза… Их тут так много, и они так похожи друг на друга, что я даже не смогла выбрать кого-то одного, чтобы покормить. Они гурьбой шли за мной вдоль ре-

шетки, перебирая копытцами, и, застенчиво, но упорно покрикивая высокими голосами, просили черного хлеба. Запах травы и взрытой земли в этом парке к концу дня, когда воздух словно бы застывает в неподвижности, так интенсивен, что он один вернул бы меня к вам, даже если бы я попыталась удрать…

Прощайте, дорогой. Я вновь встретилась в Лионе со странниками того же толка, что и я, с которыми мы работали вместе и здесь, и в других городах. Если я вам скажу, что одного из них зовут Кавайон и что он куплетист, а другую — Амалия Варалли и что она играет в комедиях дуэний, то это вам мало что разъяснит. Однако Варалли я, пожалуй, могу назвать своей подругой, потому что мы вместе играли одну трехактную пьесу и исколесили с ней всю Францию вдоль и поперек два года тому назад. Бывшая красавица, брюнетка с римским носом, она скиталица по призванию и знает все постоялые дворы во всем мире: она пела в оперетте в Сайгоне, играла комедии в Каире и украшала ночи уж не знаю какого там вице-короля Египта…

Я ценю в ней, помимо на редкость веселого нрава, который она противопоставляет жизненным бедам, ее удивительное свойство помогать

людям, лечить их, обходиться с ними с поистине материнской деликатностью, — все эти черты обычно присущи тем женщинам, которые искренне и страстно любили женщин. В их натурах сохраняется навсегда какая-то особая прелесть, недоступная вашему мужскому пониманию…

Бог мой, какое огромное письмо я Вам пишу! Я могла бы проводить все свое время за письмами к Вам. Мне кажется, легче писать Вам, чем говорить с Вами. Поцелуйте меня. Сейчас почти ночь, это самый тяжелый час суток. Поцелуйте меня и обнимите крепко-крепко.

Ваша Рене».

15 апреля

«Мой дорогой, как это мило! Какая замечательная мысль! Спасибо, спасибо от всего сердца за этот моментальный снимок, плохо проявленный, желтый от гипосульфита. Вы оба, дорогие мои, на нем просто очаровательны. И я теперь уже не в силах ругать вас за то, что вы без моего разрешения увезли с собой в Саль-Нев Фасетту. Ей явно нравится сидеть у вас на руках. Она не просто сидит, а позирует для фотографа, у нее вид непобедимого борца, награжденного золотым поясом.

Совершенно ясно, я это отмечаю с благодарностью, но не без ревности, что в этот момент она

совсем не думает обо мне. Но о чем мечтают ваши глаза, которых я не вижу, потому что взор ваш по-отцовски направлен на Фасетту? Нежная неуклюжесть ваших рук, обхвативших маленькую собачку, меня трогает и веселит. Я кладу эту вашу фотографию вместе с двумя в тот кожаный старый бумажник, — помните? — про который вы сказали, что у него таинственный и злой вид…

Пришлите мне, пожалуйста, еще другие фотографии. Я взяла с собой четыре, я их сравниваю друг с другом, разглядываю вас в лупу, чтобы обнаружить на каждой, несмотря на ретушь и искусственное освещение, хоть частицу вашей тайной сущности… Тайной? Нет, в вас нет ничего, что могло бы ввести в заблуждение. Мне кажется, что любая гусыня с первого взгляда разобралась бы в вас так же хорошо, как и я.

Я говорю все это, но, должна признаться, не верю сама ни единому слову. Я вас просто дразню, но за этим скрывается гадкое, мелкое желание вас упростить, унизить в вас своего старого противника, — так я уже давным-давно называю того мужчину, которому суждено мною обладать…

Правда ли, что на вашей родине так много анемонов и фиалок? Фиалки я видела неподалеку от Нанси, когда ехала на восток по холмистой

земле, синей от сосен и изрезанной быстрыми, сверкающими реками с черно-зеленой водой. Я увидела из окна вагона высокого парня, который стоял босой в ледяной воде и ловил форелей, — не вы ли это были?

Прощайте. Завтра мы уезжаем в Сент-Этьен. Амон мне почти не пишет, я вам на него жалуюсь. Старайтесь мне писать как можно чаще, дорогая моя забота, чтобы мне не пришлось жаловаться на вас Амону. Целую тебя…

Рене».

Мы только что поужинали у Берту — это ресторан для артистов. Там были Баралли, Кавайон, Браг, я и Троглодит, которого я пригласила. Он не сказал ни слова, он только ел. Типичный ужин театральной братии — шумный, оживленный довольно фальшивым весельем. Кавайон раскошелился на бутылку шампанского «Ветряная мельница».

— Здорово же ты должен здесь скучать, — зубоскалил Браг, — если не поскупился на негритянку, да еще какую!

— А ты как думал! — парировал Кавайон.

Кавайон, хоть и молод, уже широко известен в мюзик-холле, и все ему завидуют. О нем говорят, что даже «Дранем его побаивается» и что

он «может заработать сколько хочет». Мы уже несколько раз в своих поездках встречались с этим высоким и стройным двадцатидвухлетним малым, который двигается, как человек-змея, будто у него нет костей, а на его узких запястьях болтаются огромные кулачища. Лицо у него, можно сказать, красивое, обрамленное белокурыми, неровно подстриженными волосами, но его тусклый, бегающий взгляд лиловатых глаз выдает острую неврастению, почти безумие. Вот его формула жизни: «Я себя убиваю». Весь день он ждет своего выступления, на подмостках он про все забывает, веселится от души, чувствует себя снова юным, увлекает публику. Он не пьет, не кутит, кладет деньги в банк и скучает.

Баралли, которая «тянет» этот сезон в мюзик-холле «Селестин», так много говорила и хохотала, показывая свои прекрасные зубы, что как бы опьянела от этого, — она рассказывала, какие отчаянные номера она откалывала в юности. Она сыпала анекдотами о нравах колониальных театров лет двадцать тому назад, когда она пела в оперетте в Сайгоне, в зале, освещенном восемью-стами керосиновых ламп… Старая, бездомная, без гроша за душой, она воплощает собой вышедшую ныне из моды, неисправимую, симпатичную

театральную богему…

Все-таки милый ужин: мы согреваем друг друга ненадолго, сидя за чересчур тесным столиком, а потом— прости-прощай! — расстаемся без сожаления: завтра, даже еще сегодня мы забываем друг друга… Наконец-то уезжаем! Эти пять дней в Лионе, казалось, никогда не кончатся…

Кавайон провожает нас до курзала. Ему еще рано туда идти, он ведь гримируется за десять минут, но он цепляется за нас, снедаемый одиночеством, он помрачнел и снова стал молчалив… Троглодит под хмельком, он в восторге от вечера и что-то поет, обращаясь к звездам, а я — мечтаю, прислушиваюсь к подымающемуся черному ветру, гуляющему по набережной Роны с тем же свистом, что на берегу моря. Почему мне кажется, что сегодня вечером я качаюсь на невидимых волнах, будто корабль, которого прибой снимает с мели? Это такой вечер, когда можно отправиться хоть на край света. Щеки у меня холодные, уши ледяные, нос отсырел, но я твердо стою на ногах, хорошо настроена, способна на любые приключения… Это состояние животного довольства длится лишь до дверей курзала, там нас обдает тепловатым воздухом заплесневелого подвала, и мои продутые свежим ветром легкие начинают

задыхаться.

Угрюмые, будто чиновники, а не артисты, входим мы в эти странные гримуборные, напоминающие то ли чердаки в провинции, то ли мансарды для прислуги, оклеенные дешевыми серо-белыми обоями… Кавайон, который бросил нас на лестнице, уже вошел в свою уборную, и в приоткрытую дверь я вижу, что он сидит у гримировального столика, обхватив голову руками. Браг говорит, что этот комик просиживает вот так молча, в прострации, целые вечера… Я вздрагиваю. Мне хотелось бы изгнать из памяти этого человека, который прячет свое лицо. Я боюсь быть на него похожей, на него, рухнувшего, отверженного, потерявшегося среди нас, осознавшего свое одиночество.

II

18 апреля

«Вы опасаетесь, что я вас забуду? Вот это что-то новое! Макс, дорогой мой, вы заблудились, как я люблю говорить, в трех соснах. Я думаю о вас, я издали с таким живым вниманием гляжу на вас, что вы должны это в какие-то минуты таинственным образом чувствовать. Несмотря

на разделяющее нас расстояние, я наблюдаю за вами, наблюдаю пристально, и занятие это мне не надоедает. Я вас отсюда так хорошо вижу. Только теперь те часы, которые мы провели вместе, в сердечной близости, раскрыли свои секреты, только теперь мне стал ясен смысл всех сказанных нами слов, молчаний, взглядов, жестов, запечатленных в моей памяти во всей их пластической и музыкальной сущности… И именно это время вы выбираете, чтобы, прижав палец к губам, кокетливо заявлять: «Вы меня забыли, я чувствую, что вы удаляетесь от меня». Вот оно каково, пресловутое «второе зренье» влюбленных. Я удаляюсь от вас, это правда, мой друг. Мы только что приехали в Авиньон, а вчера, проснувшись днем в поезде, мне показалось, что я проспала не каких-то там два часа, а целых два месяца: за окнами вагона была весна в самом своем разгаре, как в волшебной сказке, буйная, какая-то нереальная, победительная весна юга, сочная, свежая, с буйством молодой зелени, с уже высокой травой, которую колышет ветер, прокатываясь по ней волнами, с лиловой пышностью иудиных деревьев, с адамовыми деревьями серо-голубого оттенка, с альпийским ракитником, глициниями и розами!

Первые розы, мой любимый друг! Я купила их на вокзале в Авиньоне — чуть приоткрытые бутоны, желтые, как сера, с карминовым отсветом в глубине, прозрачные на солнце, будто человечье ухо на свету с сеткой кровеносных сосудов, украшенные нежными листиками и изогнутыми шипами, словно выточенными из полированного коралла. Они стоят сейчас на моем столе, они пахнут абрикосом, ванилью, дорогой сигарой, утренним туманом — это запах ваших сухих смуглых рук.

Мой друг, я ослеплена, я ожила вновь от этой весны, от этого мощного небесного купола, от особой золотистости здешнего камня, который круглый год ласкает солнце… Нет, нет, не жалейте меня, что всякое утро я уезжаю на рассвете, потому что в этом краю обнаженный, розоватый рассвет словно спрыгивает вниз *с* белесого неба под аккомпанемент колокольного звона и шуршания крыл летящих белых голубей… О, прошу Вас, поймите, что Вы не должны писать мне «тщательно отредактированных» писем, Вы не должны взвешивать слова! Пишите, что в голову придет — о цвете утра в тот час, когда Вы проснулись, о вашей злости на «цыганку, уехавшую зашибать деньгу», заполняйте стра-

ницы хоть одним и тем же словом, пусть оно повторяется несметное число раз, словно любовный, призывный птичий крик! Мой дорогой возлюбленный, мне хотелось бы, чтоб сумбур твоей души соответствовал сумбуру этой бьющей через край весны, которая прорвала толщу земли и опрометью несется к своей гибели».

Мне случается иногда перечитывать свои письма. Перечла я и это и отправила со странным чувством, что делаю что-то не то, что совершаю ошибку, что оно послано человеку, которому не следовало бы его читать… С тех пор как я в Авиньоне, у меня слегка кружится голова. Туманные земли растаяли там, по ту сторону завесы из кипарисов, колышащихся от порывов мистраля. Шелковистый шелест длинных тростников ворвался в тот день в открытое окно вагона вместе с запахом меда, сосен, полированных почек, нераспустившейся еще сирени, — этот горький запах кустов сирени перед цветением, в котором как бы смешаны скипидар и миндаль. Тени вишен, лиловые на красноватой земле, уже растрескавшейся от жажды. На белых дорогах — поезд то пересекает их, то тарахтит вдоль — низко клубится меловая *пыль и* припудривает кустарник на обочинах. Какой-то приятный гул наполняет мои

уши, гул, подобный многоголосому жужжанию далекого пчелиного роя…

Перед этой чрезмерностью запахов, жары, красок я чувствую себя беззащитной, я попадаю под ее воздействие, и, хотя все это можно было предвидеть, я как бы застигнута врасплох и полностью покорена. Возможно ли, чтобы такое роскошество не таило в себе опасности?

Оглушительная Канебьер копошится под моим балконом, Канебьер, не отдыхающая ни днем, ни ночью, и бесцельное шатанье по ней возводится здесь в ранг важного дела. Если я наклонюсь, то увижу, как в конце улицы сквозь геометрические кружева снастей поблескивает вода порта, край моря интенсивно-синего цвета, на котором пляшут коротенькие волны. Моя рука, лежащая на парапете балкона, комкает только что полученное письмо от моего друга, его ответ на то, что я ему писала из Лиона. В нем он вспоминает, весьма некстати, что моя подруга Амалия Варалли не любила мужчин. Он не упустил случая, будучи «нормальным» и «уравновешенным», заклеймить и высмеять ее, назвав «пороком» то, чего он не понимает. К чему объяснять?.. Две обнявшиеся женщины всегда будут для него образом распутства, а не печальным и трогательным союзом

двух существ, воплощающих слабость, нашедших друг подле друга прибежище, где можно спать, плакать, укрыться от мужчины, так часто бывающего злым, и вкушать не удовольствие, а горькое счастье быть одинаковыми, малыми, забытыми… К чему писать, защищать, спорить?.. Мой сладостный друг понимает только любовь…

24 апреля

«Не делайте этого! Не делайте этого, умоляю вас! Приехать сюда, не предупредив заранее, — вы ведь всерьез не собирались так поступить, скажите?

Что бы я сделала, если бы вы вдруг вошли в мою гримуборную, как пять месяцев тому назад в «Ампире-Клиши»? Конечно, я бы вас оставила, в этом не сомневайтесь. Но именно поэтому не надо приезжать! Я бы вас оставила, дорогой, прижав к сердцу, к груди, которую вы ласкали, к губам, которые утратили свою свежесть от того, что вы их не целуете… Ах, как бы я вас оставила! Но именно поэтому не надо приезжать…

Перестаньте ссылаться на возникшую у нас обоих потребность заново запастись мужеством, почерпнуть друг у друга сил на новую разлуку. Пусть я буду наедине со своей профессией, которую вы не любите. Осталось всего двадцать дней

до моего возвращения, о чем тут говорить! Дайте мне завершить гастроли, будто это военное задание, с добросовестностью честной труженицы — к этому нельзя примешивать наше счастье… Твое письмо меня испугало, дорогой. Я подумала, что сейчас увижу, как открывается дверь и… Постарайся беречь свою подругу: не причиняй ей неожиданно ни горя, ни радости…

Рене».

Полотняный навес над нами бьется от ветра, то озаряя солнцем, то погружая в тень террасу ресторана в порту, куда мы пришли пообедать. Браг читает газеты и время от времени издает какие-то восклицания, разговаривает сам с собой. Я его не слушаю, да и почти не вижу. Долгая привычка быть вместе постепенно уничтожила в наших отношениях пустую вежливость, кокетство, стыдливость — все формы лжи. Мы только что ели морских ежей, помидоры, тресковый паштет. Перед нами между морем, где волны бьют в борта кораблей, и резной деревянной балюстрадой, обрамляющей эту террасу, пролегает мощеная дорога, по которой проходят люди со счастливыми лицами бездельников. Тут же продают свежие, только что срезанные цветы: гвоздики, связанные в тугие пучки, словно лук-

порей, стоят в зеленых ведрах. Рядом — лоток с почерневшими бананами, пахнущими эфиром, и ракушками, с которых стекает морская вода, — полюрды, морские ежи, синие мидии, съедобные моллюски, — тут же лежат лимоны и пузырьки с розовым уксусом…

Я охлаждаю свою ладонь о стоящий на столе белый глиняный кувшин, шершавый, как дыня, покрытый ледяной испариной. Все это мне принадлежит, все это владеет мною. Завтра, уезжая, мне будет казаться, что не я сохраню в своей памяти эту картину, а моя тень, отделившись от меня, как отделяется лист от ветки, навсегда останется здесь — с опущенными от усталости плечами и с покоящейся на невидимом кувшине бестелесной рукой.

Я гляжу на все это сейчас мне принадлежащее, постоянно меняющееся богатство, словно я его едва не потеряла. Однако ничто не угрожает моей легкой жизни на колесах, ничто, если не считать одного письма. Вот оно, в моей сумочке. О, как он, оказывается, умеет писать, мой друг, когда захочет! Как он ясно выражает свои мысли! Вот на восьми страницах то, что я могу назвать настоящим любовным письмом. В нем есть и нужная бессвязность, и две-три орфографические ошиб-

ки, и нежность, и… властность, великолепная властность, которая распоряжается мной, моим будущим, всей моей короткой жизнью. Мое отсутствие сделало свое дело: он страдал без меня, потом все обдумал и тщательно распланировал наше длительное счастье. Он предлагает мне брак, как если бы предлагал залитый солнцем загон, огражденный со всех сторон высокими стенами.

«Мать моя, правда, немножко побушевала, но пусть себе кричит, все равно она всегда все делала, как я хочу. Ты ее покоришь, да и вообще, какое это может иметь значение, мы так мало будем бывать вместе с ней! Вы любите путешествовать, моя дорогая жена? Вы будете путешествовать так много, что Вам это надоест. Вы изъездите весь земной шар во всех направлениях, пока не прикипите сердцем к какому-нибудь уголку, который будет принадлежать только нам, где Вы уже не будете Рене Нере, а Мадам Моя Жена! Вам придется довольствоваться этим званием!.. Я уже занимаюсь тем, что…»

Чем это он уже занимается? Я снова разворачиваю тоненькие листочки почти прозрачной бумаги, которые хрустят, как ассигнации: он занимается переездом, потому что второй этаж

в особняке его брата мог быть только сносной холостой квартиркой, он уже присмотрел что-то подходящее в районе улицы Перголез.

В порыве буйного веселья я комкаю письмо и восклицаю:

— Вот это да! А со мной никто и не советуется! Кто же я есть во всей этой истории?

Браг поднимает голову, потом, ни слова не говоря, снова утыкается в газету. Его тактичность, складывающаяся в равных долях из сдержанности и безразличия, подскажет ему не обращать внимания на такие вещи.

Я не врала, когда два дня назад писала Максу: «Я вас так хорошо вижу теперь, теперь, когда я так далеко от вас!» Лишь бы я его не видела слишком хорошо!.. Он молод, слишком молод для меня, ничем не занят, свободен, нежен, конечно, но избалован: «Моя мать всегда все делала, как я хочу...» Я слышу его голос, когда он произносит эти слова, его красивый глуховатый голос, богатый выразительными модуляциями, впечатляющий и как бы поставленный для сцены, голос, который придает произносимым словам большую вескость, но вместе с тем, будто дьявольское эхо, я слышу и другой голос, поднимающийся из глубины моих воспоминаний: «Не родилась еще

та женщина, которая будет водить меня за нос!..» Может быть, это совпадение… Но все же мне кажется, что я проглотила острый осколок стекла…

В самом деле, кто же я есть во всей этой истории? Счастливая женщина?.. Солнце, которое властно врывается в мою внутреннюю темную камеру, мешает мне думать…

— Я пошла, Браг, я устала.

Браг смотрит на меня поверх газеты, склонив голову набок, из-за струйки дыма, которая поднимается от его еле тлеющей сигареты, зажатой в уголке рта.

— Устала? Надеюсь, не больна? Ты же помнишь, что сегодня суббота, публика в «Эльдо» будет буйная, ты должна быть в форме!

Я не удостаиваю его ответом. Он что, все еще принимает меня за дебютантку? Известно, какая она, эта марсельская публика, легко возбудимая, но вместе с тем и добродушная, она презирает робость и наказывает за самодовольство, ее невозможно покорить, не выложившись до конца…

В номере я сразу же разделась, и от освежающего прикосновения к коже шелковистой ткани моего голубого кимоно, стираного-перестираного, у меня тут же проходит начавшаяся было мигрень. Я не ложусь на кровать, потому что бо-

юсь заснуть: я пришла сюда не отдыхать. Я как-то странно устраиваюсь в кресле, стоящем у открытого окна: встав на коленки, я облокачиваюсь о его спинку, почесывая одну ногу другой. Вот уже несколько дней, как я почему-то все принимаю неудобные позы, усаживаюсь на неудобные предметы, словно в те короткие перерывы, которые я делаю в своих странствиях, нет смысла что-то специально устраивать, готовить для отдыха. То я примощусь на край стола, то пристроюсь наискосок на ручку какого-нибудь кресла… Комнаты, в которых я сплю, выглядят так, будто я вошла в них на четверть часа — тут валяется пальто, там — шляпа… Только в вагоне я проявляю чуть ли не маниакальную страсть к порядку, там все имеет свое строго определенное место — дорожная сумка, сложенный плед, газеты, книги, резиновые подушки, чтобы поддержать мой сон, быстрый сон, несмотря на скованную позу закоренелой путешественницы, которой не мешает ни вуаль, завязанная, как головная повязка монахинь, ни натянутая на щиколотки юбка.

Я не отдыхаю. Я хочу заставить себя думать, но мысль сопротивляется, рвется из головы, бежит по световой дорожке, которую ей прокладывает упавший на балкон солнечный луч, и

вот уже прыгает где-то там, на крыше, мозаично выложенной зеленой черепицей, то и дело задерживаясь на своем пути, чтобы поиграть с каким-то отсветом или с тенью облаков… Я борюсь, я себя подстегиваю… Потом на минуту сдаюсь и начинаю все снова. Из-за таких поединков у изгнанников моего толка глаза всегда так широко раскрыты, и им так трудно отвести взгляд от невидимой приманки. Унылая гимнастика души одинокого существа…

Одинокая! Мне ли так думать, ведь мой возлюбленный зовет меня и готов отвечать за меня на всю жизнь?

Но я знаю, что это значит «вся жизнь». Еще три месяца тому назад я произносила эти ужасные слова «десять лет», «двадцать лет», не понимая, что говорю. Теперь пора понять! Мой возлюбленный предлагает мне свою жизнь, свою непредсказуемую и щедрую жизнь молодого человека, которому около тридцати четырех лет, как и мне. Он не сомневается в моей молодости, он не видит *конца*—моего конца. Его ослепление отказывает мне в праве меняться, стареть, в то время как каждое мгновение, прибавленное к тому, которое уже прошло, отнимает меня у него…

Сейчас я еще обладаю всем, что надо, чтобы

его удовлетворить, более того, ослепить. Я могу сменить свое лицо, как меняют маску: у меня в запасе есть другое, куда прекрасней, которое он однажды видел… и я раздеваюсь, как другие наряжаются, потому что я научилась, — я ведь перед тем, как стать танцовщицей, служила Таиланди моделью, — преодолевать все опасности, подстерегающие обнаженную натуру, двигаться голой, пользуясь светом, как драпировкой. Но… сколько лет еще это мое умение будет меня защищать?

Мой друг предлагает мне свое имя и свое состояние вместе со своей любовью. Что и говорить, мой хозяин Случай хорошо делает свое дело и хочет разом вознаградить меня за мою веру в него, за мой культ. На это и надеяться было невозможно, это безумие, это… боюсь, это чересчур!

Дорогой хороший человек! Он с нетерпением будет ждать мой ответ, караулить приход почтальона вместе с Фасеттой, с моей Фасеттой, которой нравится играть в хозяйку замка, кататься на автомобиле и бегать вокруг верховых лошадей… Его радость увеличивается еще от наивной, но естественной гордости тем, что он, достаточно шикарный господин, подымает до себя и водворяет на террасу Сен-Неве актрисулю из кафешантана, вытащив ее из подвалов «Амп

— Клиш'а».

Дорогой, дорогой героический *буржуа!*... Почему он не любит другую! Как эта другая смогла бы сделать его счастливым. А вот я, как мне кажется, я никогда не смогу...

Если бы дело было только в том, чтобы отдаться ему! Но сладострастием вопрос не исчерпывается... В бескрайней пустыне любви сладострастие имеет очень маленькую, хоть и жгучую территорию, такую пылающую, что сперва кроме нее ничего не видно. Но я не невинная девушка, чтобы ослепиться ее пламенем. Вокруг этого неровного огня притаилась опасность, там царит полная неизвестность. Что я знаю о человеке, которого люблю и который меня хочет? Когда мы поднимемся после коротких объятий или даже долгой ночи, надо будет научиться жить друг возле друга. Он будет мужественно скрывать свои первые разочарования, а я — свои, из гордости, из жалости, а главное, потому, что их ждала, боялась, потому что я их узнаю... Я вся сжимаюсь, когда он называет меня «мое дорогое дитя», вся дрожу, видя некоторые его жесты, такие знакомые, слыша некоторые узнаваемые интонации... Что за армия привидений караулит меня за занавесками еще не открытой постели?..

…На крыше из зеленой черепицы уже нет солнечных бликов. Солнце передвинулось, и небесное озеро между двумя рядами неподвижных облаков, еще недавно бывшее лазорево-синим, постепенно бледнеет, становится сперва бирюзовым, а потом цвета зеленых лимонов. Мои руки, опиравшиеся о спинку кресла, и мои согнутые ноги затекли. Неплодотворный день подходит к концу, а я еще ничего не решила, ничего не написала, я не смогла вырвать из своего сердца того необозримого движения, того гневного импульса, которым я прежде безоговорочно подчинялась, считая их чуть ли не «божественными».

Что делать?.. Сегодня — написать краткое письмо, потому что уже мало времени, и солгать…

«Мой дорогой, сейчас уже почти шесть часов, весь день я провела в борьбе с ужасной мигренью. Жара здесь такая, — она навалилась внезапно, — что я просто стону от нее, но, как Фасетта у слишком жаркого огня, безо всякого злопамятства. А тут еще Ваше письмо!.. На меня обрушилось сразу слишком много солнца, слишком много света, небо, — Вы перегрузили меня своими дарами. Сегодня у меня хватает сил только на то, чтобы вздыхать: «Это слишком!..» Такой друг, как Вы, Макс, и много любви, и много счастья, и много

денег… Вы считаете, что я настолько сильная, что могу все это выдержать? Правда, обычно я и бываю сильной, но не сегодня. Дайте мне время… Вот Вам моя фотография. Я получила ее из Лиона, где Варалли сделала этот мгновенный снимок. Я кажусь себе на нем чересчур загорелой, чересчур коротышкой, чересчур напоминающей потерянную собаку из-за этих нелепо скрещенных рук и какого-то побитого вида. Скажу честно, мой любимый друг, этой невзрачной страннице как-то не под стать тот избыток чести и благ, кои Вы ей сулите. Она смотрит в Вашу сторону, и ее недоверчивая лисья мордочка как бы говорит: «И все это мне? Вы уверены?»

Прощайте, мой дорогой друг. Вы лучший из мужчин и достойны лучшей из женщин. Не жалеете ли Вы, что выбрали всего-навсего

Рене Нере?»

Итак, я располагаю сорока восемью часами…

А теперь мне надо торопиться! Одеться, причесаться, поужинать у Бассо, на террасе, где не утихает свежий ветерок и пахнет лимоном и мокрыми мидиями, отправиться в «Эльдорадо» по улицам, залитым розовым электрическим светом, одним словом, оборвать наконец хоть на несколько часов ту нить, что все время тянет

меня туда, назад, и не дает передышки.

Ницца, Канн, Ментона… И всюду меня сопровождает моя мука, которая становится все неотступней. Она такая живучая, такая постоянно присутствующая, что я порой боюсь увидеть на раскаленном булыжнике мостовых, где гниют в солнечных лучах банановые шкурки, или на моле, сложенном из блоков песчаника, рядом с моей тенью — ее тень… Моя мука тиранит меня, она стоит между мною и радостью жить, мешает созерцать мир вокруг меня, глубоко дышать… Как-то ночью мне приснилось, что я уже не люблю, и в ту ночь я отдыхала, освобожденная от всего, будто в нежных объятиях смерти…

На мое уклончивое письмо из Марселя Макс ответил спокойным и счастливым письмом, — там не было ни одной помарки, — в котором благодарил меня, а любовь свою выражал куда более спокойным и уверенным тоном, нежели раньше, гордился тем, что отдает мне все, но взамен получает еще больше, одним словом, письмо, после которого мне должно было начать казаться, будто я ему написала: «В такой-то день, в такой-то час, я ваша, и мы вместе уедем…»

Выходит, все свершилось? Я уже до такой степени связана? Это дурное настроение, из-за которого

день ото дня, от ночи к ночи, от города к городу, время тянется для меня все медленнее, чем оно обусловлено? Нетерпением? Поспешностью?.. Вчера в Ментоне, в том окруженном густым садом пансионе, где я остановилась, я слышала, как ранним утром пробуждаются птицы, насекомые и попугай, живущий на балконе. Предрассветный ветер шелестел в пальмовых листьях, как в сухом тростнике, и я узнавала все звуки, всю музыку утра, подобную той, что звучала и в прошлом году. Но теперь посвистывание попугая, интенсивный гул ос во время восхода солнца, ветерок, со скрипом раскачивающий жесткие пальмовые листья, — все это куда-то отодвигалось, удалялось от меня, становилось лишь аккомпанементом, своего рода педалью для моей навязчивой идеи — любви.

Под моим окном, в саду, под сенью мимоз, желтых, как цыплята, синеет в искрах росы продолговатая клумба фиалок, которой еще не коснулись первые солнечные лучи. Стена дома завита розами, и по их цвету — желтовато-зеленому, того же оттенка, что и небо, не успевшее еще набрать дневной голубизны, — я догадываюсь, что они не пахнут. Те же розы, те же фиалки, что и в прошлом году, но почему я не смогла вчера

приветствовать их той невольной улыбкой, которая выдает почти физическое чувство довольства — это что, молчаливое счастье одиноких?

Я страдаю. Я не могу отдаться тому, что я вижу. Я цепляюсь еще на мгновение, и еще на мгновения, за самое большое безумие, непоправимое несчастье всей оставшейся мне жизни. Словно дерево, выросшее на обрыве над пропастью, изогнутое и корнями цепляющееся за склон, дерево, рост которого толкает его к неминуемой гибели, я еще сопротивляюсь, и кто может сказать, удастся ли мне это да конца?.. Когда я успокаиваюсь, когда готова бесстрашно идти навстречу ожидающему меня будущему, полностью вручив его тому, кто меня ждет, маленькая фотография возвращает меня к моей муке и к моему здравому смыслу. Это моментальный снимок, на котором изображен Макс, играющий в теннис с девушкой. За этим снимком ничего не скрывается: девушка эта — случайная партнерша Макса, соседка, приглашенная в Саль-Нев на чашку чая, и он не думал о ней, когда посылал мне эту фотографию, но я, я думаю о ней, я думала о ней прежде, чем ее увидела! Я не знаю ее имени, не могу разглядеть ее лица, повернутого к солнцу, загорелого, растянувшегося в радостной улыбке, обнажившей

сверкающий ровный ряд белых зубов. О, если бы мой возлюбленный сидел сейчас у моих ног, был бы в моей власти, я бы сказала ему…

…Нет, я бы ему ничего не сказала. Но писать куда легче! Писать, писать, исписывать чистые страницы быстрым неровным почерком, который он сравнивает с моим подвижным лицом, с моими чертами, утомленными выражением беспрестанной изменчивости внутренних состояний. Писать искренне, почти искренне! Надеюсь, что испытаю от этого облегчение, что наконец-то настанет тот внутренний покой, который следует за криком, за признанием.

«Макс, мой любимый друг, я вчера спросила имя той девушки, которая играет с тобой в теннис. Напрасно. Для меня ее зовут просто девушка, или даже «девушки», «молодые женщины» — все те, кто будут моими соперницами когда-нибудь, скоро, завтра. Ее зовут незнакомка, младшая сестра, та, с которой меня будут сравнивать, жестоко и трезво, однако с меньшей жестокостью и с меньшей трезвостью, чем я это буду делать сама!..

Одержать над ней победу? Но сколько раз? Что значит победа, когда эта борьба истощает силы, а конца ей нет? Пойми меня, пойми меня! Меня

терзает не ревность, не твоя возможная будущая измена, а неизбежность моего старения. Мы с тобой одного возраста, я уже не молодая женщина. Представь себе, как ты, красивый мужчина, будешь выглядеть через несколько лет, в полном расцвете сил, рядом со мной! Представь себе меня, еще красивую, но в полном отчаянии, в бешенстве от того, что, как доспехами, вооружаюсь корсетом и платьями, что вся покрыта тоном и пудрой, чтобы удержать молодые краски на лице… Представь себе меня красивой, как распустившаяся роза, к которой уже нельзя прикасаться! Тебе достаточно будет бросить взгляд на какую-нибудь молодую женщину, и печальная складка на моей щеке, проложенная улыбкой, углубится, но счастливая ночь в твоих объятиях обойдется моей увядающей красоте еще дороже… Я достигла — ты это знаешь — возраста страсти. Это и есть возраст самых роковых поступков… Пойми меня! Твоя горячность, которая сумеет убедить меня и успокоить, не приведет ли она твою Рене в конечном счете к идиотической безмятежности женщин, которых любят? У таких женщин на краткие и гибельные мгновения вдруг возрождается инфантильная манерность, и они позволяют себе затевать этакие девичьи

игры, от которых сотрясается их тяжелая сочная плоть. Я содрогнулась, узнав, что моя сорокалетняя подруга настолько потеряла чувство реальности, что, полураздетая и задыхающаяся от любви, напяливала себе на голову фуражку своего любовника, гусарского лейтенанта…

Да, да, я заговариваюсь, я тебя пугаю. Ты не понимаешь. Этому письму не хватает длинного предисловия, где были бы изложены все те мысли, что я от тебя скрываю и которые отравляют меня вот уже столько дней… Ты думал, любовь — это нечто очень простое? Ты не подозревал раньше, что у нее может быть такое двусмысленное, измученное лицо. Любишь друг друга, отдаешься без оглядки, вот мы и счастливы на всю жизнь, не правда ли? Ах, как ты молод, хуже, чем молод. Ты страдаешь только от того, что меня ждешь. Не иметь того, чего желаешь, — вот круг твоего ада. И для многих в этом и заключено содержание всей жизни… Но представь себе, каково обладать тем, что любишь, и чувствовать, что с каждой минутой это твое единственное достояние разрушается, тает и проскакивает между пальцами, как золотой песок!.. И не иметь губительного мужества разжать кулак и разом выпустить все свое сокровище. А напротив, силь-

нее сжимать этот кулак и кричать, и молить, чтобы сохранить… Что? Драгоценный след золотой пыльцы на ладони…

Ты не понимаешь? Маленький мой, я бы отдала все на свете, чтобы быть на тебя похожей, мне хотелось бы, чтобы я страдала только из-за тебя, мне хотелось бы отбросить прочь ту беду, сквозь которую я прошла… Помоги, как сможешь, своей Рене, но если я надеюсь только на тебя, любимый мой, не значит ли это, что я уже наполовину потеряла надежду?..»

Мои пальцы все еще сжимают плохую, слишком тонкую ручку. Четыре большие листа на столе свидетельствуют о том, как торопливо я пишу, точно так же, как и беспорядочный вид письма, то подымающиеся, то опускающиеся строчки, меняющийся все время почерк, на все чутко реагирующий.

Передо мной, на площади, на которой еще недавно гулял ветер, теперь уже ослабевший, падающий, будто усталое крыло, рыжей стеной на фоне непрозрачного, грифельного неба высится громада арены Нима. Небо это предвещает грозу, и раскаленный воздух вползает в мою комнату. Именно под таким тяжелым небом я хочу вновь увидеть мое давнее прибежище: Сады Фонтана.

Трясущаяся карета, в которую запряжена унылая лошадка, довозит меня до чугунной решетки, ограждающей парк, где никогда ничего не меняется. Не затянулась ли каким-то волшебным образом до этого часа прошлогодняя весна, чтобы дождаться меня? Весна здесь какая-то сказочная, неподвижная, нависшая над парком, словно колпак, и я задрожала в испуге, что она вдруг разрушится и изойдет туманными испарениями…

Я влюбленно касаюсь разогретых на солнце камней развалин храма и лакированного листа бересклета, который кажется мокрым. Бассейн Терм Дианы, над которым я склоняюсь, как и прежде отражает иудины деревья, пинии, сосны, адамово дерево с лиловыми цветами и двурогими красными колючками… Целый сад отражений разворачивается передо мной и, преломляясь в воде, переливается темной частью спектра от ярко-синего к более темному, и далее через лиловый, того оттенка, что бывает у щечек чуть подгнивших персиков, к темно-коричневому — цвету запекшейся крови… Прекрасный сад, прекрасная тишина, которую нарушает только властное журчание воды, зеленой, прозрачной синей и блестящей, словно живой дракон!

Двойная ухоженная аллея с резной тиссовой

оградой с обеих сторон поднимается к башне Мань, и я на минутку присела отдохнуть на край каменного желоба, где плещется мутная вода, сильно позеленевшая от растущего там кресс-салата и бешено скачущих полчищ болтливых древесных лягушек *с* тоненькими лапками… А там на самом верху для нас — для меня и моей муки — будто специально приготовлено роскошное ложе из сухой хвои. Сверху этот прекрасный сад кажется плоским, в открытых местах видна его строгая геометрическая планировка. Надвигающаяся гроза прогнала отсюда всех гуляющих. Град и ураган, таящиеся в недрах набухшей черной тучи у горизонта, окаймленной золотыми отсветами, медленно надвигаются…

Все это тоже мое богатство, маленькая доля тех роскошных даров, какими бог осыпает путников, кочевников, одиноких. Земля принадлежит тому, кто на минуту остановится, поглядит и уйдет. Все солнце принадлежит той ящерице, что греется в его лучах…

В самой сердцевине моей тревоги происходит яростный торг, там идет обмен, там взвешивают и сравнивают необъявленные ценности, полутайные сокровища, идет какой-то подспудный спор, который постепенно пробивается наружу,

к свету… Время не терпит. Всю ту правду, которую я сокрыла от Макса, я должна сказать себе. Она, увы, не хороша собой, эта правда, она еще немощна, испугана и немного коварна. Пока она в силах подсказать мне лишь короткие вздохи: «Не хочу… не надо… боюсь!»

Боюсь стареть, быть преданной, страдать… Хитрый умысел руководил моей пол у искренностью, когда я писала об этом Максу. Этот страх — своего рода власяница, которая прирастает к коже едва родившейся Любви и стискивает любовь по мере того, как она растет… Я носила эту власяницу, от нее не умирают. И я буду носить ее снова, если… *если я не смогу поступить иначе…*

«Если я не смогу поступить иначе…» На этот раз формула ясная! Я прочла ее — она была написана в моей мысли, я и сейчас ее там вижу, она напечатана там, как сентенция, жирным шрифтом… О, я только что верно оценила свою жалкую любовь и осознала мою истинную надежду: бегство.

Как суметь это сделать? Все против меня. Первое препятствие, на которое я натыкаюсь, это распростертое женское тело, преграждающее мне путь, исполненное сладострастия тело женщины с закрытыми глазами, сознательно закрытыми, готовой скорее погибнуть, нежели покинуть

место, где его ожидает радость… Эта женщина, это грубое существо, не могущее отказаться от наслаждения, — я. «Ты сама свой худший враг!» Бог ты мой, я это знаю, я знаю это! Смогу ли я победить в сто раз более опасное существо, чем эта ненасытная тварь, а именно, брошенную девочку, которая дрожит во мне, слабенькая, нервная, тянущая руки и умоляющая: «Не оставляйте меня одну!» Она боится темноты, одиночества, болезни и смерти, вечером она задергивает занавески, чтобы не видеть черное стекло, которое ее пугает, и страдает от того, что ее недостаточно нежно любят… А вы, Макс, мой любимый противник, как я смогу справиться *с* вами, разорвав свое сердце в клочья. Вам достаточно было бы появиться, чтобы… Но я не зову вас!

Нет, я не зову вас, и это моя первая победа!

Грозовая туча проходит сейчас прямо надо мной, лениво проливая каплю за каплей душистую воду. Дождевая звездочка попадает мне в уголок рта, и я выпиваю ее, теплую, подслащенную пыльцой, отдающей нарциссом.

Ним, Монпелье, Каркассон, Тулуза… четыре дня без отдыха, и четыре ночи тоже! Приезжаем, моемся и танцуем под звуки неуверенно играющего, прямо с листа разбирающего партитуру

оркестра, ложимся спать — стоит ли? — и наутро уезжаем. Худеешь от усталости, но никто не жалуется, гордость превыше всего! Мы меняем мюзик-холлы, гримуборные, гостиницы, номера с равнодушием солдат на маневрах. Гримировальная коробка облупилась, проступает ее белый металл. Костюмы пообтрепались и издают, когда их перед самым спектаклем торопливо чистят бензином, противный запах рисовой пудры и керосина. Я кармином подкрашиваю свои облезшие красные сандалии, в которых выступаю в «Превосходстве». Моя туника для «Дриады» теряет свой ядовитый оттенок кузнечика и зеленого луга. Браг просто великолепен — столько разноцветных слоев всяческой грязи налипло на его костюм: его вышитые болгарские кожаные штаны, ставшие негнущимися из-за искусственной крови, которой он обрызгивается каждый вечер, похожи теперь на шкуру только что освежеванного быка. Старый Троглодит в парике, из которого лезет пакля, кое-как прикрытый полинявшими и воняющими кроличьими шкурками, просто пугает публику, когда выходит на сцену.

Да, очень тяжелые дни, и мы задыхаемся между синим небом, по которому лишь изредка проносятся продолговатые, тощие, словно про-

чесанные мистралем, грозовые тучи, и землей, потрескавшейся от жажды… А у меня, кроме всего, двойная нагрузка. Оба моих товарища, как только мы попадаем в новый город, скидывают со своих плечей давящий ремешок поклажи и, разом оказавшись налегке, не знают забот кроме как выпить кружку пенистого пива да бесцельно пошататься по городу. А для меня главное — час прихода почты… Почта! Письма Макса…

В застекленных шкафчиках или на грязных столах, на которых консьерж движением руки раскидывает письма, я сразу же вижу, словно меня ударяет током, круглый витиеватый почерк, узнаю голубоватый конверт: прощай, отдых!

— Дайте мне! Вот это!.. Да, да, я же вам говорю, это мне!

Бог ты мой! Что там написано? Упреки, просьбы или, быть может, только: «Еду»…

Четыре дня я ждала ответа Макса на мое письмо из Нима. В течение этих четырех дней я писала ему нежные слова, скрывая за их милотой свое глубокое волнение, словно я вообще забыла про это письмо из Нима… Когда находишься так далеко, то ты вынуждена прерывать свой письменный диалог, невозможно все время предаваться меланхолии, пишешь разные

разности… Четыре дня я ждала ответа Макса, проявляла нетерпение и неблагодарность, когда получала письма, написанные изящным старомодным почерком, с наклоном вправо, от моей подруги Марго, листочки, исписанные мелкими каракулями от моего старого Амона, открытки от Бландины.

И вот я держу его наконец, это письмо от Макса, и читаю с хорошо мне известным сердцебиением, особенно мучительным из-за одного воспоминания: в моей жизни был период, когда Таиланди, «мужчина, которого не бросила ни одна женщина», как он говорил, вдруг взбесился из-за моего отсутствия и молчания и стал мне писать любовные письма! От одного вида его размашистого почерка я бледнела и чувствовала, что мое сердце становится совсем маленьким, круглым и твердым и начинает бешено биться — как сейчас, как сейчас…

Скомкать это письмо Макса, не читая, вдохнуть воздух, как повешенный, которого в последнюю минуту успевают снять, и бежать!.. Но я не в силах… Это лишь краткий соблазн. Надо читать…

Да будет благословен случай! Мой друг не понял. Он подумал, что речь идет о приступе ревности, о не лишенной кокетства тревоге

женщины, которая хочет получить от любящего мужчины самое лестное, самое однозначное заверение… И я его получаю, это заверение, и не могу сдержать улыбки, потому что он превозносит «родную душу» то как очень уважаемую сестру, то как красивую кобылу… «Ты всегда будешь лучше всех». Он, наверное, пишет то, что думает. Быть может, перед тем, как написать эти слова, он поднял голову и поглядел на густой лес перед ним с мгновенным колебанием, с едва уловимым перебоем мысли. Но он тут же повел плечами, как делают, когда зябко, и написал смело, медленно: «Ты всегда будешь лучше всех!»

Бедный Макс!.. Лучшее, что во мне есть, находится теперь в заговоре против него. Позавчера мы уезжали на рассвете, и, едва оказавшись в вагоне, я попыталась снова погрузиться в сон, обрывочный сон, прерываемый двадцать раз, как вдруг соленое дыхание, запах свежих водорослей вновь заставил меня раскрыть глаза: море! Море! Оно было рядом, раскинулось вдоль поезда, вернулось, когда я о нем уже и не думала. В семь утра солнце стояло еще очень низко и не проникало в море, а лишь ласкало его, скользя лучами по его глади, — море как бы не желало пока отдаваться солнцу, еще толком не пробудилось и сохранило

ночную окраску, оно лежало передо мной чернильно-синее с белыми барашками…

Поезд проносился мимо солеварен, окруженных, словно сверкающими газонами, прямоугольными россыпями соли, мимо белых, как соль, спящих вилл, с садами, где растут темные лавры, сирень, иудины деревья… Убаюканная поездом, я, как и море, впала в дрему, и мне казалось, что я несусь над водой в резком полете ласточки и касаюсь крылом прибрежных волн. Я наслаждалась одним из тех удивительных мгновений, которые знакомы потерявшим сознание больным, когда вспыхнувшее вдруг воспоминание, образ, имя возвращают их к обычной жизни, делают такими, какими они были накануне болезни и во все предыдущие дни… За эти месяцы я впервые забыла о Максе. Да, я о нем забыла, словно никогда не знала ни его взгляда, ни ласковости его губ, я его забыла, словно нет в моей жизни более настоятельной задачи, чем искать слова, чтобы суметь наиболее точно выразить желтизну яркого солнца, синеву спокойного моря и режущее глаза сверканье высохшей соли, будто белого гагата… Да, забыла его, словно самым неотложным делом было для меня охватить взглядом все чудеса мира.

Именно в этот час шепнул мне на ухо лукавый бес: «А что, если и в самом деле только это неотложно? Если все остальное не более чем пепел?..»

III

Бури мыслей, которым я не даю вырваться наружу, бушуют во мне. Я с трудом заново учусь молчать и таиться. Мне стало опять легко обегать с Братом улицы городов, куда мы попадаем, не пропуская ни скверов, ни соборов, ни музеев, и заглядывать в прокуренные кабачки, где «замечательно кормят». Сердечность наших отношений такова, что мы обычно мало разговариваем, редко улыбаемся друг другу, зато, бывает, хохочем до слез, словно веселье нам более доступно, чем серьезность. Я охотно, даже, пожалуй, чуть громче, чем надо, смеюсь над историями, которые рассказывает Браг, а он, в свою очередь, разговаривая со мной подчеркнуто нарочито, не стесняется в выражениях.

Мы искренни друг с другом, но не всегда просты… У нас есть традиционные шутки, которые нас традиционно веселят. Самая любимая из них для Брага, — признаюсь, меня она крайне раздра-

жает, чтобы не сказать большего, — это Игра в Сатира. По преимуществу она происходит в трамвае, где мой товарищ выбирает себе в качестве жертвы то застенчивую барышню, то агрессивную старую деву. Он усаживается напротив, вяло откинувшись на спинку скамейки, и пожирает ее страстным взором, пока бедняжка не начинает краснеть, кашлять в смущении, поправлять свою вуалетку и отворачиваться от него. Однако сатир продолжает пялиться на несчастную, и все черты его лица, причем каждая в отдельности, рот, ноздри, брови, щеголяют друг перед другом, пытаясь наиболее выразительно изобразить наслаждение эротомана…

— Великолепное упражнение для тренировки мышц лица, — уверяет Браг. — Когда меня пригласят в Консерваторию вести курс пантомимы, я заставлю всех своих учеников вместе и каждого в отдельности этим заниматься.

Я смеюсь, потому что бедная дама в смятении тут же выскакивает из трамвая, но от совершенства искусства кривляния в этой противной игре мне становится не по себе. Мое тело, переутомленное ежедневными выступлениями, переживает без видимых причин своего рода кризисы нетерпимости ко всему, что оскорбляет

целомудрие, и поэтому я как бы сжигаю себя на костре, в одно мгновение вспыхивающем в моей душе от воспоминания о каком-то запахе, жесте, нежном возгласе, на костре, озаряющем услады, которых я не знала, и пламя его пожирает меня, неподвижную, стоящую со стиснутыми коленями, словно от каждого движения могут увеличиться мои ожоги.

Макс… Он мне пишет, он меня ждет… Как тяжко мне от его доверия! Куда более тяжко, чем обманывать самой, потому что я тоже пишу, пишу много и необъяснимо легко. Пишу на колченогих круглых столиках, пишу, сидя косо на слишком высоких для меня стульях, пишу, когда обута только одна нога, а другая еще босая, положив бумагу на подносик от утреннего завтрака, который приносят в номер, пишу, окруженная щетками, флакончиком с нюхательной солью и крючком для застегивания пуговичек на высоких башмаках, еще не успев засунуть все это в свою дорожную сумку, пишу перед раскрытым окном, обрамляющим угол заднего двора, или пленительный сад, или покрытые дымкой горы… Я чувствую себя дома среди всего этого беспорядка, всех этих «как придется», «где попало». Мне здесь легче, чем в своей квартире, со своей мебелью

— там живут привиденья…

— А что ты скажешь насчет Южной Америки?

Этот странный вопрос Брага попал в меня, как брошенный камешек, заставив очнуться от полудремоты, которая всякий раз находит на меня после ужина, когда я одновременно борюсь и со сном, и с нежеланием тут же идти гримироваться и переодеваться к спектаклю.

— Южная Америка? Это далеко.

— Для лентяев.

— Ты меня не понял, Браг. Я говорю «это далеко», как сказала бы «это прекрасно».

— Тогда ладно… Саломон прощупывал, как я отнесся бы к такому путешествию. Так что?

— Что, что?

— Может, поговорим?

— Отчего же.

Ни он, ни я не обманываемся, мы оба понимаем, что равнодушие наше наигранное. Я на горьком опыте знаю: с импресарио надо хитрить, не показывать ему своего желания ехать. С другой стороны, Браг тоже остерегается до окончательного решения рисовать мне эту поездку в выгодном свете из боязни спровоцировать меня на борьбу за более высокие ставки.

Южная Америка! Услышав эти два слова, я

испытала настоящий восторг, словно невежда, для которого Новый Свет — феерия падающих звезд, гигантских кактусов, драгоценных камней и малюсеньких птичек… Бразилия, Аргентина… Какие сверкающие названия! Марго мне как-то говорила, что ребенком была там с родителями, и мое восторженное желание поехать связано с ее рассказом о пауке, у которого серебряное брюшко, и о дереве, сплошь покрытом светляками… Бразилия, Аргентина, но… А как же Макс?

А как же Макс?.. Со вчерашнего дня я топчусь вокруг этого вопросительного знака. А как же Макс? А как же Макс? Это уже не мысль, а припев, шум, ритмичное карканье, которое фатально приводит меня к «вспышке грубости». Какой, интересно, предок вскидывается во мне, вызывая не только грубость слов, но и чувств? Я только что скомкала письмо, которое начала писать своему другу, ругаясь вполголоса.

«А как же Макс? А как же Макс? И еще раз! До каких пор будет он путаться у меня в ногах? А как же Макс! А как же Макс! Выходит, я существую лишь для того, чтобы заботиться об этом обременительном рантье? Помилуй бог! Хватит кривляний, хватит идиллий, хватит попусту терять время, и вообще, хватит мужчин! Погляди-ка на себя,

бедная ты моя, погляди-ка! Ты еще, пожалуй, не старая женщина, но уже старая холостячка. У тебя соответствующие навязчивые идеи, дурной характер, мелочная чувствительность, и все это обрекает тебя на страдания, но вместе с тем делает тебя невыносимой. «Чего ты идешь на эту галеру?..» Да ведь это даже и не галера, это пароход-прачечная, солидно оснащенный, где весьма патриархально стирают белье. Вот если ты была бы в состоянии закрутить с этим парнем небольшой романчик, то еще куда ни шло. Ну, этак недельки на две, на три, ну, в крайности, на два месяца, а потом — прощай! Никто никому ничего не должен, оба получали удовольствие. Ты должна была научиться у Таиланди искусству бросания!..»

И пошла, и пошла… Я поношу своего друга и себя с удивительной злостью и изобретательностью. Это своего рода игра, во время которой я заставляю себя говорить вполне справедливые вещи, хотя я так не думаю, пока еще не думаю… Все это продолжается до той минуты, когда я вдруг замечаю, что хлещет дождь. С крыш на той стороне улицы стекают целые водопады, вода в желобах переливается через край. Длинная холодная капля скатилась по стеклу и упала мне

на руку. Комната за моей спиной стала темной… Как хорошо было бы сейчас прижаться к плечу того, кого я только что унизила, назвав обременительным рантье…

Я зажигаю верхний свет, чуть-чуть привожу в порядок письменный стол, чтобы чем-нибудь заняться, раскрываю бювар, расположив его между стоячим зеркалом и букетом нарциссов… Я пытаюсь делать все так, чтобы это было подобием дома, мне хотелось бы сейчас получить горячего чаю, золотистого поджаренного хлеба, мою домашнюю лампу под розовым абажуром, хотелось бы услышать лай моей собаки, голос моего старого Амона… Передо мной лежит белый лист, он меня соблазняет, я сажусь и пишу:

«Макс, дорогой мой, да, я возвращаюсь, я каждый день немного возвращаюсь. Возможно ли, что только двенадцать ночей отделяют меня от Вас? В это трудно поверить, мне кажется, что я вас больше не увижу…

Как это было бы ужасно! Как это было бы мудро!..»

Я останавливаюсь: не слишком ли ясно?.. Нет. К тому же я ведь написала: «было бы», а условное наклонение возлюбленный никогда не воспри-

мет трагически… Я могу продолжать писать тем же успокаивающим тоном, позволяя себе при этом невеселые обобщения, умеренные оговорки… А так как я опасаюсь, что Макс примет внезапное решение и меньше, чем за двенадцать часов, окажется здесь, я не забываю утопить все это в потоке нежности, который, увы, меня увлекает…

То, что я делаю, выглядит довольно противно…

Как быстро летит время! Где цветущие яблони на склонах Пиренеев, где эти суровые горы, казалось, бегущие за нами, сверкающие от снега, вид которого почему-то вызывает жажду, исчерченные головокружительными тенями, рассеченные синими пропастями, покрытые бронзовыми пятнами сосновых лесов. Куда подевались узкие долины, и альпийские луга, и дикие орхидеи той же белизны, что и гардении? А маленькая баскская площадь, где на террасе кафе дымился в чашках черный шоколад? Как уже далек от меня ледяной горный поток, несущийся с какой-то злобной грацией, бешено-бурливый от тающих снегов, молочно-прозрачный, словно лунный камень!

После пяти спектаклей, которые мы сыграли за

три дня, мы покидаем Бордо.

— Хороший город, — вздыхает на вокзале Браг. — Я тут отведал одну юную бордолезочку… под грибным соусом. Совсем малышку, так сказать, полпорции, здесь таких полным-полно, ростиком с три яблока, не выше, представляешь? Но сиськи на месте, ноги короткие, с толстыми щиколотками, и так густо подведены глаза, столько пудры и завитых волос, что невозможно понять, хорошенькая ли девочка или нет. Вся в каких-то блестках, болтает без умолку, живая, как ртуть… Одним словом — в моем вкусе!

От Брага исходил дух спокойного благополучия. Я глядела на него с неприязнью, даже с некоторым отвращением, как смотришь на людей, которые жадно едят, когда у тебя нет аппетита…

Робкая весна убегает от нас. От часа к часу она становится все более ранней и свертывается, листочек за листочком, цветок за цветком, по мере того, как мы едем на север. В хилых тенях живых изгородей появились апрельские маргаритки и последние, уже потерявшие свой цвет, фиалки… Небо стало более блеклым, трава — более короткой, а от какой-то прокислой сырости воздуха кажется, что ты молодеешь и отматываешь прожитые дни назад…

О, если бы я могла повернуть время вспять до того самого зимнего вечера, когда Макс впервые вошел в мою гримуборную!.. Когда я была маленькой и училась вязать, меня заставляли распускать ряды и ряды уже вывязанных петель, пока я не находила маленькую незамеченную мной ошибку, ту единственную пропущенную петельку, ту, что в школе называли «промах»… «Промах»! Так вот, значит, чем была в моей жизни моя бедная вторая любовь, та, которую я называла «мое дорогое тепло», «мой свет»… Вот она, стоит лишь протянуть руку, и я ее схвачу, а я бегу прочь…

Да я и в самом деле убегу! Где-то там, в самой затаенной глубине меня уже вызревает преднамеренное бегство, хотя сознательного участия в этом я пока не принимаю… Когда наступит решительный миг и останется только крикнуть в безумной спешке: «Скорей, Бландина, чемодан и такси!», смятенность моих чувств, быть может, меня обманет, но, о, мой дорогой Макс, которого я так хотела любить, здесь я должна признаться с самой подлинной болью: с этой минуты все уже решено.

Если не считать этой боли, разве я не стала такой, *какой была?* То есть свободной, бесконеч-

но одинокой и свободной? Временная милость небес, коснувшаяся меня, ныне отнята, ибо я наотрез отказалась раствориться в ней. Вместо того чтобы сказать ему: «Возьми меня!», я его спрашиваю: «Что ты мне даешь? Другое Я, но другого Я не бывает. Ты мне даешь молодого, страстного, ревнивого, искренне влюбленного друга? Я знаю: такой друг называется хозяин, и я не хочу его иметь… Он добрый, он простой, он восхищается мною, он прямодушен? Но в таком случае он ниже моего уровня и, следовательно, я совершаю мезальянс… Но он одним своим взглядом возбуждает мои чувства и стоит ему коснуться губами моих губ, как я перестаю себе принадлежать? Но тогда это мой враг, мародер, отбирающий меня у меня самой. Я буду иметь все, все, что можно купить за деньги, и я, облокотившись о парапет белой террасы, буду любоваться розами, расцветшими в моем саду. Но оттуда я увижу, как пройдут мимо скитальцы и странники — истинные хозяева земли!.. — Вернись! — молит мой друг, брось свою профессию и печальное убожество среды, в которой ты живешь, вернись к равным себе… — У меня нет равных, у меня есть только попутчики…»

На горизонте вертятся крылья ветряной мель-

ницы. В маленьких вокзалах, которые мы проезжаем, чепцы бретонок, первые белоснежные чепцы цветут, как ромашки… Я зажмуриваюсь от желтизны, попав в великолепное царство дрока и утесника! Золото, медь и алый цвет рапса воспламеняют неплодородные ланды, заливая их немыслимо ярким светом. Я прижимаюсь щекой и ладонями к стеклу вагонного окна и удивляюсь тому, что оно не теплое. Мы едем, словно по горящей земле — версты и версты цветущего утесника, печальное богатство, от которого отворачиваются даже козы, где бабочки, отяжелевшие от густого аромата полусозревших персиков и перцев, кружатся на одном месте, будто у них поранены крылья…

В Кане, за два дня до возвращения, я получила письмо от Макса — всего одна строчка без подписи: «Моя Рене, вы меня больше не любите?»

И все. Я не предполагала, что возможно такое смирение, и такой вопрос, который опрокидывает все мои литературные построения. Что же такое я ему написала в последний раз?..

Это не имеет значения. Если он меня любит, то тревожное предупреждение он получил не из моих писем. Если он меня любит, ему ведо-

мы таинственные предчувствия, будто почти невесомый, но зловредный пальчик касается твоего сердца. Эти мгновенные прозрения, когда ты замираешь, вдруг не завершив жеста или резко прервав смех: он знает, что предательство, уход, ложь, невзирая на расстояния, непременно достигают тебя, он знает всю ошеломляющую грубость и точность *предчувствия!*

Мой бедный, бедный друг, которого я хотела любить! Ты бы мог умереть или обмануть меня, а я бы об этом ничего не знала. Я, которую прежде самая тайная, самая скрытая измена телепатически ранила…

«Моя Рене, вы меня больше не любите?..» Я не разразилась горячими слезами, но набросала на листке бумаги более или менее успокаивающую телеграмму:

«Послезавтра в пять часов буду дома. С нежностью».

Вдруг я начинаю ревновать этого страдающего человека. Я много раз перечитываю его жалобную фразу, и я обращаюсь к его письму, будто это он сам с жестко очерченным ртом и насупленными бровями стоит рядом со мной:

«Ты любишь, ты страдаешь и ты жалуешься. Ты теперь похож на меня, такую, какой я была в

двадцать лет. Я бросаю тебя, и благодаря мне, ты, быть может, обретешь то, чего тебе не хватает. Ты уже начинаешь видеть сквозь стены: неужто тебя это не удивляет, тебя, мой крупный самец? Взвинченные нервы, обжигающее безвинное страдание, надежда живучая и всякий раз вновь и вновь зеленеющая, словно скошенный луг, — все это было моим уделом, но теперь это станет твоим. Я не могу этого у тебя отобрать, но я сержусь на тебя…»

Письмо от Макса и еще несколько писем. Вот и Бландина сама написала: «Мадам, мосье Максим принес назад Фасетту. У нее еще один новый ошейник. Мосье Максим спрашивал про мадам, вид у него невеселый, ясно, что он заждался мадам…»

Письмо от Амона, который, хоть и говорит очень просто, пишет с церемонной куртуазностью. Письмо от Марго. Ей явно нечего мне сказать, и она заполнила два листочка обычной монашеской болтовней. Все они спешат написать к моменту моего возвращения, будто их мучает совесть, что они так долго оставляли меня без своего внимания…

Кому я доверюсь, вернувшись в Париж? Амону? Марго? Нет, ни одному из них. Я рву в клочья

эти опостылевшие мне листки перед тем, как выйти из душной могилы, которую тут именуют гримуборной для «звезд», чтобы появиться на сцене «Фоли-Канез». Мы играем в помещении кафешантана, выдержанного в старом стиле. Чтобы попасть на эстраду, приходится проити по залу, и это самые неприятные минуты за весь вечер. Мы протискиваемся среди публики. Нам нарочно мешают идти, чтобы получше нас разглядеть. Моя обнаженная, запудренная рука оставляет белый след на чьем-то далмане. Кто-то лукаво дергает кончик моей вышитой шали. Неведомо чьи пальцы ощупывают мое бедро, а мы проходим сквозь эту толпу, разогретую презрением к нам и жгучим интересом, с высоко поднятой головой, словно гордые узники, которым произнесли приговор.

IV

Где-то вдалеке башенные часы пробили половину. Поезд Кале — Париж придет только через пятьдесят минут…

Я возвращаюсь одна, ночью, никого не предупредив. Браг и Старый Троглодит, которых я на прощание напоила, спят где-то в Булонь-сюр-

Мер. Мы провели не менее трех четвертей часа, производя расчеты, болтая и обсуждая проект южноамериканских гастролей. Потом я добралась до этого вокзала в Тинтельри, такого пустынного в этот час, что он кажется заброшенным… Ради меня одной не стали зажигать электрические фонари на перроне… Надтреснувший колокол застенчиво позвякивает где-то в темноте — кажется, он висит на шее у замерзшей собаки.

Ночь промозглая, безлунная. Где-то возле меня раскинулся невидимый сад, и ветер колышет пахнущую сирень. С моря до меня доносятся далекие пароходные гудки…

Кому может прийти в голову, что я нахожусь здесь, на самом краю платформы, завернувшись в свое пальто? Как я хорошо спряталась! Я не темнее и не светлее, чем тень…

На рассвете я войду в свой дом бесшумно, как воровка — меня не ждут так рано. Я разбужу Фасетту и Бландину, а потом наступит самый тяжелый момент.

Я специально представляю себе во всех подробностях сцену моего возвращения. Я нарочно терзаю себя, заставляя вспомнить двойной запах моих портьер — английского табака и жасмина, слишком сладкий. Я в мыслях беру в руки подуш-

ку, обтянутую крепсатеном, на которой я вижу два слабых пятна — следы двух слезинок, упавших из моих глаз в минуту очень большого счастья… Я с трудом заставляю себя не выкрикнуть: «Ой!», как кричат раненые, когда неосторожно касаются их раны… Но все это я вспоминаю нарочно, чтобы потом было не так больно.

Я издали прощаюсь со всем, что могло бы меня удержать дома, и с тем, кто получит от меня только письмо. Трусливая, головная мудрость велит мне с ним больше не встречаться, между нами не должно быть «выяснения отношений»! Такая сомнительная героиня, как я, сотканная не только из духа, но и из плоти, не в состоянии будет одолеть всех демонов… Пусть презирает меня, пусть попроклинает немного, тем лучше: бедняга, он от этого лишь быстрее вылечится! Нет, нет, не надо проявлять слишком большую честность, не надо лишних фраз, ибо щадить его я могу только тем, что смолчу.

Какой-то мужчина сонным шагом переходит через пути, толкая перед собой тачку с чемоданами, и вдруг все вокзальные фонари вспыхивают. Я встаю, окоченев, я и не заметила, что замерзла… В конце перрона, в темноте болтается фонарь, раскачиваемый невидимой рукой. Дальний свисток

отвечает глухим сиренам. Подходит поезд. Уже…

V

«Прощай, мой дорогой, я уезжаю, сперва недалеко от Парижа, в деревню, а потом, наверно, в Америку с Врагом. Я Вас больше не увижу, мой дорогой. Читая эти строки, вы не подумаете, что я веду жестокую игру, потому что позавчера Вы сами написали мне: «Моя Рене, вы меня больше не любите?»

Я уезжаю, это наименьшее зло, которое я могу вам причинить. Я не злая, Макс, но я чувствую себя сильно изношенной и не способной вновь обрести привычку любить, и очень боящейся, что придется снова страдать.

Вы не предполагали, что я такая трусиха, мой дорогой? Какое у меня маленькое сердце! Однако прежде оно было бы достойно вашего, которое с такой простотой отдает себя. Но теперь… Что я дала бы Вам теперь, о, мой дорогой? Лучшее, что я могла бы дать через несколько лет, было бы неудавшимся материнством, которое женщина без детей переносит на своего мужа. Вы не можете этого принять. И я тоже. Жаль… Бывают дни — это у меня-то, которая с покорным ужасом

относится к тому, что стареет, — когда я готова принять старость, как награду…

Когда-нибудь Вы все это поймете. Поймете, что я не должна принадлежать Вам, да и вообще никому, и что, несмотря на первый брак и вторую любовь, я осталась своего рода старой девой… старой девой наподобие тех, кто так влюблен в Любовь, что никакая любовь не кажется им достаточно прекрасной, и они всем отказывают, не снисходя до объяснений. Такие отвергнут любой сердечный мезальянс, предпочитая просидеть всю жизнь у окна, склонившись над пяльцами с вышивкой, с глазу на глаз со своей неотвязной химерой Идеальной Любви… Я все хотела, как они, и теперь наказана за свою плачевную ошибку.

Я не смею больше, мой дорогой — вот и все, больше не смею. Не сердитесь, что я так долго скрывала от Вас свои усилия воскресить в себе энтузиазм чувств, любовный фатализм, слепую надежду, весь этот животный эскорт любви. Затмение, которое на меня нашло, было лишь взрывом чувственности. Но, увы, паузы в этой сфере делают человека прозорливым. Ты бы меня только бессмысленно разрушил, ты, чей взгляд, чьи губы, чьи долгие ласки и такое волнующее молчание излечили на краткий срок тоску, за

которую ты не в ответе…

Прощайте, мой дорогой. Ищите вдали от меня молодость, свежесть нетронутой красоты, веру в будущее и в Вас и, наконец, любовь, такую, какую вы заслуживаете, такую, какую я прежде могла бы Вам дать. А меня не ищите. У меня только и достает сил, что бежать от Вас. Если бы Вы чудом вошли сейчас, пока я Вам это пишу… Но Вы не войдете!

Прощайте, радость моя. Вы единственный человек на всем свете, которого я называю «радость моя», и после Вас мне некому будет дать это имя. *В* последний раз поцелуйте меня, как целовали, когда мне было холодно, крепко обняв, крепко, крепко…

Рене».

Я писала очень медленно. Перед тем как подписать, я перечитала письмо, подправила какие-то буквы, расставила точки, запятые и написала дату: 15 мая, семь часов утра…

Но даже подписанное, датированное и наконец запечатанное, это все же еще не оконченное письмо… Распечатаю ли я его снова?.. И вдруг я начинаю дрожать, словно, заклеив письмо, я как бы закрыла наглухо маленькое отверстие, из которого еще струится теплый воздух…

Утро было пасмурным, и казалось, весь холод зимы нашел себе прибежище в этой маленькой гостиной за ставнями, не открывавшимися в течение сорока дней… Сидя у моих ног, моя собака молча глядит на дверь — она ждет. Она ждет того, кто не придет… Я слышу, как Бландина гремит посудой, до меня доносится аромат молотого кофе. Голод угрюмо терзает мой желудок.

Диван покрыт потрепанной простыней. На зеркале— какой-то голубоватый налет. Меня не ждали так рано. Здесь царство старого белья, сырости, пыли, на всем лежит печальная печать отъезда, долгого отсутствия, и я торопливо обхожу свое убежище, не снимая белых чехлов, не начертив никакого имени на столе, покрытом бархатистым слоем пыли, не оставляя за собой никакого следа, кроме этого неоконченного письма.

Неоконченное… Дорогой чужой, которого я хотела любить, я милую тебя. Я даю тебе единственный шанс вырасти в моих глазах: я удаляюсь. Когда ты будешь читать мое письмо, ты испытаешь только горе, но ты так и не узнаешь, какой унизительной конфронтации ты избежал, ценою какой борьбы ты был, ценою, которой я пренебрегаю…

Ибо я отшвыриваю тебя и выбираю… все, что не ты. Я уже знала тебя раньше и вновь тебя сейчас узнаю. Разве ты не тот, кто, думая, что отдает себя, на самом деле, лишь порабощает? Ты пришел, чтобы разделить мою жизнь… Да, разделить: взять свою долю! Быть половиной во всех моих поступках, вступать в любой час в тайную пагоду моих мыслей, не так ли? Почему ты, а не кто-то другой? Я ее закрыла для всех.

Ты добрый, и ты полагал, искренне в это веря, что принесешь мне счастье, ибо ты видел, что я живу бедно и одиноко, но ты не принял в расчет мою гордость беднячки. Даже самые распрекрасные страны мира я не желаю видеть в уменьшенном виде, в зеркальце зрачка твоих влюбленных глаз…

Счастье? Уверен ли ты, что отныне мне достаточно быть счастливой?.. Не только счастье придает жизни цену. Ты хотел осветить мою жизнь банальной зарею любви, тебе она казалась неосвещенной. Неосвещенной? Возможно, но как комната, в которую смотришь снаружи, через окно. Не то что она не освещенная, она просто темная. Темная и украшенная заботами бдительной печали, серебристая и сумрачная, как сова, как мышка с шелковистой шкуркой,

как крылышко моли. Темное с красным отсветом раздирающего душу воспоминания… Но ты тот, перед которым я не имела бы права быть печальной…

Я ухожу, но я еще не свободна от тебя. Странница, вольная, как ветер, я буду иногда желать оказаться в твоей тени… Сколько раз я буду возвращаться к тебе, дорогая моя опора, где я одновременно и отдыхаю и раню себя? Сколько времени я буду еще желать то, что ты мог бы мне дать — долгие страстные объятия, затем спад, покой, и новый шквал страсти… Крылатое паденье, небытие, в котором силы возрождаются именно оттого, что исчерпываются, исчерпываются до дна, умирают, музыкальный гул кипящей крови… Ароматы тлеющего сандалового дерева и благовонных трав… О, ты еще долго будешь томить меня жаждой на моем пути!

Я буду желать тебя, то как созревший плод на дереве, то как свежую воду, текущую вдалеке, то как маленький счастливый домик, мимо которого я прохожу… И в каждом месте на земле, где у меня, странницы, возникает такое желание, я оставляю подобные мне тени, я сбрасываю их, как дерево листья, и они падают то на горячий голубоватый камень в ущелье в моем краю, то в

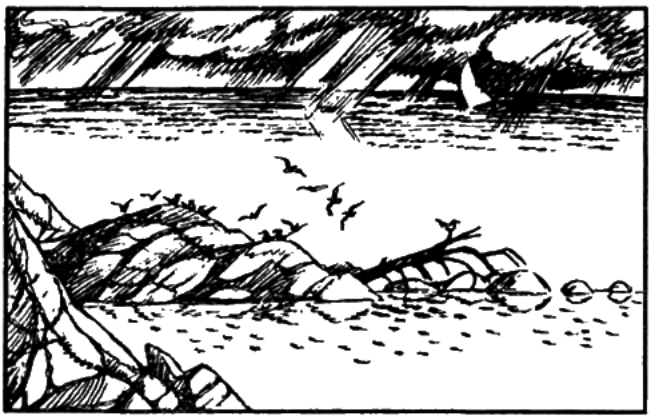
сырой долине, куда не попадает солнечный луч, то летят вслед за птицей, за парусом, за ветром, за волной. Знай, что тебе принадлежит самая стойкая из них — моя обнаженная тень, волнистая, которая вздрагивает от наслаждения, как осока от быстрого течения ручья… Но время развеет ее, как и все остальные тени, и ты ничего не будешь знать обо мне до того дня, как остановятся мои шаги и от меня отлетит моя последняя маленькая тень…



РАННИЕ ВСХОДЫ



ПЕРЕВОД Р. РОДИНОЙ



I

— Венка, ты идешь на рыбную ловлю?

Венка, Барвинок, с глазами цвета весеннего дождя, высокомерным наклоном головы ответила, что да, она идет. О чем свидетельствовал ее заштопанный свитер и сандалии с заскорузлыми подошвами. Как известно, ее клетчатая — синяя и зеленая клетка — юбка, которой было уже три года и из-под которой торчали коленки Барвинка, принадлежала креветкам и крабам. А разве не были принадлежностью рыбной ловли два сачка, перекинутые через плечо, и этот голубоватый, ощетинившийся шерстинками берет, похожий на чертополох на дюнах?

Она обогнала того, кто ее окликнул. Подпрыгивая, сбежала к скалам на своих тонких, ладных ногах цвета терракоты. Филипп смотрел, как она вышагивает, и сравнивал ее, нынешнюю, с тою, какой видел ее во время последних каникул. Перестала она расти или нет? Пора бы и остановиться. Она не нагуляла себе за это время жира. Ее короткие золотистого цвета волосы, жесткие как солома, рассыпались по плечам, она не стригла их уже четыре месяца, и их невоз-

можно ни заплести в косу, ни завернуть в узел. Щеки и руки у нее почернели от загара, а шея под копной волос — молочной белизны; у Венка сдержанная улыбка, но вдруг она взрывается смехом, несуществующую грудь тесно обхватывает свитер и блузка; она поддергивает как можно выше панталоны и юбку, чтобы не замочить их в воде, с видом невозмутимо-безмятежным, точно у маленького мальчишки…

Ее приятель, который следит за ней взглядом, улегшись на дюне с длинными стеблями травы, погрузил в скрещенные руки подбородок с ямочкой посредине. Ему шестнадцать с половиной, а Венка — пятнадцать с половиной. Их детство спаяло их, а юность разлучает. Уже в прошлом году они обменивались колкостями и тумаками; теперь каждую минуту их разговор прерывается тяжелым молчанием, и они дуются друг на друга, не зная, как прервать его. Но хитрый Филипп, любящий от рождения выслеживать и вводить в заблуждение, облекает свой мутизм в оболочку тайны и превращает в свое оружие все, что его стесняет. Он разочарованно машет рукой, он осмеливается даже на: «К чему?.. Тебе не понять…», а Венка только и может что молчать и страдать от того, что молчит, а ей так хотелось

бы понять, но она лишь сжимается от преждевременного, властного желания все отдать, от страха, что Филипп, меняющийся ото дня ко дню, от часа к часу, порвет тонкую веревочку, которая приводит его каждый год с июля по октябрь в лохматый лес, сбегающий к морю, на скалы, обросшие черным фукусом. У него уже появилась неприятная привычка пристально смотреть на свою подружку, не видя ее, словно Венка прозрачная, струящаяся, не заслуживающая внимания…

Может, в будущем году она уверится в себе и скажет ему по-женски: «Фил! Не надо злиться… Я люблю тебя, Фил, делай со мной что захочешь… Говори со мною, Фил…» Но в этом году она хранит еще колючее детское достоинство, она сопротивляется, и Филу не нравится этот отпор.

Он смотрел на грациозную, бесплотную девочку, что спускалась в этот час к морю. Ему не хотелось ее ласкать, скорее уж побить, но он хотел бы видеть ее доверчивой и чтоб она была обещанием ему одному и никому не принадлежала, как эти сокровища, которые волновали его: длинные лепестки, агатовые шарики, раковины и зерна, картинки, маленькие серебряные часы…

— Подожди меня, Венка! Я иду с тобой! — крикнул он.

Она замедлила шаг, но не обернулась. Он в несколько прыжков догнал ее и завладел одним из сачков.

— Зачем тебе два?

— Я взяла тот, что поменьше, для узких щелей, и мой всегдашний.

Он погрузил в ее голубые глаза более нежный, чем у нее, взгляд темных своих глаз.

— Так это, значит, не для меня?

Тут он протянул ей руку, чтобы помочь пролезть между камнями, щеки ее заалели от прилившей к ним крови. Она смешалась от непривычного для нее жеста, от непривычного взгляда.

Вчера они бок о бок лазали по скалам, исследовали расщелины — каждый на свой страх и риск… Такая же ловкая и гибкая, как он, она и не думала взывать к нему о помощи…

— Ты не можешь быть чуточку мягче! — взмолился он, когда она резко отдернула руку. — Ты что-нибудь имеешь против меня?

Она закусила губы, все в трещинах от ежедневных купаний в море, и продолжала карабкаться на скалы, сплошь покрытые моллюсками. Она думала, она была полна сомнений. Какой же он на самом деле? Вот он предупредительный, галантный, предлагает ей руку, как даме… Она

медленно опустила сачок в расщелину, где под неподвижной морской водой росли водоросли, вырисовывались голотурии, «волки», разные рыбы с огромными головами и плавниками, черные крабы с красной оторочкой, креветки… Тень от Филиппа упала на залитую солнцем воду.

— Отойди! Твоя тень распугает мне креветок, и потом эта расщелина моя!

Он не настаивал, и она продолжала ловлю одна, нетерпеливая, не такая ловкая, как всегда. Она так резко опустила сачок, что из-под него ускользнуло десять креветок, даже двадцать, они забились в щели, и оттуда тонкими бородками осторожно пробовали воду, и всем своим видом показывали, что им не страшно это орудие их ловли…

— Фил! Фил! Иди сюда! Тут полно креветок, но они не даются!

Он не торопясь подошел, наклонился над этой маленькой, кишащей разной живностью пропастью.

— Еще бы! Ты не умеешь…

— Нет, умею, — сердито выкрикнула Венка, — мне только не хватает терпения.

Фил погрузил в воду сачок и подержал его, стараясь не сдвигать с места.

— Вот в той щели, — прошептала, склонившись над его плечом, Венка, — и до чего они хороши просто прелесть… Не видишь рожки?

— Нет. Да это и не важно. Они сейчас вылезут.

— Да?

— Конечно. Глянь-ка.

Она наклонилась еще ниже, и ее волосы, словно короткое, плененное крыло, коснулись щеки ее приятеля. Она отступила, потом неприметным движением вернулась на прежнее место, потом снова отступила. Он, казалось, не заметил этого, однако свободной рукой потянул к себе голую, загорелую, соленую руку Венка.

— Погляди, Венка. Вот выползла самая красивая.

Венка попыталась высвободить руку, и она скользнула до запястья в руке Фила, как в браслете, потому что Фил не сжимал ее.

— Тебе ее не поймать, Фил, она уползает…

Чтобы лучше видеть игру креветок, Венка снова опустила свою руку до локтя в полуразжатую ладонь Фила.

В зеленой воде длинная серая, как агат, креветка ощупывала кончиком лапки и бородки край сачка. Взмах руки, и… Но ловец опоздал, может, оттого, что наслаждался близостью неподвиж-

ной, покорной в его руке ее руки, замерев под тяжестью ее головы, с густыми волосами, которая на миг, побежденная, опустилась на его плечо, но тут же непокорно отпрянула…

— Фил, скорей, скорей, поднимай!.. Ах, она ушла! Как ты мог ее упустить?

Фил вздохнул, бросил на свою подружку удивленный, презирающий победу взгляд, в котором светилась гордость, освободил ее тонкую руку, не требовавшую свободы, и взбаламутил сачком светлую воду в луже.

— О! Она вернется… надо только подождать…

II

Они плавали, держась друг друга, она, подвязанная голубым платочком, загорелая загаром блондинки. У него кожа более белая, а круглая голова с мокрыми волосами — черная. Ежедневные купания, тихая, полная радость сообщали им в этом их трудном возрасте умиротворенность, детскую беззаботность — и то, и другое, подвергавшиеся опасности. Венка легла на волну и выпустила изо рта струю воды, словно маленький тюлень. Завязанный узлом платок открывал ее тонкого рисунка розовые уши, которые днем прятались под волосами, и небольшие участки белой кожи на висках, освещенные дневным светом лишь во время купания. Она улыбнулась Филиппу; под полуденным солнцем, соперничая с переливами моря, позеленела нежная голубизна ее глаз. Ее друг внезапно нырнул, схватил Венка за ногу и потащил в глубину моря. Они вместе глотнули воды, выплыли, отплевываясь, тяжело дыша и смеясь, будто позабыв — она о своих пятнадцати годах, истомленная любовью к ее другу детства, он о своих, уже познавших власть шестнадцати, о своем высокомерии красивого юноши,

раньше времени требующего повиновения.

— К скале! — крикнул он, рассекая телом воду.

Но Венка не последовала за ним, а поплыла к песчаной косе.

— Ты уже уходишь?

Она сорвала с себя свой головной убор, как если бы снимала скальп, и встряхнула своими жесткими золотистыми волосами.

— К нам приезжает к обеду один человек! Папа велел одеться!

И она бросилась бежать, вся мокрая, еще не сформировавшаяся, длинненькая, тоненькая, с небольшими буграми продолговатых мускулов.

— Ты одеваешься, а я? — крикнул Филипп ей вдогонку, и она остановилась. — Не могу же я идти на обед в открытой рубашке. А?

— Но почему, Фил? Ради бога! Кстати, открытая тебе больше идет.

И тотчас на мокром загорелом лице с глазами цвета барвинка отразилась тревога, мольба, страстное желание оправдаться.

Он высокомерно замолчал, и Венка побежала по прибрежному лугу, покрытому цветущей скабиозой.

Филипп, оставленный своей подругой, что-то проворчал, барахтаясь в воде. Он не заботился о

том, чтобы оказывать Венка знаки внимания. «Я достаточно красив для нее… Но в этом году она все время чем-то недовольна!»

Видимая противоречивость двух суждений заставила его улыбнуться. Он перевернулся на волне, в его уши набралась соленая вода, и они наполнились гулкой тишиной. Маленькое облачко затмило высокое солнце. Фил открыл глаза и увидел над собой проплывающие большие заостренные клювы, темные животы и скрюченные в полете лапки пары куликов.

* * *

«Странная мысль, — думал Филипп. — И что ее так проняло? У нее вид одетой обезьяны. Или мулатки, которая собирается причаститься…»

Рядом с Венка сидела за столом, положив на скатерть по обе стороны тарелки кулачки, как хорошо воспитанный ребенок, ее младшая сестра, довольно похожая на нее, *с* голубыми глазами на круглом, обожженном солнцем личике, с золотистыми, жесткими, как солома, волосами. Старшая и младшая одеты в одинаковые белые из органди платья, с воланами, отутюженные, накрахмаленные.

«Воскресенье на Таити, — хмыкнул про себя

Филипп. — Я никогда не видел ее такой безобразной».

Мать Венка, отец Венка, тетка Венка, Фил и его родители, остановившийся тут проездом парижанин, в зеленых свитерах, в полосатых безрукавках и жакетах из легкой ткани кольцом окружали стол. Виллу вот уже много лет снимали два дружественных семейства, сегодня здесь пахло теплыми булочками и мастикой. Среди этих пестро одетых купальщиков и купальщиц, среди их смуглых отпрысков восседал приехавший из Парижа седоватый человек, бледный, деликатный и хорошо одетый.

— Как ты изменилась, малютка! — сказал он Венка.

— Есть о чем говорить, — раздраженно проворчал Филипп.

Гость склонился к матери Венка и шепнул ей:

— Она становится восхитительной! Восхитительной! Через два года… вы ее не узнаете!

Венка услышала, бросила на гостя быстрый, чисто женский взгляд, и улыбнулась. Пурпурные губы обнажили полоску белых зубов, голубые, как цветок, чье имя она носила, глаза прикрылись золотистыми ресницами, и все это поразило даже Фила. «Гм… что с ней такое?»

В зале, где стояла мебель в чехлах, Венка подавала кофе. Она двигалась легко, бесшумно, *с* изяществом акробатки. Под порывом ветра задрожал неустойчивый стол, Венка ногой удержала падающий стул, подбородком кружевную салфетку, готовую улететь, продолжая в то же время наливать, не расплескивая, кофе.

— Вы только поглядите на нее! — не унимался гость.

Он назвал ее «танагрской статуэткой», заставил пригубить шартреза и спросил, как зовут ее безутешных поклонников из Канкальского казино…

— Ха! Казино! Но в Канкале нет казино!

Она смеялась, показывая полукружие своих зубов, и вертелась, как балерина на беленьких пуантах. Она была кокетливой и в то же время лукавой; Филипп, которого она не удостаивала взглядом, мрачно следил за ней из-за пианино и большого куста чертополоха, водруженного *в медное* ведро.

«Я заблуждался, — признался он себе. — Она очень красивая. Вот новость!»

И когда завели патефон и гость предложил Венка обучить его новому танцу, Филипп бросился вон из дома, добежал до пляжа и тяжело упал

в яму под дюной, потом сел и уронил голову на руки, а руки на колени. Новая Венка, полная сладострастного бесстыдства, неустанно возникала перед его закрытыми глазами. Венка кокетливая, раздражающая, вдруг обросшая плотью, Венка злая и как нельзя более строптивая.

— Фил! Мой Фил! Я искала тебя… Что *с* тобой?

Обольстительница, запыхавшаяся, была подле него и тянула его за волосы, чтобы он поднял к ней лицо.

— Со мной ничего, — хрипло произнес он.

Он со страхом открыл глаза. Она опустилась на колени и, смяв все свои сборки на юбке из органди, ползала по песку.

— Фил, прошу тебя, не сердись… Ты обиделся, Фил, ты же знаешь, я люблю тебя больше всех на свете. Скажи что-нибудь, Фил.

Он искал на ней следы улетучившегося великолепия, которое так ему не понравилось. Но перед ним была всего лишь Венка опечаленная, озабоченный подросток, смиренный, неловкий, угрюмый, добивающийся, чтобы его по-настоящему любили…

Он вырвал у нее руку, которую она покрывала поцелуями.

— Оставь меня! Ты не понимаешь, ты все время

ничего не понимаешь!.. Поднимись же!

И, приглаживая смятое платье, завязывая на нем пояс, усмиряя жесткие волосы, разметавшиеся на ветру, он тщился воссоздать образ увиденного мельком маленького идола…

III

— Каникул еще осталось полтора месяца, так что…

— Всего месяц, — сказала Венка. — Ты же знаешь, что двадцатого сентября я должна быть в Париже.

— Почему? Ведь твой отец свободен до первого октября, так всегда было.

— Да, но у мамы, Лизетты и у меня пропасть разных осенних дел, от двадцатого сентября до четвертого октября не так уж много времени, а надо успеть купить школьное платье, пальто и шляпу для меня, то *же* самое — для Лизетты… Понимаешь, я хочу сказать, что нам, женщинам…

Фил, лежа на спине, подбрасывал в воздух пригоршни песку.

— Ах, господи!.. «Нам, женщинам…» Вы сами делаете из этого трудности.

— Но ведь надо… Вот ты, например, для тебя всегда лежит на кровати готовый костюм. Ты занимаешься только обувью, потому что покупаешь ее у продавца, к которому ходить тебе не запрещают. Остальное получается само собой. Вы, мужчины, умеете устраиваться!..

Филипп резким движением поднялся, готовый ответить на иронию. Но Венка не насмешничала. Она обшивала розовым фестоном холщовое платье того же голубого цвета, что и ее глаза. Ее золотистые волосы, подстриженные под Жанну д'Арк, немного подросли. Иногда она разделяла их на две пряди и перевязывала эти пшеничные метелки, ниспадавшие на щеки, голубыми лентами. После обеда она потеряла одну из лент, и половина ее копны закрывала часть лица и билась о него, словно развернутый полог.

Филипп нахмурил брови:

— Как ты плохо причесана, Венка!

На лице ее под легким загаром проступила краска, она бросила на него робкий взгляд и откинула прядь за ухо.

— Я сама знаю… Я буду плохо причесана, пока мои волосы не отрастут. Это пока такая прическа…

— А то что ты безобразна, хоть и временно, тебе все равно, — жестко сказал он.

— Клянусь, Фил, это не так, — с нежностью произнесла она.

Устыдившись, он замолчал, и она подняла на него удивленные глаза, так как совершенно не ожидала от него снисхождения. Он и сам понял,

что этот порыв чувствительности временный, и приготовился к детским упрекам, сарказму, к тому, что он называл «собачьим нравом» у своей подружки. Но она мечтательно улыбнулась, и ее блуждающая улыбка предназначалась спокойному морю, небу, по которому гулял ветер, обрисовывая перистость облаков.

— Наоборот, я очень хочу быть красивой, уверяю тебя. Мама говорит, что я могу еще стать красавицей, надо только набраться терпения.

Ее быстро бегущие пятнадцать лет, гордые и неловкие, пропитанные солью, заскорузлые, ничтожные и значительные, делали ее часто похожей на прут, который бьет и ломается, но ее удивительной голубизны глаза, ее просто очерченный, говорящий о здоровье рот были законченными творениями женского изящества.

— Терпение, терпение…

Фил поднялся, поскреб носком сандалии сухой песок, усеянный перламутровыми пустыми раковинами. Ненавистное слово отравило ему сейчас счастливую сиесту лицеиста на каникулах, его крепко сложенное шестнадцатилетие наслаждалось праздностью, бездвижной истомой, но протестовало против ожидания, против пассивности, замедленного течения жизни. Он сжал

кулаки, расправил полуголую грудь, он бросал вызов всему сущему:

— Терпеть! У вас у всех на устах только это слово! У тебя, у моего отца, моих учителей… Но, черт возьми…

Венка перестала шить и с восхищением смотрела на своего ладно скроенного дружка, которого не портили его малые годы. Темноволосый, белокожий, среднего роста, он рос медленно и начиная с четырнадцати лет уже был настоящим мужчиной, который только каждый год прибавлял в росте.

— А что же делать, Фил? Так надо. Ты все время думаешь, что достаточно размахивать руками, достаточно сказать свое «черт возьми» и все изменится само собой. Но тут ты не умнее других. Ты сдашь экзамены на бакалавра и, если тебе повезет, будешь принят…

— Замолчи! — закричал он. — Ты говоришь то же, что и моя мать!

— А ты как ребенок! На что ты с твоим нетерпением рассчитываешь, мой бедный малыш?

Черные глаза Филиппа ненавидяще глядели на нее: она назвала его «мой бедный малыш».

— Я ни на что не рассчитываю! — трагически произнес он. — Я не рассчитываю даже на то, что

ты поймешь меня. Ты вся тут, с твоими розовыми фестончиками, твоей школой, твоим новым учебным годом, твоей неторопливостью… Одна мысль о том, что мне скоро исполнится шестнадцать с половиной…

Барвинок, чьи глаза наполнились слезами от оскорбительных выпадов, через силу рассмеялась:

— Ах, вот что? Ты чувствуешь себя королем вселенной, раз тебе шестнадцать лет, не так ли? Насмотрелся кино, вот и выставляешься.

Он взял ее за плечи и властно тряхнул.

— Я приказываю тебе молчать! Ты открываешь рот, только чтобы сказать очередную глупость… Я с ума схожу, слышишь, с ума схожу, оттого что мне только шестнадцать лет! Все эти годы, годы экзаменов в лицее, экзаменов на бакалавра, приобретения профессии, годы, когда идешь, примериваясь и запинаясь, когда надо начинать сначала, если что-то не задалось, и пережевывать по два раза то, что не переварилось, или если провалился… Годы, когда надо делать вид перед папой и мамой, что тебе нравится выбранный путь, а иначе они станут сокрушаться, когда чувствуешь, что они из кожи вон лезут, чтобы казаться несгибаемыми, когда они знают обо

мне не больше, чем я сам… Ах, Венка, Венка, я ненавижу эту свою жизнь! Почему мне не может быть двадцать пять сегодня же?

Его мучило нетерпение и глубокое отчаяние. Желание поскорее состариться, небрежение той порой, когда душа и тело в расцвете сил, превращали это дитя мелкого парижского промышленника в романтического *героя. Он* бросился на песок у ног Венка и продолжал жаловаться:

— Столько лет еще, Венка, я буду всего лишь наполовину мужчиной, наполовину свободным, наполовину влюбленным!

Она положила руку выше своих колен на его черные волосы, которые трепал ветер, и сказала то, что подсказывала ей женская мудрость: «Наполовину влюбленным? Разве можно быть наполовину влюбленным?..»

Фил резко повернулся к своей подруге.

— А ты, ты, которая выносит все это, что ты собираешься делать?

Под взглядом его черных глаз в лице у нее опять появилась неуверенность.

— Да то же самое, Фил… Я не буду сдавать на бакалавра.

— А кем ты будешь? Что ты выбрала? Завод, аптеку?

— Мама сказала…

Он взвился от ярости, похожий на жеребенка, потом проговорил:

— «Мама сказала!..» Какое рабское повиновение! Ну и что же она сказала, твоя мама?

— Она сказала, — покорно повторила Венка, — что у нее ревматизм, что Лизетте только восемь лет и что не надо ходить далеко, у нас дома есть чем заняться, скоро я стану хозяйкой в доме, мне придется наставлять Лизетту, управляться с прислугой до тех пор, пока…

— Пока что? Что, черт возьми?

— …Пока я не выйду замуж…

Она покраснела, ее рука перестала трепать волосы Филиппа, казалось, она ждала, что он произнесет заветное слово, но он не произнес.

— Но и до того, как я выйду замуж, у меня тоже есть чем заняться…

Он повернулся, смерил ее презрительным взглядом.

— И тебе этого достаточно? Тебе этого хватит, скажем… на пять, шесть лет или больше?

Голубые глаза моргнули, но не потупились.

— Да, Фил, а пока… Раз нам только пятнадцать и шестнадцать… Раз мы вынуждены ждать…

Ненавистное слово ударило по нему, он сразу

обессилел. И, разочарованный, снова онемел перед простодушием своей подружки, покорностью, в которой она осмеливалась признаться, этой женской привычкой почитать старых, скромных богов домашнего очага, и в то же время боль его странным образом улеглась. Он бы, наверное, не принял Венка неспокойную, обращенную к приключениям и топчущуюся, как кобылица в путах, перед длинным и жестоким переходом от детства к взрослости…

Он прижался головой к платью подруги своего детства. Тонкие коленки вздрогнули и сжались, а Филипп подумал, в каком-то внезапном порыве, что у этих коленок прекрасная форма. Но он закрыл глаза, всей тяжестью своей головы доверчиво приникнув к ней, и замер в ожидании…

IV

Филипп первым достиг дороги, — две песчаные сухие колеи, — песок подвижен, как волна, — бегущие по откосу с редкой, изъеденной солью травой, — по ней приезжают на тележках за морскими водорослями, оставленными приливом. Он опирался на ручки сачков и нес через плечо две корзины с креветками; Венка он оставил два тонких крюка с наживленной на них сырою рыбой и одежду для рыбной ловли, бесценную безрукавную тряпку. Себе он устроил отдых, — он его заслужил, — согласился подождать свою неуемную подружку, брошенную им в пустыне скал, среди расщелин и водорослей, прятавшихся под водой во время высоких августовских приливов. Прежде чем пуститься в путь, он поискал ее глазами. Внизу покатого пляжа, меж сверкающих огней водных зеркальц, в которых отражалось солнце, маячил синий шерстяной берет, такой же выгоревший, как и чертополох на дюнах, отмечая местонахождение Венка, упорно искавшей креветок и розовых крабов.

«Раз это ее так занимает!..» — сказал про себя Филипп.

Он съехал вниз по откосу, слегка касаясь обнаженным торсом прохладного песка. У своего уха, в в корзине, он услышал влажное перешептывание креветок и осмысленное поскребывание о крышку корзины большого краба…

Фил вздохнул; его заливало необъяснимое, ничем не замутненное счастье, куда привносили свою долю приятная усталость, подергивание еще напряженных после прогулки мышц, краски и послеполуденное бретонское тепло, от которого шел солоноватый дух. Филипп уселся на песок; молочное небо, на которое он смотрел, слепило глаза, он с удивлением отметил, что его руки и ноги покрылись свежим бронзовым загаром, — руки и ноги шестнадцатилетнего мальчишки, тонкие, но хорошей формы, с сухими, еще твердыми мышцами, — такими могла бы гордиться и девушка. Кистью руки он вытер кровь на оцарапанной лодыжке и лизнул руку, она была соленая и от крови, и от морской воды.

Дующий с материка ветер приносил запах скошенной травы, хлева, притоптанной мяты, царящая с утра безукоризненная голубизна по линии горизонта мало-помалу вытеснилась пыльной розоватостью. Филипп мог бы сказать себе: «В жизни немного выдается таких часов,

когда удовлетворенное тело, насытившийся взгляд и легкое, звенящее, почти ничем не занятое сердце, получают одновременно все, чем они могут полниться, и я буду помнить об этом миг»; однако достаточно было надтреснутого колокольчика и блеянья козы, от которого колокольчик раскачивался у нее на шее, чтобы уголки губ Фила дрогнули в тревоге, и радость омыла слезами его глаза. Он не повернул головы в сторону скал, где блуждала его подружка, имя ее не сорвалось у него с губ от прилива чистых чувств; шестнадцатилетний подросток, вероятно, не догадывался, что можно позвать, чтобы разделить с ним нежданное блаженство, другого подростка, быть может, обремененного тем же…

— Эй, малыш!

Голос, окликнувший его, был молодой, властный.

Филипп обернулся, но не встал навстречу молодой даме, одетой во все белое, — она стояла в десяти шагах от него, воткнув в песок, покрытый водорослями, свою трость и погрузив в него высокие белые каблуки.

— Скажи-ка, малыш, здесь, по этой дороге, можно проехать на машине?

Филипп из вежливости поднялся, подошел к

ней и вдруг покраснел, почувствовав на себе взгляд дамы, скользнувший по его голому торсу, овеваемому свежим ветром; она улыбнулась и переменила тон.

— Простите, мосье… мне кажется, мой шофер сбился с пути. А я предупреждала его… Ведь эта дорога оканчивается тропинкой, сбегающей к морю?

— Да, мадам. Это дорога водорослей.

— Водоросль? А далеко отсюда эта Водоросль?

Фил не смог удержаться от смеха, и дама в белом из вежливости улыбнулась:

— Я сказала что-то смешное? Берегитесь, я начну говорить вам «ты»: когда вы смеетесь, вам можно дать не больше двенадцати.

Однако она смотрела ему в глаза, как смотрят на взрослого мужчину.

— Мадам, я сказал: водорослей, а не Водоросль, дорога водорослей.

— Прекрасное объяснение, — одобрительно проговорила дама в белом, — я вам премного обязана.

Она смеялась по-мужски, снисходительным смехом, в котором читалось то же, что и в ее спокойном взгляде, и Филипп вдруг ощутил себя уставшим, слабым и уязвимым, его сковало чув-

ство какой-то женской расслабленности, часто нападающей на юношу в присутствии взрослой женщины.

— Надеюсь, вы хорошо поохотились, мосье?

— Нет, мадам, не очень… То есть… У Венка больше креветок, чем у меня.

— А кто такое Венка? Ваша сестра?

— Нет, мадам, приятельница.

— Венка — иностранное имя?

— Нет… То есть… Это означает Барвинок.

— А она вашего возраста?

— Ей пятнадцать, а мне шестнадцать.

— Шестнадцать… — повторила дама в белом.

Она не объяснила, что хотела этим сказать, но спустя минуту добавила:

— У вас песок на щеке.

Он стал яростно тереть щеку, чуть ли не сдирая кожу, потом рука его снова упала.

«Я не чувствую больше своих рук, — подумал он. — Мне сейчас сделается дурно…»

Дама в белом отвела от Филиппа взгляд своих спокойных глаз и улыбнулась.

— А вот и Венка, — сказала она, указывая на дорогу; на повороте показалась Венка, она тащила за собой сеть в деревянном ободке и куртку Филиппа. — Что ж, до свидания, мосье?

— Фил, — машинально ответил он.

Она не подала ему руки, а лишь кивнула два или три раза, как женщина, отвечающая на какую-то свою сокровенную мысль словами «да, да». Она еще находилась в поле зрения, когда прибежала Венка.

— Фил? Что это за дама?

Движением плеч и всем своим видом он показал, что не знает.

— Как, ты ее не знаешь? Почему же тогда ты разговаривал с ней?

Филипп смерил свою подружку взглядом, в котором вновь сквозило лукавство и озорство. Он с радостью думал об их возрасте, их дружбе, уже поколебленной, о своем собственном деспотизме и горячей преданности Венка. Она была вся мокрая, из-под платья выглядывали разбитые в кровь коленки, как у святого Себастьяна, и несмотря на израненную кожу, они были великолепны; руки, как у помощника садовника или у юнги; шею ее охватывал зеленый платок, от блузки пахло сырыми раковинами. Цвет ее старого ворсистого берета не контрастировал с голубизной глаз, и, если б не ее беспокойный, ревнивый, красноречивый взгляд, она походила бы на ученика коллежа, одевшегося для шарады.

Фил расхохотался, а Венка топнула ногой и бросила ему в лицо куртку.

— Так ты скажешь наконец?

Он небрежно просунул голые руки в проймы куртки.

— Дуреха! Это дама с машиной, она сбилась с пути. Машина здесь увязла. Я ей все объяснил.

— А…

Венка села и вытряхнула сандалии, откуда посыпались мокрые камушки.

— А почему она так быстро ретировалась, именно когда появилась я?

Филипп помедлил с ответом. Он втайне вновь смаковал свое впечатление от уверенности, скупости жестов, твердого взгляда незнакомки, ее рассеянной улыбки. Он вспомнил, что она всерьез назвала его «мосье». Однако он вспомнил также, как коротко произнесла она «Венка», слишком фамильярно и даже немного обидно. Он нахмурил брови, он брал под защиту свою безалаберную подружку, ее невинность. Он немного подумал и нашел двойственный ответ, удовлетворявший одновременно и его вкус к романтической тайне и ханжескую стыдливость юного буржуа:

— В общем она хорошо сделала, — ответил он.

V

Он попытался уговорить ее:

— Венка! Посмотри на меня! Дай мне руку… Думай о чем-нибудь другом!

Она отвернулась к окну и тихонько высвободила руку.

— Оставь меня. Я не знаю, что делать.

Августовский прилив принес с собой дожди, и они затопили окно. Земля кончалась там, у кромки песчаной лужайки. Еще один порыв ветра, еще немного подняться серой морской равнине, изборожденной волнами, и дом поплывет, как ковчег… Но Фил и Венка знали, что такое августовский прилив и его монотонный грохот и что такое сентябрьский прилив с его растрепанной белой гривой. Они знали, что там, где луг спускался к морю, пройти было невозможно, и все годы их детства бросали вызов пенистым валам, лениво извивавшимся на изъеденном берегу, где кончалось царство людей.

Фил открыл застекленную дверь, снова с силой захлопнул ее, подставил голову ветру, лоб его оросил мелкий дождь, который нагнала буря, — теплый морской дождь, немного соленый,

плававший в воздухе, как дым. Он подобрал на террасе стальные шары, обитые гвоздями, самшитового поросенка, резиновый мячик. Он положил на свое место игрушки, уже больше не занимавшие его, — так укладывают маскарадные принадлежности, которым еще долго предстоит служить. В окне за ним следили глаза Барвинка, и казалось, что капли дождя, струившиеся по стеклу, — слезы, бегущие из ее беспокойных глаз яркого-голубого цвета, который оставался таким, несмотря ни на олово неба, ни на свинцовую зелень моря.

Фил сложил деревянные стулья, перевернул тростниковый стол. Он не улыбался своей подружке. Им уже давно не надо было улыбаться, чтобы нравиться друг другу, а сегодня к тому же — ничто не приглашало их радоваться.

«Еще несколько дней, три недели», — подумал Фил. Он вытер руки, на которых был песок, пучком мокрого тимьяна, отягощенного мелкими цветами и оцепеневшими от дождя шершнями, ожидавшими будущего солнечного луча. Он понюхал свои ладони, — от них исходил свежий, какой-то целомудренный запах, — и ему стоило труда не поддаться нахлынувшей было на него волне слабости, мягкосердечия и детской грусти,

какая бывает в десять лет. Но он посмотрел на стекло и увидел между длинными струями дождя и цветками взъерошенных вьюнков лицо Венка, это женское лицо, которое она показывала только ему и прятала ото всех, притворяясь благоразумной и веселой девочкой.

Дождь на мгновение задержался в облаке, на небе появился просвет, и над горизонтом приоткрылось светящееся зияние, откуда вырвался печально белый, перевернутый сноп лучей. Душа Филиппа рванулась навстречу этому свету, ища покоя, отдыха, которого по наивности жаждало его измученное шестнадцатилетие. Но, повернувшись к морю, он почувствовал за своей спиной Венка, приникшую к стеклу затворенного окна.

«Еще несколько дней, и мы расстанемся. Что делать?»

Он даже не подумал о том, что в прошлом году конец каникул стал для него, молоденького паренька, несчастьем, которое потом улеглось по возвращении в Париж, в экстернат и покорно приняло утешение от воскресных прогулок. В прошлом году Филиппу было пятнадцать. Каждая годовщина относит в смутное и презренное прошлое все, что не есть Венка и он. Что он, так любит ее? — спросил он себя и, не найдя другого

слова, как слово «любовь», *с* ожесточением отбросил со лба волосы.

«Может, я ее не так уж и люблю, но она моя. Вот».

Он обернулся и крикнул навстречу ветру:

— Венка! Венка! Дождь перестал.

Она открыла дверь и, боязливым жестом подняв одно плечо к уху, похожая на больную, вышла на порог.

— Иди же сюда! Море отступает, оно унесет дождь!

Она подвязала волосы белым платком, стянув концы на затылке, и стала походить на раненую.

— Давай пойдем к Носу, под скалой сухо.

Не говоря ни слова, она последовала за ним по тропинке, бегущей у края скалы, образовывающей над морем карниз. Они мяли ногами пряную душицу и последние цветы остро пахнущего донника. Под ними, словно развернутое полотнище, билось море и сладко лизало камни. Оно с силой ударялось о скалы и взметывало вверх теплые фонтаны, пропитанные запахом ракушек и земли, залегшей в расщелинах, куда ветер и птицы, пролетая, бросают зерна.

Они дошли до своего убежища: это была укрытая выступом скалы сухая площадка без закраин,

откуда будто устремляешься в открытое море. Филипп сел рядом с Венка, и она уткнулась головой в его плечо. Она сидела с закрытыми глазами; казалось, силы ее совсем иссякли. Ее загорелые с румянцем круглые щеки, испещренные рыжими песчинками, с бархатным налетом короткого нежного пушка, побледнели с утра, так же, как и ее свежий рот, всегда немного приоткрытый, напоминающий фрукт, надкушенный дневным зноем.

После обеда, вместо того, чтобы противопоставить жалобам «возлюбленного детства» свой обычный здравый смысл умной мещаночки, одновременно и упрямой и нежной, она разразилась слезами, упреками, она горько сетовала на то, как беспомощна молодость, недостижимо будущее, невозможно бегство, неприемлема покорность… Она кричала: «Я люблю тебя!» как кричат: «Прощай!» и «Я не могу больше жить без тебя!» Ее глаза были полны ужаса. Любовь, выросшая прежде, чем они, придала очарование их детству и сберегла их отрочество от двусмысленных привязанностей. Менее несведущий *в* любви, чем Дафнис, Филипп был по-братски почтителен и суров с Венка, но в то же время нежно любил ее, словно они были, на восточный лад, обещаны

друг другу с колыбели…

Венка вздохнула, вскинула на него глаза, однако головы не подняла:

— Я тебе не надоела, Фил?

Он отрицательно покачал головой, радуясь тому, что рядом с его глазами моргали золотистые ресницы ее голубых глаз, которые были все милее и милее его сердцу.

— Видишь, — сказал он, — шторм затихает. Правда, в четыре утра море снова будет бушевать… Но мы удержим хорошую погоду и вечером увидим луну во всей ее красе.

Интуиция подсказывала ему, что надо говорить о хорошей погоде, о покое, что надо вызвать у Венка светлые образы. Но она промолчала.

— Ты завтра придешь к Жаллонам играть в теннис?

Она отрицательно мотнула головой и с какой-то яростью снова закрыла глаза, словно отказывалась навсегда есть, пить, жить…

— Венка! — строго сказал Филипп. — Надо пойти. Пойдем.

Она приоткрыла рот, обвела взглядом осужденного морскую ширь.

— Что ж, пойдем, — повторила она за ним. — Почему не пойти? И зачем идти? Ничто ничего

не изменит.

Они одновременно подумали о саде Жаллонов, о теннисе и закуске. Они, эти чистые и одержимые любовники, подумали еще, что завтра во время игры в теннис они предстанут перед всеми в ином свете, просто как два озорных подростка, и усталость навалилась на них.

«Через несколько дней мы будем разлучены, — думал Филипп. — Мы больше не проснемся под одной крышей, я увижу Венка только в воскресенье, у ее отца, у моего или в кино. И мне шестнадцать лет. Шестнадцать и пять месяцев. Сотни, сотни дней… Несколько месяцев каникул, да, конечно, но конец их ужасен… Но она моя… Она моя…»

Тут он заметил, что голова Венка соскользнула с его плеча. С закрытыми глазами Венка мягко, едва заметно, раскованно скользила вниз по склону, такому короткому, что ноги девушки уже висели над пропастью… Он увидел это, но не содрогнулся. Он взвесил, насколько серьезно то, что замышляла его подруга, и обвил рукой талию Венка, чтобы не отделяться от нее. Крепко сжимая девушку в объятиях, он ощутил эту трепетную жизнь, силу и совершенство ее тела, готового повиноваться ему как в жизни, так и

в смерти, куда она его увлекала. «Умереть? Но почему?.. Нет, не сейчас. Уйти в другой мир, не владея полностью тем, что рождено для меня?»

Здесь, на этом склоне, он мечтал об обладании, как может мечтать об этом и робкий юноша, но и взрослый, требовательный мужчина, наследник, принявший жесткое решение насладиться благами, которые ему предоставляет время и человеческие законы. Первый раз в жизни он один должен был решить их судьбу, он мог или бросить ее в морскую пучину или приковать к выступу скалы, зацепившись за него, как упрямое растение, которое, удовольствовавшись малым, цвело на ней…

Сжав кольцом руки, он поднял гибкое тело, ставшее теперь тяжелым, и коротко позвал свою подругу:

— Венка! Идем!

Она снизу вверх смотрела на него, нетерпеливо склонившегося над ней с решительным лицом; она поняла, что час смерти минул. Одновременно возмущенная и восхищенная, она увидела, как в черных глазах Филиппа играет закатный луч, увидела его растрепанные волосы, его рот и тень, как два крыла, которую отбрасывал на его губы пушок— свидетельство его мужественности, и

она выкрикнула:

— Ты мало меня любишь, Фил, ты мало любишь меня!

Он хотел что-то сказать, но промолчал, ибо не собирался делать ей благородное признание. Он покраснел и опустил голову, сознавая себя виновным в том, что, пока она скользила туда, где любовь не мучает больше свои жертвы, он думал о своей подружке, как о драгоценной, спрятанной под семью замками вещи, чья тайна только и имеет значение, и потому отказал ей в смерти.

VI

Вот уже несколько дней, утрами, к морю спускался запах осени.

В эти августовские утра от зари до того часа, когда свежее дыхание моря отталкивает менее густой запах разогретой земли, обнаженные борозды скошенных хлебов, дымящиеся удобрения пахли осенью. Упрямая роса сверкала в живых изгородях, и если Венка в полдень подбирала с земли осиновый лист, созревший и упавший до времени, белая оборотная сторона еще зеленого листочка была мокрой и сияла, как алмаз. Из земли выскакивали влажные грибы, пауки, разгуливающие по саду, к ночи, когда бывало свежо, возвращались в кладовку, где хранились игрушки, и благоразумно устраивались на потолке.

Однако середина дня освобождалась от пут осеннего тумана, от нитей бабьего лета, натянутых на кустах созревшей ежевики, и, казалось, осень повернула вспять и сейчас на дворе июль. В небе палило солнце и слизывало росу, омывало светом только что родившийся шампиньон, осыпало осами виноград, уже состарившийся, с чахлыми лозами, и Венка с Лизеттой одинако-

вым движением сбрасывали с себя трикотажные спенсеры, укрывавшие с самого завтрака их голые руки, черные от загара, выделявшиеся на фоне белого платья. Такие застывшие, безветренные, безоблачные, если не считать нескольких молочных «барашков», появлявшихся к полудню и тут же исчезавших, дни следовали чередой и были божественно похожи один на другой, так что умиротворенным Венка и Филиппу верилось, что год в мягких путах бесконечно длившегося августа остановился на своем самом сладостном миге.

Охваченные чисто физическим блаженством, они меньше думали о предстоящей сентябрьской разлуке и перестали унывать и драматизировать расставание двух уже состарившихся от преждевременной любви пятнадцати- и шестнадцатилетнего подростков, объятых тишиной, горечью и тайной повторявшихся все время разлук.

Некоторые из их молодых соседей, их товарищей по теннису и рыбной ловле, покинули море и устремились в Турень; соседние виллы закрывались; Филипп и Венка оставались одни на берегу и в большом опустевшем доме, где большая гостиная с навощенным полом напоми-

нала корабль. Они наслаждались великолепным одиночеством, хоть и сталкивались нос к носу с родственниками, которых они почти не замечали. Однако Венка, занятая всецело Филиппом, продолжала выполнять все обязанности молодой девушки, собирала в саду для стола калину и пушистый ломонос, а в огороде первые груши и последние ягоды черной смородины; она подавала кофе, протягивала зажженную спичку своему отцу и отцу Филиппа, кроила и шила платьица для Лизетты и жила своей особой жизнью на глазах у родственников-призраков, которых она почти не видела и не слышала. Она словно наполовину оглохла и ослепла, и это было приятное состояние, что-то близкое к обмороку. Ее сестренка Лизетта, еще не настигнутая общим уделом, сияла чистотой и правдивостью. Впрочем, Лизетта походила на сестру, как маленький шампиньон похож на большой.

— Если умру я, — говорила Венка Филиппу, — у тебя останется Лизетта…

Но Филипп пожимал плечами и хмурился: ведь шестнадцатилетние любовники не признают ни перемен, ни болезни, ни неверности и смерть приемлют лишь как вознаграждение или как уготованную судьбой развязку, потому что они

не придумали другой.

Как-то, прекрасным августовским утром, Филипп и Венка решили оставить родителей одних за столом и, взяв с собой корзину, где лежала провизия и купальники, отправились к морю, прихватив заодно и Лизетту. Им случалось и прежде обедать в одиночку, после того, как они облазают все расщелины в скалах, — уже поизносившееся удовольствие, испорченное беспокойными мыслями и сомнениями. Но помолодевшее прекрасное утро августа обновляло души и этих заблудших детей, время от времени жалобно оборачивавшихся к невидимой двери, через которую они вышли из своего детства. Филипп шел впереди по тропе, ведущей к таможне, он нес сачки для рыбной послеполуденной ловли и сумку, где позвякивала литровая бутылка с пенистым сидром и бутылка с минеральной водой. Лизетта в свитере и купальнике болтала рукой с теплым хлебом, завязанным в салфетку, Венка, одетая в голубой свитер и белые брюки, нагруженная корзинами, как африканский осел, замыкала шествие. На опасных поворотах Филипп, не оборачиваясь, кричал:

— Постой, я возьму у тебя одну корзинку!

— Да не стоит, — отвечала Венка.

Ей еще удавалось показывать дорогу Лизетте, когда маленькую головку с копной жестких золотистых волос скрывал высокий папоротник.

Они облюбовали небольшую бухту, впадину между двумя скалами, на которой приливы вымыли мелкий песок и которая спускалась к морю наподобие рога изобилия. Лизетта сбросила сандалии и принялась играть пустыми ракушками. Венка закатала на загорелых ногах брюки и сделала лунку во влажном песке под скалой, чтобы поставленные туда бутылки хранили прохладу.

— Хочешь, я помогу тебе? — кротко предложил Филипп.

Она ничего не ответила и только посмотрела на него с улыбкою. Ее редкой голубизны глаза, ее потемневшие, как кора деревьев, от жаркого румянца щеки, изогнутое лезвие ее зубов на миг вспыхнули и их окраска была столь густа и невыразима, что Филипп почувствовал укол в сердце. Но она повернулась лицом к нему и стала без тени смущения ходить взад-вперед, грациозно наклоняться, раскованная, раздетая, похожая на мальчишку.

— Мы знаем, что ты с собой принес: только рот, чтобы есть! — крикнула Венка. — Ох уж эти мужчины!

Шестнадцатилетний «мужчина» принял эту дань уважения и эту шутку. Когда стол был накрыт, он строго подозвал Лизетту, съел сандвичи *с* маслом, которые приготовила ему его подруга, выпил сидра, посолил салат и кусочки швейцарского сыра, слизнул *с* пальцев влагу от сочных груш. Венка, с голубой повязкой на лбу, следила за всем, как молодой виночерпий. Для Лизетты она освободила от костей сардины, налила сколько нужно питья, очистила фрукты, а потом сама принялась за еду, сверкая своими прекрасными, правильной формы зубами. В нескольких метрах что-то нашептывало тихое отступившее море; наверху, на берегу тарахтела молотилка, из скалы, поросшей травой в желтых цветочках, сочилась и плескалась у их ног вода, несоленая, пахнущая землей…

Филипп потянулся, заложив руку за голову.

— Как хорошо, — вздохнул он.

Венка, стоя вытиравшая ножи и вилки, бросила на него голубой луч своего взгляда. Он не шелохнулся, пряча удовольствие, которое испытывал, когда его подруга восхищалась им. Щеки его пылали, губы блестели, черные волосы в гармоничном беспорядке спустились на лоб, — он понимал, что сейчас он красив.

Венка, не говоря ни слова, похожая на маленькую индианку, снова принялась за работу, а Филипп, убаюкиваемый плеском волн, далеким полуденным звоном колокола, тихим пением Лизетты, закрыл глаза. На него опустился тихий и быстрый сон послеполуденной сиесты, нарушаемый малейшим шумом, и вместе с тем этот шум упорно вызывал одно и то же сновидение: он был Фил, лежащий после трапезы, устроенной детьми, на белом берегу, очень древний и нелюдимый, всего лишенный и одновременно необычайно довольный, потому что обладал женщиной…

Громкий крик заставил его приподнять веки: у моря, с которого из-за сияния дня и вертикального света сошли все краски, сидела Венка и, склонившись над Лизеттой, вынимала занозу из царапины на ее доверчиво протянутой к ней руке… Это видение не спугнуло сна Филиппа, он снова закрыл глаза: «Ребенок… Правильно, у нас есть ребенок…»

Его грезы, навеянные мужественностью, где любовь, опережая возраст любви, сама устремлялась к своему великодушному, простому финалу, к одиночеству, чьим повелителем он был. Он миновал грот, — провисший гамак из

тонкой ткани, вместилище обнаженной формы, красноватый огонь, бившийся где-то на уровне земли, — вдруг потерял способность угадывать и лететь, перевернулся и коснулся мягкого дна самого глубокого покоя.

VII

— Просто невероятно, как быстро становятся короткими дни!

— Почему невероятно? Вы говорите об этом каждый год в одно и то же время. Если кто и изменит что-нибудь в положении светил, это будете не вы, Марта.

— А кто говорит о положении светил? Я не требую от них ничего, от этих светил; пусть и они мне ответят тем же.

— Неспособность женщин усваивать некоторые знания весьма любопытна. Вот, например, этой я двадцать раз объяснял, как происходят приливы, и от нее все — как от стенки горох!

— Огюст, хоть вы мне и зять, я не собираюсь слушать вас больше других...

— Бог ты мой! Меня теперь не удивляет, что вы не замужем, Марта. Жена, будь добра, подай мне пепельницу.

— А куда будет стряхивать пепел со своей трубки Одбер?

— Не беспокойтесь, мадам Ферре, дети разбросали эти раковины по всем столам.

— Все по вашей вине, Одбер. В тот день, когда

вы им сказали: «раковины — это красиво, из них получатся великолепные пепельницы», вы превратили их шатанье по горам в миссию доверия. Не так ли, Фил?

— Да, мосье Ферре.

— Именно ради этой миссии, Ферре, ваша дочь оставила свое первое коммерческое предприятие.

— А знаете, что придумала Венка? Она договорилась с первым торговцем птиц и корма для них Карбонье, что будет поставлять ему кости, об которые чижи оттачивают клюв в клетке. Венка, я правду говорю?

— Да, мосье Одбер.

— Эта шельмовка больше смыслит в делах, чем вы о ней думаете. Я ругаю себя, что когда-то…

— О! Огюст, ты опять за свое!

— Да, за свое, потому что прав. Эту девочку ты хочешь удержать дома. Что ж, ладно. А какую пищу можешь ты ей предложить, чтобы она росла активной и физически, и нравственно?

— Ту же, что и себе. Я полагаю, ты не часто видишь меня без дела? И потом, я выдам ее замуж. Поставить точку, это самое главное.

— Моя сестра придерживается прежних традиций.

— Если кто на это и жалуется, то не мужья.

— Хорошо сказано, мадам Ферре. Будущее девочки… Я знаю, что пока ничто не торопит вас. Пятнадцать лет… У Венка еще есть время, чтобы определить свое призвание. Слышишь, Венка? Обвиняемая, что вы имеете сказать в свое оправдание?

— Ничего, мосье Одбер.

— «Ничего, мосье Одбер!» Вы только послушайте ее! Наши дети просто плюют на нас, Ферре! Они сейчас совершенно спокойны!

— Они вели бездумную жизнь.

— У Венка на штанах весь зад, извините за выражение, протерся.

— Марта!

— Что «Марта»? Уж и про штаны нельзя сказать? Мы ведь не в Англии!

— В присутствии молодого человека!

— Это не молодой человек, это Фил. Что ты там рисуешь, старик?

— Турбину, мосье Ферре.

— Мои поздравления будущему инженеру!.. Одбер, вы видели луну над Грузном? Я вот уже пятнадцать лет вижу, как поднимается в августовские вечера луна над морем, и не устаю восхищаться. А ведь пятнадцать лет назад Груэн

был пустынен, здесь гулял лишь ветер, разнося по округе семена…

— Вы рассказываете об этом, словно вы турист, Ферре! Пятнадцать лет назад я искал пристанище на берегу, где можно было бы проесть мои первые шесть сотен сэкономленных франков…

— Уже пятнадцать лет! И впрямь у Филиппа была надежная опора… Жена, погляди, какая луна, я хочу тебя спросить, ты видела что-нибудь подобное за эти пятнадцать лет, такой цвет, а? Она… ей-богу, она зеленая, совершенно зеленая!

Филипп поднял на Венка испытующий взгляд. Он хотел пробудить в ее памяти воспоминание о том времени, когда она была невидима для всех и в то же время полна жизни… Впрочем, у него в памяти не сохранилось точного образа того времени, когда они вместе топтали этот белый песок их каникул: прежняя форма, — белый муслин и загорелая кожа, — растворилась. Но когда его сердце говорило: «Венка!», то это имя, не отделимое от его подружки, вызывало к жизни воспоминание о мелком песке, который грел коленки и, захваченный *в* ладошку, сыпался оттуда…

Голубые глаза Барвинка встретились с глазами Филиппа и бесстрастные, как и они, тотчас же

отвернулись.

— Венка, тебе не пора спать?

— Не сейчас, мама, пожалуйста. Я хочу покончить вот с этой большой оборкой на купальном костюмчике Лизетты.

Она говорила тихим голосом, отбросив далеко от себя и Филиппа бледные, почти не существующие тени их близких. Нарисовав турбину, винт самолета, механизм молочного сепаратора, Фил нарисовал еще на лопасти большие, обведенные темными кругами глаза, которые видишь на оперении павлина, хрупкие лапки и усики. Потом вывел большое Вис помощью голубого карандаша придал ему форму глаза с длинными ресницами, напоминающего глаз Венка.

— Посмотри, Венка.

Она склонилась к рисунку, положила на бумагу свою руку дикарки, темную, как кора дерева, и улыбнулась:

— Глупости какие-то.

— Что он там еще натворил? — крикнул мосье Одбер.

Молодые люди с немного высокопарным и удивленным видом обернулись на крик.

— Ничего, папа, — сказал Филипп. — Так, глупости. *Я* пририсовал лапы к турбине, чтобы ей

лучше работалось.

— Ах, я перекрещусь, когда он повзрослеет и станет благоразумным! Можно подумать, что ему не шестнадцать, а шесть лет!

Венка и Филипп вежливо улыбнулись, их настоящее еще раз прогнало от себя смутные образы этих людей, один из которых играл в карты рядом с ними, другие вышивали. Они услышали еще, словно сквозь журчание воды, какие-то шутки насчет призвания Филиппа, насчет его склонности к механике, его успехов по части электричества и насчет будущего замужества Венка, — излюбленная тема всего семейства.

За столом поднялся смех: кому-то пришло в голову соединить Венка и Филиппа…

— Ну нет! Это все равно что соединить брата и сестру! Они слишком хорошо знают друг друга.

— Любовь, мадам Ферре, любит неожиданность, блеск молнии!

— Любовь — дитя, дитя свободы…

— Марта, не пойте! Ну, слава богу, вы дождались наконец норд-веста и хорошей погоды!

…Ему жениться на Венка? Филипп улыбнулся, полный снисходительной жалости к ним. Жениться на Венка… Зачем? Венка принадлежала

ему, как он принадлежал ей. Они уже предусмотрительно учли, насколько их будущая официальная помолвка потревожит их долго длящуюся любовь. Они предвидели и ежедневные шутки, и невыносимые смешки, и недоверчивость…

Не сговариваясь, молодые люди вместе закрыли потайное окошко, через которое они, отрезанные любовью от остального мира, иногда общались с ним. Вместе с тем они завидовали детской непосредственности своих родственников, той легкости, с какой они шутили, их вере в спокойное будущее.

«Как они веселы!» — думал Филипп. На обрамленном сединой лбу отца Филипп искал следы божественного света или хотя бы ожога.

«О! — высокомерно заключил он, — да этот бедняга никогда не любил…»

Венка пришлось сделать усилие, чтобы представить себе то время, когда ее мать, молоденькая девушка, возможно, страдала от любви, от вынужденного молчания. Она увидела лишь ее преждевременно побелевшие волосы, золоченое пенсне на носу и худобу, которая делала мадам Ферре такой элегантной…

Венка покраснела, оставив только для себя способность стыдиться любви, мучиться душой и

телом, она перестала вызывать к жизни ненужные Тени и присоединилась к Филиппу на том пути, где они прятали от всех свои следы и где они чувствовали, что могут погибнуть под тяжестью слишком дорогой и слишком рано отвоеванной ноши.

VIII

На повороте дороги Филипп спрыгнул с велосипеда, отбросил его в сторону, сам отпрянул в другую и очутился на откосе, покрытом белесоватой травой.

«Ну довольно, довольно, с ума можно сойти! И почему я предложил свои услуги и согласился отвезти телеграмму?»

Одиннадцать километров пути, от виллы до Сен-Мало, не показались ему тяжелыми. Ветерок, дувший с моря, подталкивал его в спину, потревоженный свежий воздух, когда он спускался один, потом другой раз, овевал его полуобнаженную грудь. Но обратный путь вызвал у него отвращение к лету, к велосипеду, к бремени забот. Август подходил к концу, он полыхал красками. Филипп погрузил обе ступни в желтую траву и слизнул с губ пыль, поднимавшуюся от кремнистой дороги. Он упал на спину и раскинул руки. Кровь прилила к глазам, как у боксера на ринге, и они потемнели; бронзовые ноги, выглядывавшие из-под коротких спортивных штанов, были покрыты белыми шрамами, засохшими и свежими царапинами и являли собой свидетельство того,

что он провел не одну неделю каникул, рыбача на скалистом берегу моря.

«Надо было бы взять с собой Венка, — подумал он, ухмыльнувшись. — Да, черт возьми!»

Но другой Филипп, живший в нем, Филипп, влюбленный в Венка, Филипп, замкнутый в своей преждевременной любви, как осиротевший принц *в* слишком большом для него дворце, возразил Филиппу злому: «Ты бы дотащил ее на спине до виллы, если б она только пожелала…»

«Это еще неизвестно…» — запротестовал злой Филипп. И Филипп влюбленный не стал на этот раз возражать…

Он лежал у подножья стены, увенчанной кронами голубых елей и белых осин. Филипп прекрасно знал берег, не зря он прошел его пешком и проехал на велосипеде. «Это *Кер-Анна.* Слышно, как работает динамо, которое подает электричество. Однако кто же снял там дачу на это лето?» Звук мотора, работавшего по ту сторону стены, был похож на шумное дыхание запыхавшейся собаки; по серебристым осиновым листьям, словно по воде ручья, пробегала от ветра легкая рябь.

Умиротворенный, Филипп закрыл глаза.

— Мне кажется, вы заслужили стакан оранжада, мосье Фил, — сказал спокойный голос.

Фил открыл глаза и увидел перевернутое, как в зеркальной глади воды, женское лицо, склонившееся над ним.

В таком ракурсе был виден немного тяжеловатый подбородок, накрашенные губы, нижняя часть носа с втянутыми ноздрями — признак легковозбудимой натуры, — два темных глаза; снизу они казались похожими на два рогалика. Лицо цвета светлого янтаря улыбалось с фамильярностью отнюдь не дружеской. Филипп узнал даму в белом, застрявшую в автомобиле на дороге водорослей, даму, которая обратилась к нему сначала со словами: «Эй, малыш!», а потом сказала «мосье»... Он вскочил и как можно приветливее поздоровался с ней. На ней было белое платье, она скрестила на груди руки, не прикрытые рукавами, и, как и в первый раз, мерила его с ног до головы взглядом.

— Мосье, — важно спросила она, — это случайно или по особой наклонности вы не носите одежды или так мало на себе носите?

Освеженная отдыхом кровь горячей волной прихлынула к ушам и щекам Филиппа, и они запылали.

— Нет, мадам, — резко ответил он, — дело в том, что я должен был отвезти на почту телеграмму

папы одному его клиенту; в доме никого подходящего, кроме меня, не нашлось. Нельзя же было посылать Венка или Лизетту в такую пору!

— Не устраивайте мне сцен, — сказала дама в белом. — Я крайне впечатлительна. Я могу заплакать из-за пустяка.

Ее слова и бесстрастный взгляд, за которым скрывалась улыбка, ранили Филиппа. Он схватился за руль велосипеда, как хватают за руку упавшего ребенка, и хотел уже сесть в седло.

— Вам надо выпить стаканчик оранжаду, мосье Фил. Уверяю вас.

Он услышал, как скрипнула калитка в углу стены, и его попытка бежать окончилась тем, что он очутился как раз напротив открытой двери, напротив аллеи розовых, апоплектического вида гортензий и напротив дамы в белом.

— Меня зовут мадам Даллерей, — сказала она.

— Филипп Одбер, — быстро проговорил Фил.

Она как-то безразлично махнула рукой и протянула: «а-а!», как бы говоря: «Меня это не интересует».

Она пошла рядом с ним, солнце припекало ей голову с черными волосами, гладко причесанными и блестящими, но она даже бровью не повела. У Филиппа разболелась голова, ему показалось,

что у него будет солнечный удар; идя подле мадам Даллерей, он с надеждой подумал: а вдруг он шлепнется сейчас в обморок и освободится от необходимости выбирать, повиноваться?

— Тотот! Оранжаду! — приказала мадам Даллерей.

Фил вздрогнул, словно пробудился ото сна. «Стена рядом, — подумал он. — Она не слишком высока. Я прыгну и…» Он не додумал до конца своей мысли, а она означала: «…и я спасен». Пока он поднимался за белым платьем на сверкающее крыльцо, он уговаривал себя держаться смелее: ведь ему шестнадцать. «Ну и что тут такого? Не съест же она меня!.. Раз она так настаивает на этом оранжаде…»

Он вошел в темную комнату, куда не проникал ни солнечный луч, ни мушка, и ему снова показалось, что он вот-вот упадет. От низкой температуры, которая держалась благодаря затворенным ставням и спущенным занавескам, у него перехватило дыхание. Он споткнулся обо что-то мягкое и упал на пуф под демонический смех, раздавшийся внезапно непонятно в каком конце комнаты; Фил чуть было не расплакался от досады. Его руки коснулось холодное стекло.

— Быстро не глотайте, — сказал голос мадам

Даллерей. — Тотот, зачем ты положила льду? Ты что, с ума сошла? В погребе и так достаточно холодно.

Белая рука погрузила в стакан три пальца и тут же вытащила. Вспыхнул огонь бриллианта, отраженный ледышкой, которую сжимали три пальца. Закрыв глаза, задыхаясь, Филипп сделал два глотка и даже не почувствовал кисловатого вкуса апельсина; когда же он поднял ресницы, его глаза, привыкшие к темноте, различили красные и белые цвета обивки, черный и приглушенно-золотистый цвет занавесей. Тотот, которую он так и не видел, исчезла, унеся с собой поднос. Красно-голубой попугай, сидевший на жердочке, распустил крылья, взмахнув ими, словно веером, и открыл свою подмышку розовато-телесного цвета.

— А он красив, — хриплым голосом сказал Фил.

— Он нем, и оттого еще красивее, — ответила мадам Даллерей.

Она села довольно далеко от Филиппа, и в разделявшем их пространстве повеяло запахом камеди и герани, поднимавшимся над бокалом, словно дымок от сигареты. Филипп положил свои голые ноги одна на другую, и дама в белом улыб-

нулась, отчего усилилось впечатление, будто он во власти какого-то разгулявшегося кошмара, что его незаконно арестовали, что его похитили и он оказался в двусмысленном положении, и это лишало Филиппа всегдашнего хладнокровия.

— Ваши родители каждый год приезжают на этот берег? — спросила наконец своим мягким баритоном мадам Даллерей.

— Да, — удрученно вздохнул он.

— А здесь, между прочим, прелестно, я совсем не знала этого края. Бретань с не очень характерными, не ярко выраженными признаками, но умиротворяющая, а цвет моря — он несравненный.

Филипп промолчал. Он чувствовал, что силы постепенно покидают его, он силился сохранить остатки здравого смысла и ждал, когда услышит, как на ковер будут равномерно и приглушенно падать капли его крови, отхлынувшей от сердца.

— Ведь вы любите, не так ли?

— Кого? — подпрыгнул он.

— Это побережье.

— Да…

— Мосье Фил, вам дурно? Нет? Ну и прекрасно. Впрочем, я хорошая сиделка… Но вы тысячу раз правы: при такой погоде лучше посидеть молча.

Помолчим.

— Я этого не говорил…

С тех пор как они вошли в эту темную комнату, женщина не сделала ни одного лишнего движения, не проронила ни одного небанального слова. Однако звук ее голоса каждый раз, как она что-то произносила, вселял в Филиппа невыразимую тревогу, и он с ужасом выслушал ее грозное предложение помолчать. Его желание бежать было властным и полным отчаяния. Он задел стаканом о маленький столик, едва различимый в темноте, попробовал что-то сказать, чего не было слышно, встал и направился к двери, рассекая тяжелые волны мрака и обходя невидимые препятствия; он задыхался, когда наконец очутился на свету.

— Ах!.. — вполголоса проговорил он. И патетическим жестом сжал то место на груди, где, как мы полагаем, бьется наше сердце.

Затем к нему внезапно вернулось ощущение реальности, он засмеялся глупым смехом, вежливо потряс руку мадам Даллерей, взял велосипед и укатил. Наверху, на тропе, он встретил обеспокоенную Венка, — она поджидала его.

— Что ты так долго делал, Фил?

Он поцеловал опущенные голубые веки, которые скрывали прелестные синие глаза его

подружки, и возбужденно ответил:

— Что я делал? Да все! На меня напали на повороте, заперли в погребе, оглушили мощными наркотиками, привязали голого к столбу, исполосовали всего, подвергли пытке!..

Венка, уткнувшись в его плечо, весело смеялась, а Филипп, мотая головой, чтобы стряхнуть с ресниц слезы волнения, думал:

«Если б она только знала, что то, что я ей рассказываю, — чистая правда...»

IX

После того как Филипп выпил предложенный ему мадам Даллерей стакан ледяного оранжада, он почувствовал как бы ожог на своих губах и в горле. Он сказал себе, что никогда не пил такого горького оранжада и впредь, кажется, пить не будет.

«Однако в ту минуту, когда я его пил, я не почувствовал его вкуса… А только позже… значительно позже…» Этот визит, о котором он умолчал в разговоре с Венка, оставил в его памяти ощутимый след. — точно в его мозгу бился какой-то нерв, и он, по своему усмотрению, или ускорял, или останавливал его горячечное, дарящее благо биение.

Жизнь Филиппа по-прежнему принадлежала Венка, подруге его сердца, родившейся где-то рядом с ним, спустя год, привязанной к нему как близнец и беспокойной, как женщина, которая вот-вот потеряет своего возлюбленного. Но ни грезы, ни кошмарные воспоминания не зависят от реальной жизни. Тревожные воспоминания, наполненные тенями и холодом, приглушенным красным, черным бархатом и золотом, давили на жизнь Фила, уменьшая, омрачая дневные часы

с тех пор, как он побывал в особняке *Кер-Анна* в душный полдень, когда выпил стакан оранжаду, налитого властной и важной дамой в белом. Игра бриллианта на ребре стакана… кусочки льда, сверкавшего меж бледных пальцев… Красно-голубой попугай, сидевший на жердочке и все время молчавший, его крылья, подбитые белым, с розоватым, как плоть креветок, оперением… Фил не верил своей памяти, воссоединявшей эти образы, жарко и неестественно окрашенные, возможно, они — лишь приснившаяся ему во сне декорация, на которой зеленая окраска листвы переходит в голубизну и которая придает некоторым оттенкам глубину чувства..

Визит его не обрадовал. Некоторое время воспоминание о плававшей в воздухе дымке отнимало у него аппетит, вызывало в воспаленном мозгу аберрации:

— Венка, тебе не кажется, что сегодня креветки пахнут ладаном?

Испытал ли он радость в этой закрытой зале, где он пробирался на ощупь и все время натыкался на мягкие, одетые в бархат предметы? Или когда он так неловко бежал, и солнце внезапно накинуло свою мантию на его плечи? Нет и нет, все это не походило на радость, а скорее на тоску,

на муки долга…

«Я должен отплатить ей за вежливость, — однажды утром сказал себе Филипп. — Почему я должен быть невежей? Надо принести цветов к ее двери, а уж после я больше не буду об этом думать. Да, но какие цветы?»

Маргаритки, росшие в саду, и бархатистый львиный зев показались ему недостойными ее. Завершающий свой бег август отнял цветы у жимолости и дикой розы, обвившей стволы осин. Но меж дюн, спускавшихся от виллы к морю, в изобилии рос чертополох, и голубизна его цветов и сиреневость ломких стеблей могли бы называться «зеркалом глаз Венка».

«Голубой чертополох… Я видел его в медной вазе у мадам Даллерей… А дарят чертополох? Я прицеплю цветы к решетке ограды… Но в дом не войду…»

Он подождал, с находчивостью своих шестнадцати лет, того дня, когда Венка немного нездоровилось, она была усталая, разнеженная, раздраженная, вокруг ее голубых глаз появились сиреневые круги, и она улеглась в тени, предпочтя ее прогулке и купанию. В тайне от всех он нарвал и собрал в букет самые красивые цветы чертополоха, сильно поранив руки его, словно

из железа, листьями. И пустился в путь на своем велосипеде; стояла прекрасная, теплая бретонская погода, землю заволокло туманом, а море окутала какая-то нематериальная молочная дымка. Движения Фила, катящегося на велосипеде, несколько сковывала куртка из толстого джерси, самая красивая, какая у него была, и белые полотняные брюки; так он доехал до *Кер-Анны,* потом, пригнувшись, прокрался к решетке и хотел бросить в сад свой букет, словно намеревался избавиться от мешавшей ему вещи. Он подумал и направился к тому месту, где ограда почти касалась стены дома, вытянул руку, словно собирался запустить пращу, и букет полетел через ограду. Филипп услышал крик, кто-то шел по гравию, и потом голос, задыхавшийся от гнева, который он, однако, узнал, произнес:

— Ну, попадись мне только идиот, который это сделал!..

Фил был оскорблен, а потому не бросился бежать, он подошел ближе к решетке, где его и увидела дама в белом. Когда она поняла, что это Фил, лицо ее изменило выражение, сомкнутые брови раздвинулись; она пожала плечами.

— Я должна была бы сама догадаться, — сказала она. — Это не слишком хорошо придумано.

Она ждала от него извинений, но извинений не последовало; Фил был занят тем, что разглядывал даму в белом и мысленно благодарил ее, поскольку она была в том же наряде, и ее лицо некричаще оживляла краска помады на губах, а вокруг глаз залегла та же тень. Она поднесла руку к щеке:

— Смотрите-ка, кровь!

— У меня тоже, — жестко сказал Филипп.

Он протянул свои пораненные руки. Она наклонилась к нему и раздавила пальцем капельку крови на его ладони.

— Вы их собирали для меня? — небрежно спросила она.

Он отрицательно покачал головой, наслаждаясь тем, что вел себя с любезной, воспитанной дамой, как неотесанный мужлан. Но она не показалась ни раздосадованной, ни удивленной.

— Может, зайдете на минуту.

Он опять отрицательно покачал головой, и волосы у него при этом разлетелись, его лицо вдруг похорошело, стало строгим и лишенным всякого другого выражения.

— Они голубые… невероятно голубые… Я поставлю их в медную вазу.

Лицо Филиппа немного смягчилось.

— Я подумал об этом. Или в горшок из серой керамики.

— Да, конечно… В серый горшок.

Мягкость, появившаяся в голосе мадам Даллерей, восхитила Филиппа. Она заметила это, посмотрела ему в глаза, опять улыбнулась своей благожелательной, немного мужской улыбкой и переменила тон:

— Скажите, мосье Фил… Один вопрос… Один простой вопрос… Эти голубые цветы, вы их собирали для меня? Чтобы доставить мне удовольствие?

— Да…

— Прекрасно. Чтобы доставить мне удовольствие. Но вы должны были бы скорее подумать о том, что мне они, может быть, не доставят того удовольствия, — поймите меня правильно, — которое испытали вы, собирая их, чтобы поднести мне.

Он плохо ее слушал и смотрел на нее как глухонемой, словно завороженный формой ее рта и ее мигающими ресницами. Он ничего не понял и ответил первое, что пришло на ум:

— Я подумал, что вам будет приятно… И потом, ведь предложили же вы мне оранжаду…

Она отняла свою руку, лежавшую на руке Фи-

ла, и широко распахнула до того полузакрытую створку решетчатой двери.

— Хорошо, малыш. Но вы должны уехать и никогда больше не возвращаться сюда.

— То есть как?

— Никто не просил вас быть мне приятным. И не трудитесь больше забрасывать меня голубыми цветами, как вы сделали сегодня. До свиданья, мосье Фил. Разве только…

Она стояла, прижавшись своим открытым лбом к решетке вновь затворенной двери, и взглядом мерила Филиппа, застывшего на тропинке по другую сторону двери.

— Разве только в один прекрасный день вы придете сюда, чтобы отплатить мне за оранжад не букетом цветов, а по-другому…

— По-другому…

— Как ваш голос похож на мой, мосье Фил! И тогда мы увидим, о чьем удовольствии речь, о вашем или моем. Я люблю только нищих и голодных, мосье Фил. Если вы вернетесь, возвращайтесь с протянутой рукой… Ну идите, идите же, мосье Фил!..

Она отошла от решетки, и Филиппу ничего не оставалось, как уйти. И хотя его выпроводили, даже прогнали, он не испытывал другого чувства,

кроме чувства мужской гордости, и, когда вспоминал об этом, его взору являлось прижавшееся к затейливой черной решетке женское лицо, похожее на ветку калины, с каплями свежей крови на нем.

X

— Погоди, Венка. Ты упадешь, у тебя развязалась сандалия...

Фил быстро наклонился, подхватил две белые шерстяные ленты и обвязал ими в лодыжке тонкую, сухую, вздрагивающую ногу, ногу чуткого животного, рожденного для бега и прыжков. Ее изящество не портила ни огрубевшая кожа, ни множество царапин. На легком, почти бесплотном костяке мышц было ровно столько, сколько надо, чтобы получилась округлая линия; ноги Венка не возбуждали желания, но вызывали восторг перед чистотой формы.

— Да погоди же ты! Не суетись, дай завязать тесемки!

— Нет, оставь!

Голая нога, обутая в полотняные туфли, скользнула меж рук, придерживавших ее, и переступила, точно в полете, через голову коленопреклоненного Фила. Ему в нос ударил запах лаванды, свежевыглаженного белья и морских водорослей, запах Венка, которая уже стояла в трех шагах от него. Она смотрела на Фила сверху вниз, и на него лился потемневший, беспокойный свет ее

глаз, чья голубизна не менялась от переливчатых красок моря.

— Какая муха тебя укусила? Что это еще за капризы? Ты что, не доверяешь мне свою сандалию? Нет, Венка, ты становишься невозможной!

Рыцарская поза Фила плохо вязалась с оскорбленным выражением его лица античного бога, — позлащенного солнцем, увенчанного черной шевелюрой, — чью грацию почти не портила тень будущих усов, которые сегодня еще были мягким пушком, а завтра станут жесткой щетиной.

Венка все не подходила к нему. Она казалась удивленной и с трудом дышала, словно бежала от Фила.

— Да что с тобой? Я сделал тебе больно? У тебя заноза?

Она отрицательно мотнула головой, но смягчилась, села между цветами шалфея и розового спорника и натянула край платья на самые щиколотки. Она все делала быстро, *с* угловатой приятностью, с чувством равновесия, таким же нечастым, как хореографические способности. Ее дружба с Филиппом, нежная, редкая, приспособила ее для мальчишеских игр, для спортивного соперничества, не отступающего перед любовью

и, однако, родившегося вместе с ней. Несмотря на силу чувства, с каждым днем все возраставшую, в них постепенно убывала доверчивая нежность, мягкость, любовь изменила субстанцию их нежности, как меняется цвет роз от воды, которую они пьют, они иногда забывали о своей любви.

Филипп не выдержал взгляда Венка, хотя в потемневшей лазури ее глаз не читалось никакого упрека. Она казалась только удивленной и дышала быстро-быстро, как козочка, которую застиг в лесу гуляющий человек и которая стоит трепеща, вместо того чтобы броситься бежать. Она прислушивалась к голосу интуиции и не слышала голоса стоявшего на коленях молодого человека, чьей руки она избегала; она знала, что повинуется недоверчивости, чему-то, что ее отталкивало от него, но не стыдливости. Рядом с такой любовью о стыдливости и речи быть не могло.

Однако Венка с ее неусыпной чистотой смутно ощущала присутствие другой женщины рядом с Филиппом. Она даже понюхала воздух вокруг него, как если бы ее друг тайно курил или ел землянику. Их болтовню она прерывала молчанием, таким же внезапным, как толчок, взглядом, тяжелым и властным, как удар. Она высвободила руку из руки друга, более мелкой, но менее тонкой,

чем ее, хотя во время утренней прогулки они шли по дороге рука в руке.

Третий, четвертый визиты к мадам Даллерей Фил без труда скрыл от Венка. Но что значат расстояния и стены против невидимого тока, который вырывается из любящей души, нащупывает, распознает трещину и отступает перед ней?.. Вонзавшая свои когти в их большую тайну, неприметная тайна Филиппа отравляла ему жизнь, хотя на самом деле была невинной. Теперь он был нежен с Венка, хотя должен был бы проявить свой деспотизм влюбленного и обращаться с ней как с рабыней. Из его глаз струилась ласковость неверных мужей, и это казалось подозрительным.

Обругав про себя странный нрав Венка, Филипп на этот раз напустил на себя суровость и не побежал по дороге к вилле, а пошел. Удастся ли ему через час сесть за стол в *Кер-Анне,* как просила его мадам Даллерей? Просила… эта умела только приказывать и вести себя со скрытой жесткостью с теми, кого возводила в ранг нищих и голодных. Несмирившийся нищий, мятежный, думающий без всякой признательности о той, — вдали от нее, — что наливала свежий напиток, что очищала фрукты и чьи белые руки заботливо ухаживали

за маленьким стройным новобранцем. Однако правильно ли называть новобранцем юношу, которого любовь с самого детства посвятила в мужчины и оставила чистым? Там, где мадам Даллерей нашла бы легкую жертву, с восторгом покорившуюся ей, она встретила противника, ослепленного и осторожного. *С* искривившимся ртом, с протянутыми руками нищий не казался побежденным. «Он будет защищаться, — думала она. — Он бережет себя...» Она еще не решалась сказать себе: «Это она его бережет».

Венка осталась на песчаном лужке, а Филипп вернулся домой и крикнул оттуда:

— Я еду за корреспонденцией! У тебя никаких поручений?

Она отрицательно замотала головой, и ее подстриженные в кружок волосы образовали вокруг головы сияющий нимб; Филипп бросился к велосипеду.

Мадам Даллерей читала и как будто даже не ждала его. Но узнанный им полумрак, почти невидимый стол, откуда поднимались запахи рыбы свежего улова, красной кипрской дыни, разрезанной на куски в виде полумесяца, и черного кофе с кубиками льда, сказали обратное.

Мадам Даллерей оставила книгу и, не поднима-

ясь, протянула ему руку В темноте он видел белое платье, белую руку; она непривычно медленно подняла на него свои черные глаза, замкнутые в темно-бурое окружье.

— Вы не спали? — осведомился Филипп, силясь быть светски вежливым.

— Нет… конечно, нет. Как на дворе, тепло? Вы не голодны?

— Не знаю…

Фил вздохнул, он действительно не знал, что делать: с одной стороны, войдя в *Кер-Анну,* он почувствовал что-то вроде жажды, а запахи съестного как будто даже возбудили в нем аппетит, но, с другой стороны, он находился во власти безымянной тревоги, от которой у него сжималось горло. Однако хозяйка предложила ему на маленьком серебряном подносе дыню, посыпанную сахаром и слегка пропитанную спиртным с запахом аниса.

— Как поживают ваши родители, мосье Фил?

Удивленный вопросом, он взглянул на нее. Она казалась рассеянной и как будто не слышала собственного голоса. Краем рукава он задел ложку, и та, издав слабый звук колокольчика, упала на ковер.

— Какой неловкий!.. Погодите…

Одной рукой она перехватила его запястье, а другой засучила до локтя рукав его рубашки и в своей теплой руке задержала с настойчивостью оголенную руку Фила.

— Пустите меня! — пронзительно крикнул Фил.

Он с силой попытался выдернуть руку. У его ног разбилось блюдце. В ушах у Фила стояло какое-то жужжанье, и сквозь него он слышал эхом отдававшийся крик Венка: «Пусти!..»; он обратил к мадам Даллерей вопрошающий гневный взгляд. Она не шелохнулась; ее рука, которую он отбросил, лежала у нее на коленях, словно открытая раковина. В течение нескольких долгих минут Фил оценивал значение этой неподвижности. Он опустил голову, перед его мысленным взором пронеслись два-три не связанных между собой, неотвратимых образа, точно в каком-то полете, — так летают во сне, словно упав с высоты, — точно в падении, — так ныряют в воду, и складки волн набегают на ваше опрокинутое лицо, — затем без волнения, с рассчитанной медлительностью, с продуманной отвагой он вложил свою оголенную руку в открытую ладонь женщины.

XI

Когда Филипп вышел из дому женщины в белом, было примерно половина второго ночи.

Ему пришлось подождать, пока погаснут все огни и затихнут все шумы на родительской вилле. Застекленная дверь была закрыта на задвижку, — препятствие, которое он преодолел, навалившись на него всей своей тяжестью, — а там дорога, свобода… Свобода? Он шел к даче *Кер-Анна,* весь будто чем-то спутанный, иногда останавливался, чтоб передохнуть, положив левую руку на сердце, то опуская, то поднимая голову, как собака, которая воет на луну. Наверху, на скале, он обернулся, чтобы еще раз увидеть стоявший на взгорке дом, где спали его родители, а также родители Венка — и сама Венка… Третье окно, маленький деревянный балкон… За этими затворенными ставнями она, должно быть, спала. Она, должно быть, спала, повернувшись немного на бок и положив на руку голову с распущенными в виде веера подстриженными в кружок волосами, упавшими с затылка к щеке, — так закрывает лицо рукой ребенок, который вот-вот расплачется.

Страх разбудить ее вскоре заставил Филиппа повернуть к дороге, молочной белизны от лившегося на нее света ущербного месяца, направлявшего шаги юноши. Он чувствовал истомившую его, неусыпную тревогу, любовь, пронизавшие до самой глубины это его полузабытье.

Их тяжесть гораздо больше, чем холод, леденящий душу шестнадцатилетнего юноши, когда он пускается в свою первую авантюру, не превращала ли ее эта тяжесть в обузу, в горячечный бред, в бессильное любопытство?.. Однако он недолго колебался и отправился в дорогу, задыхаясь и поднимая к луне голову. Фил шел по скалистому склону, который на обратном пути намеревался пройти медленнее.

Пробили часы в деревне. Филипп прислушался: «Два часа», — сказал он. В воздухе, в соленом и теплом тумане, звенел хрусталь четырех четвертей, мягко плыли два важных часа. И Фил добавил, согласуясь с заведенным в природе порядком: «Ветер изменил направление, звон доносится со стороны церкви, это к перемене погоды…», и звук такой обычной фразы достиг до него как бы издалека, из той жизни, что была уже завершена… Он сел на поросший травой край куртины, неподалеку от виллы, выплакался, но

устыдился вдруг своих слез, однако плакал, как он осознал, с удовольствием.

Кто-то рядом с ним глубоко вздохнул; на покрытой песком аллее посапывала неразличимая во тьме собака сторожа. Фил наклонился, погладил жесткую шерсть животного, потрепал его за сухой нос, собака не залаяла.

— Фанфар… старина Фанфар…

Но собака, которой было уже много лет и у которой был бретонский характер, поднялась, отошла в сторону и, словно старый мешок, плюхнулась на траву.

Низкая вода, заснувшая в тумане у края луга, время от времени посылала на берег слабую истомленную волну, которая негромко хлопала, точно мокрое белье. Птицы все спали, только одна сова бодрствовала, иногда, словно кошка, насмешливо вскрикивая, то на верхушке осины, белевшей в тумане, то на живой изгороди из бересклета.

Мысль Филиппа медленно воссоздавала незнакомую для него, но обычную для каждой ночи картину. Этот ночной покой, обезоруживающий человека, предлагал ему убежище, служил как бы обязательным переходом от прежней жизни, от его всегда тихой летней жизни к тому месту,

той обстановке, где он попадал в царство буйных красок, запахов, света, чей скрытый источник то выбрасывал острое жало, то раскидывал небольшое, но яркого цвета покрывало…

Казалось, что цветы и предметы меблировки потеряли равновесие и демонстрировали — одни тыльную мягкую сторону своих листьев, колыхавшихся на несгибаемых, стоящих в чистой воде стеблях, а другие свои худые козлиные ножки. Место, обстановка— предатели, где женская рука и женский рот взрывали, когда им этого хотелось, спокойствие вселенной, развязывали катаклизм, который благословила, подобная радуге, что выступает на небе после грозы, изогнутая оголенная рука…

Но эту муку, только что пережитую им, ему удалось оставить позади. Его сопровождала лишь усталость пловца, смутная удовлетворенность потерпевшего кораблекрушение, который коснулся ногами земли. Находясь в более благоприятном положении, чем молодые люди, часто раздираемые на части своими же мыслями, у кого длительная тревога, взращенная бессонными мечтами, сменилась радостью, которая будет все время ставить предел их мечтам, он, отяжелевший от естественной оцепенелости, сохранял

здравый рассудок, подобно тому, кто пьет досыта и чувствует, как колеблется в нем, когда он шевелится, остывшее вино, откуда улетучился легкий, обжигающий дух.

День был еще далеко, но уже та половина ночи, что была светлее другой, поделила небо надвое. Какое-то маленькое животное, то ли еж, то ли крыса, на бегу скребло землю. Первое дуновение раннего ветерка взметнуло и прокатило по аллее несколько лепестков, но потом бросило их и ослабело, и все застыло в неподвижности. Далекие часы мечтательно отбили три удара, первый близкий, тягучий, два других — приглушенные порывом ветра. Над Филиппом пролетела пара куликов, но так низко, что он услышал хлопанье, как у паруса, их расправленных крыльев, *а их крик* на море влился в незащищенную, все приемлющую память юноши, проникнув в глубину целомудренных шестнадцати лет, связанных с белым берегом, с девочкой, которая росла рядом с ним, неся, словно то был колос ржи, свою непокорную светловолосую голову.

Он поднялся, ему пришлось сделать чисто физическое усилие, чтобы вновь обрести самого себя, чтобы вынудить того, кто только что отдыхал возле этой преграды, возле белой спящей

собаки, быть таким, каким он был накануне, когда в страхе шел в *Кер-Анну*, и эта преграда, эта белая спящая собака, чью шерсть он рассеянно теребил, служила ему подспорьем. Но он не смог.

Он провел по лицу своими теплыми руками, которые показались ему мягче, чем всегда, — они были пропитаны запахом, улетучивающимся тотчас же, так что он не успевал удержать его в ноздрях; но запах этот веял вокруг, как запахи некоторых сильно пахнущих растений *с* хрупкими листьями. В это время, в щели между ставнями комнаты Венка вспыхнул огонек от лампы, однако быстро потух.

«Она не спит. Она только что смотрела на часы. Почему она не спит?»

Он через стены видел, как Венка, протянув руку к лампе, зажгла свет, посмотрела на маленькие часики, висевшие на медной кровати, и, потушив лампу, откинулась на постели, положив на подушку голову с пышной шевелюрой, пахнувшей ухоженным ребенком и лавандой. Он видел, как из-за ночной духоты она не прикрыла одеялом загоревшие плечи с белой полоской в том месте, где бретелька купальника закрывала их от солнца; он увидел очертания ее длинного сильного тела — такого привычного, но каждый

год по-новому красивого жданной красотой, и оцепенение охватило его.

Что было общего между этим телом, между тем, во что его могла превратить любовь, с ее неизбежным концом, и предопределением другого женского тела, предназначенного для изысканного наслаждения, наделенного гением хищника, неумолимостью страсти, очарованием и лицемерием учителя?

— Никогда! — громко сказал он.

Еще вчера он прикидывал со спокойным сердцем, когда ему сможет принадлежать Венка. Сегодня же, бледный от опыта, который вызывал дрожь во всем теле, Филипп, испытывая истому от своего падения, отшатывался от самого себя, видя перед собой образ безумия…

— Никогда!

Наступал быстрый рассвет. Но не было ни малейшего ветерка, который разогнал бы соленый туман, разрываемый полотнищами красной зари. Филипп переступил порог дома, бесшумно поднялся в свою комнату, еще заполненную душным мраком, и с поспешностью открыл ставни, чтобы встретить в зеркале свое новое лицо — лицо мужчины…

Он увидел лицо, похудевшее от утомления,

темные глаза, ставшие большими из-за окружавших их теней, губы со следами краски на них от губной помады, в беспорядке спадавшие на лоб черные волосы, — жалкий вид, более подходящий уставшей молоденькой девушке, чем взрослому мужчине.

XII

Когда Филипп заснул, уже кричали щеглы, возвещая о том, что наступило утро и Венка раздает им корм, который она бросала большими пригоршнями. Крики птиц были негромкими, но они тревожили неглубокий сон Филиппа, эти крики вонзались в его полузабытье, как металлическая круглая стружка, вырванная из обруча, мучительно сжимавшего его череп. Когда он проснулся окончательно, на дворе стоял прекрасный день, — слышалось квохтанье кур-несушек, жужжание пчел, стук молотилки; зеленело море, взлохмаченное свежим норд-вестом; Венка, стоя у окна, одетая во все белое, смеялась:

— Что это с ним? Да что это с ним? Эй, Фил! У тебя сонная болезнь?

И Тени родственников, ставшие почти невидимыми, как старое пятно на стене, как плющ, как лишайник, Тени, не удостаиваемые вниманием обоих молодых людей, повторяли следом за ней:

— Что это с ним? Да что это с ним? Не наелся ли он маку?

А он смотрел на них сверху, из своего окна. Он стоял *с* приоткрытым ртом, на его чертах

запечатлелся ужас неведения и такая бледность разлилась по лицу, что Венка перестала смеяться, перестали смеяться и другие, и она спросила:

— Ты что? Ты болен?

Он отпрянул от окна, словно Венка кинула в него камень.

— Болен? Сейчас ты увидишь, болен ли я. Прежде всего который час?

Снизу снова раздались смешки:

— Без четверти одиннадцать, лежебока! Иди купаться!

Он утвердительно кивнул головой, закрыл окно, и задернутые занавески на окнах вновь отбросили его в ночную бездну, где завертелся водоворот воспоминаний, черный, липкий, с яркими вспышками, тянувшими свои языки к дневному свету и принимавшими оттенки то золота, то человеческой кожи, то влажного глаза, то кольца или ногтя…

Фил сбросил пижаму, стремительно надел на себя купальник и, вместо того чтобы в таком виде спуститься вниз, как он это делал всегда, тщательно завязал тесемки халата.

Венка ждала его на прибрежном лужку и преспокойно гладила на солнце свои длинные ноги и тонкие руки того рыжевато-коричневого цве-

та, какой бывает у корочки деревенского хлеба. Несравненная голубизна ее глаз под выцветшим голубым платком вызвала у Филиппа желание окунуться в прохладную воду, омыться в соленой волне на морском ветру. И в то же время он не мог оторвать глаз от сильного тела, с каждым днем становившегося все женственней, от изящно выточенных твердых колен, от бедер с продолговатыми мускулами, от гордых грудей.

«Какая она вся ладная!» — с неким подобием страха подумал Филипп.

Они поплыли вместе, и в то время, как Венка радостно била по спокойной волне руками и ногами и, напевая, отфыркивалась, Филипп, бледный, со стиснутыми зубами, боролся со своей дрожью. Когда же Венка сжала лодыжку Фила своими голыми ногами, он перестал плыть, нырнул и только через несколько секунд показался на поверхности. Он не отплатил тем же Венка, он отказался от заведенного обычая, от веселых криков, схваток на воде, тюленьих ныряний, — от всего, что превращало для них время купания в лучшее время суток.

Теплый песок был к их услугам, и они добросовестно натерлись им. Венка, вооруженная камнем, нацелилась на маленький рогатый риф,

попала в него, и Филипп недоверчиво восхитился, забыв, что это он же и научил свою подружку мальчишеским играм. Он испытывал чувство нежности, он поднялся над самим собой, над своим полуобморочным состоянием, и ничто в нем не выдавало мужской гордости за то, что он ночью покинул дом своего детства, чтобы пуститься в свое первое любовное приключение.

— Полдень! Фил! Ты слышишь, церковные часы пробили двенадцать?

Венка, стоя, потрясла мокрыми концами своих ровно подстриженных волос. Она направилась к вилле, и под ее ногами, словно орех, хрустнул маленький краб; Филиппа всего передернуло.

— Что такое? — спросила Венка.

— Ты раздавила краба.

Она обернулась, подставив солнцу свои персиковые щеки, свои глаза густого голубого цвета, свои белые зубы и красное нёбо.

— Ну и что? Это первый, что ли? А когда ты разрезанным крабом приманиваешь креветок?

Она побежала впереди Филиппа и одним прыжком перескочила яму между дюнами. В течение секунды, оторвавшись от земли, она висела в воздухе, со скрещенными ступнями, слегка наклонившаяся, округлив руки, словно ловила

воздух.

«Мне казалось, она мягче», — подумал Фил.

Обед помешал ему предаться ночным воспоминаниям, заглушенным новым днем в разгаре и едва шевелящимся в глубине своего темного обиталища. Он выслушал комплименты насчет своей романтической бледности и критику по поводу молчаливости и плохого аппетита. Венка истребляла все подчистую и сияла ранящей веселостью. Фил недружелюбно наблюдал за ней, отметив про себя силу ее рук, раздирающих омара, гордое движение шеей, отбрасывающее назад волосы.

«Я должен бы радоваться, — думал он. — Она ни о чем не подозревает». Но в то же время он страдал от этой неисчерпаемой безмятежности и требовал в глубине души, чтобы Венка задрожала, как колосья на ветру, опечаленная этим предательством, которое она должна была бы почувствовать, чей дух кружил, как летняя гроза, над бретонским заливом.

«Она сказала, что любит меня. Она меня любит. И однако, прежде она не была такой спокойной».

После обеда Венка с Лизеттой танцевали под звуки фонографа. Она потребовала, чтобы Филипп танцевал тоже. Она сверилась с календарем

относительно приливов, в четыре часа будет отлив, она приготовила сачки, оглушила Филиппа и всю виллу криками, как озорной мальчишка, приказала приготовить для нее просмоленную веревку, старый карманный нож и распространила вокруг себя запах своего предназначенного специально для рыбной ловли дырявого свитера, пахнувшего йодом и водорослями. На Филиппа, утомленного от ночного похождения, напала сонливость — спутница катастроф и очень большого счастья, и он следил за Венка ненавидящим взглядом и нервно сжимал руки в кулаки.

«Достаточно сказать ей три слова, и она замолчит!..» Но он знал, что не скажет этих трех слов, и изнемогал от желания заснуть где-нибудь на теплом песке, положив голову на колени Венка…

Они шли вдоль берега, и им попадались креветки, триглы, которые развертывали, чтобы отпугнуть обидчиков, веер своих плавников и раздували радужное горло. Но Фил смотрел без интереса на ту живность, что копошилась между скал и которую выкидывала волна. Ему резало глаза солнце, отражавшееся в лужах и скользившее, как юнга, по мокрой шевелюре морской травы. Они полонили омара, и Венка безжалостно разрушила «гнездо», где мог прятаться угорь.

— Не видишь, что ли, он там! — кричала она, показывая Филу конец железного крюка, обагренного розовой кровью.

Фил побледнел и закрыл глаза.

— Оставь в покое животное, — задыхаясь, сказал он.

— Ну вот еще! Даю гарантию, что я его поймаю… Да что с тобой?

— Ничего.

Он, как только мог, скрывал боль, природу которой не понимал. Что он завоевал ночью в благоухающем сумраке, в руках той, кто жаждала сделать из него мужчину, победителя? Право страдать? Право потерять присутствие духа перед этим невинным и суровым ребенком? Право необъяснимым образом дрожать при виде беззащитных животных и сочившейся из них крови?..

Он, задыхаясь, глотнул воздух, поднес руки к лицу и разрыдался. Он так сильно плакал, что вынужден был сесть, а Венка стояла рядом, вооруженная испачканной кровью железной палкой, и была похожа на палача. Она склонилась к нему, ни о чем не спрашивая, словно музыкант, вслушиваясь в звук, модуляцию, хоть и новую, но постижимую, его рыданий. Она протянула руку ко лбу Филиппа, но, прежде чем коснуться лба,

убрала ее. Удивление сошло с ее лица, уступив место строгости, гримасе огорчения и печали, у которых не было возраста, и презрению сильной к подозрительной слабости мальчика, который плакал. Потом она взяла сачок, плетенную из листьев пальмы корзину, где прыгали рыбы, засунула железную палку, словно шпагу, за пояс и твердым шагом, не оглядываясь, пошла прочь.

XIIII

Он увидел ее вновь лишь незадолго до ужина. Она сменила одежду, предназначенную для рыбной ловли, на голубое платье под цвет глаз, отделанное розовыми фестонами. Он обратил внимание на белые чулки и замшевые туфли, в которые она была обута, и эти воскресные приготовления привели его в замешательство?

— У нас кто-нибудь будет к ужину? — спросил он у одной из семейных Теней.

— Сосчитай приборы, — ответила Тень, пожав плечами.

Август кончался, и ужинали уже при свете ламп, через открытые двери был виден зеленоватый закат, в котором еще плавали медно-розовые отсветы. Пустынное море, голубовато-черное, как ласточкино крыло, спало, и, когда те, кто сидел за ужином, умолкали, слышен был утомленный, все время повторяющийся плеск набегавшей на берег дремотной воды. Филипп поискал среди Теней глаза Венка, чтобы испытать силу той невидимой нити, что связывала их столько лет и спасла их, влюбленных и чистых, от грусти, сопровождающей конец трапез, конец сезона,

конец дня. Но Она смотрела в тарелку; в свете лампы блестели ее выпуклые веки, ее круглые загорелые щеки, ее маленький подбородок. Он почувствовал себя покинутым и стал искать глазами — по ту сторону полуострова, в форме вытянувшегося льва, с тремя дрожащими звездами над ним, — дорогу, белую в ночи, ведущую в *Кер-Анну.* Еще несколько часов, еще немного голубого пепла на небе, разрисованном заходящим солнцем, еще несколько ритуальных фраз: «Эге, да уже десять часов. Дети, вы словно и не подозреваете, что здесь ложатся в десять?»— «Да я как будто ничего особенного не сделал, мадам Одбер, ну ладно, я что-то устал...» Недолгое позвякивание посуды, жесткий стук костяшек домино по освободившемуся от еды столу, еще один протестующий вопль Лизетты, которая уже валилась со стула, но идти спать отказывалась... Еще одна попытка обратить на себя взгляд Венка, вызвать ее легкую улыбку, вернуть доверие втайне оскорбленной девушки; скоро пробьет тот час, который вчера был свидетелем стремительного бегства Филиппа... Он подумал об этом, не испытывая определенного желания, не обдумывая плана спастись, в пику Венка, в другом убежище, на другом нежном плече, вдохнуть со-

гревающее тепло, так необходимое этому юноше, излечившемуся от страсти, но убитому гневной враждебностью другого юного существа…

Один за другим был выполнен весь ритуал; служанка унесла хныкающую Лизетту, а мадам Ферре поставила на сверкающий чистотой стол дубль-шесть.

— Ты выйдешь, Венка? От этих бабочек, которые тычутся во все лампы, можно с ума сойти.

Она молча последовала за ним, и возле моря они еще застали полоску света, которая, несмотря на сумерки, долго держалась.

— Может, принести тебе шарф?

— Нет, спасибо.

Они шли, окутанные легким голубым маревом, поднимавшимся с прибрежного луга и пахнувшим тимьяном. Филипп поостерегся взять за руку свою подружку и содрогнулся от этой боязни.

«Боже ты мой, что же произошло между нами? Неужели мы потеряны друг для друга? Ведь она не знает, что было там, мне надо только забыть это, и мы опять станем счастливыми, как прежде, несчастными, как прежде, соединенными, как прежде».

Но его желание не подкрепилось гипнотической верой, так как Венка ступала рядом с ним

холодная и тихая, словно ее большая любовь ушла от нее и словно она не замечала тревоги своего спутника. А Фил уже чувствовал приближение часа и страдал от горячечной дрожи, которая била его на следующий день после того, как он, покрытый царапинами, ощутил в своей раненой руке жжение от нахлынувшей на него волны.

Он остановился, вытер лоб.

— Я задыхаюсь. Мне что-то неважно, Венка.

— Действительно неважно, — как эхо откликнулась она.

Ему показалось, что настало перемирие, и он взволнованно сказал, прижав руку к груди:

— Какая ты славная! Милая!..

— Нет, — прервал его голос Венка, — я вовсе не милая.

По-детски произнесенная фраза оставила надежду Филиппу, он схватил свою подругу за обнаженную кисть руки.

— Я знаю, ты сердишься, что я сегодня плакал, как женщина…

— Нет, не как женщина…

В темноте было не видно, как он покраснел, он попытался объяснить ей:

— Понимаешь, этот угорь, которого ты мучила в

его укрытии… Кровь этого животного на крюке… У меня вдруг защемило сердце…

— А! Действительно сердце… защемило…

По звуку ее голоса Филипп понял, что она догадывается, — он испугался, у него перехватило дыхание. «Она все знает». Он ждал разоблачающего рассказа, рыдания, упреков. Но Венка молчала, и спустя довольно долгое время, словно после затишья, которое следует за грозой, он рискнул робко спросить:

— И этой слабости достаточно для того, чтобы ты перестала меня любить?

Венка повернула к нему лицо, туманным пятном светившееся в темноте, обрамленное прямыми прядями ее волос.

— Ах, Фил! Я тебя всегда люблю. К несчастью, тут ничего не меняется.

Сердце у него подпрыгнуло; казалось, оно стучит в горле.

— Да? Значит, ты прощаешь мне, что я был таким «ребенком», таким смешным?

Она с секунду колебалась.

— Конечно. Я прощу тебя, Фил. Но это тоже ничего не меняет.

— В чем?

— В нас, Фил.

Она говорила мягко-загадочно, и он не осмелился расспрашивать ее дальше и не осмелился поверить в эту мягкость. Венка, без сомнения, последовала за ним по извилистому пути его раздумий, ибо она сказала внезапно:

— Ты помнишь сцены, которые ты мне закатывал, и я тебе тоже, — с тех пор прошло всего три недели, — из-за того, что у нас не хватит терпения ждать четыре-пять лет, чтобы мы могли пожениться?.. Бедный мой Фил, мне кажется, сегодня я была бы рада вернуться назад и опять стать ребенком.

Он ждал, чтобы она объяснила, остановилась на этом скользком, этом ненавистном «сегодня», маячившем перед ним в чистой, голубой, августовской ночи. Но Венка уже научилась вооружаться молчанием. Однако он настаивал:

— Ну, так ты на меня не сердишься? Завтра мы будем… мы будем Венка и Фил, как всегда? Навсегда?

— Навсегда, если ты так хочешь… Слушай, Фил, давай вернемся. Свежо.

Она не повторила за ним «как всегда». Но он удовольствовался этой неполной клятвой и пожатием холодной маленькой руки, задержавшейся на минуту в его. В это время послышалось

позвякивание раскручивавшейся цепи и пустого ведра на закраине колодца, скрежет в открытом окне передвигаемых вдоль металлического прута колец, на которых держались занавески, и эти привычные последние шумы уходящего дня знаменовали для Филиппа наступление того часа, которого он выждал накануне, чтобы открыть дверь виллы и незаметно скрыться… Да! Приглушенный красный свет в незнакомой комнате… Да! Черное счастье, постепенное умирание, жизнь, которую возвращают медленные взмахи крыла…

Он словно бы ожидал со вчерашнего дня нечто вроде оправдания со стороны Венка, двойного оправдания, которое она даровала ему с такой ясностью в голосе, с такой сдержанностью в словах, и он внезапно оценил, как истинный мужчина, значение дара, который преподнесла ему наделенная властью прекрасная фея.

XIV

— День вашего отъезда в Париж уже назначен? — спросила мадам Даллерей.

— Мы должны вернуться двадцать пятого сентября, — ответил Филипп. — Иногда в зависимости от того, на какой день приходится воскресенье, мы выезжаем двадцать третьего или двадцать четвертого, иногда и двадцать шестого В общем, плюс-минус два дня.

— А… Одним словом, вы уезжаете через две недели. Через две недели в этот самый час…

Филипп отвел глаза от моря, спокойного и белого возле песчаного берега, а вдали под низкими облаками цвета спинки тунца, и удивленно повернулся к мадам Даллерей. Она была закутана в белую, свободно ниспадающую ткань, наподобие женщин Таити, гладко причесана, напудрена телесного цвета пудрой и важно курила, ничто в ней не говорило о том, что этот молодой человек, сидящий неподалеку от нее, красивый и темноволосый, как и она сама, был ей вовсе не младшим братом, а представлял собой нечто совсем иное.

— Итак, через две недели в этот самый час вы будете… где?

— Я буду в лесу, на озере. Или на теннисе в Булони, с… с моими друзьями.

У него с губ едва не сорвалось имя Венка, и он покраснел; а мадам Даллерей улыбнулась своей мужской улыбкой, что придавало ей сходство с красивым мальчиком. Филипп, желая скрыть от нее свое лицо, на котором появилось злое выражение, словно то был маленький рассерженный бог, отвернулся к морю. Твердая бархатистая рука легла на его руку. Он продолжал смотреть на тусклое море, однако его разомкнувшийся рот искривился в какой-то блаженной агонии, которая отразилась в черных глазах, вспыхнувших белым пламенем, тотчас потухшим между ресницами…

— Не надо грустить, — тихо сказала мадам Даллерей.

— Я не грущу, — живо произнес Филипп. — Вам трудно понять…

Она наклонила голову с блестящими волосами.

— Да, конечно, мне трудно понять. Некоторые вещи.

— О…

Филипп благоговейно и недоверчиво взглянул на женщину, освобождавшую его от необходимости делиться опасной тайной. Раздавался ли еще

в маленьких покрасневших ушках тихий, приглушенный крик, походивший на крик человека, которому перерезают горло? Эти руки со множеством чуть выступающих мышц унесли его, легкого, задыхающегося, от этого мира в другой мир; этот рот, такой скупой на слова, наклонялся над ним, чтобы передать его рту одно всемогущее слово и чтобы едва различимо нашептывать напев, который, словно слабое эхо, вырывался из глубины, где жизнь — это страшная конвульсия… Она знала все…

— Некоторые вещи… — повторила она, как если бы молчание Филиппа означало, что он ищет ответа. — Но вы не любите, когда я задаю вам вопросы. Я иногда бываю нескромной…

«Как молния, да именно, — подумал Филипп, — как зигзаг молнии во время грозы, — ясный день вынужден отдавать ей то, что он прячет в тени…»

— Я хотела бы только знать, с радостью ли вы меня покидаете.

Молодой человек опустил глаза и посмотрел на свои обнаженные ступни. Небрежная одежда из шелковой вышитой ткани делала его похожим на восточного принца и очень его красила.

— А вы? — неловко спросил он.

Пепел от сигареты, которую держала между пальцами мадам Даллерей, упал на ковер.

— Обо мне не может быть речи. Речь идет о Филиппе Одбере, а не о Камил Даллерей.

Он поднял на нее глаза с удивлением, на этот раз вызванным ее необычным именем. «Камил… Ну да, ее зовут Камил. Она могла бы не называть мне его. Я про себя зову ее мадам Даллерей, дама в белом или просто Она…»

Она не спеша покуривала, созерцая море. Молодая? Ну конечно, лет тридцати — тридцати двух. Непроницаемая, как все спокойные люди, максимум внешних проявлений не превосходит умеренности иронии, улыбки, серьезности. Не отводя взгляда от морского простора, где назревала гроза, она опять положила свою руку на руку Филиппа и сжала ее, не считаясь с его желанием, только для собственного удовольствия. Пожатие этой маленькой, сильной руки заставило его заговорить, но он с трудом выдавливал из себя слова — так выступает сок из фрукта, если его сжать в руке.

— Да, мне будет грустно. Но, надеюсь, я не буду несчастлив.

— Да? А почему вы так думаете?

Он слабо улыбнулся и был трогателен, неловок,

одним словом, был таким, каким он ей втайне нравился.

— Потому что, — ответил он, — я надеюсь, вы что-нибудь придумаете… Ну да, вы же придумаете что-нибудь?

Она пожала плечом, подняла свои персидские брови. Ей пришлось сделать усилие, чтобы придать своей улыбке обычную безмятежность и высокомерие.

— Что-нибудь… — повторила она. — То есть, если я вас правильно понимаю, мне надлежит пригласить вас к себе, как я делаю сейчас, пока мне это нравится, а вам останется только встретиться со мной в тот час, когда вы будете свободны от своих обязанностей, школьных и… семейных.

Ее тон удивил его, но он выдержал взгляд мадам Даллерей.

— Да, — ответил он. — А что я еще могу? Вы меня упрекаете за это? Я ведь не бродяжка, свободный от вся и всех. И мне только шестнадцать с половиной лет.

Она стала медленно заливаться краской.

— Я ни в чем вас не упрекаю. Но разве вам не приходит в голову, что какая-нибудь женщина… другая, не я, конечно, могла бы быть обижена,

если б поняла, что вы хотите просто уединиться с ней на часок — только этого, только этого?

Фил, внимая ей с послушным видом школьника, вперил свои широко распахнутые глаза в этот скрытный рот, в эти ревнивые, однако ничего от него не требующие, глаза.

— Нет, — не колеблясь, сказал он. — Я не понимаю, почему вы могли бы обидеться. «Только это?» О… только это…

Он замолчал: на него опять напала слабость, и он почувствовал ту же блаженную печаль, а спокойная смелость Камил Даллерей поколебалась: Камил почувствовала уважение к своему творению.

Словно оглушенный, Филипп уронил на грудь голову, и это движение, эта покорность на миг окрылили завоевательницу.

— Вы любите меня? — низким голосом спросила она.

Он вздрогнул, испуганно посмотрел на нее.

— Почему… почему вы об этом спрашиваете?

К ней снова вернулось хладнокровие, и она улыбнулась своей ставящей все под сомнение улыбкой.

— Шутки ради, Филипп…

Но глаза его продолжали вопрошать ее, упрекая

за скупость в словах.

«Взрослый мужчина, — размышляла она, — сказал бы мне «да». Но этот ребенок, если я буду настаивать, расплачется и будет кричать, целуя и плача, что не любит меня. Так что ж, настаивать? Я должна выгнать его или с замиранием сердца выслушать и узнать из его собственных уст, до каких пределов простирается моя власть».

Она почувствовала, как у нее тяжело сжалось сердце, небрежно поднялась и направилась к открытому окну, словно забыв о присутствии Фила. Запах маленьких голубых ракушек у подножия скал, не прикрытых отхлынувшей с четырех часов морской водой, но вымытых ею, входил вместе с густым запахом словно кипящей бузины, который распространяла отцветающая бирючина.

Облокотившись о подоконник, с виду безразличная, мадам Даллерей всем своим существом чувствовала позади себя присутствие распростертого на полу юноши и изнемогала под бременем не покидавшего ее желания.

«Он ждет меня. Он прикидывает, какое удовольствие может получить от меня. То, чего я добилась от него, могла бы иметь любая другая. Этот маленький, боязливый буржуа начинает

дичиться, когда я расспрашиваю его о семье, манерничает, говоря о коллеже, и замыкается в своей крепости молчания и стыдливости, когда речь заходит о Венка… Он выучился у меня самому легкому… Самому легкому… Он приносит сюда, складывает к моим ногам и забирает так же, как свою одежду, эту… этот…»

Она отметила, что колеблется, не решается произнести слово «любовь», и отошла от окна. Филипп жадно следил за ней. Она положила ему руки на плечи и грубоватым жестом захватила его темную голову обнаженной рукой. И поспешила под его тяжестью к узкому темному царству, где ее гордость могла поверить, что его стон — признание в тоске, и где попрошайки вроде нее вкушают иллюзорную щедрость.

XV

Легкий дождь, шедший несколько часов ночью, сбрызнул шалфей, отлакировал бирючину и неподвижные листья магнолии и усеял жемчугом, не разорвав, легкую дымку, надежно окутавшую на сосне гнездо вылезавших одна за другой гусениц. Ветер не терзал больше моря, но стенал в подворотне слабым голосом искусителя, напоминая о том, что лето прошло и тайно заявляло об этом жареными каштанами и спелыми яблоками…

По его наущению Филипп опять надел на себя темно-голубой свитер, а поверх холщовую куртку, позавтракал последним, что часто случалось с ним с тех пор, как его сон стал менее чистым и менее спокойным и одолевал его только поздно ночью. Он побежал искать Венка, миновал тень от стены, освещенную террасу. Но девушки не было ни в холле, где от сырости вновь пахло деревянной лакированной обшивкой и полотняными чехлами, ни на террасе. Неощутимая дымка от дождя, словно благовонные курения, висела в воздухе и приникала к коже, оставляя ее сухой. Желтый осиновый лист, оторвавшийся от дерева,

качался, словно *с* обдуманной грацией, перед глазами Филиппа, затем перевернулся и упал на землю, негнущийся, непонятно тяжелый. Фил напряг слух, услышал в кухне зимний шум: это бросали уголь в печь. В комнате пронзительно кричала малютка Лизетта, потом заплакала.

— Лизетта! — позвал Филипп. — Где твоя сестра?

— Не знаю! — прохныкал гнусавый от слез голосок. Налетевший вдруг порыв ветра сорвал черепицу с крыши и бросил осколки ее к ногам Филиппа, тот оторопело посмотрел на них, словно это судьба разбила перед ним зеркало, что предвещает семь лет несчастья… Он почувствовал себя маленьким мальчиком, очень далеким от счастья. Но у него не возникло ни малейшего желания позвать ту, что жила на вилле, затененной соснами, там, по другую сторону мыса, вытянувшегося, как лев, и любила видеть его малодушным, ищущим поддержки у женского существа неукротимой энергии… Он обошел дом, нигде не обнаружил ни золотистой головки, ни голубого, как чертополох, платья, ни белого, как молодой шампиньон, холщового платья своей подруги. Длинные загорелые ноги с точеными сухими коленками не спешили ему навстречу;

нигде перед ним не расцвели ее синие, с сиреневым отливом глаза, ничто не утолило его жажды.

— Венка! Где ты, Венка?

— Да здесь я, — ответил рядом с ним спокойный голос.

— В сарае?

— В сарае.

Согнувшись в три погибели, в холодном свете убежища без окон, куда день проникает лишь через отворенную дверь, она перебирала какие-то тряпки, разложенные на старой простыне.

— Что ты делаешь?

— Не видишь, что ли? Я навожу порядок. Сортирую. Скоро ведь уезжать, и вот… Мама мне велела…

Она взглянула на Филиппа, на время оторвалась от работы и скрестила на согнутых коленях руки. Он нашел, что у нее жалкий, усталый вид, и возмутился.

— Это ведь не так уж срочно! И почему ты делаешь это сама?

— А кто же будет делать? Если за это примется мама, у нее опять разыграется ревмокардит.

— А горничная?

Венка пожала плечами и снова принялась за

работу; она тихонько разговаривала сама с собой, как делают настоящие работницы, все время негромко гудящие, похожие на озабоченных пчел.

— Это купальники Лизетты… зеленый… голубой… полосатый… Их только выбросить. А это мое платье с розовой отделкой… Его можно еще раз простирнуть… Пара, две, три пары моих сандалий… А эти — Фила. Еще пара Фила… Две клетчатые рубашки Фила… Рукава обтрепались, но перед вполне хороший… — Она разгладила ветхую ткань, увидела две дырки и поморщилась. Филипп смотрел на нее без всякой признательности, и на лице его было написано страдание и враждебность. Он страдал оттого, что на дворе утро, что под крышей из черепицы серое освещение, он страдал просто от любого дела. Сравнение, которое раньше не возникало, когда он втайне предавался любви там, в *Кер-Анне,* началось здесь, но еще не связывалось с личностью Венка, — Венка — культ их детства, Венка, почтительно оставленная им, чтобы он мог насладиться опьянением, таким ему необходимым и таким драматическим, первого любовного приключения.

Сравнение началось здесь, среди этих тряпок,

разбросанных на старой простыне, среди этих стен из неоштукатуренного кирпича, перед этим ребенком в сиреневатой блузе, выцветшей на плечах. Она работала, стоя на коленях, ей пришлось на миг остановиться, чтобы отбросить назад ровно подстриженные волосы, которые от ежедневного купания и пропитанного солью воздуха стали влажными и мягкими на ощупь. Вот уже две недели она ходила не такая веселая, как прежде, но более спокойная, и упрямая ее ровность тревожила Филиппа. Неужели эта юная хозяюшка с прической Жанны д'Арк предпочла бы скорее умереть вместе с ним, чем дожидаться того времени, когда можно будет любить друг друга открыто? Нахмурив брови, юноша мысленно взвешивал эту перемену, но, глядя на Венка, он почти не думал о ней. Она была здесь, и опасность потерять ее больше не мучила его, ее не нужно было завоевывать вновь. Однако, поскольку она была здесь, начались сравнения. Новая способность чувствовать, неизвестно отчего страдать, мука, которую он недавно вынес из-за прекрасной пиратки, возгорались в нем при малейшем поводе, кроме того — эта прямодушная несправедливость, это все возрастающее сознание превосходства, суть которого в том,

чтобы упрекать посредственность за то, что она посредственна, упрекать за то, что у нее такой взгляд на вещи… Он открыл не только мир чувств, который с легкостью называют физическим, но еще и необходимость приукрасить, чисто материально, алтарь, где неярким пламенем горит совершенство, но совершенство неполное. Его рука, ухо, глаза познали голодное томление, томление по бархатистости, по знакомой музыке голоса, запахам. Он не ставил себе этого в упрек, потому что чувствовал, что становится лучше от прикосновения к этому пьянящему избытку и что восточные шелковые одежды, накинутые в темноте, и тайна *Кер-Анны* облагораживают его душу.

Он неловко склонился перед великодушно нарисованным им неопределенным образом. Пренебрегая желанием признаться самому себе, что ему хочется видеть Венка, несравненную, прихорошившуюся, надушенную, он ограничился тем, что выказал печаль, какую испытывал, видя ее, коленопреклоненную, по-детски подурневшую. С его губ сорвалось несколько жестких слов, но Венка не обратила на них внимания. Это ожесточило его, тогда она ответила ему, но так, что он обругал ее, сам устыдившись своей несдер-

жанности. Ему потребовалось несколько минут, чтобы овладеть собой, он извинился с неубедительной сокрушенностью и почувствовал облегчение. Однако Венка продолжала терпеливо соединять разрозненные пары сандалий, выворачивать карманы поношенных свитеров, полные розовых ракушек и засохших морских коньков…

— Ну что ж, как хочешь, — заключил Филипп. — Ты молчишь… А я все говорю и говорю. Ты ведешь себя скверно. Почему?

Она окинула его взглядом умудренной жизненным опытом женщины, созревшей на уступках и уловках большой любви.

— Ты меня мучаешь, — сказала она, — но, по крайней мере, ты здесь.

XVI

«Этот год мы закончим тут, — мрачно думал Филипп, глядя на море. — Венка и я, в прошлом сплавленные в одно существо и, значит, вдвойне счастливые, существо, которое было Фил-и-Венка, в этом году умрет, умрет здесь. Разве это не ужасно? Разве не в моих силах этому помешать? Я ведь тут... Но сегодня вечером, после десяти, я, возможно, в последний раз за эти каникулы пойду к мадам Даллерей...»

Он наклонил голову, и его черные волосы поникли, как ветви плакучего дерева.

«Если б пришлось к ней идти сейчас, я бы отказался. Но почему?»

Белая под мутным, зажатым меж двух грозовых туч солнцем дорога, ведущая в *Кер-Анну*, вилась вдоль холма, поднималась, потом терялась вдалеке, поросшая жестким можжевельником, серым от пыли. Филипп отвел от дороги взгляд, к горлу подступила знакомая тошнота. «Да... Но сегодня вечером...»

После трех завтраков в *Кер-Анне* он отказался от дневных визитов, боясь, как бы не стали беспокоиться его родные и не заподозрила чего-нибудь

Венка. Впрочем, его крайняя молодость быстро изобретала алиби. Он остерегался также сильного смолистого запаха, характерного для *Кер-Анны* и того тела, которое он видел и обнаженным, и прикрытым одеждами; и ту, кому оно принадлежало, он тихонько, с гордостью маленького беспутного мальчишки или с печальными угрызениями совести супруга, обманувшего дорогую его сердцу жену, называл своей любовницей, а иногда своей «повелительницей»…

«Буду ли я уличен или нет, с этим надо кончать здесь. Но почему?»

Ни одна книга, среди всех, которые он читал открыто, положив локти на песок или укрывшись в своей комнате скорее из чувства целомудрия, чем от страха, не учила тому, что кто-то должен непременно погибнуть в таком обыкновенном кораблекрушении.

В романах сотни страниц или даже больше заполнены описанием приготовлений к любви физической, само же это событие занимает пятнадцать строк, и Филипп тщательно пытался отыскать в своей памяти книгу, где было бы описано, как молодой человек, один раз оступившись, не расстается с детством и целомудрием, но продолжает оставаться в них, увлекаемый

глубокими, как бы подземными, течениями еще много-много лет…

Филипп поднялся и пошел вдоль берега, изъеденного, истаявшего из-за сильных морских приливов. Над пляжем склонился вновь зацветший куст терновника, питающийся и держащийся лишь за счет немногочисленных сплетений своих корней. «Когда я был маленький, — подумал Филипп, — этот куст терновника не склонялся над пляжем. Море съело берег, — по крайней мере, метр его, — пока я рос… А Венка уверяет, что это куст терновника подрос…»

Недалеко от терновника зияла та самая круглая ложбина с ковром синего чертополоха, который все из-за голубизны называли «глазами Венка». Именно там в один прекрасный день Фил тайком нарвал голубого чертополоха — эту колючую дань любви — и перебросил его через стену *Кер-Анны*… Сегодня цветы на склонах были сухи, обожжены солнцем… Филипп остановился на минуту; он был еще слишком молод, чтобы улыбнуться таинственному значению, которое любовь придает увядшему цветку, раненой птице, сломанному кольцу, и он оттолкнул свое несчастье, расправил плечи, отбросил назад привычным, гордым движением волосы и мысленно сделал себе выговор,

что не умалило важности любовного романа для только что причастившегося его таинства.

«Итак, довольно быть слабым! Я по справедливости могу сказать себе, что в этом году стал мужчиной. А мое будущее…»

Он устыдился своих мыслей и покраснел. Его будущее? Месяцем раньше он еще размышлял над этим. Месяцем раньше это будущее рисовалось его мальчишескому воображению на широком, хоть и не вполне ясном ему фоне все до мельчайших подробностей; будущее с его экзаменами, с попыткой сдать на бакалавра, с работой, неблагодарной, но принимаемой почти без горечи: ведь «так надо, не правда ли?»; будущее и Венка, будущее, наполненное ею; будущее, проклятое или благословленное именем Венка.

«В начале каникул мне все не хватало времени, — думал Филипп. — А теперь…» Его улыбка, его взгляд были улыбкой и взглядом несчастного мужчины. Его верхняя губа с каждым днем все больше покрывалась черным пушком, и от этих тонких, мягких волосков, которые так же похожи на усы, как лесная трава на жесткое жнивье, его рот делался немного полнее, как у обиженно надувшегося малыша. И от этого рта отворачивался, а то неприметно возвращался к нему мститель-

ный взгляд Камил Даллерей.

«Мое будущее, хм, мое будущее… Все очень просто… Если я не буду доктором права, то ведь есть магазин папы, холодильники для гостиниц, замков; фары, отдельные детали и всякие жестянки для автомобилей. Степень бакалавра, а потом, сразу же, клиенты, разного рода корреспонденции… Папа не так много зарабатывает, у него нет даже своего автомобиля. О, еще ведь есть военная служба… Так что же тут думать?.. Мы говорим, что после моих экзаменов на бакалавра…»

Его воображение иссякло, на него напала невыносимая тоска, глубокое безразличие ко всему, что скрывало его будущее, лишенное, впрочем, всякой таинственности. «Если ты будешь служить где-нибудь в окрестностях Парижа, то я в это время…» В памяти Филиппа любящий голосок Венка нашептывал тысячу проектов, чей отсчет начинался уже с этого лета, — теперь они были никому не нужны, бесцветные, вырезанные из бумаги, которой не хватало красок.

Самым радужным мечтам предавался он в конце дня, час ужина и игры в шахматы с Венка или Лизеттой, — скорее даже с Лизеттой, чьи восемь задорных лет, острый глаз, ранняя смекалка давали передышку Филиппу от груза его чувств, — и

наконец час, когда он шел предаваться утехам любви… «А кроме того, — думал Филипп, — я, может, и не пойду туда. Да. Ведь я в своем уме, я не считаю минуты, я не поворачиваюсь лицом к *Кер-Анне*, как подсолнух к солнцу, я могу потребовать от себя быть самим собой, продолжать жить, снова почувствовать вкус к той жизни, которой я жил прежде…»

Ему не приходило в голову, что, употребляя это жесткое слово, он разделял им свою жизнь на две половины. Он не знал еще, сколько времени придется всем событиям его жизни ударяться об эту веху, это препятствие, чудесное и банальное одновременно: «Ах, да, это было прежде… Я помню: это было позже…» С чувством превосходства и зависти подумал он о товарищах по экстернату, дрожавших от нетерпения на презренном пороге, который они переступали, посвистывая, лжецы, бескровные от потери вкуса к жизни, и к тому же бахвалы. Потом он перестал думать об этом, потом опять мысленно возвращался к ученью, в которое вклинивались игры, подпольные курения, дискуссии о политике и спорте. «В то время как я… Это ее вина, Ее, если я уже ничего не хочу, даже ее…»

«Пробка» тумана, наплывавшего *с* моря, заку-

порила часть берега. Над морем висела лишь негустая завеса, перемещающаяся все время, неспособная скрыть весь скалистый остров. Порыв ветра подхватил ее, перетряс и в головокружительном вихре перенес ее на залив, беспросветную, плотную. В один миг Филипп, окутанный туманом, увидел, как исчезло море, пляж и дом, и закашлялся, словно в парной бане. Он привык к неожиданностям морского климата и стал ждать, пока другой порыв ветра не развеет этого пара; Фил попытался приноровиться к этим хлопьям, к этой символической слепоте, в чьей глубине вырисовывались спокойное лицо, выступающее из ореола волос, как ясная луна, и праздные руки, почти не делавшие никаких движений. «Она бездвижна… но она должна вернуть мне ощущение времени, его спешку, нетерпение, любопытство… Нет, это не то… Это не то… Я просто сердит на нее…»

Он попытался взбунтоваться, вызвать в себе чувство неблагодарности к ней. Ребенок шестнадцати с половиной лет не знает, что незыблемый порядок ставит на пути тех, чья любовь заслуживает, чтобы они стали любовниками, спешащими жить и жаждущими умереть, своих посланцев, отяжеленных грузом плоти, останавливающей

время, усыпляющей и парализующей душу и подающей совет дать ей дозреть.

Внезапно туман рассеялся, превратившись в воздух, — так убирают простыню с земли, оставляющую на травинках лишь капли готовой улетучиться влаги, лишь жемчужную росу на ворсистых листьях и мокрый блеск на гладких.

Сентябрьское солнце пролило на море, голубое вдали и зеленоватое у берега от затопленного песка, желтый свет, чистый и помолодевший.

Филипп глубоко вздохнул, выйдя из полосы морского тумана, и почувствовал радость оттого, что после этого душного убежища он оказался на ярком свету, омываемый свежим воздухом. Он повернулся к горам и увидел в расщелинах скал струящееся золото утесника, но тут он вздрогнул, обнаружив позади себя, словно дух, принесенный и забытый туманом, маленького молчаливого мальчика.

— Тебе чего, малыш? Ты не сын канкалезки, у которой мы покупаем рыбу?

— Да, — сказал малыш.

— Что, на кухне никого нет? Ты ищешь кого-нибудь?

Мальчик тряхнул рыжими волосами.

— Мне сказала дама…

— Какая дама?

— Она сказала: «Ты скажешь мосье Филу, что я уехала».

— Какая дама?

— Не знаю. Она сказала: «Ты скажешь мосье Филу, что мне нужно ехать сегодня».

— Где она тебе это сказала? На дороге?

— Да. В своем автомобиле.

— А, в своем автомобиле…

Филипп закрыл глаза, провел рукой по лбу и напыщенно проговорил:

— Ох… ох… В своем автомобиле… Прекрасно. Ох… ох…

Открыв глаза, он огляделся, ища посланца, но того и след простыл, и Филиппу показалось, что все было коротким сном, которым ошарашивает и который грубо изгоняет послеполуденная сиеста. Однако на тропинке, вьющейся по склону холма, он увидел удалявшегося злосчастного мальчишку, сверкавшего золотом волос и голубоватой, квадратной заплатой на штанах.

Филипп придал своему лицу глуповатое и самоуверенное выражение, словно мальчик из Канкаля мог его еще видеть.

«Ну и ладно… не велика важность, уехала так уехала. Днем раньше, днем позже… все равно она

должна была уехать!»

Но где-то внутри у него шевельнулось странное ощущение боли, почти физической. Фил позволил этой боли расти и склонил голову, словно прислушиваясь к тайному совету.

«Может, на велосипеде… А если она не одна? Я забыл спросить мальчишку, одна она или нет…»

Далеко-далеко вынырнул на дороге автомобиль. От его важного и продолжительного гудка боль на некоторое время утихла, но затем вцепилась в него снова, сводя его всего судорогой, словно от удара ниже живота.

«По крайней мере, не нужно больше спрашивать разрешения прийти к ней вечером…»

Филипп вдруг представил себе запертую виллу *Кер-Анна,* на которую льет свой свет луна, серые ставни, черную решетку, плененную герань и вздрогнул. Он лег в углубление на сухую траву и стал кататься, как молодая охотничья собака, которая страдает от блох, и скрести методичным движением обеих ступней песок. Он закрыл глаза; бег увесистых облаков, их густая, вздувшаяся белизна вызывали у него приступ легкой тошноты. Он мерно скреб ногой по песку и в такт этому движению напевал какой-то мотив. Так женщина, которая никак не может произвести

на свет младенца, начинает уговаривать его, а потом стонать, все громче и громче, пока стон не перейдет в душераздирающий крик.

Филипп удивленно открыл глаза, попытался собраться с мыслями.

«Однако… В чем дело? Я ведь знал, что она должна была уехать раньше нас. У меня есть ее парижский адрес, номер телефона… и потом, что произошло? Ну, уехала. Это моя любовница, это не любовь моя… Я могу жить без нее». Он сел и стал нанизывать на травинки четки улиток-ползуний, которыми любят лакомиться коровы. Он попробовал утишить боль смехом и грубостью.

«Она уехала, очень хорошо. Она не одна, эта женщина… Она не удостоила меня чести рассказать о своих делах, так… Хорошо. Одна или не одна, она уехала. Я потерял… что? Будущую ночь. Ночь перед моим отъездом. Ночь, — но я даже не уверен, нужна ли она мне сейчас. Я думал лишь о Венка… Обойдемся без одной приятной ночи… вот».

Но что-то вроде дуновения пронеслось в его мозгу, изгнало оттуда фальшь, ложную уверенность, внутреннюю усмешку и оставило только чистую, холодную субстанцию, ясное осознание того, что представлял собой отъезд Камил Даллерей.

«А… она уехала… уехала, и теперь вне пределов досягаемости, эта женщина, которая одарила меня… одарила… как называется то, чем она меня одарила? Имени нет. Одарила… С того самого времени, как я перестал быть ребенком и верить в дедушку Мороза, она единственная одарила меня. Она одна могла это отнять и отняла…»

Его темное лицо залила краска, соленая вода омочила глаза. Он расстегнул на груди одежду, взлохматил всеми десятью пальцами шевелюру, отчего стал похож на бесноватого, который только что бился на кулаках, и крикнул, задыхаясь, осипшим детским голосом: «Именно этой ночи я дожидался, именно!»

И всем телом, лицом, взглядом потянулся к невидимой *Кер-Анне;* группа облаков, двигавшаяся с юга, уже скрывала верхушку пустынного холма; и Филипп подумал, что некое коварное всемогущее существо стерло с лица земли все, что могло напоминать Камил Даллерей.

Кто-то кашлянул в нескольких шагах от него, внизу на песчаной тропинке, упирающейся в лестницу из плоских камней и бревен. Филипп увидел, как наверх медленно поднималась седеющая голова. Филипп мгновенно, как все дети, желающие утаить свои истинные чувства, при-

вел себя в порядок, глубоко спрятал свою ярость обманутого мужчины и со спокойным видом стал молчаливо ждать, когда появится отец.

— Вот ты где, малыш.

— Да, папа.

— Ты один? А где Венка?

— Не знаю, папа.

Филиппу почти не стоило труда удержать на лице маску приветливого, бойкого мальчишки. Его отец, стоявший перед ним, был похож на отца каждодневного: приятная внешность, вид немного помятый, расплывшаяся фигура, в общем, такой, как все земные существа, которых не звали ни Филиппом, ни Венка, ни Камил Даллерей. Фил терпеливо ждал, пока отец отдышится.

— Ты не был на рыбной ловле, папа?

— Ну вот еще! Я просто гулял. А Лекерек поймал осьминога… Вот, видишь трость? Так у него такой длины шупальца… Замечательный осьминог. Лизетта будет в восторге. Все-таки будьте внимательней, когда купаетесь.

— Папа! Да ведь это же не опасно!..

Филипп почувствовал, как фальшиво-звонко прозвучал его голос, словно у маленького мальчика. Серые навыкате глаза отца вопросительно смотрели на него; он не смог вынести ясного,

ничем не замутненного взгляда, выражавшего покровительственность и разобщенность с детьми, которые, живя среди родственников, скрывали свои истинные помыслы.

— Тебе не хочется уезжать, малыш?

— Уезжать?.. Но, папа…

— Да. Если ты устроен, как я, тебе будет не хотеться всегда. Этот край, этот дом. И потом Ферре. Ты поймешь, как редко бывает, чтобы друзья, проводящие вместе лето, не надоели друг другу… Наслаждайся тем, что еще осталось, малыш. Еще два дня хорошей погоды. Есть люди более несчастливые, чем ты…

Он еще говорил, но уже возвращался к Теням, откуда его на время извлекли взгляд, слова с подтекстом. Филипп подал ему руку, помог одолеть скользкий склон, выказывая ту холодную, жалостливую предупредительность, которая свойственна сыну по отношению к отцу, если отец человек зрелый, спокойный, а сын — суетящийся молодой человек, выдумавший любовь, муки плоти и гордость оттого, что один среди всего мира страдает, не прося помощи.

Приближаясь к плоской, узкой террасе, где располагалась вилла, Филипп выпустил руку отца, намереваясь спуститься к пляжу, к выбранному

менее часа назад месту, в тот уголок, где людей не бывало.

— Ты куда, малыш?

— Туда, папа… вниз…

— Это так спешно? Подожди немного. Я хотел тебе кое-что сказать насчет виллы. Знаешь, мы решили с Ферре купить ее. Впрочем, ты должен это знать, ведь разговоры об этом давно ведутся при вас, детях.

Фил не ответил, не решаясь ни лгать, ни признаться в той гудящей глухоте, которая отрезала его от мира семейных разговоров.

— Слушай, я тебе сейчас объясню. Прежде всего я решил, с согласия Ферре, расширить виллу, пристроив два двухэтажных крыла, над ними будут две террасы, а на втором этаже комнаты… Представляешь себе?

Фил с умным видом кивнул и честно попытался вслушаться. Но как он ни старался, в голове у него вертелось одно слово «тупик», мысленно он спускался по склону, до того места, где злополучный мальчишка сказал ему… «Тупик… тупик… Я в тупике». Однако он кивал головой, и его взгляд, полный сыновнего внимания, переходил с лица папаши на швейцарскую крышу виллы, с крыши на руку мосье Одбера, которая в воздухе рисовала

план новой виллы. «Тупик…»

— Понимаешь? Мы так и сделаем, Ферре и я. Или уже это ты договоришься с малюткой Ферре… Ведь трудно сказать, кто умрет, а кто останется…

«А, старая песня!» — внутренне воскликнул Филипп, передернув плечами, словно отряхиваясь от чего-то.

— Тебе смешно? Смеяться не над чем. Вы, молодые, не верите в смерть.

— Да нет, папа…

«Смерть… Наконец-то обычное, понятное слово… Каждодневное слово…»

— Конечно, есть все основания предполагать, что ты женишься на Венка со временем… По крайней мере, так утверждает твоя мать. Но есть также все основания предполагать, что ты на ней не женишься. Чему ты улыбаешься?

— Тому, что ты говоришь, папа…

«Что ты говоришь, и все так просто у родных, у людей зрелых, у тех, кто, как они говорят, пожил, и их простодушие, и смущающая ясность мысли…»

— Я не требую, чтобы ты ответил сейчас же. Если ты скажешь: «Я хочу жениться на Венка», для меня это будет означать то же самое, как если бы ты сказал: «Я не хочу жениться на Венка».

— Да?

— Да. Ты еще не достиг зрелости. Ты очень мил, но…

Серые навыкате глаза еще раз подернулись дымкой смущения, он смерил Филиппа с ног до головы взглядом и сказал:

— Надо подождать. Приданое маленькой Ферре — не слишком потянет. Так что же? Первое время прекрасно обходятся без бархата, шелков и золота…

«Бархат, шелк и золото… А-а… бархат, шелк, золото… красное, черное, белое, красное, черное, белое, — и кусочек льда, сверкающий, как алмаз, в стакане с водой… Мой бархат, моя роскошь, моя любовница и мой повелитель… Ах, как от всего этого отказаться…»

— …Работа… Поначалу все трудно… Серьезно… нужно время, чтобы подумать… время, в какое мы живем…

«Мне плохо. Где-то здесь, над желудком. И я испытываю ужас при виде этой фиолетовой скалы на темно-красном фоне, а в глубине себя я вижу белое и черное…»

— Семейная жизнь… изнеженность… Ей-богу!.. Первый кусок белого хлеба… Малыш… Что такое?.. Что такое?..

Голос, прерывистые слова потухли в тихом шелесте нахлынувшей воды. Филипп не почувствовал ничего, кроме слабого удара в плечо и щекотания сухой травинки у себя на щеке. Потом снова возник шум множества голосов, видение множества колючек, равномерный и приятный рев воды, и Фил открыл глаза. Его голова лежала на коленях у матери, а все Тени стояли кружком и склоняли к нему участливые лица. Его ноздрей коснулся платок, смоченный в лавандовом одеколоне, и он улыбнулся Венка, которая протиснулась к нему между Тенями, вся золотистая, розово-загорелая и кристально-голубая.

— Бедный мальчик!

— Я же говорила ему, я говорила, что он плохо выглядит!

— Мы разговаривали с ним, он стоял здесь, напротив меня, и вдруг — бах!..

— Он как все дети его возраста, они не следят за своим желудком, карманы вечно набиты фруктами…

— А первые выкуренные папиросы — про это вы забыли?

— Дорогой мой мальчик!.. У него глаза полны слез…

— Естественно! Это реакция…

— Впрочем, это было всего полминуты, ровно столько, сколько потребовалось, чтобы вас позвать. Говорю вам, он стоял здесь, мы разговаривали, а потом…

Фил легко поднялся, щеки у него были холодные.

— Не двигайся!

— Обопрись на меня, мой маленький…

Но Фил держал руку Венка и бессмысленно улыбался.

— Ничего, ничего! Спасибо, мама. Ничего, ничего!

— А тебе не хочется прилечь?

— Да нет! Я предпочитаю остаться на свежем воздухе.

— Нет, вы только взгляните на Венка! Да не умер твой Фил! Уведи его. Но только подальше оставайтесь на террасе!

Тени удалялись, как медленно катящийся клубок; они в дружеском участии взмахивали руками, подбадривали Фила словами; еще раз вспыхнул тревогой материнский взгляд, и Филипп остался наедине с Венка, она не улыбалась. Движением губ, ободряющим кивком головы он приглашал ее повеселиться, посмеяться, но она таким же движением ответила «нет» и продолжа-

ла разглядывать Филиппа, до того бледного, что под темным загаром он даже слегка позеленел; в его черных глазах играл рыжий солнечный луч, рот был приоткрыт, так что были видны мелкие, но частые зубы… «Как ты прекрасен… Как мне грустно!» — говорили голубые глаза Венка… Но он не прочел в них жалости, а ее твердая рука, привыкшая ловить рыбу и играть в теннис, лежала в его руке, словно набалдашник трости.

— Послушай, — тихо попросил Филипп. — Я объясню тебе. Ничего особенного. Пойдем куда-нибудь, где поспокойнее.

Она повиновалась, и они с важным видом пошли выбирать спокойное тайное укрытие; они нашли место в скалах, куда иной раз добиралось море во время приливов и куда оно нанесло быстро высыхавшего крупного песка. Они считали, что тайна не может быть доверена обивке из светлого кретона, сосновым стенам с музыкальным резонансом, которые от комнаты к комнате передавали новость, если один из обитателей виллы щелкал выключателем, кашлял или ронял ключ. Эти двое парижских детей, на свой лад независимые, бежали нескромности человеческого жилья и находили безопасные для своей идиллии и своих драм места то на открытом лугу,

то на скалистом берегу, то во впадине, вымытой приливом.

— Четыре часа, — сказал Филипп, определив время по солнцу. — Хочешь, прежде чем устроимся, я принесу тебе что-нибудь поесть?

— Я не голодна, — ответила Венка. — А ты не хочешь закусить?

— Нет, спасибо. У меня после обморока пропал аппетит Сядь поглубже, а мне лучше остаться с краю.

Они вели незамысловатую беседу, и оба понимали, что могут быть сказаны и значительные слова, и даже молчание между ними таило в себе глубину.

Сентябрьское солнце сверкало на отполированных, загорелых ногах Венка, на которые она натянула свое белое платье. Под ними море слегка зыбилось; туман, пробежав над ним, слизнул и смягчил эту рябь, и теперь море играло красками, какие у него бывали в хорошую погоду. Кричали чайки, друг за другом потянулись барки с развернутыми парусами, они покидали сумрак Менги и выходили в открытое море. Послышалось пронзительное пение: дрожащий детский голос прорезал дуновение легкого морского ветерка; наверху самой высокой скалы стоял увенчанный

короной рыжих волос, одетый в голубоватые штаны тот самый мальчишка…

Венка проследила за взглядом Филиппа.

— Да, — сказала она, — это мальчик поет.

Фил овладел собой.

— Ты говоришь о сыне торговки рыбой?

Венка покачала головой.

— Я говорю о мальчике, с которым ты только что говорил.

— С которым…

— Мальчик, который сообщил тебе об отъезде этой дамы.

Филипп возненавидел вдруг ясную погоду, песок на груди, и совсем не сильный ветер обжег его щеку.

— О чем… о чем ты говоришь, Венка?

Она не унизилась до ответа и продолжала:

— Мальчик искал тебя, но наткнулся на меня и мне первой сообщил. Впрочем…

Она оборвала себя обреченным жестом. Фил глубоко вздохнул, почувствовав некоторое облегчение.

— А… стало быть, ты знала… Но что ты знала?

— Кое-что о тебе… Не так давно. То, что мне известно, я узнала это недавно… Три-четыре дня назад, но я думала…

Она замолчала, и Филипп заметил под голубыми глазами на свежей детской щеке своей подруги перламутровый след ночных слез и бессонницы, этот серебристый лунного цвета отблеск, который можно увидеть на веках только тех женщин, что обречены молча страдать.

— Хорошо, — сказал Филипп. — Значит, мы можем говорить, если только ты не предпочитаешь молчать… Я сделаю, как ты захочешь.

У нее слегка вздрогнули уголки губ, но она подавила слезы.

— Нет, давай поговорим. Я думаю, так лучше.

Они испытали одновременно горькое удовлетворение, отделив с первых же слов беседы то, что в их споре могло бы обернуться ложью. Только герои, артисты и дети умеют держаться свободно, когда речь идет о вещах возвышенных. Эти дети безумно надеялись, что из любви может родиться благородная скорбь.

— Слушай, Венка, когда я впервые встретил…

— Нет, нет, — поспешила оборвать его Венка. — Только не это. Я тебя не спрашиваю об этом. Я знаю. Там, на дороге водорослей. Ты думаешь, я забыла?

— Но, — запротестовал Филипп, — в тот день нечего было забывать или помнить, потому

что…

— Постой! Постой! Ты думаешь, я привела тебя сюда, чтобы посудачить с тобой о ней?

По тому, с какой горечью и как просто говорила Венка, он понял, что его собственному тону не хватает естественности и раскаяния.

— Ты собираешься рассказать мне о ваших любовных делах, да? Не трудись. В эту среду, когда ты вернулся, я встала, не зажигая света… Я видела тебя… ты крался, как вор… Было уже почти светло. И у тебя было такое лицо… Тогда я постаралась разузнать. А как ты думаешь?.. На берегу все все знают. Только одни наши родственники ни о чем не догадываются…

Филипп был неприятно поражен, он нахмурился. Низменное, животное чувство, разбуженное в Венка женской ревностью, шокировало Филиппа. Он рассчитывал в этом найденном ими убежище на мягкую доверчивость, слезы, на долгие признания… Но он не принимал эту неприкрытую агрессивность, эту жестокость, это проворство, — все это уничтожало нарисованные им и льстящие ему живописные картины и обращалось в… а в самом деле, во что?

«Она теперь захочет умереть, — подумал он. — Она однажды уже хотела умереть, вот тут… Она

и сейчас захочет умереть…»

— Венка, ты должна мне обещать…

Она подалась к нему легким движением, не глядя на него, — вся воплощенная ирония и независимость.

— Да, Венка… Ты должна мне обещать, что ни здесь, ни в каком-либо другом месте ты… ты не будешь стремиться расстаться с жизнью…

Она ослепила его, бросив ему в лицо голубой луч своих широко открытых в быстром и твердом взгляде синих глаз.

— Как ты сказал? Расстаться… расстаться с жизнью?

Он положил руки на плечи Венка, наклонил тяжелую от многоопытности голову.

— Милая, я знаю тебя. Ты хотела тогда соскользнуть отсюда вниз и без всяких причин — тому полтора месяца, а теперь…

И пока он громко разглагольствовал, она сидела словно в оцепенении, и полукружия ее бровей были высоко вздернуты над ее глазами.

— Теперь?.. Умереть?.. Почему?..

Когда Венка произнесла это последнее слово, он покраснел, и она сочла краску стыда за ответ.

— Из-за нее? — закричала Венка. — Да ты в своем уме?

Фил раздраженно выдернул несколько пучков хилой травы и внезапно помолодел лет на пять.

— Мы всегда не в своем уме, сами пытаемся доискаться до того, чего хочет женщина, и когда воображаем, что она знает, чего ей хочется!

— Но я-то знаю, Фил. Я очень хорошо знаю. Знаю, чего хочу. Можешь не волноваться, я не убью себя из-за этой женщины. Полтора месяца назад… Да, я стала сползать туда, вниз, и потащила тебя за собой. Но тогда это ради тебя я хотела умереть и ради себя… ради себя…

Она закрыла глаза, запрокинула голову, голос ее смягчился, когда она произносила последние слова, и она стала похожа на всех женщин, которые запрокидывают голову и закрывают глаза, дойдя до высшей точки счастья. Впервые Филипп узнал в Венка сестру той, что с закрытыми глазами, с опущенной головой отдалялась от него именно тогда, когда он полагал, что крепче всего держит ее в своих объятиях…

— Венка! Послушай, Венка!

Она открыла глаза, встала.

— Что?

— Не уходи же вот так! Ты, того гляди, упадешь в обморок.

— Не упаду. Это больше подходит тебе: флакон

с солью, одеколон и вся эта суета!

Время от времени между ними проскальзывало нечто вроде сострадательной детской жестокости. Они черпали в ней силы, закалку, былую ясность, но потом их снова охватывало безумие, безумие тех, кто прожил больше, чем они…

— Я ухожу, — сказал Филипп. — Ты причиняешь мне боль.

На Венка напал приступ смеха. Смех был отрывистый, слышать его было неприятно, она хохотала, как любая женщина на ее месте, жестоко обиженная.

— Прелестно! Оказывается, это тебе причиняет боль!

— Ну да.

У нее вырвался пронзительный крик раненой птицы; Филипп от неожиданности вздрогнул.

— Что с тобой?

Она оперлась на тыльную сторону рук и стояла почти на всех четырех конечностях, как животное. Он увидел, что она покраснела от ярости. Два крыла ее волос свесились и почти сошлись на склоненном лице, оставив видимым лишь алый пересохший рот, короткий нос с раздувающимися от гнева ноздрями и два глаза, метавших голубые молнии.

— Замолчи, Фил! Замолчи! Я причиняю тебе боль! Ты жалуешься, ты говоришь о боли, а сам обманул меня, ты *лжец*, *лжец*, ты бросил меня ради другой женщины! У тебя нет ни стыда, ни здравомыслия, ни жалости! Ты привел меня сюда только для того, чтобы рассказать — и кому? мне, мне! — что ты делал с другой женщиной! Скажи, что это не так. Скажи, что не так. Скажешь?

Она кричала, как буревестник во время бури, испытывая наслаждение от этой ярости — ярости женщины. Внезапно она села, начала ощупывать вокруг себя землю, нашла камень и запустила им далеко в море с такой силой, что Филипп удивился.

— Замолчи, Венка…

— Нет, я не буду молчать! Во-первых, мы тут одни, а во-вторых, мне хочется кричать! И я думаю, есть о чем кричать. Ты привел меня сюда, потому что хотел рассказать, пережить снова то, что делал с ней, ради удовольствия слышать себя, слышать слова… говорить о ней, произносить ее имя, да, ее имя, и может быть…

Она вдруг ударила его кулаком по лицу, так неожиданно и так по-мальчишески, что он чуть было не набросился на нее, не начал ее тузить. Слова, которые она только что выкрикнула, удер-

жали его, и его мужское, врожденное чувство чести отступило перед тем, что поняла Венка и давала ему понять без обиняков.

«Она думает, она воображает, что я стал бы рассказывать ей об этих наслаждениях… И это Венка! Так вот какие мысли у нее в голове…»

Она замолчала, кашлянула, покраснев до корней волос. Две слезинки скатились из ее глаз, но она еще не смягчилась настолько, чтобы плакать и молчать.

«Я, значит, никогда и не знал, что у нее в голове, — подумал Филипп. — Все, что она сказала, так же удивительно, как та сила, с какой — я часто видел это — она плавает, прыгает, бросает камни…»

Он не знал, чего еще ждать от Венка, и зорко следил за ней. Сияние ее кожи, ее глаза, тонкая линия тела, складка на белом платье, натянутом на длинные ноги, отодвинули на задний план почти сладостное страдание, которое заставило его неподвижно лежать на траве…

Он воспользовался передышкой, чтобы выказать свое превосходство, свое хладнокровие.

— Я не побил тебя, Венка. Твои слова заслуживают этого еще больше, чем твои выходки. Но мне не хотелось бить тебя. Это первый раз в жизни я

позволил бы себе…

— Еще бы, — прервала она его хриплым голосом. — Прежде чем побить меня, ты бы побил другую. Я ни в чем не первая!

Эта ее ненасытность в ревности успокоила его, он чуть было не улыбнулся, но мстительный взгляд Венка заставил его поостеречься и не шутить пока. Они молчали, солнце спустилось за Менгу, и розовое пятно, искривленное, как лепесток, танцевало на гребне волн.

Наверху, на скале, позванивали колокольчики на коровах. На том месте, где только что пел злополучный мальчишка, появилась черная рогатая коза и заблеяла.

— Венка, дорогая… — вздохнул Филипп.

Она возмущенно взглянула на него.

— Ты осмеливаешься так называть меня?

Она наклонила голову.

— Венка, дорогая… — вздохнул он.

Она закусила губы, собрала все силы, чувствуя, как подступают к глазам слезы, у нее перехватило дыхание, и она не решилась заговорить. Филипп, уперевшись затылком в скалу, окаймленную невысокой сиреневатой пеной, смотрел на море, но, по всей вероятности, не видел его. Потому что он был утомлен, потому что была прекрасная

погода, потому что этот час с его ароматом и его грустью требовали этого, и Филипп вздохнул: «Венка, дорогая…» Так он сказал бы: «Ах, какое счастье!» или: «Как я страдаю!..» Его новая скорбь требовала слов стародавних, первых слов, родившихся на его губах; так старый солдат, если падает на поле битвы, со стоном произносит имя матери, которую он забыл.

— Молчи, несчастный, молчи… Что ты со мной сделал!.. Что ты сделал со мной!..

Она показала ему на слезы, которые катились по ее бархатным щекам, не оставляя следа. Солнце играло в ее глазах, откуда лились слезы, ее зрачки расширились, утонув в голубизне глаз. Верхняя часть лица Венка сияла великолепием любящей женщины, глубоко раненной, но готовой все простить; но ее рот кривился, подбородок дрожал, и она выглядела подростком, отчаявшимся и немного комичным.

Продолжая опираться на жесткую подушку, Филипп взглянул на Венка своими черными глазами, смягчившимися и выражавшими томление и призыв. Распалившаяся от гнева девочка превратилась в златоволосую женщину, от которой исходил женский запах, похожий на аромат, испускаемый розовым цветком бычьей травы,

или раздавленного в ладонях зерна неспелой ржи; этот бодрящий, терпкий запах дополнял впечатление Филиппа от всех полных жизни и силы жестов Венка. Однако Венка плакала и бормотала сквозь слезы: «Что ты со мной сделал…» Она хотела остановить поток слез и укусила руку, на которой выступило красное полукружие от ее молодых зубов.

— Дикарка… — сказал Фил вполголоса, ласково и благодушно, как сказал бы незнакомке.

— Больше, чем ты думаешь, — в тон ему ответила Венка.

— Не говори мне этого! — вскричал Филипп. — В каждом твоем слове угроза!

— Раньше ты бы сказал — обещание, Фил.

— Это одно и то же! — горячо запротестовал он.

— Почему?

— Потому что.

Он прикусил травинку, решив быть осторожным; он не мог бы выразить словами то глухое требование свободы, права на дающую силы и учтивую ложь, которые рождал в нем его возраст и его первое любовное приключение.

— Я спрашиваю себя, Фил, как же потом ты будешь меня предавать…

Она казалась огорченной и растерявшейся от отсутствия убедительных доводов. Но Филипп уже знал, как она может вдруг взбунтоваться и непостижимым образом вновь обрести силу.

— Не спрашивай себя об этом, — коротко попросил он.

«Позже… позже… Да, и будущее тоже присвоено ею себе… Ей хорошо, она может представить себе сейчас цвет этого будущего. В ней говорит желание посадить на цепь… Она далека от мысли умереть…»

В своей ненависти он не понимал этой высокой женской миссии длить, этого интуитивного желания приспособиться к несчастью и сделать из него богатую ценными минералами жилу. Час уже был поздний, Фил устал, он был измучен натиском этого разбушевавшегося ребенка, который боролся самым примитивным способом за спасение их двоих. Мысленно он вырвался из-под ее власти и побежал следом за мчащейся машиной, вздымавшей горизонтальное облако пыли, и, как нищий на дороге, подскочил к стеклу, за которым виднелась голова, склонившаяся под тюрбаном из белого газа… Он вновь увидел ее всю, до мельчайших подробностей: черные ресницы, черную родинку у губы, трепещущие, втянутые

ноздри, эти черты, которые он разглядывал в такой близости от себя. В такой близости!.. С блуждающим взглядом, испуганный, вскочил он в страхе оттого, что опять будет страдать, и в удивлении оттого, что, пока разговаривал с Венка, он перестал страдать…

— Венка!

— Что *с* тобой?

— Я… мне кажется, я сейчас упаду…

Властная рука сжала его руку, заставила его упасть подальше от крутого спуска, — он уже зашатался на краю пропасти. Он был убит, он больше не сопротивлялся, он только сказал:

— Это было бы лучшим выходом, быть может…

— О ля, ля!..

Она удовольствовалась этим тривиальным возгласом и не стала искать других слов. Она припала к телу обессиленного юноши и прижала его темноволосую голову к своей груди, которая круглилась под молодой, нежной кожей. Филипп дал овладеть собой недавней нехорошей привычке к пассивности, к которой его приучили мягкие руки; но хотя он испытывал непереносимую горечь, оттого что не мог вдохнуть смолистый запах, прильнуть к такой доступной груди другой женщины, он не переставал повторять, слегка

постанывая: «Венка дорогая… Венка дорогая…»

Она стала укачивать его, сомкнув вокруг него руки и сжав колени, как это делают женщины всей нашей планеты. Она проклинала его за то, что он так несчастен и так раскис. Она желала ему потерять рассудок и забыть в бреду имя женщины. Она мысленно обращалась к нему: «Ну… ну… Ты научишься узнавать меня… Я заставлю тебя увидеть…» И в то же время она отодвигала черную прядь с его лба, похожую на рассекшую мрамор тонкую трещину. Она по-новому воспринимала теперь близость, тяжесть этого юного тела, которое еще вчера она, подпрыгивая и хохоча, носила на закорках. Когда Филипп, приоткрыв глаза, встретил ее взгляд, умоляя ее глазами вернуть ему то, что он потерял, она ударила свободной рукой по песку и воскликнула про себя, как восклицают героини извечной драмы: «Ах, зачем ты только родился на свет!»

Между тем, боковым зрением, она наблюдала за подступами к далекой вилле; она, как матрос, определяла, насколько опустилось солнце: «Теперь уже седьмой час»; она отметила, как прошла от пляжа к дому Лизетта в своем белом раздувающемся платье, похожая на голубя. Она думала: «Нам нельзя здесь оставаться больше четвер-

ти часа, иначе нас обыщутся. Надо как следует умыться...» Душа и тело ее все еще трепетали от любви, ревности, от ярости, которая все никак не могла утихнуть. Она мысленно воссоздавала облик убежищ, таких же первобытных и неудобных, как это гнездо в скалах...

— Поднимайся, — очень тихо сказала она.

Филипп захныкал, как-то сразу отяжелел. Она догадалась, что он прибегает к жалобам, к бездействию, чтобы уйти от упреков и вопросов. Ее руки, только что почти материнские, оттолкнули его повинную голову, теплый торс, и это тело, которое недавно лежало в объятиях, стало просто юношей, чужим и лживым, способным предать, обласканным женскими руками, так его изменившими...

«Его следует, как черного козла, привязать к двухметровой веревке... Заточить его в комнате, *в моей* комнате... Жить бы в другой стране, где не будет других женщин, кроме меня... Или чтобы я была такой красивой, такой красивой... или чтобы он был таким больным, что я должна была бы ухаживать за ним...» Движущиеся тени ее мыслей пробегали по ее лицу.

— Что ты собираешься делать? — спросил Филипп.

Она спокойно разглядывала его черты, которые со временем станут чертами лица черноволосого, банально приятного мужчины, а пока, на пороге семнадцатилетия, за малостью лет, они были еще по сю сторону мужественности. Она удивлялась, как это ужасный, выдающий мужчин признак не отметил его нежный подбородок, его правильный нос, способный выражать гнев. «Но эти черные глаза, этот мягкий взгляд, бледно-голубые белки… Конечно, ни одна женщина не устоит перед этим…» Она покачала головой:

— Что я собираюсь делать? Готовиться к ужину. Так же, как и ты.

— И все?

Она поднялась, поправила платье, затянула шелковый эластичный пояс и поспешно обвела взглядом Филиппа, дом, море, которое уже засыпало, серое, похолодевшее, и отказывалось принимать участие в закатном сиянии.

— Да, все… если только ты не выкинешь чего-нибудь.

— Что ты имеешь в виду?

— Ну… убежать, разыскивать эту даму. Решить, что именно ее-то ты и любишь… Объявить об этом твоим родителям…

Она говорила по-детски строго, одергивая все

время платье, словно хотела раздавить себе грудь.

«У нее груди как морские ракушки… или как конические взгорки на японских акварелях…»

Она покраснела, потому что он отчетливо произнес слово «груди», и он обвинил себя в недостаточной к ней почтительности.

— Я не совершу ни одной из этих глупостей, Венка, — поспешно ответил он. — Но мне хотелось бы знать, что сделаешь ты, раз я оказался способен на все это или хотя бы на половину этого?

Она широко открыла глаза, поголубевшие от слез, но он ничего в них не прочел.

— Я? Я не стану жить по-другому.

Она лгала, она бросала ему вызов, но за лживостью взгляда он видел, он ощущал упрямство, не знающее ни устали, ни сомнений, постоянство, которое не дает сломиться возлюбленной и привязывает ее к предмету своей любви и к жизни, как только она узнает, что у нее есть соперница.

— Ты ведешь себя более благоразумно, чем можно было от тебя ожидать, Венка.

— А ты странно. Ты разве не заметил, что мне сейчас хотелось умереть? Умереть ради авантюры Мосье!

И она указала на него, повернув ладонь кверху, как это делают дети, когда с кем-нибудь спорят.

— Авантюра… — повторил следом за ней Филипп, одновременно и задетый, и польщенный. — Черт возьми! Все молодые люди моего возраста…

— Я должна еще привыкнуть, — прервала его Венка, — к тому, что ты и впрямь всего-навсего «молодой человек» твоего возраста.

— Венка, дорогая, клянусь тебе, что девушка не может говорить и не должна слушать…

Он опустил глаза, с самодовольным видом прикусил губу и добавил:

— Можешь мне поверить.

Он подал Венка руку и помог ей перебраться через сланцевые нагромождения, которые преграждали вход в их убежище, и низкие заросли терновника, отделяющие их от тропинки таможни. В трехстах метрах от них, на приморском лугу, вертелась на пятке, похожая на белый вьюнок, Лизетта, вся в белом, и ее маленькие загорелые руки подавали им сигналы: «Скорее! Вы опаздываете!» Венка помахала, но прежде чем начать спуск, она еще раз повернулась к Филиппу:

— Фил, я действительно не могу тебе поверить. Или все наше существование до сегодняшнего

дня было не чем иным, как одной из этих пошлых историек, какие описывают в нелюбимых нами книгах. Ты говоришь мне: «Молодой человек… девушка…», имея *в* виду и нас. Ты говоришь: «Авантюра, как у всех молодых людей моего возраста…» Но, Фил, ты все-таки не прав… видишь, я говорю с тобой спокойно…

Он довольно нетерпеливо слушал ее, смущенный тем, что искал в эту самую минуту разбросанные уголья и тернии своего большого горя, но ему не удавалось собрать их воедино. Крайняя, заметная растерянность Венка, хоть держалась она и уверенно, еще больше подсыпала этих колючек, а тут еще внезапным порывом налетел вечерний недобрый ветер.

— Пошли! Ну что такое?

— Ты все-таки не прав, Фил, потому что ты должен был бы у меня спросить…

У него пропали все желания, он был утомлен и жаждал остаться один, и, однако, приближения длинной ночи он ждал с опаской. У нее вырвался крик возмущения, ею овладела смутная неприязнь к нему; он смерил ее взглядом с головы до ног, сощурив глаза, и сказал:

— Бедняжка!.. «Спросить…» Прекрасно. Спросить разрешения, что ли?..

Он понял, что оскорбил ее; она потеряла дар речи, кровь бросилась ей в голову, оставив пурпурный след на щеках, на загорелой коже груди. Он обнял Венка за плечи и, прижав к себе, пошел по тропинке.

— Венка, дорогая, ты говоришь глупости! Глупости молоденькой, ничего, слава богу, не ведающей девушки.

— Славить бога надо за другое, Фил. Ведь ты не думаешь, что я знаю столько же, сколько первая женщина, которую создал бог?

Она не отстранилась от него и смотрела на него сбоку, не поворачивая головы; потом она взглянула на неровную дорогу, потом снова на Филиппа, чье внимание было приковано к этому углу глаза, который движение зрачка делало то голубым, как барвинок, то белым, как перламутр раковины.

— Скажи, Фил, тебе не кажется, что я знаю столько…

— Молчи, Венка! Ты не знаешь. Ты ничего не знаешь.

На повороте тропинки они остановились. Лазурь исчезла с поверхности моря, она была как металл, плотная, серая, не взбудораженная волнами; потухшее солнце оставило на горизонте

красный печальный след, поверх которого разлились бледные, зеленые, более светлые, чем заря, блики, меж которых сияла влажная первая звезда. Одной рукой Филипп сжимал плечи Венка, другую вытянул в сторону моря.

— Молчи, Венка! Ты не знаешь ничего. Это… такая тайна… Такая большая…

— Я тоже большая…

— Нет, ты не понимаешь, что я хочу тебе сказать.

— Понимаю, и очень хорошо. Ты поступаешь как мальчик Жалонов, который по воскресеньям поет в церковном хоре. Чтобы придать себе важности, он говорит: «Латынь! Вы знаете, латынь очень трудна!» Но он не знает ни слова по-латыни.

Внезапно она рассмеялась, подняв к Филиппу голову, и ему не понравилось, что она так быстро и так естественно перешла от драматического к смешному, от огорчения к иронии. Может, потому, что наступала ночь, он захотел покоя, пожираемого огнем сладострастия, тишины, во время которой кровь, словно нетерпеливый дождь, стучит в висках; его тянуло к опасностям, к полному неизведанного и почти немому закабалению, согнувшему его на пороге, который

другие юноши переступали, спотыкаясь, но богохульствуя.

— Слушай, замолчи. Не будь злюкой и грубиянкой. Если бы ты знала…

— Но я только этого и хочу: знать!

Голос ее звучал фальшиво, она смеялась смехом плохой комедиантки, чтобы утаить дрожь, бившую ее, и не показать, что она печалится, как все обиженные дети, которые ищут в рискованной затее возможность страдать немного больше, и еще больше, и все больше и больше, пока не наступит возмездие…

— Я прошу тебя, Венка! Ты меня огорчаешь… Это так на тебя не похоже!

Он отпустил плечо Венка и стал еще быстрее спускаться к вилле. Венка бежала за ним, подпрыгивая, когда тропинка становилась крутой, перескакивала через валики скошенной травы, смоченной росой; она уже приготовила выражение лица специально для Теней и обращалась к Филиппу, повторяя вполголоса:

— Не похоже? Не похоже? Вот этого-то как раз ты и не знаешь, Фил, хотя знаешь много всего другого…

За столом они сидели, достойные самих себя и своей тайны. Филипп смеялся над своими об-

мороками, требовал, чтобы о нем заботились, всячески привлекая к себе внимание: он боялся, как бы кто-нибудь не заметил блеска в глазах Венка, — с темно-розовыми тенями под ними, — прятавшихся под густой челкой над бровями, а Венка играла в ребенка: перед супом потребовала шампанского: «Чтобы поднять настроение Фила, мама!» — и одним духом опорожнила бокал.

— Венка! — укоризненно сказала Тень…

— Пустое, — снисходительно сказала другая Тень, — ничего ей не сделается.

К концу ужина Венка заметила, что Филипп ищет глазами не видимую отсюда за ночным морем Менгу, белую дорогу, растворившуюся в ночном сумраке, оцепеневший в пыли дороги можжевельник…

— Лизетта! — крикнула она. — Ущипни Фила, а то он сейчас заснет.

— Она ущипнула меня до крови! — застонал Филипп. — У, злючка! У меня слезы на глазах выступили.

— И правда, и правда! — громко закричала Венка. — У тебя слезы на глазах!

Она смеялась, а он под рукавом куртки из белой фланели потирал руку; но на щеках Венка и в ее глазах он видел пламя, загоревшееся от выпитого

пенистого вина, и сдерживаемое безумство, которое беспокоило его.

Немного позже где-то очень далеко на черном зыбящемся море завыла сирена, и одна из Теней перестала двигать по игральному столику фишки домино.

— Туман на море…

— Только что Гранвильский маяк ворошил эти хлопья, — сказала другая Тень.

Но голос сирены напомнил Филу воющий гудок автомобиля, бегущего по кремнистой дороге, и он подскочил.

— Как взволновался! — усмехнулась Венка.

Ловко прячась от Теней, она повернулась к ним спиной и умоляющим взглядом посмотрела на Филиппа.

— Нисколько, — сказал Филипп. — Но я больше не могу, я прошу отпустить меня спать… До свидания, мама, до свидания, отец… До свидания, мадам Ферре… До свидания…

— Ты сегодня освобождаешься от всех вечерних обязанностей, мой мальчик.

— Ты не хочешь выпить чашечку легкого настоя ромашки?

— Не забудь открыть окно!

— Венка, ты отнесла Филу флакон с солью?

Дружеские, опекающие голоса Теней, нанизанные друг на друга, провожали его до самых дверей, немного поблекшие, с нежным, слабым запахом сушеных трав. Они обменялись *с* Венка поцелуем, как это делали всегда, он поцеловал ее упругую щеку, потом ухо, шею, покрытый пушком уголок рта. Дверь за ним закрылась, благожелательная нанизь голосов тут же оборвалась, и он остался один.

Его комната, с открытым окном, глядящим в безлунную ночь, приняла его плохо. Стоя под лампой с абажуром из желтого муслина, он вдыхал враждебный и тонкий запах, который Венка называла «запахом мальчишки»: книги классиков, кожаный чемодан, приготовленный для послезавтрашнего отъезда, ботинки с резиновыми подошвами, мыло с нежным ароматом, одеколон.

Он особенно не страдал. Он испытывал то чувство изгнанности и общей усталости, которое не требует другого лекарства, кроме забытья. Он быстро лег, погасил лампу и инстинктивно нашел место у стенки, где его мальчишеские горести, его горячка взрослеющего юноши утихали под покровом ночи, в уюте хорошо подоткнутой под матрац простыни, ярких обоев, о которые

разбивались сны, навеянные полнолунием, морскими приливами или июльскими грозами. Он тотчас уснул, но во сне его обступили самые невыносимые картины его жизни и самые привычные. У Камил Даллерей было лицо Венка; а Венка, словно фокусник, властная, помыкала им с отталкивающей холодностью. Но ни Камил Даллерей, ни Венка в его грезах не хотели вспомнить, что Филипп — всего-навсего маленький изнеженный мальчик, которому хочется только уронить голову на чье-нибудь плечо, маленький десятилетний мальчик…

Он проснулся, увидел, что часы показывают без четверти двенадцать и что он проведет зряшную горячечную ночь среди родных в заснувшем доме; он надел сандалии, обвязался шнуром от купального халата и спустился вниз.

Месяц первой четверти скашивал скалу. Кривой и красноватый, он не заливал своим светом округу, и казалось, его сияние потухает от красного или зеленого огня вращающегося Гранвильского маяка. Но благодаря ему ночь не затопляла зелень трав и кустарников, и белая штукатурка виллы меж выступающих балок как будто слабо фосфоресцировала. Филипп оставил открытой застекленную дверь и шагнул в эту тихую ночь, как

входят в надежное и печальное убежище. Он сел прямо на пол террасы, не поддающейся сырости, истоптанной и загроможденной шестнадцатью годами каникул, Лизетта извлекала иногда из-под досок старую, заржавевшую игрушку, лежавшую там десять, двенадцать, пятнадцать лет…

Он чувствовал себя опустошенным, свободным от всего и благоразумным. «Может, это и называется «стать мужчиной», — подумал он. Бессознательное желание поделиться с кем-нибудь своей печалью, своей обретенной мудростью мучило его, не находя избытия, как у всех добросовестных маленьких атеистов, которым светское воспитание отказало в попечительстве бога.

— Фил, это ты?

Голос спустился к нему, точно прибитый ветром лист. Он поднялся, бесшумно шагнул к окну с деревянным балконом.

— Да, — выдохнул он. — Ты, значит, еще не спишь?

— Конечно, нет. Я сейчас спущусь.

Она подошла к нему так тихо, что он даже не заметил. Он увидел возле себя только светлое лицо, возвышающееся над смутным силуэтом, почти растворившимся в ночи.

— Ты замерзнешь.

— Нет. Я набросила на себя голубое кимоно. А впрочем, погода теплая. Уйдем отсюда.

— Почему ты не спишь?

— Не спится. Я думаю. Уйдем отсюда, а то разбудим кого-нибудь.

— Я не хочу, чтобы в такое время ты пошла на пляж, можно схватить насморк.

— Я не схватываю так быстро насморка. И потом я совершенно не рвусь на пляж. Наоборот, давай лучше поднимемся наверх.

Она говорила чуть слышно, но Филипп не пропустил ни одного слова. Отсутствие окраски в ее голосе доставляло ему несказанное удовольствие. Это уже не было голосом Венка или другой женщины. Незаметное ее присутствие, почти невидимой, обычный тон, — незаметное присутствие, безобидное, без определенного намерения — только прогулка, только спокойное ночное бдение, — навевали покой.

Он обо что-то споткнулся, и Венка придержала его за руку.

— Это горшки с геранью, разве ты не видишь?

— Нет.

— Я тоже. Но я различаю их, как различают предметы слепые, *я* знаю, что они здесь... Осторожно, рядом должен быть ящик.

— Откуда ты знаешь?

— Догадалась. От него будет шум, как от лопаты для угля… Бум!.. А что я тебе говорила?

Это озорное перешептывание приводило Филиппа в восторг. Он готов был расплакаться от радости, оттого, что спало напряжение, оттого, что Венка такая кроткая, похожая в сумраке на Венка прежнюю, когда ей было двенадцать лет и она вот так же шептала, склонившись над мокрым песком, а полная луна плясала на брюшках рыб, пойманных во время полночного лова…

— А помнишь, Венка, ту ночь, когда мы выловили самую большую камбалу?..

— А ты схватил бронхит. Из-за этого нам строго-настрого запретили ловить ночью… Слушай!.. Ты закрыл стеклянную дверь?

— Нет…

— Ты слышишь, что поднимается ветер, а дверь хлопает? Ах, обо всем-то я должна помнить!..

Она исчезла и вернулась так неслышно, — словно это сильф ступал своими легкими стопами, — что Фил догадался о ее возвращении лишь по запаху, который гнал перед собой ветер…

— Чем от тебя пахнет, Венка? Как ты надушилась!

— Говори тише. Мне было жарко, и, прежде чем

спуститься, я протерлась дезодорантом.

Он промолчал, но его разбуженное внимание отметило, что Венка действительно обо всем помнила.

— Иди, Фил, я держу дверь. Не наступи на салат.

Поднимавшийся от возделанной земли запах огорода заставлял забыть, что море по соседству. Перелезая через низкую плотную стенку из тимьяна, Филипп поцарапал себе ноги, ему попались под руку несколько пушистых рыльц львиного зева.

— А знаешь, Венка, в огород из-за рощицы не доносятся звуки из дома.

— Да в доме все тихо. Мы тоже тише воды.

Она подобрала с земли преждевременно созревшую небольшую грушу, источенную изнутри червем. Он услышал, как она вонзила в плод зубы, а потом отшвырнула его.

— Ты что? Ешь?

— Это желтая груша. Но она плохая, и я тебе не предложила ее.

Такая свобода в их отношениях не развеяла совсем смутной тревоги Филиппа. Ему показалось, что Венка немного слишком кротка и ясна, как дух; и он вдруг подумал об этой странной весе-

лости, словно выпорхнувшей из могилы, об этой бездумной теплоте, которая слышится в смехе монашек. «Хорошо бы увидеть ее лицо», — пришло ему на ум. Он вздрогнул, представив себе, что этот голос, лишенный окраски, эти слова играющей девочки могли исходить от скривившейся маски, брызжущей гневом и сверкающей яркими красками, который противостоял полыханию его ярости там, в скалах.

— Слушай, Венка!.. Давай вернемся.

— Как хочешь. Подожди еще минутку. Еще минутку. Мне хорошо. А тебе? Нам обоим хорошо. Как ночью легко живется! Но не в комнате. О! Я ненавижу вот уже несколько дней свою комнату. Здесь мне не страшно… Светлячок! Так поздно, осенью! Нет, не надо его брать… Глупый, ну чего ты вздрогнул? Это всего-навсего кошка пробежала. Ночью кошки ловят полевых мышей…

Послышался тихий смех, рука Венка обвила его талию. Он прислушивался к каждому вздоху, к каждому хрусту, но, несмотря на беспокойство, он был рад этому непрекращающемуся, *с* разными оттенками перешептыванию. Венка не боялась темноты и вела себя в ней как в знакомой, дружеской стране и все объясняла Филиппу, оказывала ему полуночные почести и вела его за собой,

словно поводырь.

— Венка, дорогая, вернись…

Она издала звук, похожий на лягушачье кваканье.

— Ты назвал меня дорогой! Ах, почему ночь не все время! Ты сейчас не тот, кто обманул меня, а я не та, которая так страдала… Ах, Фил! Давай пока не будем возвращаться, позволь мне немного побыть счастливой, немного влюбленной, уверенной в тебе, какой я была в своих мечтах, Фил… Фил, ты не знаешь меня.

— Может быть, дорогая…

Они споткнулись обо что-то на сухой траве, которая хрустнула у них под ногами.

— Это побитая гречиха, — сказала Венка. — Они сегодня били ее цепами.

— Откуда ты знаешь?

— А когда мы *с* тобой спорили, ты не слышал ударов цепов? Я слышала. Сядь, Фил.

«Она, она слышала… Она была в ярости, ударила меня по лицу, без конца говорила мне разные слова— но при этом слышала удары цепов…»

Он невольно сравнил с этой неусыпностью всех женских чувств воспоминание о другой женской умелости…

— Фил, не уходи! Я не была злой, я не плакала,

не упрекала…

Круглая головка Венка с шелковистыми, ровно подстриженными волосами склонилась на плечо Филиппа, и теплота щеки девушки согрела его щеку.

— Обними меня, Фил, умоляю тебя, умоляю…

Он обнял ее, примешав к своему удовольствию беспощадность юности, которая думает лишь об удовлетворении собственных желаний, и слишком сильное воспоминание о другом поцелуе, который у него взяли, не спросясь его. Но он узнал очертание губ Венка, прижавшихся к его губам, вкус, который хранили ее губы, вкус надкушенного ею плода, почувствовал готовность, с какой приоткрылся этот рот, обнаружив и без остатка отдав свою тайну, — и он покачнулся во тьме. «Ну, все, — подумал он, — мы погибли. Ах, скорей бы уж, раз так надо и потому что она не захочет больше никогда, чтобы было по-другому… Бог ты мой, какой у нее рот, глубокий, неотвратимый и умелый с самого начала… Мы погибаем, скорее, скорей!..»

Но обладание — это чудо, достающееся с трудом. Яростная рука, которую ему не удавалось отвести, крепко сжимала затылок Филиппа. Он тряхнул головой, чтобы освободиться от этой

руки, но Венка, подумав, что Филипп хочет прервать их поцелуй, еще теснее прижалась к нему. Наконец он схватил ее за напрягшееся запястье и отбросил Венка на ложе из гречихи. Она издала короткий стон и лежала не шевелясь, но когда он пристыженно склонился над ней, она снова привлекла его к себе и вытянулась. Наступила сладостная передышка, почти братская, каждый из них испытывал к другому немного жалости и теплоты, смирение подвергнутых испытанию любовников. Венка, невидимая, лежала на повернутой вверх ладонью руке Филиппа, а другая его рука гладила ее кожу, чью нежность он знал так же, как и рельефные следы, оставленные шипом цветка или неровностями скалы. Она попыталась засмеяться, попросив его тихо:

— Не трогай мои роскошные ссадины… Ах, какой мягкой кажется гречиха…

Но он слышал, как дрожит ее голос, и сам дрожал. Он все время искал в ней то, что знал меньше всего, — ее рот. Пока они переводили дух, он решил вскочить на ноги и опрометью броситься домой. Но, отодвинувшись от Венка, он почувствовал себя физически опустошенным, его охватил ужас от свежего воздуха и от своих пустых рук, и он вернулся к ней с тем порывом,

которому поддалась и она и который переплел их ноги. Он нашел в себе силы назвать ее «Венка, дорогая» с покорной и в то же время умоляющей интонацией, призывая ее одновременно благословить его и забыть о том, чего он пытался добиться от нее. Она поняла и обнаружила лишь изнемогшее молчаливое отчаяние, поспешность, о которую она сама ранила себя. Он услышал короткий возмущенный стон, выдержал невольную атаку, но тело, которое он оскорблял, не отпрянуло от него и отказалось от помилования.

XVII

Он спал мало, но глубоко, а когда встал, ему показалось, что весь дом вымер. Но внизу он увидел сторожа с его молчаливой собакой, рыболовные снасти, а на втором этаже услышал, как всегда, кашель отца. Он спрятался между живой изгородью из бересклета и стеной террасы и стал наблюдать за окнами Венка. Сильный морской ветер разгонял облака, от его дыхания они таяли. Повернувшись, Фил заметил канкалезские паруса, лежавшие на морской зыби. В доме все еще спали: окна были закрыты.

«Но она, она спит еще? Говорят, что после этого они плачут. Может, и Венка сейчас плачет. Вот теперь бы она отдыхала на моей руке, как это было там, на песке. И тогда я сказал бы ей: «Это все неправда. Ничего не произошло! Ты моя Венка, такая же, как всегда. Ты не подарила мне это удовольствие, которое и не было слишком большим удовольствием. Ничто не правда, даже этот вздох и эта начатая и тут же прерванная песня, которые сделали тебя вдруг тяжелой и непомерно длинной в моих руках, словно ты была мертва. Все неправда. Если сегодня вечером

я исчезну на белой дороге, что ведет в *Кер-Анну* и если я вернусь один на заре, я спрячу это так хорошо, что ты не узнаешь… Пойдем гулять по берегу и возьмем с собой Лизетту».

Он не понимал, что радость, которую ты не изведал, потому что тебе ее неохотно подарили, — придет потом. Благородство юности склоняло его к спасению того, чему нельзя было дать погибнуть: пятнадцать лет восхитительной жизни, пятнадцать лет нежных забот, пятнадцатилетие чистых и влюбленных близнецов.

«Я скажу ей: «Ты думаешь, что наша любовь, любовь Фила и Венка кончилась не там, не на этом ложе из гречихи, ощетинившейся колючими соломинками. Кончилась не в постели твоей или моей. Это очевидно, это наверняка. Верь мне! Есть женщина, которую я плохо знаю, но которая дала мне такую большую радость, что еще и сегодня, далеко от нее, я трепещу, как сердце угря, вынутое у него живым; чего не сделает для нас наша любовь? Это очевидно, это наверняка… А если я ошибаюсь, ты не должна знать, что я ошибаюсь…»

«Я скажу ей: «Это преждевременная мечта, это бред, пытка, когда ты кусала свою руку, моя бедная подружка, мужественный помощник в моих

жестоких неурядицах. Для тебя это было мечтой, возможно, несбыточной; для меня унижением, наслаждением менее глубоким, чем каверзы одиночества. Но ничего еще не потеряно: ты только забудь, и я тоже сотру из памяти воспоминание, на которое ночь уже сострадательно накинула свой покров… Нет, я не сжимал твои гибкие ноги меж своих колен; лучше посади меня к себе на плечи и побежим по песку…»

Когда он услышал, как скользят занавески по пруту, он призвал на помощь все свое мужество и не отвернулся от окна…

Между отворенными и прижатыми к стене ставнями показалась Венка. Она несколько раз старательно зажмурилась и пристально, хоть и равнодушно, посмотрела прямо перед собой.

Потом она погрузила руки в гущину своих спутанных волос и вытащила оттуда сухую соломинку… Когда же она высунулась из окна и наклонилась, высматривая, без сомнения, Фила, ее лицо меж разбросанных в беспорядке волос залила краска и одновременно осветила улыбка. Оживленная, она взяла в комнате глиняный, покрытый глазурью кувшин и стала тщательно поливать пурпурную фуксию, украшавшую деревянный балкон. Она взглянула на небо, ясное

и голубое, обещавшее хорошую погоду, и начала напевать песенку, которую она напевала каждый день. Филипп наблюдал за ней из зарослей бересклета, как человек, собирающийся совершить нападение.

«Она поет… Нет, действительно, я могу доверять своим глазам и своим ушам. Она поет? И только что поливала фуксию».

Ему ни на секунду не пришло на ум, что он сам хотел этого и это должно было бы обрадовать его. Но он ощутил лишь разочарование и, как человек, не искушенный в самоанализе, попытался сравнить свое чувство с чем-нибудь ему известным.

«Ночью я приходил под это окно и убивался, потому что меня озарило: как велика разница между моим детством и моей нынешней жизнью! А она поет, она поет…»

Цветом своих лазоревых глаз Венка соперничала с утренним морем. Она расчесывала волосы, продолжая напевать с закрытым ртом все тот же мотивчик, и смутная улыбка блуждала по ее лицу.

«Она поет. Она будет красивой за обедом. Она крикнет: «Лизетта, ущипни его до крови!» Ни большого счастья, ни большого несчастья… Она

все такая же…»

Он увидел, как Венка, опершись грудью на перила деревянного балкона, наклонилась, чтобы заглянуть в комнату Фила.

«Я могу высунуться из соседнего окна или перешагнуть через балконную решетку и подойти к Венка, и она бросится мне на шею…

О ты, кого я называл «моим повелителем», почему ты показалась мне некогда более пылкой, чем эта маленькая, неопытная девочка, которая держится столь естественно? Ты уехала, не сказав мне ничего. Если тебя привязывала ко мне только гордость дарителя, сегодня ты бы в первый раз пожалела меня…»

Из пустого окна доносился слабый, счастливый напев, но Филиппа это не трогало. Он не думал и о том, что через несколько недель дитя, которое сейчас пело, может быть, заплачет в этом самом окне, ошеломленное, услышавшее свой приговор. Он спрятал лицо в сгибе согнутой руки и мысленно измерил всю свою ничтожность, свое падение, свою мягкотелость. «Ни герой, ни палач… Немного горя, немного радости… Вот и все, что я ей дал… вот и все».



РОЖДЕНИЕ ДНЯ



ПЕРЕВОД В. НИКИТИНА



Неужели, читая мою книгу, вы полагаете, что я пишу свой портрет? Терпение: это только моя модель.

Рождение дня

I

«Сударь,

Вы приглашаете меня провести дней восемь в вашем доме, то есть рядом с моей дочерью, которую я обожаю. Вам, живущему рядом с ней, известно, как редко я ее вижу, каким очарованием для меня наполнено ее присутствие, и я тронута тем, что вы приглашаете меня ее повидать. Тем не менее я не приму Вашего любезного приглашения, по крайней мере сейчас. И вот почему: возможно, скоро зацветет мой розовый кактус. Это очень редкое растение, которое мне подарили и которое, как мне сказали, цветет у нас только раз в четыре года. А я ведь уже очень стара и если меня не будет, когда зацветет мой розовый кактус, то мне уже наверняка не удастся увидеть, как он расцветет еще раз…

Примите же, Сударь, вместе с искренней благодарностью, уверения в лучших чувствах и мои сожаления».

Это послание за подписью «Сидони Колетт, урожденная Ландуа» было написано моей матерью одному из моих мужей, второму по счету.

А год спустя она умерла в возрасте семидесяти семи лет.

В часы, когда я чувствую себя какой-то уничтоженной всем тем, что меня окружает, когда меня угнетает сознание собственной посредственности, когда я с ужасом обнаруживаю, что мышцы утрачивают свою выносливость, желание — свою силу, боль — остроту своего каленого лезвия, я все же еще могу выпрямиться и сказать себе: «Я дочь той, которая написала это письмо и многие другие, сохранившиеся у меня письма. Десять строчек этого письма мне объясняют, что *в* семьдесят шесть лет она задумывала и осуществляла путешествия, но что при этом ожидание вот-вот готового раскрыться тропического цветка останавливало все и наполняло покоем даже ее созданное для любви сердце. Я дочь той женщины, которая в своем небольшом краю, жалком, прижимистом и скученном, открыла дверь своего сельского дома бродячим кошкам, нищим и беременным служанкам. Я дочь той женщины, которая, сто раз отчаявшись, что у нее не хватает денег для других, бежала к богатым домам в снегопад, подстегиваемая ветром, и кричала у каждой двери, что только что у нищего очага родился ребенок, что его, голенького в таких же

голых слабеющих руках, не во что запеленать… Пусть я никогда не смогу забыть, что являюсь дочерью женщины, которая трепетала, склоняя свое очарованное, испещренное морщинами лицо меж саблями кактуса над еще не распустившимся цветком, женщины, которая сама без устали не переставала расцветать на протяжении трех четвертей века…»

Сейчас, когда я постепенно увядаю сама и в зеркале становлюсь все более похожей на нее, я начинаю сомневаться, чтобы она, вернувшись, признала во мне свою дочь, несмотря на сходство наших черт… Разве что, возвратившись, когда день только забрезжит, она застанет меня на ногах, бодрствующей среди спящего мира, проснувшейся, как это случалось с ней, как это часто случается со мной, раньше всех…

Почти раньше всех, о мое целомудренное и безмятежное привидение; но только я не смогла бы тебе предъявить ни голубого, полного корма для кур фартука, ни садовых ножниц, ни деревянного ведра… Вставшую почти раньше всех, но стоящую на пороге, сохранившем печать ночного шага, но полунагую, в трепещущем, наспех накинутом манто, но с дрожью от страсти в руках и прикрывающую — о, стыд, о спрячьте меня, —

тень мужчины, совсем тонкую…

«Посторонись, дай я посмотрю, — сказал бы мне мой дорогой призрак… — Ах! Ведь ты обнимаешь мой розовый кактус, который меня пережил, правда? Как он удивительно вырос и изменился!.. И все же, дочь, вглядываясь, я узнаю твое лицо. Узнаю по твоему пылу, по твоему ожиданию, по преданности твоих раскрытых рук, по биению твоего сердца и по сдерживаемому тобой крику, по раннему дневному свету, который тебя окружает, конечно, узнаю — это все мое. Останься, не прячься, и пусть вас обоих оставят в покое, тебя и того, кого ты обнимаешь, потому что на самом деле он и есть мой розовый кактус, который наконец собирается расцвести».

II

Неужели это он, мой последний дом? Я его вымеряю, вслушиваюсь в него, пока длится то, подобное ночному, затишье, которое здесь наступает сразу вслед за полуденным часом. Потрескивают цикады и новая обшивка террасы, какое-то неведомое мне насекомое гасит горящие угольки в своих надкрыльях, каждые десять секунд раздается крик сидящей на сосне красноватой птицы, а западный ветер, осторожно огибающий мои стены, оставляет в покое ровное, плотное, твердое море, окрашенное жесткой синевой, которая к концу дня смягчается.

Неужели это мой последний дом, дом, которому я останусь верна, который уже больше никогда не покину? Он такой заурядный, что у него просто не может быть соперников.

Я слышу, как звенят бутылки, которые несут в колодец, откуда они поднимутся вновь, охлажденные, к сегодняшнему ужину. Одна из них, цвета розовой смородины, встанет рядом с зеленой дыней; другая, наполненная янтарным, похожим на раскаленный песок вином, будет хорошо смотреться рядом с салатом — залитые

маслом помидоры, перец, лук — и со спелыми фруктами.

После ужина нужно не забыть напоить водой бороздки вокруг дынь и вручную полить бальзамины, флоксы, георгины и молодые мандариновые деревца, у которых корни пока еще не настолько длинны, чтобы брать влагу в глубинах земли, и не настолько много сил, чтобы зеленеть без посторонней помощи под непрестанно пылающим небом… Мандариновые деревца… для кого они посажены? Не знаю. Может быть, и для меня… Часам к десяти в голубом, перенявшем свой цвет от садового вьюнка воздухе кошки станут прыгать вертикально вверх, охотясь за пяденицами. Расщебечется, словно целый выводок, задремавшая чета японских курочек, которая устраивает себе насест на подлокотнике непритязательного кресла. Отстранившись от мирских дел, собаки уже начнут думать о следующей заре, а я смогу выбирать между книгой, постелью и тянущейся вдоль побережья дорогой с рассевшимися на ней жабами-флейтистками…

А завтра я застану красную зарю на смоченных соленой росой тамарисках, на кустах лжебамбука, каждый из которых держит жемчужину на острие своего голубого копья… Дорога по побе-

режью, выходящая из ночи, из тумана, из моря… А потом купание, работа, отдых… Как все могло бы быть просто… Неужели я достигла той точки, когда уже ничто не начинается заново? Все так напоминает мне первые годы моего существования, и постепенно я начинаю различать обратный путь; я различаю его, когда вижу, как сжимается деревенское пространство, когда гляжу на кошек, на состарившуюся собаку, когда чему-то изумляюсь, когда чувствую вдали дыхание безмятежности— его милосердную влагу с обещанием искупительного дождя для моей все еще наполненной грозами жизни. Пройдено и преодолено уже так много ступеней. Эфемерный замок, растаявший в отдалении, уступает место этому вот домику. Имения, рассеянные по всей Франции, мало-помалу отступили вглубь, повинуясь желанию, которое прежде я не осмеливалась высказать. Своеобразная смелость объясняется живучестью прошлого, которое вдохновляет все вплоть до младших духов настоящего: служители вновь становятся покорными и сведущими. С любовью трудится горничная, работает мылом в мойке кухарка. Значит, и здесь — хотя я и надеялась вновь найти ее только по ту сторону жизни, — здесь тоже существует такая садовая

тропинка, где я могла бы найти обратный путь по собственным следам? Не оно ли, призрачное видение матери в голубом немодном сатиновом платье, наполняет лейки на краю колодца? Свежесть водяной пыли, сладостный мираж, дух провинции и сама эта невинность— не это ли все является милым призывом жизненного конца? Как все стало просто… Все вплоть до второго прибора, который я порой располагаю напротив моего собственного на затененном столе.

Второй прибор… Он теперь занимает мало места: зеленая тарелка, толстый старинный, немного помутневший стакан. Если я подам знак, чтобы его убрали навсегда, никакое гибельное дуновение, внезапно принесенное с горизонта, не поднимет дыбом мои волосы и не повернет — а такое случалось — мою жизнь вспять. И все-таки я буду есть с аппетитом, если на моем столе не будет этого прибора. Больше нет тайны, нет змеи, притаившейся под салфеткой, которую, чтобы отличить ее от моей, зажимает бронзовая лира, раньше она поддерживала над старым, прошлого века офиклеидом пустынные страницы партитуры, где прочитывались только знаки «сильные доли такта», стекающие через равные интервалы, как слезы… Теперь это прибор друга, который

приходит и уходит, это уже не прибор хозяина дома, который в ночные часы расхаживает по звонким половицам в комнате наверху… В те дни, когда напротив меня нет тарелки, стакана и лиры, я не оставлена, я просто одинока. Мои друзья, успокоившись, мне верят.

У меня их остается очень мало, два-три друга, те, которые, когда-то оказавшись свидетелями моего первого кораблекрушения, думали, что я погибаю, потому что я сама тоже совершенно искренне в это верила и говорила им об этом. Смерть заботится о том, чтобы одного за другим отправлять их на покой. У меня есть друзья и помоложе, главным образом такие, которые моложе меня самой. Я инстинктивно люблю приобретать и запасать впрок то, что обещает жить и после отпущенного мне срока. Этим друзьям я не причинила столь больших мучений, максимум, несколько неприятностей: «Так, ладно, Он, значит, будет и дальше нам ее разрушать… До каких же пор Он будет занимать столько места?» Они строили догадки по поводу развязки, ее драм, ее температурных кривых: «Тяжелая форма тифа или же доброкачественная сыпь? Небо испытывает нашу подругу, она постоянно умудряется подхватывать такие серьезные болезни!» Мои

истинные друзья всегда давали мне это высшее доказательство преданности: стихийное отвращение к человеку, которого я любила. «А если он, этот, опять исчезнет, сколько забот на нашу голову, сколько трудов, чтобы помочь ей вновь обрести уверенность…»

По существу они никогда особенно не сетовали, скорее наоборот, — те, кто видел, как я к ним возвращалась, вся разгоряченная борьбой, зализывая раны, подсчитывая свои тактические ошибки, пристрастно утверждая, что испытываю от этого удовлетворение, обвиняя в преступлениях победившего меня врага, чтобы потом начать его без меры обелять, а затем тайно прижимать к груди его письма и портреты: «Он был милым… Мне надо было… Мне не надо было…» Потом приходило благоразумие и так мною не любимое успокоение, и мое слишком поздно научившееся вежливости, слишком поздно научившееся сдержанности молчание, которое, по-моему, хуже всего… Вот и появляется рутина страданий, так же как и привычка к неудаче в любви, так же как и потребность отравлять бессознательно любую жизнь вдвоем…

Итак, значит, все кончено с моей жизнью воительницы, которой, как мне казалось, не будет

конца? Отныне остались только сновидения, чтобы время от времени воскрешать умершую любовь, то есть любовь, очищенную от ее кратких и определенных удовольствий. Случается, что во сне та или иная моя любовь возобновляется, с неописуемым гвалтом, с сумятицей слов, претензий, взглядов, которые можно истолковать в двух или трех противоречащих друг другу смыслах… Без какого-либо перехода или перерыва этот сон заканчивается экзаменами на аттестат зрелости, десятичными дробями, и если при пробуждении подушка под затылком оказывается немного влажной, то это из-за аттестата зрелости. «Еще секунда, и я бы провалилась на устном», — лепечет память еще по инерции. «Ах! какой взгляд был у него в моем сне… У кого? У наибольшего общего делителя? Да нет же, у Него, у Него, когда он подсматривал за мной в окно, чтобы узнать, обманываю я его или нет… Только это был не Он, это был… Может, это был?..» Свет усиливается, силой расширяет золотисто-зеленую прогалинку между веками… «Он это был или?.. Я осознаю, что сейчас уже, по крайней мере, семь часов, а если уже семь часов, то я опоздала с поливкой баклажанов: солнце высоко — и почему все-таки я не сунула Ему под нос то письмо, где он мне

обещает мир, дружбу, взаимное и более глубокое узнавание друг друга и… — за все лето я еще никогда не поднималась так поздно…» Потому что возвращение к реальности после сновидения — это всего лишь изменение места и тяжести каких-то угрызений совести…

Маленькое крылышко света бьется между двумя ставнями и в своем скачкообразном движении касается стены, потом длинного, тяжелого стола, предназначенного для того, чтобы на нем писать, читать, играть, беспредельного стола, который возвратился из Бретани, как и я сама. Крылышко света окрашивается то в розовый цвет на стене, покрытой розовой известью, то в голубой — на голубом ковре из берберского хлопка. Наполненные книгами посудные шкафы, кресла и комоды вместе со мной совершили большое пятнадцатилетнее путешествие по двум или трем французским провинциям. Непритязательные тонкие кресла *с* веретенообразными подлокотниками, похожие на крестьянок с изящными запястьями, желтые тарелки, звенящие, как колокола, если стукнуть согнутым пальцем, белые блюда с толстой пенкой эмали — мы все вместе с удивлением обретаем вновь наш родной край. Кто бы мне мог показать на Мурийоне, в шестиде-

сяти километрах отсюда, дом моего отца и моих дедушки *с* бабушкой? Правда, меня баюкали, порой неласково, иные края. У женщины родина везде, где она бывала счастлива в любви. И точно так же она вновь рождается к жизни под всеми теми небесами, где залечивает боль любви. В этом смысле этот берег, расцвеченный помидорами и перцем, является моим вдвойне. Такое сокровище, и как долго я не обращала на него внимания! Воздух легок, солнце морщит и засахаривает на виноградной лозе рано созревшую кисть, у чеснока превосходный вкус. Величественная бедность, которую порой земле диктует жажда, элегантная лень, которой учит воздержанный народ, — о, мои запоздалые приобретения. Но не будем сетовать. Вы ждали моей зрелости. Моя тогда еще угловатая молодость поранилась бы, наткнувшись на пластинчатую, чешуйчатую скалу, раздвоенную иголку от сосны, на агаву, занозу морского ежа, горький смолистый ладанник и на смоковницу, каждый лист которой превращается с обратной стороны в язык хищного зверя. Что за страна! Завоеватель одаривает ее виллами и гаражами, автомобилями, поддельными «фермами», где устраиваются танцы; дикарь с севера дробит на кусочки, спекулирует, истребляет леса, и с

этим, естественно, ничего не поделаешь. Однако сколько похитителей на протяжении веков попадали под обаяние своей пленницы? Придя за тем, чтобы погубить ее, они вдруг останавливаются и прислушиваются к ее сонному дыханию. Потом осторожно закрывают решетку ворот, поправляют изгородь, онемевшие, почтительные; и вот уже, земля Прованса, покорные твоей воле, вновь подвязывают твою виноградную корону, опять сажают сосну, смоковницу, высевают узорчатую дыню и отныне не желают ничего иного, красавица, кроме как служить тебе и в этом находить свое счастье.

Иные тебя неизбежно оставят. Бросят, сначала тебя обесчестив. Только тебе ведь безразлично — одной ватагой больше или меньше. Тебя оставят те, кто приехал, поверив рекламе казино, отеля или почтовой открытке. Они сбегут, обожженные, укушенные твоим совсем белым от пыли ветром. Храни тех своих любовников, что пьют воду из кувшина, что пьют сухое, зреющее в песке вино; храни тех, кто с религиозным трепетом наливает масло и отворачивается, проходя мимо мертвой плоти; храни тех, кто встает утром и укачивает себя вечером, уже в постели, легким прерывистым дыханием праздничных кораблей

в заливе, — храни меня…

Созревающий цвет сумерек отмечает окончание моей сиесты. Сейчас, как и положено, развалившаяся на полу кошка вытянется до невероятных размеров, извлечет из себя переднюю лапу, точная длина которой никому не известна, и скажет своим зевком-цветком: «Хорошо прошли четыре часа». И уже катится к пляжу по собственному облачку пыли первый автомобиль; за ним последуют другие. Какой-нибудь из них на мгновение остановится у решетки и высыплет на аллею под перистую тень мимоз моих друзей без жен и женщин с их любовниками. Я еще не дошла до того, чтобы закрыть решетку у них перед носом и щерить из-за нее зубы. И все же моя холодная, на «ты» сердечность не обманывает и их сдерживает. Мужчины любят мою приватную обитель метра, ее запах, ее незапирающиеся двери. Несколько женщин произносят с видом неожиданного исступления: «Ах! какой здесь рай…», а про себя начинают перечислять, чего здесь не хватает. Однако и те и другие ценят, что я терпеливо слушаю про их проекты, я, у которой нет проектов. Они «без ума от этого края», они хотят купить «небольшую и совсем простую ферму» или же построить «домик на мысу над самым

морем, а, что за вид!». Здесь я становлюсь совсем милой. Ведь я слушаю и говорю: «Да, да». Ведь я не претендую на расположенное рядом поле, не покупаю виноградник соседа и не «пристраиваю крыло». Всегда находится приятель, который, внимательно осмотрев мой виноградник, сходит от дома к морю, не спустившись и не поднявшись ни на одну ступеньку, вернется и заключит: «В общем, эта усадьба, как она есть, вам подходит как нельзя лучше».

А я отвечаю: «Да, да», так же как и тогда, когда он или кто-то еще начинает меня уверять: «Вы совершенно не меняетесь!» Что означает: «Мы серьезно настроены на то, чтобы вы больше не менялись».

Что ж, буду стараться опять…

III

Ветер усиливается, потому что дверь, которая выходит на виноградник — участок, окруженный ажурным кирпичом, слабо дергается на петлях. Он сейчас быстро подметет четверть горизонта и вцепится в зеленоватый, по-зимнему прозрачный север. Вогнутый залив загудит тогда весь как раковина. Прощай, моя ночь под открытым небом на матрасе из рафии… А если бы я стала упорствовать в своем желании спать снаружи, эта гигантская пасть, что дышит холодом и сухостью, от которой гаснут запахи и цепенеет земля, этот враг труда, неги и сна сорвал бы с меня простыни и покрывала, которые он умеет сворачивать в длинные свитки. Странный мучитель, преследующий человека, как какой-нибудь хищный зверь! Нервные люди знают про него больше, чем я. Моя кухарка-провансалка, когда он застает ее у колодца, ставит ведра, хватается за голову и кричит: «Он меня убивает!» В ночи мистраля она стонет под ним в своей хижине на винограднике и, может быть, даже его видит.

Оставаясь в своей комнате, я со сдержанным нетерпением ожидаю, когда удалится этот по-

сетитель, для которого не существует закрытых дверей и который уже подталкивает под мою дверь своеобразное подношение из увядших лепестков, из тонко просеянных зерен, из песка, из помятых бабочек… Давай, давай, мне не раз случалось отпугивать приметы… Сейчас мне уже не сорок лет, и я не собираюсь отворачиваться от увядшей розы. Так неужели с моей жизнью воительницы все действительно покончено? Чтобы поразмышлять обо всем этом, есть три подходящих момента: сиеста, короткий промежуток времени после ужина, когда комнату неожиданно наполняет шуршание привезенной из Парижа газеты, и еще бессонница порой среди ночи, перед рассветом… Да, скоро уже три. Только где же в этой неустойчивой середине ночи, которая так быстро идет навстречу дню, искать ту огромную полосу горечи, которую мне обещали мои былые печали и былые моменты счастья, моя собственная и принадлежащая другим литература. Обычно смиренная перед тем, что мне неведомо, я боюсь обмануться, когда мне кажется, что у нас — между мной и мужчиной — начинается долгая перемена… Мужчина, друг мой, приди, соедини с моим свое дыхание!.. Я всегда любила твое общество. Ты смотришь на меня сейчас

таким ласковым взглядом. Ты смотришь, как я поднимаюсь на поверхность из беспорядочного скопления женского хлама, еще отягченная, словно водорослями от кораблекрушения, — голова уже наверху, а тело еще борется, и уверенности в спасении нет, — ты смотришь, как выплывает твоя сестра, твой сообщник: женщина, которая ускользает от возраста собственно женщины. У нее довольно крепкое, по твоему образу, сложение, телесная сила, откуда постепенно уходит грация, и властность, которая дает тебе понять, что ты уже не можешь больше приводить ее в отчаяние, разве что платонически. Останемся же вместе: теперь у тебя больше нет оснований покидать меня навсегда.

Из моей жизни уходит одна из великих сует жизни — любовь. Другой великой суетой является материнский инстинкт. Расставшись с тем и другим, замечаешь, что все остальное и весело, и разнообразно, и неисчерпаемо. Только с этим не расстаются ни тогда, когда хочешь, ни так, как хочешь. Насколько же он был разумен, упрек одного из моих мужей: «И значит, ты не можешь написать ни одной книги, чтобы она не была о любви, об адюльтере, о полукровосмесительной связи, о разрыве? Разве в жизни не существует

ничего иного?» Если бы он не торопился в этот момент на любовное свидание (поскольку он был красив собой и мил), он, возможно, подсказал бы мне, что же обладает правом занять в романе, да и вне романа, место любви… Однако он уходил, а я, неисправимая, на такой же точно голубоватой бумаге, которая на темном столе как фосфоресцирующая направляет сейчас мою руку, убористо записывала какую-то главу, посвященную любви, тоске по любви, главу, всю ослепленную любовью. Там я звалась Рене Нере, а еще раньше я употребляла имя Леи. Теперь же и в документах, и в литературе, и в обиходе у меня осталось только одно имя, мое собственное. Но разве не потребовалось мне, чтобы прийти к этому, чтобы вернуться к этому, всего каких-нибудь тридцать лет моей жизни? В конечном счете я поверю, что цена оказалась не слишком чрезмерной. Способны ли вы себе представить, как случай вдруг сделал бы меня одной из тех женщин, которые до такой степени сосредоточены на единственном мужчине, что несут с собой до самой могилы — независимо от того, бесплодны они или нет — загустелую наивность старой девы?.. Одна только мысль о такой судьбе, и мой плотный, продубленный солнцем и водой двойник, которого я вижу

в наклонном зеркале, вздрогнул бы, умей он еще дрожать от миновавшей опасности.

Живущая в олеандрах ночная бабочка бражник натыкается на тонкую металлическую сетку, опущенную перед стеклянной дверью, бьется и бьется о нее, и натянутая сетка гудит как кожаный барабан. В воздухе прохладно. Струится обильная роса, на этот раз мистраль отложил свое нападение. Дрожат, расширяясь, растягиваемые соленой влагой звезды. Самая прекрасная ночь предвещает еще один самый прекрасный день, и я, бодрствуя, наслаждаюсь. О! пусть завтрашний день тоже увидит меня столь же кроткой. Отныне я совершенно искренне не претендую больше ни на что, разве только на нечто недоступное. Быть может, меня кто-то убил, что я стала такой кроткой? Вовсе нет: я уже очень давно не встречала — так, как встречают, упершись лбом в лоб, грудью в грудь и сплетя ночи, — настоящих злодеев. Это большая редкость — встретить хотя бы раз в жизни истинного злодея, настоящего, чистого, артистичного. В обычном злодее есть примесь доброго человека. Правда, третий час утра склоняет к снисходительности тех, кто вкушает его в полях и кто лишь самому себе назначает свидание под этим большим синеющим окном. Кристаль-

ная пустота неба, ставший уже осознанным сон животных, зябкое сокращение закрывающейся снова чашечки цветка — столько противоядий от запальчивости и несправедливого суда. Однако мне даже и не нужно быть снисходительной, чтобы заявить, что меня в моем прошлом никто не убивал. Страдать — да, страдать я страдала… Только разве это так уж смертельно, страдать? Я начинаю в этом сомневаться. Страдание — это, быть может, какая-то детская забава, что-то вроде недостойного занятия; я имею в виду страдание женщины из-за мужчины и мужчины из-за женщины. Это чрезвычайно болезненно. Согласна, что вынести это трудно. И все же боюсь, что этот вид боли не заслуживает никакого уважения. Она ничуть не лучше, чем старость и болезнь, к которым я начинаю испытывать все большее отвращение: они обе скоро соизволят заняться мною основательно. И я заранее затыкаю нос… Страдающие от любви — обманутые, ревнивцы, — должно быть, издают такой же запах.

Я отчетливо помню, что мои зверушки становились менее ласковы со мной, когда я страдала от любовной измены. Они нюхом чуяли мое великое унижение: боль. Я заметила взгляд прекрасной породистой суки, который нельзя забыть: еще

великодушный, но сдержанный, церемонно скучающий, — потому что ей уже не так нравилась сама моя сущность, — взгляд мужчины, взгляд некоего мужчины. Симпатия животного к несчастному хозяину… Неужели так никогда и не удастся искоренить это избитое утверждение, в котором отражается чисто человеческая глупость? Животное любит счастье почти так же, как и мы. Его беспокоит приступ плача, иногда оно воспроизводит рыдания, эпизодически отвечая на нашу печаль. Однако оно как от чумы бежит от несчастья, и мне даже кажется, что в конечном счете ему удается заклинать несчастье…

Как хорошо используют июльскую ночь те два кота, что дерутся во дворе! Эти воздушные песни котов-самцов столько раз были аккомпанементом ночных часов моего существования, что стали символами бдения, ритуальной бессонницы. Конечно, я знаю, что сейчас уже три часа и что я вот-вот снова засну, а проснувшись, буду сожалеть о том пропущенном мгновении, когда голубое молоко начинает пробиваться с моря, завоевывает небо, распространяется в нем и останавливается у красного надреза на уровне горизонта…

Сильный голос хищника-баритона с долгим

дыханием тянется, пробиваясь сквозь острые звуки кота-тенора, искусного в тремоло с высокими хроматическими гаммами, прерываемыми яростными вкраплениями, которые становятся все более гнусавыми, по мере того как в них нарастает их оскорбительный пафос. Эти два кота не испытывают друг к другу ненависти. Однако светлые ночи располагают к битве и к напыщенным диалогам. Зачем спать? Они могут выбирать и от лета, ночью и днем, берут лишь самое прекрасное. Они могут выбирать… Все животные, с которыми хорошо обращаются, выбирают что только есть лучшего вокруг них и в нас. Был у меня в жизни такой, оставшийся в прошлом период, когда их относительная холодность поведала мне о моей собственной гадкости… Именно так: гадкости. Чем не основание для того, чтобы покинуть это бренное царство? И что за тягостный привкус у всех этих плохо вытертых слез, красноречивых взглядов, простаиваний на ногах за полуопущенной шторой, у этой мелодрамы… И что, по-вашему, может думать о такой женщине какое-нибудь животное, например, сука, которая сама вся состоит из тайного пламени и секретов, сука, никогда не стенавшая под кнутом и не плакавшая на людях? Само собой, она меня

презирала. И если я не скрывала своего несчастья от себе подобных, то перед ней я за него краснела. Правда, мы обе, она и я, любили одного и того же человека. И все-таки именно в ее глазах я читала определенную мысль (я ее перечитываю в одном из последних писем моей матери): «Любовь — это чувство, которое не делает чести…»

Один из моих мужей мне советовал: «Годам к пятидесяти тебе бы следовало написать нечто вроде учебника, который научил бы женщин жить в мире с мужчиной, которого они любят, некий кодекс жизни вдвоем…» Может быть, именно его я сейчас и пишу… Мужчина, прежняя моя любовь, как много выигрываешь, как много узнаешь рядом с тобой! Впрочем, расставание — одна из прелестей даже самой хорошей компании; и я здесь обязуюсь любезно проститься. Нет, ты не убил меня, может быть, и зла ты мне никогда не желал… Прощай же, дорогой мужчина, и, добро пожаловать, приходи вновь. По моей постели здорового человека, которая более удобна для того, чтобы в ней писать, чем ложе больного, голубое свечение движется к голубой бумаге, к кисти руки, к предплечью цвета бронзы; запах моря меня извещает, что мы уже близки к тому часу, когда воздух холоднее воды. Встану ли я?

Сон так сладок…

IV

«Есть в очень красивом ребенке нечто такое, чему я не могу найти названия и что наводит на меня грусть. Как выразиться яснее? Твоя маленькая племянница С… сейчас просто пленительно красива. В фас — еще не так заметно, но стоит ей повернуться профилем, когда ее маленький, точеного серебра носик гордо вырисовывается под прекрасными ресницами, и меня охватывает восторг, в котором есть что-то и от отчаяния. Уверяют, что нечто подобное испытывают перед предметом своей страсти великие влюбленные. Похоже, значит, я тоже своего рода великая влюбленная? Вот новость, которая бы весьма удивила моих двух мужей!..»

Значит, она могла склоняться безнаказанно над цветком человеческим. Безнаказанно, если не считать «грусти»; так она называла то меланхолическое исступление, то возвышение духа, что овладевает нами, едва мы обращаем взор на никогда не тождественные самим себе, никогда не повторяющиеся арабески, — спаренные огни глаз, запрокинутые колокольчики-близнецы

ноздрей, морскую бездну рта с его пульсацией расслабленной ловушки — на весь этот литейный воск лиц?.. Склонившись над юным и великолепным существом, она дрожала, вздыхала от тоски, которой не находила названия и которая называется искушением. Только ей никогда бы и в голову не пришло, что от детского лица может исходить какое-то брожение, нечто похожее на пар, витающий над сложенным в чане виноградом, и что можно не выдержать… Мои первые беседы с самой собой меня, по крайней мере, просветили, если не уберегли от ошибки: «Руками дотрагиваться до крылышка этой бабочки не надо.

— Ладно, не буду… Ну только совсем чуть-чуть… Только вот тут, где по черно-рыжему пятнышку скользит, так что я никак не могу понять, откуда он берется и куда пропадает, этот фиолетовый огонек, этот лунный блик…

— Нет, не трогай его. Все сразу исчезнет, как только ты к нему прикоснешься.

— Ну совсем чуть-чуть!.. Может быть, в этот раз мне удастся ощутить, как под самым чувствительным, четвертым пальчиком бежит холодное голубое пламя, по ворсинкам крылышка… по его оперению… по его росе…» След остывшего пепла на кончике пальца, поруганное крыло, ослабев-

шая букашка…

Моя мать, которая всему училась, по ее словам, «только обжигаясь», вне всякого сомнения знала, что обладать можно в воздержании, и только в воздержании. Воздержание ли, обладание ли — грех в одном случае почти не более тяжек, чем в другом, для «великих влюбленных» вроде нее — вроде нас. Безмятежная и веселая рядом с супругом, она становилась возбужденной, одержимой безрассудством при встрече с людьми, достигшими поры своего наивысшего расцвета. Живя затворницей в своей деревне между двумя сменившими один другого мужьями и четырьмя детьми, она всюду встречала непредвиденные, созданные для нее и ею взлеты, расцветы, метаморфозы, взрывы чудес, которые целиком доставались ей одной. Она, которая ухаживала за животными, нянчила детей, приходила на помощь растениям, она оказалась избавленной от открытий, что где-то есть такое животное, которому хочется умереть, что какой-то ребенок домогается грязи, что один из нераспустившихся цветков потребует, чтобы его раскрыли силой, а потом затоптали ногами. Ее собственное непостоянство сводилось к тому, чтобы летать от пчелы к мышке, от новорожденного к деревцу, от нищего

к еще более нищему, от смеха к муке. Чистота тех, кто щедро себя расточает! В ее жизни никогда не было воспоминания о поруганном крыле, а если ей и случалось трепетать от вожделения возле закрытой чашечки цветка, возле еще завернутой в свой лакированный кокон хризалиды, то уж она-то, по крайней мере, терпеливо ждала срока… Чистота тех, кто не совершал взлома! И вот, чтобы восстановить узы, связывающие ее со мной, я вынуждена углубляться в те времена, когда драматические грезы моей матери сопутствовали отрочеству ее старшего сына, великого красавца, соблазнителя. В ту пору она мне представлялась взбалмошной, наполненной деланной веселостью и проклятиями, заурядной, подурневшей, настороженной… Ах! Вот бы мне увидеть ее такой снова, утратившей достоинство, с раскрасневшимися от ревности и ярости щеками! Вот бы мне увидеть ее такой, и пускай бы она слышала меня достаточно хорошо, чтобы узнать себя в том, что она бы больше всего осудила! Вот бы мне, теперь тоже набравшейся разума, раскрыть ей, до какой степени я являюсь ее нечистой ипостасью, ее огрубленным образом, ее верной служанкой, которой поручили грязную работу! Она дала мне жизнь и задание продол-

жить то, что, как поэт, она ухватила и оставила подобно тому, как ловят отрывок неустойчивой, витающей в пространстве мелодии… Какое дело до мелодии тому, чье внимание направлено на смычок и на руку, которая держит смычок?

Она шла к своим невинным целям с каким-то возрастающим беспокойством. Она вставала рано, потом еще раньше, потом и того раньше. Она хотела, чтобы мир принадлежал ей, причем мир пустынный, в форме маленького загона, беседки из виноградных лоз и покатой крыши. Ей хотелось девственных джунглей, пусть хотя бы и ограниченных ласточкой, кошкой, пчелами, большим пауком на своем кружевном, посеребренном ночной влагой колесе. Ее мечтание убежденной исследовательницы разрушалось от стука соседской ставни, хлопнувшей по стене, и каждый день в тот час, когда начинает казаться, что холодная роса звонкими неровными каплями падает из клюва дроздов, оживало вновь. Она покидала свою постель в шесть часов, потом в пять часов, а к концу ее жизни маленькая красная лампа пробуждалась зимой, задолго до того как зовущий к заутрене колокол начинал сотрясать черный воздух. В эти, еще ночные, часы моя мать пела и замолкала тогда, когда ее могли услышать.

Так же как и жаворонок, который поднимается к самой светлой, к наименее населенной части неба. Моя мать все поднималась и поднималась по часовой лестнице. стараясь завладеть началом начал… Я знаю, что это такое, подобное опьянение. Однако она, она подстерегала горизонтальный, красный луч и бледный цвет серы, который предвещает появление красного луча; она хотела видеть влажное крыло, которое, как руку, вытягивает первая пчела. От летнего ветерка, что рождается перед приближением солнца, она получала свой первый букет ароматов акации и дровяного дыма; раньше всех отвечала на постукивание копыта и негромкое ржание лошади в конюшне по соседству; раскалывала пальцем в ведре на колодце первый, тончайший диск ледяного зеркала, в котором осенним утром отражалась она одна…

Как бы я хотела предложить этому твердому и выпуклому персту, способному отщипывать черешки, собирать душистый лист, соскабливать зеленую тлю и вопрошать спящие в земле посевы, как бы я хотела предложить ему то, что еще недавно было моим собственным зеркалом: нежное, хотя и с какой-то едва заметной мужской грубоватостью лицо, которое мне возвращало

мой улучшенный образ! Я бы сказала своей матери: «Посмотри. Посмотри, что я делаю. Посмотри, чего мне это стоит. Стоит ли это того, чтобы я надевала мой оклеветанный маскарадный костюм, который позволяет мне втайне поддерживать своим дыханием ту жертву, из которой, как кажется со стороны, я пью соки. Стоит ли это того, чтобы, отвернувшись от утренних зорь, которые мы с тобой так любим, я уделяла столько внимания векам, ожидая звездных восходов от их ослепительного блеска. Вглядись и оцени лучше меня самой мое подрагивающее творение, которое я устала созерцать. Ну приготовь же, садовница, свой огрубелый перст!..» Однако было уже слишком поздно. Та, которой я признавалась во всем, к тому времени уже обрела свои вечные утренние сумерки. Ее суд над нами, увы, был бы недвусмыслен в своей небесной, не ведающей гнева жестокости: «Отторгни, дочь, свой чудовищный черенок, свой привой, который хочет цвести только за твой счет. Это же ведь омела. Уверяю тебя, это омела. Я вовсе не говорю тебе, что привечать омелу дурно, потому что зло и добро могут одинаково и цвести, и плодоносить. Только…»

Когда я пытаюсь сочинить за нее то, что она

могла бы мне сказать, то всегда дохожу до места, где у меня перестает получаться. Мне не хватает слов, особенно главных аргументов: бранных либо неожиданно снисходительных, в равной степени пленительных и легких, которые, отделяясь от нее, медленно достигали моей тины, мягко в нее погружались и так же медленно вновь всплывали. Они всплывают во мне сейчас, и порой их находят прекрасными. Однако я отлично понимаю, что хотя они и узнаваемы, но все же искажены в соответствии с моим личным кодом, из-за моего малого бескорыстия, моего сдержанного великодушия и моей чувственности, у которой, слава богу, глаза всегда были больше, чем чрево.

У нас обеих было по два мужа. Только если оба мои мужа — вы представляете мою радость — живы и поныне, то моя мать дважды оставалась вдовой. Верная по своей природе из-за нежности, долга, гордости, она омрачилась при моем первом разводе, еще больше при моем втором браке, причем давала этому весьма своеобразное объяснение. «Я осуждаю не столько развод, — говорила она, — сколько брак. Мне кажется, что все было бы лучше, чем брак, только, правда, так не получается». Я смеялась и пыталась ей доказывать,

что она сама дважды послужила мне примером. «Так было нужно, — отвечала она. — Я-то ведь из одной с ним деревни. А вот ты, ну что ты будешь делать с таким количеством мужей? К ним привыкаешь, а потом без них уже и не обойтись».

— Но, мама, а что бы ты сделала на моем месте?

— Наверняка какую-нибудь глупость. Ведь вышла же я замуж за твоего отца…

Если она не осмеливалась говорить, какое место он занимал в ее сердце, то понять это, уже после того как он навсегда ее покинул, позволили мне ее письма и еще ее приступ рыданий на следующий день после похорон моего отца. В тот день мы с ней приводили в порядок ящики секретера из желтой туи, где она обнаружила письма, послужной список Жюля-Жозефа Колетта, капитана первого полка зуавов, и шестьсот франков золотом — все что осталось от недвижимой собственности, от растаявшей собственности Сидони Ландуа… Моя мать, которая стойко, без признаков слабости, разбирала реликвии, наткнулась на эту горсть золота, вскрикнула и залилась слезами: «Ах! милый Колетт! неделю назад, когда он еще мог говорить, он мне сказал, что оставил лишь четыреста франков!» Она рыдала от благодарно-

сти, и в тот день я начала сомневаться, любила ли я когда-нибудь настоящей любовью… Нет, естественно, такая великая женщина не могла совершать те же «глупости», что и я, и она первая отбивала у меня охоту ей подражать:

— Тебе что, действительно так нравится этот господин Х…?

— Но, мама, я ведь люблю его!

— Да, да, любишь… Конечно, ты его любишь…

Она снова задумывалась, делая над собой усилие, чтобы не произнести того, что ей подсказывала ее небесная жестокость, а потом снова восклицала:

— Нет! и все же я недовольна!

Я притворялась скромницей, опускала глаза, стараясь удержать образ прекрасного, умного мужчины, которому многие завидовали, имеющего совершенно блестящие перспективы, и кротко отвечала:

— Тебе трудно угодить…

— Нет, я недовольна… Мне нравился больше тот, другой, молодой человек, которого ты сейчас просто ровняешь с землей…

— О! мама!.. Он же дурак!

— Вот, вот, дурак… Именно…

Я еще и сейчас помню, как она наклоняла голо-

ву, прищуривала свои серые глаза для созерцания предстающего в выгодном свете, ослепительного образа «дурака»… А она добавляла:

— Сколько бы ты, Милка-Киска, написала прекрасных вещей с дураком… А с этим у тебя только и будет занятий, что отдавать ему все лучшее, что в тебе есть. А в довершение всего, понимаешь ты это, он сделает тебя несчастной. Это самое вероятное…

Я смеялась от всего сердца:

— Кассандра!

— Да, да, Кассандра… А если бы я еще рассказала тебе обо всем, что предвижу…

Ее серые, прищуренные глаза читали вдалеке:

— К счастью, ты не слишком в опасности…

Тогда я ее не понимала. Потом, наверное, она бы мне объяснила. Теперь я понимаю ее двусмысленное выражение «ты не в опасности», которое относилось не только к риску оказаться жертвой несчастного случая. В ее понимании я уже преодолела то, что она называла «худшим в жизни женщины — первого мужчину». Умирают только из-за него, а после него супружеская жизнь — либо ее подделка — становится карьерой. Карьерой, иногда бюрократией, от которой нас ничто не отвлекает и не освобождает, за исключением иг-

ры равновесия, которая в заданный час толкает старость к младости, а Шери к Лее.

Благодаря климактерическому правилу и при условии, что оно не порождает низменной рутины, мы наконец можем возвыситься над тем, что я назову общей массой любовников. Нужно только, чтобы это возвышение брало свое начало в катаклизме и так же умирало, чтобы оно не стало источником отвратительного упорядоченного голода! Ведь всякая любовь, если ей дать волю, тяготеет к структуре наподобие пищеварительного тракта. Она не упускает ни одной возможности утратить свою исключительность, свой аристократизм истязателя.

«Виноград лишь осенью сбирают…» Быть может, так же и в любви. Что за сезон для чувственной самоотверженности, что за передышка в монотонной череде битв равного с равным и что за чудо эта остановка на вершине, где целуются два склона! Виноград лишь осенью сбирают — привилегию кричать об этом имеют лишь те уста, что как высохшую слезу сохранили лиловатую каплю сока, который еще не стал настоящим вином. Сбор винограда, стремительная радость, поспешность, с которой в прессе, вместе, *в* один день, смешивают без разбора и зрелые ягоды, и

кислый сок незрелого винограда, ритм, оставляющий далеко позади широкий, мечтательный темп жатвы, самое алое из всех удовольствий, песни, хмельные выкрики, затем тишина, покой, сон молодого вина, заточенного в темницу, отныне недосягаемого, вырвавшегося из перепачканных рук, которые, сострадая, его мучили… Я люблю, когда то же самое происходит с сердцами и телами: вложив сполна, я препоручила свои рокочущие, достигшие сейчас апогея силы юной темнице в образе мужчины. Я даю отбой своему огромному сердцу, которое трепещет, лишившись трех-четырех своих чудес. Как хорошо оно билось и сражалось! Так… так… сердце… так… спокойно… отдохнем. Ты пренебрегало счастьем, надо отдать тебе должное. Та, к кому я обращаю свой взгляд, Кассандра, которая не осмеливалась предрекать все, нам, однако, предсказала: мы не рисковали ни погибнуть во славу любви, ни, слава богу, удовлетвориться каким-нибудь добротным маленьким блаженством.

Пусть же удаляется, уменьшаясь, тот период моей жизни, который видел меня клонящейся целиком в одну сторону подобно тем аллегорическим фигурам фонтана, которых тянут вниз и увлекают за собой распущенные волосы из

струй. Я и вправду тратила себя без оглядки, по крайней мере, так мне казалось. Становиться в горделивую позу классической статуи Изобилия, обреченной как заведенная опорожнять свой наполненный всякой всячиной рог — значит выставлять себя на критическое лицезрение публики, которая вертится вокруг цоколя и оценивает изваяние, как если бы оно и впрямь было живой, в избытке наделенной красотой женщиной: «Гм… Да разве же так бывает, чтобы выкладываться, как она, и не худеть? С чего бы это она так округлилась?.. Людям нравится, когда дающий хиреет, и по-своему они правы. У пеликана на роду не написано ожиренье, а стареющая возлюбленная подтверждает свое бескорыстие, лишь тускнея от благородного похудения в пользу молодых, залитых розовым цветом щек и алых губ. Такое случается редко. Порок задаривания любовника-юноши не в силах разорить женщину, скорее даже наоборот. Давать превращается в нечто вроде невроза, в жестокое наваждение, эгоистическое неистовство. «Вот тебе новый галстук, или чашка горячего молока, или живая часть меня самой, пачка сигарет, беседа, путешествие, поцелуй, совет, опора моих рук, идея. Бери! И не вздумай отказываться, если не желаешь мне

погибели от полнокровия. Я не могу давать тебе меньше, так что как-нибудь устраивайся!»

Между еще совсем молодой матерью и зрелой любовницей возникает соперничество за то, кто больше даст, и это отравляет два женских сердца и порождает визгливую ненависть, лисиную войну, в которой материнские вопли оказываются ни наименее дикими, ни наименее нескромными. Уж эти мне любимые сыновья! Отполированные женскими взглядами, всуе исцелованные выносившей вас самкой, обожаемые еще с времен глубокой ночи чрева, прелестные, избалованные молодые самцы, вы не можете не совершать измены, пусть невольной, когда вы переходите от одной матери к другой. Даже у тебя, моя милая, такой чистой, как я надеялась, от искушающих меня заурядных преступлений, в твоей переписке я натыкаюсь на слова, написанные старательным почерком, который, однако, не способен скрыть от меня прерывистого биения сердца: *«Да, мне так же как и тебе госпожа X показалась очень изменившейся и погрустневшей. А поскольку мне известно, что в ее личной жизни нет никакой тайны, то можно держать пари, что у ее уже взрослого сына появилась первая любовница».*

Надежда иссякнуть мгновенно столь привлекательна, что если бы была возможность истратить себя без остатка в несколько мощных порывов, то многие из нас, тех, кому «больше сорока», не преминули бы этим воспользоваться. Я знаю некоторых, чья реакция была бы незамедлительной: «Решено! Коль скоро ада не избежать, то пусть в нем будет один-единственный бес, а затем покой, пустота, благотворный абсолютный покой, отрешенность…» Сколько их таких, кто искренне надеется, что старость налетит как коршун, который после долгого и незаметного парения вдруг отрывается от неба и падает вниз? И что же это такое, старость? Это я узнаю. Правда, когда она наступит, я ее уже перестану воспринимать. Моя дорогая, милая предшественница, ты ведь ушла, не объяснив мне, что такое старость. Ведь ты мне пишешь: *«Не беспокойся по поводу моего так называемого атеросклероза. Мне уже лучше, и доказательство тому — стирка, которую я устроила сегодня утром в своей речке. Я была в восторге. Что это за прелесть, плескаться в чистой воде! Кроме того, я еще попилила дров и наделала из них шесть маленьких вязаночек. И я опять убираю у себя в доме, из чего ты сама можешь сделать вывод, хорошо ли у меня убрано.*

И потом мне вообще-то всего семьдесят шесть лет!»

Ты мне писала *в* тот день, за год до своей смерти, а завитки твоих прописных Б, твоих Т, твоих Г, несущих сзади нечто вроде гордо заломленной шляпки, все сияют радостью. Как же ты была богата в то утро, в твоем маленьком домишке! На краю сада резвилась маленькая речушка, такая живая, что вмиг уносила все, что могло бы ее обезобразить… Богата оттого, что получила еще одно новое утро, одержала новую победу над болезнью, богата оттого, что сделала еще одно дело, от драгоценных россыпей, сверкающих в бегущей воде, от еще одного перемирия между тобой и всеми твоими невзгодами… Ты стирала в речке белье, безутешно вздыхала по поводу смерти твоего возлюбленного, говорила «юиии?» зябликам, думала о том, что расскажешь мне, как прошло твое утро… О, собирательница сокровищ!.. То, что коплю я, не столь ценно. Однако все из собранного, чему суждено остаться, рождается в параллельной, более глубокой рудной жиле, с вкраплениями плодородной почвы, и я довольно скоро постигла, что наступает возраст, когда остается позади пора горестных слез, целебных бальзамов, воспаленного дыхания, затухающего

у заключенных в ее объятия прекрасных, устремленных в дальние края ног, возраст, когда все, что случается с женщиной, ее лишь обогащает.

Она складывает и инвентаризирует все вплоть до следов ударов, вплоть до шрамов — шрам, то есть метка, которой у нее не было при рождении, становится приобретением. Когда она вздыхает: «Ах! сколько Он мне принес огорчений!», то невольно взвешивает и определяет цену слова, цену даров. Она их берет одно за другим, наводит в них порядок. По мере накопления сокровищ их количество и время заставляют ее немножко от них отстраниться, подобно художнику, рассматривающему свое творение. Она отстраняется, возвращается и снова отстраняется, передвигает в соответствующий ряд какую-нибудь скандальную деталь, приближает к свету какое-нибудь скрытое тенью воспоминание. Совершенно неожиданно она вдруг становится беспристрастной… Неужели, читая мою книгу, можно предположить, что я рисую собственный портрет? Терпение: это только моя модель.

V

Когда мужчина наблюдает за некоторыми домашними приготовлениями, особенно за приготовлением пищи, на его лице можно обнаружить смешанное выражение религиозного благоговения, скуки и ужаса. Мужчина как кошка боится подметания, боится зажженной плиты, боится мыльной воды, которую гонит по плиткам половая щетка.

Для празднования дня местного святого, который традиционно предоставляет повод для пирушки, Сегонзак, Карко, Режис Жинью и Тереза Дорни должны были спуститься с высот своего холма, чтобы отведать мой традиционный южный обед, — салаты, фаршированные морские ежи и пампушки с баклажанами, — обыденность которого обычно скрашивалась жарким из какой-нибудь птицы.

У Вьяля, который живет в трехстах метрах от меня в доме, напоминающем покрашенный розовой краской кубик, лицо сегодня утром не выражало счастья — угол террасы загромождал утюг, похожий на жаровню с углями, и мой сосед весь съежился, как охотничья собака в день

свадьбы.

— Тебе, Вьяль, не кажется, что они будут в восторге от моего соуса и моих цыплят? От моих четырех разрубленных вдоль и отбитых обухом топорика цыплят, которых я посолю, поперчу, освящу чистым оливковым маслом и подам с зеленым ершиком пебреды, листки и вкус которой останутся на жареном мясе? Взгляни-ка на них, ну не красавцы ли?

И мы стоим, на них смотрим, Вьяль и я. Красавцы… На разорванных суставах изуродованных, ощипанных цыплят еще оставалось немного розовой крови, и можно было различить форму крыльев, молодую чешую, обувавшую маленькие ножки, которые еще сегодня утром весело семенили, разгребали… Почему бы тогда не взять и не зажарить ребенка? Моя тирада иссякла, а Вьяль не произнес ни слова. Взбивая маслянистый кисловатый соус, я вздыхала, прекрасно понимая, что совсем скоро аромат нежного, исходящего соком на горячих углях мяса широко распахнет мой желудок… Конечно, не сегодня, но в скором времени, размышляю я, я навсегда откажусь от мяса животных…

— Вьяль, завяжи мне фартук. Спасибо. В будущем году…

— Что вы сделаете в будущем году?

— Стану вегетарианкой. Обмакни-ка кончик пальца в соус. Как? Такой соус да еще на маленьких нежных цыплятках… И все же… — только не в этом году, сейчас я слишком хочу есть — и все же я стану вегетарианкой.

— Почему?

— Это долго объяснять. Когда отмирает одна разновидность каннибальства, то другие уходят сами собой, как блохи с умершего ежа. Подлей мне масла, только тихонько…

Он наклонил свой обнаженный торс, отполированный солнцем и солью до такой степени, что в нем отражался свет. Когда он шевелился, его кожа на пояснице казалась зеленой, а на плечах голубоватой, совсем как у красильщиков из Феса. Когда я сказала «стоп», он разорвал нить золотистого масла, выпрямился, и на мгновение я положила руку на его грудную клетку, как если бы он был лошадью, которую я хотела поласкать. Он взглянул на мою руку, на которой написан мой возраст, — по правде сказать, она мне несколько лет прибавляет, — но я ее не отняла. Это маленькая, добрая, потемневшая рука с несколько растянутой у фаланг и на тыльной стороне кожей. Ногти на ней коротко подстриже-

ны, большой палец вздернут наподобие хвоста скорпиона, повсюду рубцы и царапины, и все-таки я ее не стыжусь, даже скорее наоборот. Два изящных ногтя — подарок матери и три, гораздо менее красивых — память об отце.

— Купался? Уже проделал свои четыреста метров вдоль берега? Тогда почему, Вьяль, у тебя выражение как в конце каникул, хотя сейчас всего только июль?

Малейшее нарушение душевного спокойствия искажает правильные, довольно красивые черты Вьяля. Он не выглядит веселым, но и грустным его никогда не видели. Я говорю, что он красив, потому что здесь после месяца отдыха все мужчины становятся красивыми— от жары, от моря и от наготы.

— Вьяль, ты что мне принес с рынка? Ты меня уж извини. У Дивины времени хватило, только чтобы сбегать за цыплятами…

— Две дыни, пирог с миндальным кремом и персиков. Ранние фиги уже отошли, а другие поспеют только…

— Я знаю это лучше тебя, ведь я на своем винограднике гляжу на них каждый день… Ты прелесть… Сколько я тебе должна?

Он сделал жест, показывающий неосведом-

ленность, и его плечо с вырисовывающимися на нем мускулами заволновалось, поднимаясь и опускаясь, как грудь при дыхании.

— Забыл? Постой, я посмотрю размер дынь… Этот пирог, такой стоит франков шестнадцать, и здесь два килограмма персиков… Четырнадцать и шестнадцать — тридцать, тридцать и пятнадцать — сорок пять… Я тебе должна что-то около сорока пяти, пятидесяти франков.

— На вас под фартуком купальный костюм? Вы не успели искупаться?

— Нет, успела.

Он непринужденно лизнул мою руку около плеча.

— Да, правда.

— О! впрочем, это могла быть и соль, оставшаяся со вчерашнего вечера… Давай отдохнем, у нас еще очень много времени, они все непременно опоздают…

— Конечно… Могу я сделать что-нибудь полезное?

— Да, жениться.

— О!.. Мне тридцать пять лет.

— Вот именно. А это тебя омолодит. Тебе не хватает молодости. Она придет к тебе с возрастом, как сказал Лабиш. Твоя подружка не вернулась с

рынка вместе с тобой? Ты, должно быть, ее встретил в порту?

— Мадемуазель Клеман доделывает этюд в Лаванду.

— Я вижу, ты не любишь, когда я ее называю твоей подружкой?

— Должен признаться. Когда так говорят, то можно подумать, что она моя любовница, а это совсем не так.

Я рассмеялась, остужая слишком горячие угли в утюге. Мне почти совсем не известна порода, к которой принадлежит этот юноша с его тихой жизнью. Он из поколения Карко, Сегонзака, Леопольда Маршана и Пьера Бенуа, Мак Орлана, Кокто и Диньимона— тех, о ком я говорю, что видела их «совсем малышками», до и во время войны. Не в ту ли самую пору, когда капризные приливы увольнений приносили их в Париж, я усвоила привычку почти всех их называть на «ты», доверившись выражению их лиц, у одних странно пополневших, у других исхудалых, как у слишком быстро выросших школьников? Нет, это все только потому, что они молоды, и если они меня приветствуют, широко распахнув объятия и шумно целуя в щеку, то и это тоже только потому, что они молоды… Но если самые нежные

из. них — те, чьи имена я упомянула, и те, чьи имена я опускаю, — называют меня «мадам» либо шутливо «мой дорогой мэтр», то это потому, что они — это они, а я — это я.

Этот почти обнаженный юноша, который наливал мне сегодня утром масло, тоже воевал. Потом, когда речь зашла о том, чтобы вернуться торговать коврами, он заупрямился, испугавшись, по его словам, отца, еще достаточно бодрого, рьяного в делах и самодовольного. Иногда у меня возникало желание написать историю потомства, до последней косточки перемолотого челюстями своих предков. Я могла бы, например, начать с г-жи Лермье, которая пришила дочку к своим юбкам и, не позволив ей выйти замуж, превратила свою глупую послушную дочь в нечто вроде ссохшейся сестрицы-близнеца, которая не покидала ее ни днем, ни ночью и которая никогда не жаловалась. Однако как-то раз я поймала взгляд мадемуазель Лермье… Ужас! Ужас!.. Я бы позаимствовала также несколько черт у Альбера Х… вдохновенной жертвы, беспокойной тени своей матери, у Фернана З…, мелкого банкира, который тщетно ждет смерти своего еще крепкого банкира-отца… Их так много, что в выборе недостатка бы не было. Но ведь Мориак уже написал свою

«Прародительницу»… Не будем слишком оплакивать судьбу Вьяля-сына по имени… как, уже?

— Вьяль, как тебя зовут?

— Эктор.

Удивившись, я перестала расставлять свои первые в этом сезоне георгины, которые сорвала для стола.

— Эктор? А мне кажется, тебя звали… Валером?

— Правильно, но я хотел убедиться, что вы это почти совсем забыли.

…судьбу Вьяля-сына, который хитрит со своим затянувшимся коммерческим несовершеннолетием и заказывает визитные карточки, где написано «Вьяль, декоратор». К коврам он уже больше отношения не имеет. У него в Париже маленький, скромный магазинчик: наполовину книжки и романтика, а наполовину всякая всячина, как обычно… Любовь к обществу художников заставила Вьяля полюбить и их картины.

Среди бумагомарателей, у которых только и свободы что писать, он позволяет себе роскошь читать, делать эскизы мебели и даже судить нас. Обращаясь к Карко, он заявляет, что тому бы следовало публиковать только стихи, а Сегонзаку, — что он мистик. Большой «Деде» без улыбки вежливо отвечает: «Ва-улер! Сукин ты

сын, голова у ваус не так плохо устроена, как зауднца!» А Карко призывает меня в свидетели: «Колетт, если бы такое мне сказал профессионал, я бы его назвал олухом. Но что я должен отвечать обойщику? Господин меблировальщик, ты преувеличиваешь!»

Помимо сказанного я почти ничего не знаю о моем маслочерпии. Впрочем, а что я знаю о других моих друзьях? Искать дружбу, предлагать ее — это *в* первую очередь значит кричать: «Приют! приют!» Все остальное в нас наверняка менее привлекательно, чем этот крик, что, однако, никто не торопится доказывать.

Я уверена, что присутствие людей в больших количествах утомляет растения. Садоводческая выставка изнемогает и умирает почти каждый вечер, перенасытившись поклонениями; когда мои друзья ушли, сад мне показался усталым. Возможно, цветы реагируют на звуки голосов. А они у меня столь же непривычны к приемам, как и я сама.

После ухода гостей кошки выползают из своих убежищ, зевают, потягиваются, как если бы их вытащили из дорожной корзины, обнюхивают следы чужаков. Сонный кот стекает с шелковицы подобно лиане. Его восхитительная подруга

выставляет на вновь ей возвращенной террасе свой живот, где в облаке голубоватой шерсти торчит всего один розовый сосок, потому что в этом сезоне она кормила только одного котенка. Уход посетителей ничего не меняет в повадках брабантской суки, которая за мной наблюдает, наблюдает не переставая, которая никогда не переставала за мной наблюдать и только со смертью перестанет одаривать меня вниманием всех отпущенных ей мгновений. Только одна смерть может положить конец драме ее жизни: жить со мной или без меня. Она основательно стареет, она тоже…

Вокруг этих трех власть имущих представителей животного царства зверушки второй ступени занимают места, определяемые скорее зоологическими, нежели человеческими законами: плоские кошки из близлежащих ферм, собаки моей сторожихи в белом маскарадном наряде после принятия пылевой ванны… «Летом, — говорит Вьяль, — здесь все собаки ходят напудренные».

Моя «компания» разошлась, когда ласточки уже принялись пить, припадая к мойке, и ловить поденок. Разогретый лучами солнца, которое сейчас садится поздно, послеполуденный воздух утратил свой свежий вкус, и наступила сильная

жара. Однако солнцу трудно меня обмануть: я клонюсь к закату вместе с самим днем. И к концу каждого дня кошка, оплетая «восьмеркой» мои лодыжки, приглашает меня праздновать приближение ночи. Эта кошка в моей жизни третья, если считать только тех, которые отличались незаурядным характером, выделяясь среди всех остальных котов и кошек.

Устану ли я когда-нибудь восхищаться животными? Вот эта кошка просто исключительна как незаменимый друг, как безупречный возлюбленный. Откуда только берется та любовь, которую я встречаю с ее стороны? Она сама научилась соразмерять свой шаг с моим, так что соединяющая теперь нас друг с другом невидимая связь как бы подсказывает мысль об ошейнике и поводке. У нее было то и другое, и носила она их с таким видом, как если бы вздыхала: «Наконец-то!» От малейшей озабоченности ее малюсенькое, стянутое в кулачок, бесплотное личико с каемкой голубого дождя вокруг чистого золота глаз сразу вдруг стареет и кажется более бледным. У нее есть и превосходные любовники, и стыдливость, и отвращение к навязчивым контактам. Она больше не будет появляться в моем рассказе. Скажу лишь, что она состоит еще из молчания,

верности, душевных порывов, из лазурной тени на голубой бумаге, которая впитывает в себя все, что я пишу, из безмолвного хода смоченных серебром лапок…

Потом, после нее, далеко позади нее, в моей иерархии следует кот, ее великолепный супруг, весь погруженный в сон от собственной красоты, от своего могущества и застенчивый, как все силачи. За ними идут те, кто летает, ползает, скрежещет: живущий в винограднике еж, бесчисленные ящерицы, которых кусают ужи, ночная жаба, которая, когда ее подберешь на ладонь и поднимешь к фонарю, роняет в траву два хрустальных крика, спрятавшийся под водорослью краб, голубая тригла с крыльями стрижа, взлетающая с волны… Если же она падает на песок, лишенная чувств и вся покрытая мелкими камешками, я ее подбираю, погружаю в воду и плыву рядом, поддерживая ей голову… Однако теперь я уже больше не люблю писать портреты и истории животных. Зияющая пропасть между ними и человеком по-прежнему велика, и заполнить ее не под силу даже столетиям. Я кончу тем, что и своих собственных животных тоже стану прятать ото всех, за исключением нескольких друзей, которых они выберут сами. Я

покажу котов Филиппу Вертело, кошачью мощь — Вьялю, который влюблен в кошку и который вместе *с* Альфредом Савуаром утверждает, что я могу вызвать появление кота в таком месте, где котов не бывает… Нельзя одновременно любить и животных, и людей. День ото дня я становлюсь все более подозрительной для себе подобных. Однако если бы они были подобными мне, то я у них подозрения бы не вызывала…

«Когда я захожу в комнату, где ты одна со своими животными, — говорил мой второй муж, — у меня появляется такое ощущение, что я веду себя бестактно. В один прекрасный день ты удалишься в джунгли…» Не желая размышлять о том, какая за подобным пророчеством могла прятаться лукавая — или же нетерпеливая— подсказка, не переставая ласкать взором предлагаемую им любезную картину моего будущего, я останавливаюсь на этом, чтобы припомнить глубокую, логичную подозрительность слишком очеловеченного человека. Я останавливаюсь на нем как на приговоре, написанном пальцем человека на лбу, на котором, если отвести в сторону покрывающую его листву волос, человеческое обоняние, возможно, различает запах берлоги, заячьей крови, беличьего живота, молока суки… Человек,

остающийся рядом с человеком, имеет основания отпрянуть от существа, выбирающего зверя и улыбающегося от сознания своей страшной невинности. «Твоя чудовищная простота… Твоя полная мрака кротость…» Сколько справедливых слов. С человеческой точки зрения чудовищность начинается как раз со сговора с животным. Разве не называл Марсель Швоб «чудовищами-садистами» старых, иссохшихся заклинателей с сидящими на них птицами, которых можно было видеть в Тюильри? К тому же если бы был только сговор… А то ведь есть еще и предпочтение. Об этом я умолчу. Я останавливаюсь также на пороге арен и зверинцев. Дело в том, что коль скоро я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы вкладывать в руки публики, *в* напечатанном виде, искаженные куски моей внутренней жизни, то, значит, от меня могут потребовать еще и того, чтобы я в тот же мешок уложила плотно спресованными все тайны, касающиеся предпочтения, оказываемого зверям, и — это тоже вопрос особого расположения — ребенку, которому я дала жизнь. До чего же она очаровательна, когда вот так сосредоточенно и ласково гладит шероховатую голову большущей жабы… Тсс! Однажды я допустила такую оплошность: вывела на первом

плане романа героиню в возрасте четырнадцати — пятнадцати лет… Пусть меня простят: тогда я себе не представляла, что это такое.

«Ты удалишься в джунгли…» Ладно. Только не нужно слишком медлить. Не нужно дожидаться, пока я обнаружу в кривой моих связей, моих взаимоотношений с животным первые колебания. Воля к обольщению, а это значит к господству, различные способы натянуть струну пожелания или приказа и пустить ее в цель — пока что они представляются мне гибкими, но только долго ли так будет продолжаться?

Совсем недавно в зверинце одна бедная львица, очень красивая, выделила меня в группе скопившихся перед ее клеткой зевак. Остановив свой выбор на мне, она как из сна вышла из своего затянувшегося отчаяния, и, не зная как показать, что она меня признала, что хочет встретиться со мной лицом к лицу, расспросить меня, возлюбить меня, быть может, до такой степени, чтобы лишь одну меня принять в качестве жертвы, она стала угрожать, сверкать и реветь как плененное пламя, кинулась на прутья решетки и внезапно затихла, сникнув, продолжая смотреть на меня…

Тот внутренний слух, который у меня направлен на Зверя, все еще срабатывает. Драмы птиц

в воздухе, подземные битвы грызунов, резко взмывающий тон готового к нападению роя, лишенный надежды взгляд лошадей и ослов — все это послания в мой адрес. У меня больше нет желания выходить замуж за кого бы то ни было, но, случается, я вижу во сне, как сочетаюсь браком с огромным котом. Я думаю, Монтерлан будет весьма доволен, когда узнает об этом…

В сердце, в письмах моей матери можно было прочитать любовь, уважение к живым тварям. Поэтому я знаю, где он, источник моего призвания, источник, который, лишь только он зарождается, я пытаюсь замутить своим страстным желанием тронуть и расшевелить дно, над которым струится чистый поток. Я обвиняю себя в том, что с юного возраста хотела блистать — не удовлетворенная своей нежной любовью к ним — в глазах своих братьев и сообщников. Честолюбивое это стремление не покидает меня и сейчас…

— Так, значит, вы не любите славу? — спросила меня г-жа де Ноай.

Напротив. Я хотела бы оставить великую память о себе у тех живых существ, которые, сохранив на своей шерсти, в своей душе след моего существования, могли безумно надеяться, хотя

бы одно мгновение, что я принадлежу им.

Сегодня утром команда моих юных сотрапезников оказалась приятной. Мужчин было двое, каждый с вполне миловидной молодой женщиной, и обе они выглядели столь сдержанными, как если бы им прочитали наставление: «Ты знаешь, я поведу тебя к Колетт, но только помни, что она не любит ни птичьих выкриков, ни суждений о литературе. Надень свое самое красивое платье: розовое, голубое. Ты будешь наливать кофе». Им известно, что мне нравятся женщины молодые, миловидные и не слишком фамильярные. Они знают, что украшает часы моего досуга: благовоспитанные дети, и молодые женщины, и бесцеремонные животные.

У некоторых художников есть супруги либо любовницы, достойные их самих и той жизни, которую они ведут. Они выглядят кроткими и своими нравами напоминают жен земледельцев. Разве их мужчины не встают с зарей, чтобы отправиться в поле, в лес, на берег моря? Разве не возвращаются они затемно, усталые, утратившие дар речи от одиночества? В их отсутствие жены выкраивают себе летние платья из столового белья, салфетки и подстилки для посуды из хлопчатобумажных носовых платков и хо-

дят на рынок без всяких претензий, то есть для того, чтобы покупать продукты, а не для того, чтобы восхищаться «прекрасным материалом» отлакированных красным морских ежей или затянутыми в охру и лазурь животами губанов.

«Мой мужчина? Он пошел в поле, туда, в сторону Памплоны», — отвечает подружка Люка-Альбера Моро, указывая на горизонт широким жестом крестьянки. Аслен поет как волопас, а иногда, если напрячь ухо, бриз доносит до вас сладостный голос Диньимона, который выводит какую-нибудь грустную солдатскую или матросскую песенку…

Элен Клеман, которая пришла одна, не была самой некрасивой, отнюдь нет. Она не принадлежит ни к разряду женщин-моделей, ни к разряду тех, что склонны признавать власть мужчин. У нее прямые, светлые, как солома, волосы. Солнце красит ее в гармоничный красный цвет и превращает на все лето в голубые ее отливающие зеленью глаза. Высокая, довольно сухая телом, она ни в физическом, ни в моральном смысле не грешит той излишней прямолинейностью, которая становится одним из проявлений снобизма у девушек в двадцатипятилетием возрасте. Справедливости ради надо сказать, что я ее плохо

знаю.

Она рисует в энергичной манере, широкими, мужскими касаниями кисти, плавает, водит свою пятисилку, часто навещает родителей, которые, опасаясь жары, проводят лето в горах. Она живет на полном пансионе в одной семье, и поэтому никто не остается в неведении, что она «очень серьезная девушка». Тридцать лет назад такую Элен Клеман можно было встретить на пляжах с вышиванием в руках. Сейчас она рисует море и мажет тело кокосовым маслом. От прежних Элен Клеман она сохранила миловидный покорный лоб, благородную стать и особенно почтительную манеру отвечать: «Да, мадам! Спасибо, мадам!», которая в ее лексиконе, позаимствованном у художников и испорченных мальчишек, приоткрывает калитку пансионатского сада. Я люблю у этой большой девочки именно этот ее вид, как будто она уронила свое былое вышивание, то вышивание, что заменяло у нее тайну. Не исключено, что я ошибаюсь, потому что мало обращаю на Элен внимания. А может быть, именно ее незамутненность души и тела, которой она вроде бы очень дорожит, как раз и подтверждает мою догадку о том грустном состоянии неустойчивости, что является участью — они это отрицают — так

называемых независимых женщин, которые не предаются «греху», как по-старинному называли плотские утехи.

Больше уже никто не придет. Я не оставлю этого стола ради маленького кафе в порту, откуда все наблюдают неистовые закаты солнца. К концу дня светило собирает те крупицы облаков, которые испаряет нагретое море, увлекает их в нижнюю часть неба, воспламеняет и скручивает в огненные лоскуты, растягивает в красноватые брусья и сгорает дотла, коснувшись горной цепи Мор… Однако в этом месяце оно садится слишком поздно. Я смогу любоваться им и во время ужина, в одиночку, прислонившись спиной к стенке террасы. Сегодня я уже достаточно насмотрелась на симпатичные лица. Так пойдем же вместе, собака, кошка и я, любоваться тем ярким фиолетовым цветом, по которому узнаешь восток и который поднимается с моря. Скоро наступит час, когда домой с поля возвращаются старики, мои соседи… Я могу терпеть старых людей лишь тогда, когда они согнуты к земле, когда у них потрескавшаяся, загрубелая, как известняк, кожа, испещренные бороздами руки и похожие на птичье гнездо торчащие отовсюду волосы. Некоторые из них предлагают мне в нечеловечески

иссохшихся и обесцветившихся ладонях свои самые ценные дары: яйцо, цыпленка, круглое яблоко, розу, виноград. Одна семидесятилетняя провансалка ходит каждый день из порта на свое поле с виноградником и овощами — два километра утром, столько же вечером. Она умрет, наверное, во время работы, но при этом вовсе не кажется усталой, когда присаживается на минутку перед моей решеткой. Она издает легкие крики: «Ого! какой красавчик?» Я подбегаю: она ласкает своим источенным, почерневшим, крючковатым пальцем бутон с плоской, как у ужа, головкой, кажется, вот-вот готовой засвистеть, принадлежащий одной из тех береговых лилий, которые устремляются вверх из земли и вырастают так быстро, что не решаешься на них даже взглянуть, распускают свой венчик, распространяя нездоровый аромат раненого зрелого фрукта, а потом возвращаются в небытие…

Нет, он отнюдь не был красавчиком. Он напоминал какого-то крепенького слепого змееныша. Однако старуха знала, что он станет красивым через несколько дней. Она прожила достаточно долго, чтобы постигнуть это. Временами, когда она идет нагруженная зеленым перцем, с ожерельем свежего лука вокруг шеи, наполовину

сомкнувшая свою похожую на сухую иву кисть вокруг яйца, которое она никогда не уронит, я бы даже могла ее любить — если бы вдруг не вспоминала, что, не имея больше сил для созидания, она все еще сохраняет силу разрушения и способна раздавить землеройку на дорожке, стрекозу на оконном стекле или только что родившегося, еще влажного, котенка. Делает она это с таким же безразличием, как если бы занималась лущением гороха… И тогда я ей говорю: «Прощайте!», прохожу мимо и вписываю поглубже в пейзаж их обоих: ее самое и ее тень — очень маленького ветхого человечка, живущего под олеандром, как ящерица, в каменной лачуге. Старуха пока еще говорит, а он уже не произносит ни слова. Ему нечего и некому сказать. Он царапает землю, поскольку не может больше ее копать, а когда подметает порог своей лачуги, то кажется, что он играет, потому что делает это детской метелкой. Как-то на днях обнаружили умершего человека, тоже старика. Совсем высохшего, как мертвая жаба, которую юг известкует раньше, чем она становится добычей хищника. Смерть, лишенная таким образом значительной доли гнилости, нам, живым, кажется более пристойной. Хрупкое и легкое тело, полый костяк, жгучее, все пожи-

рающее солнце — не мой ли это удел? Иногда я пытаюсь об этом размышлять, чтобы заставить себя поверить, что вторая половина моей жизни придает мне нечто вроде серьезности, своего рода озабоченность тем, что наступит после… Но это лишь недолгая иллюзия. Смерть меня не интересует — даже моя собственная.

Мы хорошо поужинали. Прогулялись по дороге вдоль берега, в самой населенной его части, состоящей из узкого цветущего болота, куда посконник, кермек и скабиоза привносят три оттенка сиреневого цвета, высокий цветущий тростник — свою гроздь коричневых съедобных зерен, мирт — свой белый запах, такой белый и горький, что начинает щипать миндалины, белый до тошноты и экстаза, тамариск — свой розовый туман, камыш — свою палицу из бобрового меха. Жизнь в этом месте плещет через край, особенно в самом начале дня и в тот момент, когда птицы устраиваются на покой. Камышовая славка скользит беспрестанно, просто ради удовольствия, вдоль стеблей и каждый раз заливается от радости. Ласточки едва не задевают крыльями море, опьяневшие от собственной смелости синицы отгоняют от этого рая котов-браконьеров, стаи соек, страдающих от жажды

ос, а в середине дня над маленькой сладковатой лагуной, взявшей у моря соль, у корней и трав — сахар, летают, неся густой бархат своих крыльев, тяжелые траурницы, желтые, исполосованные, как тигры, огнянки, украшенные готическими нервюрами махаоны; все эти бабочки выкачивают мед из розовой конопли, из лядвенцов и мяты, сладострастно привязанные каждая к своему цветку. Вечером жизнь животных делается незаметнее, но замирает лишь слегка. Сколько приглушенных смешков, быстрых вольтов у самых моих ног, сколько молниеносных побегов от прыжков шествующих за мной кошек! Облачившись в ливрею ночи, мои спутники становятся опасны. Нежная кошка мгновенно видит все в кустах, а ее мощный самец, проснувшись, своим галопом, как лошадь, переворачивает на дороге камни, и оба они, хотя и нисколько не голодные, жуют мотыльков с пламенеющими глазами.

Вечерняя свежесть здесь у меня ассоциируется с похожей на смех дрожью, с мантией нового воздуха опускающейся на ничем не стесненную кожу, с нежностью, обволакивающей меня все сильнее по мере наступления ночи. Если бы я доверилась этой умиротворенности, то это мгновение стало бы для меня мгновением, ко-

гда растут, дерзают, осмеливаются, умирают… Однако я от нее постоянно ускользаю. Расти. Для кого? Осмеливаться… Куда же больше? Мне уже достаточно долго твердили, что жить по любви, потом, что жить без любви является верхом дерзости… Так это хорошо — быть вровень с землей… И вновь за меня цепляются, притягивают к себе растения, достаточно высокие, чтобы укрыть своей тенью мне лоб, снизу мою руку ищут какие-то лапки, требуют влаги борозды, ждет ответа нежное письмо, алеет лампа в зелени ночи, тетрадка гладкой бумаги дожидается, когда я вышью ее своим почерком, — и я возвращаюсь, как в прежние вечера. Как близка заря! В этот месяц ночь отдается земле как тайная любовница — быстро и ненадолго. Сейчас десять часов. Через четыре часа ночь перестанет быть настоящей. Впрочем, небом завладевает огромная, круглая, устрашающая пасть луны, а она мне не подруга.

В трехстах метрах отсюда лампа Вьяля, в его доме-кубике, смотрит на мою лампу. О чем, интересно, этот молодой человек размышляет, вместо того чтобы шаркать своими веревочными туфлями, прогуливаясь вдоль нашего небольшого порта, или танцевать — он так хорошо танцует — на маленьком балу у Мола. Он слишком се-

рьезен. Мне нужно как-нибудь взяться за него основательно и женить — о! естественно, на тот срок, какой им будет угоден, — на этой скромнице Элен Клеман. Сегодня я точно заметила, как у нее изменился оттенок, то есть выражение лица, когда она обратилась к нему. Она смеялась вместе с остальными, больше всего тогда, когда Карко, прищурив, как охотник, свой рыжеватый глаз, посвящал ее в один распутный и необычный секрет старой проститутки, которая сумела на протяжении двадцати пяти лет оставаться «девочкой» в Латинском квартале. У Элен уши не недотроги, отнюдь нет. Однако ее смех, когда рассказывал Карко, был все-таки смехом прежней Элен Клеман, той самой, которая куда-то не туда положила свое вышивание, когда ее кузен, студент Политехнического — «О! Анри, замолчите, я вас прошу!» — говорил ей, подталкивая качели, что ему удалось заметить икру ее ноги… Вьялю Элен Клеман предназначает свой наиболее близкий к ее истинной натуре облик: серьезное лицо девушки, которая всего-навсего хочет быть простой. Не может быть, чтобы Вьяль этого не заметил.

Обычно я не очень склонна организовывать счастье той или иной пары. Однако сейчас мне

кажется, что я несу ответственность за возникшую неприятную легкую суету, за то, что пришли в движение праздные силы, которые отныне смогут увлечь двух людей, ранее находившихся на расстоянии друг от друга, надежно защищенных своими маленькими тайнами либо отсутствием личной тайны.

Вчера утром, часов в девять, направляясь в своем автомобильчике на рынок, я обогнала, а потом подобрала Элен Клеман, которая, подняв свою обнаженную и гладкую как золотое яблоко голову, держа под мышкой полотно, направлялась к столяру, специалисту по окантовке картин. Проехав двести метров, мы увидели сквозь решетку, как Вьяль на пороге своего «кубика» снимал чехол с древнего, сухого, причудливо изогнутого кресла, тонкого, как куст боярышника зимой.

— Вьяль, тебя не было видно уже два дня! Вьяль, что это за кресло?

Он засмеялся, и белая полоска сверкнула на его темном лице.

— Уж его-то вам заполучить не удастся! Я ездил за ним на «ситроене» аж за Мустье-Сент-Мари.

— Ах, вот так! — сказала Элен.

Вьяль поднял нос и спрятал улыбку.

— Что вот так?

Она ничего не сказала и посмотрела на него с таким опасно глупым видом, что он мог бы прочитать в ее зелено-голубых, не жмурящихся на солнце глазах, все что угодно. Я выскочила из машины:

— Покажи, Вьяль, покажи! И угости нас белым утренним вином с холодной водой!

Элен вышла за мной, вдохнула запах крошечного незнакомого жилья, вся мебель которого состояла из дивана и корабельного, в форме полумесяца стола, украшенного розовой скатертью и белыми фаянсовыми «мустье».

— Один Хуан Грис, два Диньимона, одна олеография Линдера, — перечислила Элен. — В этом весь Вьяль, который никогда не знает, с какой ноги танцевать… Вам кажется, что они идут к этим стенам, в этом доме?

Вьяль, вытиравший свои испачканные руки, смотрел на Элен. Она опиралась одной ладонью о стену, приподнявшись на носках, вытянув шею и руки, словно желая на нее взобраться, — при этом хорошо смотрелись ее щиколотки в накинутых на босу ногу сандалиях. А этот чудесный цвет красной обожженной глины на всем столь мало прикрытом теле!

— Вьяль, сколько ты за него заплатил, за свое

кресло?

— Сто девяносто. Причем оно из ореха, вот под этой краской, в которую его выкрасили какие-то свиньи! Взгляните сюда, на подлокотник, где ее нет…

— Вьяль, продай мне его!

Он отрицательно покачал головой.

— Вьяль, коммерсант ты или нет? Вьяль, есть у тебя сердце?

Он опять покачал головой.

— Вьяль, я меняю твое кресло на… на Элен, а!

— Она, значит, ваша? — сказал Вьяль.

По остроумию и деликатности его реплика вполне стоила моей шутки.

— Идет, идет! — подхватила Элен. — Действительно, дорогой, дело стоящее!

Она смеялась, став краснее своего красного загара, и в обоих ее зелено-голубых глазах танцевало по одной сверкающей точечке. Однако Вьяль еще раз покачал головой, и каждая сверкающая точечка превратилась в слезинку.

— Элен!..

Она уже бежала из дома, а мы, Вьяль и я, смотрели друг на друга.

— Что это с ней?

— Не знаю, — сказал холодно Вьяль.

— Это ты виноват.

— Я ничего не сказал.

— Ты сделал вот так: «нет, нет».

— А если бы я сделал вот так: «да, да», это было бы лучше?

— Ты меня, Вьяль, удручаешь… Я пошла… Завтра я тебе скажу, чем все это кончилось.

— О! вы знаете…

Он пожал одним плечом и проводил меня до калитки сада.

В моей крохотной машине Элен, уже с сухими глазами, напевала, внимательно разглядывая свежее полотно, которое удерживала на коленях.

— Вам это что-нибудь говорит, а, мадам Колетт?

Честно разглядывая этюд, на котором она, желая казаться «настоящим художником», явно переложила краски, я что-то сказала, а потом, забыв об осторожности, добавила:

— Вьяль тебя огорчил? Надеюсь все-таки, что нет?

Она ответила с холодностью, которая мне показалась похожей на холодность Вьяля:

— Не нужно, мадам Колетт, не смешивайте унижение н огорчение. Да, да, унижение… Подобного рода неприятности со мной случаются довольно

часто в этой среде.

— В какой среде?

Элен повела плечами, поджала губы, и я угадала, что она недовольна собой. Она повернулась ко мне; у моей крохотной машины это движение внезапного доверия превратилось в занос, от чего ее повело в сторону на этой поэтичной, но никогда не ремонтируемой дороге.

— Мадам Колетт, поймите меня правильно. *Я говорю* «эта среда», потому что, в принципе, это не та среда, в которой я была воспитана. *Я* говорю «эта среда», потому что, хотя я ее и очень люблю, порой я иногда чувствую себя чужой среди художников и их подруг, но при этом мне хватает ума, чтобы…

— …разбираться в жизни.

Она выразила протест всем своим телом.

— Я вас умоляю, мадам Колетт, не обращайтесь со мной — а у вас так бывает! — как *с* мещаночкой, которая подделывается под стиль Монпарно. Я ведь понимаю достаточно много вещей *и в* частности то, что Вьяль, который тоже не принадлежит к «этой среде», производит неприятный эффект, когда шутит определенным образом, когда позволяет себе некоторые вольности. Он не привносит в свои шутки изящества, веселья, и

то, что было бы очаровательным и добродушным в устах, например, Деде или Кисса, в его устах — шокирует!..

— Но ведь он ничего не сказал, — внушала я, тормозя перед «Пансионом первой категории», который приютил Элен.

Стоя около моего автомобильчика, задерживая вытянутую руку, моя юная пассажирка не смогла скрыть ни своего раздражения, ни новой влажной искорки, которая окрасила ее глаза в голубой, захвативший все окружающее пространство цвет:

— Не надо, мадам Колетт, не будем больше об этом говорить! У меня нет никакого желания увековечивать эту историю, которая не стоит того, даже ради удовольствия послушать речь в защиту Вьяля, особенно от вас!., от вас!..

Она убежала, оставив у меня ощущение несоответствия между ее высоким ростом и волнением маленькой девочки. Я ей крикнула: «До свидания! до свидания!» приветливым тоном, чтобы наше внезапное расставание не пробудило любопытства у Лежёна, скульптора, который в своем бесхитростном наряде из коротких полотняных штанов цвета зеленой нильской воды, распахнутой розовой безрукавки и свитера с вышитыми

крестиком цветочками пересекал в этот момент крохотную площадь и приветствовал нас, приподняв широкополую тростниковую шляпу, украшенную вишнями из шерсти.

Именно из-за этой глупой Элен, когда Вьяль на следующий день под вечер зашел ко мне, я чувствовала себя рассеянной, и его присутствие переносила с меньшим удовольствием. Между тем он принес мне нуги в плитках и веточки цератония с зелеными плодами, которые долго остаются свежими, если их втыкать в наполненные влажным песком кувшины.

Искупавшись в пять часов в море, он, как обычно, наслаждался бездельем на террасе. Купались на ветру под лучами опасного — поскольку Средиземное море полно неожиданностей — солнца и в такой холодной воде, что укрываться в розовой комнате мы не стали, а предпочли теплый, живой глинобитный парапет в светлой тени редких ветвей. Пять часов пополудни — это неустойчивое, окрашенное в золото время суток, когда всеобщая обволакивающая нас голубизна воздуха и воды на какое-то мгновение нарушается. Ветер еще не поднялся, но в самой легкой зелени, например, в оперении мимоз, волнение уже чувствовалось, а на слабый сигнал, посланный одной сосновой

веткой, отвечала своим покачиванием другая сосновая ветка…

— Вьяль, тебе не кажется, что вчера было голубее, чем сегодня?

— Что было голубее? — спросил шепотом бронзовый человек в белой набедренной повязке.

Он полулежал, опершись лбом на свои согнутые руки; обычно он мне нравится больше тогда, когда прячет свое лицо. Не то чтобы он был некрасив, но над четко очерченным, бодрым, выразительным телом черты его лица кажутся как бы дремлющими. Я как-то раз не удержалась и заявила Вьялю, что его можно гильотинировать и никто этого не заметит.

— Все было голубее. Или же я… Голубой цвет — это нечто мозговое. Голубой цвет не возбуждает голода, не будит сладострастия. В голубой комнате не живут…

— С каких пор?

— С тех пор, как я это сказала! Разве только в том случае, когда ты больше уже ни на что не надеешься — в таком случае ты можешь жить в голубой комнате…

— Почему я?

— Ты, это значит кто угодно.

— Спасибо. Почему у вас на ноге кровь?

— Это моя. Я наскочила на один цветок побережий, имеющий форму дна от бутылки.

— Почему у вас левая лодыжка все время немного опухшая?

— А ты, почему напоследок ты стал грубо себя вести с малышкой Клеман?

Бронзовый человек с достоинством выпрямился:

— Я вовсе не вел себя грубо с ма… с мадемуазель Клеман! Но только, мадам, если это вы о женитьбе, то я буду вам тысячу раз благодарен, если вы не будете больше говорить мне о ней!

— Ты, Вьяль, прямо как персонаж романа! Неужели нельзя немножко пошутить? Подвинься-ка, ты занял весь парапет… я тебе сейчас расскажу! Ты не знаешь всего. Вчера, когда она со мной расставалась, она запретила мне тебя защищать! И удалилась с трагическим видом, повторяя: «Только не вы! Только не вы!» Представляешь?

Вьяль вскочил на ноги, встал напротив меня, похожий на булочника-подмастерье из какого-нибудь негритянского королевства.

— Она вам такое сказала? Она посмела?

Его искаженное, с вытаращенными глазами лицо позволяло строить самые разные догадки

и показалось мне настолько комичным в своей новизне, что я не смогла — сейчас я стала более скорой на смех, чем раньше, — сохранить серьезность. Та респектабельность, которую придают Вьялю частая молчаливость, опущенный взгляд, определенная устойчивость позы, трещала по всем швам, и я уже не находила его красивым… Он взял себя в руки с приятной быстротой и небрежно вздохнул:

— Бедная малышка…

— Ты ее жалеешь?

— А вы?

— Вьяль, мне не очень нравится твоя манера постоянно отвечать вопросом на вопрос. Это невежливо. Я, понимаешь ли, я, если можно так сказать, эту девушку не знаю.

— Я тоже.

— А!., я полагала… Однако ее не трудно узнать. Она всем своим видом гонит от себя тайну, как если бы это был какой-то микроб… Эй!.. Ау!.. Это не Жеральди ли возвращается из Салена?

— Думаю, да.

— Почему же он тогда не остановился?

— Он вас не услышал, шум его коробки скоростей перекрывает все остальные.

— Услышал, он сюда посмотрел! Это он тебя

испугался! Я тебе говорила, что малышка Элен Клеман…

— Вы позволите? Я схожу за свитером. А северяне еще называют Прованс жаркой страной…

Вьяль удалился, а я стала лучше воспринимать тепло, прохладу, усилившийся наклон лучей, всеобщую голубизну, крылья над морем, ближайшую смоковницу, распространяющую запах молока и сена из цветущих трав. На одной из гор живописно дымился небольшой пожар. Небо, коснувшись шероховатой, в завитках, как шерсть, лазури Средиземного моря, стало розовым, и кошка вдруг начала мне улыбаться без видимой причины. Это потому, что она любит одиночество, я хочу сказать, мое присутствие и ее улыбка позволила мне отчетливо осознать, что я впервые всерьез обратила внимание на Вьяля.

Отсутствие Вьяля оставило у меня ощущение пустоты и одновременно ощущение какой-то воздушной легкости — значит, его присутствие, заполняя одно, препятствует другому? И я тотчас же поняла, что автомобиль Жеральди не прервал свои стенания пытаемых механизмов перед моей дверью лишь только потому, что Вьяль, которого было видно с дороги, находился рядом со мной… что мои друзья и мои товарищи покорно и еди-

нодушно воздерживались посещать около пяти часов мой имеющий форму полумесяца пляж с его столь крепким и столь белым под тяжелой голубой водой песком — они были уверены, что одновременно со мной встретят там полунемого, пребывающего в неопределенной тоске, совершенно отрезанного от них, плавающего где-то под водой Валера Вьяля.

Дело только в этом… Это же небольшое недоразумение. Я хорошенько подумала, правда, недолго, да и какой смысл в долгих раздумьях: и к тому же ничто из того, что меня заботит, таких раздумий не заслуживает. Я не могу поверить, что у этого юноши есть какой-то расчет. Надо признать, что, хотя я и становилась часто жертвой обмана, недоверию я не научилась… С его стороны я склонна была бы опасаться скорее какой-нибудь формы любовной привязанности. Я написала это вполне серьезно и, поднимая голову, смотрю на себя в наклонном зеркале, тоже вполне серьезно, и снова продолжаю писать.

Никакие другие опасения, даже боязнь выглядеть смешной, меня не останавливают, и я продолжаю писать эти строчки, которые будут — я готова к этому риску — опубликованы. Зачем прерывать бег моей руки по этой бумаге, которая

вот уже столько лет принимает то, что я о себе знаю, то, что из этого знания я пытаюсь скрыть, то, что я сочиняю, и то, что я угадываю? Любовная катастрофа, ее последствия, ее фазы никогда, ни в какие времена не составляли действительной интимной жизни женщины. Как могут мужчины — мужчины-писатели или называющие себя таковыми — по-прежнему удивляться тому, что женщина столь охотно отдает на суд публики свои любовные признания, любовную ложь и полуложь? Разглашая их, она спасает от огласки те смутные и важные тайны, которые не очень хорошо понимает сама. Огромный прожектор, бесцеремонное око, которым она охотно манипулирует, высвечивает у женщины всегда один и тот же сектор, сотрясаемый приступами блаженства и смятения, вокруг которого густеет темнота. А худшее происходит отнюдь не в освещенной зоне… Мужчина, друг мой, ты с готовностью посмеиваешься над фатально автобиографическими творениями женщины. А на кого же ты рассчитывал, чтобы тебе нарисовали ее портрет, чтобы тебе о ней прожужжали все уши, чтобы ей повредили в твоем мнении, чтобы в конце концов пресытили тебя ею? На самого себя? Ты пока еще слишком недавний мой друг, чтобы

я сказала тебе все, что об этом думаю. Итак, мы говорили, что Вьяль…

Как прекрасна ночь, прекрасна опять! Как хорошо из лона подобной ночи серьезно созерцать то, что перестало быть серьезным! Серьезно, потому что это не повод для насмешки. Уже не впервые смутный, идущий извне пыл пытается сначала сузить, а затем разорвать круг, где я чувствую себя в безопасности. Эти невольные победы не следует соотносить с тем или иным возрастом. У них нужно искать — и здесь уже кончается моя невиновность — литературные корни. Я это пишу смиренно, чувствуя угрызения совести. Когда читатели принимаются писать автору, особенно автору-женщине, то они нескоро оставляют эту привычку. Вьяль, который знаком со мной всего лишь два или три лета, вероятно, пытается понять меня с помощью двух или трех моих романов… если я позволю себе назвать их романами. Еще и сейчас попадаются девушки, — слишком юные, чтобы обращать внимание на даты изданий, — которые мне пишут, что тайком прочитали «Клодину», что ждут ответа на почту до востребования… это если они еще не назначают мне встречу в чайном салоне. Кто знает, может быть, они представляют меня

в школьной форме? В носочках? «Вы оцените лишь позднее силу литературного типа, который вы создали», — говорил мне незадолго до своей смерти Мендес. Как будто я не создала, без всякой мужской подсказки, еще и другой тип, более достойный долгой жизни, и по своей простоте, и даже по своей достоверности! Однако вернемся к Вьялю и Элен Клеман…

Старая, поношенная луна прогуливается по самому низу неба, преследуемая небольшим, удивительно четко очерченным, плотным, как металл, облаком, которое вцепилось в початый диск, как рыба в ломоть плавающего фрукта… Это еще не предвестие дождя. Дождя нам хотелось бы для садов и огородов. Ночная синева, бездонная и как бы припудренная, делает более розовым, когда перевожу на них свой взгляд, розовый цвет моих не слишком прикрытых стен. Голые поверхности излучают восточную свежесть, моя непритязательная мебель дышит свободно. Только в этом солнечном краю тяжелый стол, соломенный стул, увенчанный цветами кувшин и залитое эмалью блюдо могут составлять всю обстановку. Сегонзак украшает свой просторный, как гумно, «зал» исключительно деревенскими трофеями: перекрещенными косами и граблями,

вилами с двумя зубьями из полированного дерева, венками из колосьев и кнутами с красными кнутовищами, витые плети которых грациозно украшают стену своими росчерками. То же самое в «кубике» Вьяля…

Да, вернемся к Вьялю. Этой ночью я описываю круги вокруг Вьяля подобно той лошади, которую смущает препятствие и которая перед барьером разыгрывает покорность, сопровождая ее тысячами своих лошадиных шалостей. Я не боюсь разволноваться, а боюсь, как бы мне не стало скучно. Боюсь той настроенности на драму и на серьезность, которая живет в молодых людях, особенно в Элен Клеман. Как Вьяль был любезен вчера! Сегодня уже не так. Я сравниваю, как он смотрелся вчера и как сегодня. Помимо своей воли, я усматриваю определенный смысл в его добрососедском постоянстве, в его долгих паузах, в его любимой позе, когда он кладет голову на свои согнутые руки. Я занимаюсь толкованием, воскрешаю интонации его приступов любознательности: «А правда, что… Кто вам подал мысль о таком-то персонаже? Не были ли вы знакомы с таким-то, когда писали такую-то книгу?.. О! вы знаете, если задаю нескромные вопросы, пошлите меня подальше…» А потом совсем предел

сегодня вечером, эти его: «Она посмела… она посмела?..» И эта мимика первого любовника…

Подобный плод в такую пору моей жизни, когда от любого удовольствия я принимаю лишь цветок, — причем из лучших лучший, коль скоро не требую ничего больше, — плод внесезонный, созреванию которого способствовали как моя проворная фамильярность, — «Эй, молодой человек, угостите меня дюжиной устриц, прямо вот здесь, не садясь, как в Марселе… Вьяль, завтра встаем в шесть и идем на рынок за розами: особое задание!» — так и моя известность, значительно искажающая звуки…

А что, если теперь я стану менее мягкой и к себе самой, и к другим до самого конца этого прекрасного провансальского сезона, разукрашенного бразильской геранью, белыми платьями, надрезанными арбузами, обнажающими подобно треснувшим планетам свое раскаленное сердце? Однако ничто не угрожало моему счастливому лету, наполненному голубой солью и хрусталем, моему лету *с* раскрытыми окнами, с хлопающими дверями, моему лету с ожерельями из молодого, белого, как жасмин, чеснока…

Любовная привязанность Вьяля, не менее любовная досада малышки Клеман, и я, оказавшаяся,

помимо собственной воли, между этими двумя излучениями. Я их вопрошаю и комментирую с помощью чернильных знаков, стремительным почерком. *С* риском попасть в смешное положение… Именно так, здесь есть нечто смешное. Стоит ли, однако, об этом вспоминать, коль скоро через мгновение я все равно об этом забуду. Ведь не у тебя же, моя самая дорогая, — где ты сейчас бдишь в этот час твоего постоянного бдения? — могла бы я научиться колебаниям в момент, когда нужно помочь, поддержать рукой и плечом уставшее лимонное дерево, подобрать в подол платья испачканную в грязи собаку, приласкать и приютить дрожащего, недружелюбного, не нами созданного ребенка или возложить на беспристрастные руки груз запинающейся любви, которая склонилась над самыми роковыми безднами… Прости меня, если я перевожу в наш общий пассив какой-то совершенно для тебя неприемлемый беспорядок. «В моем возрасте есть только одна добродетель: никому не делать зла». Ведь это же твои слова. У меня, моя самая дорогая, нога не так легка, как у тебя, и мне доступны не все дороги. Припоминаю, что в дождливые дни на твоей обуви почти не было грязи. И еще я вижу, как эта легкая нога обходит, стараясь не

задеть, уженка, в свое удовольствие растянувшегося на теплой тропинке. Я лишена твоей слепой и восторженной безмятежности, с которой ты на ощупь узнавала «добро» и «зло», равно как и твоего искусства по собственному коду давать новые имена старым отравленным добродетелям и жалким грехам, которые вот уже много веков ожидают своей доли рая. А в добродетели ты бежала прочь от ее зловонной неукоснительности. Как я люблю твое письмо: *«Полдник был организован в честь очень некрасивых женщин. Уж не их ли уродство чествовали? Они принесли свое рукоделие и работали, работали с усердием, которое мне внушает ужас. Почему мне всегда кажется, что они делают что-то дурное?»* И ты с отвращением различала запах этой благотворительности, способной не на одно преступление…

А вот и заря. Сегодня она вся состоит из маленьких в форме цветочного дождя облаков — заря для свободных от страстей сердец. Приподнявшись на запястьях, я замечаю уже проступившие из преследуемой светом тени черное море ласточек и «кубик», пока еще не имеющий собственной окраски, «кубик», где отдыхает одинокий молодой человек, в котором зреет еще одна тайна.

Одинокий… У этого слова красивые очертания[12], а его начальная буква вздымает голову словно змея-покровительница. Мне никак не удается избавиться от пробуждаемой им ассоциации с яростным блеском солитера-бриллианта. Яростный блеск Вьяля… Бедняга… А почему, интересно, я не восклицаю: «Бедняжка Элен Клеман…»? Люблю поймать себя с поличным. В Марокко я была у крупных землевладельцев, добровольно покинувших Францию и полностью посвятивших себя своим обширным марокканским поместьям. Они сохранили такую забавную манеру при чтении газет набрасываться на слово «Париж» с аппетитом, *с* праздничными улыбками… Мужчина, родина моя, ты, значит, так и остаешься главной моей заботой? Что же, я не против. Но только умрите здесь, заботы, малые летние влюбленности, умрите одновременно с тенью, что окружала мою лампу, — до меня докатывается рвущая свою нить крупного круглого жемчуга горделивая песня дрозда. Еще сохраняющий ночную свежесть аромат сосен скоро рассеется в лучах неумолимого солнца. Прекрасный час для того, чтобы войти в не совсем проснувшееся море, где

[12] Примечания: 12

Слово «одинокий» пишется по-французски «solitaire». Оно обозначает также крупный бриллиант — солитер.

каждое движение моих голых ног рвет на поверхности, окрашенной в тяжелый синий цвет воды, пленку розовой эмали, и собирать водоросли для подстилки, которой я хочу защитить подножие молодых мандариновых деревьев!..

VI

«Милка-Киска,

Сейчас пять утра. Я пишу тебе при свете моей лампы и свете пожара, совсем рядом со мной, напротив: это горит гумно мадам Моро. Может, его подожгли нарочно. Оно полно кормов. Пожарники уже здесь и топчут в моем садике клумбы, которые я приготовила для цветов и клубники. Огонь сыплется на мой курятник; какое счастье, что я не захотела разводить кур! Мне было бы отвратительно есть доверчивых, выкормленных мною кур или кормить ими кого-нибудь. Как прекрасен этот огонь! Не унаследовала ли ты мою любовь к катаклизмам? Увы, уже визжат и бегут во все стороны бедные крысы, спасаясь из горящего гумна. Наверное, они спрячутся в моем дровяном сарае. О прочем не беспокойся, ветер, к счастью, восточный. Представь себе только, если бы он дул с запада, я бы уже изжарилась. Коль скоро сама я помочь ничем не могу и поскольку речь идет всего лишь о соломе, мне можно спокойно предаваться своей любви к стихиям, шуму ветра, вольному полыханию пламени… Сейчас, успокоив тебя своим письмом, я иду принимать

свой утренний кофе и буду созерцать прекрасный огонь».

— Мне, конечно, неловко дарить вам такую незначительную вещицу… — повторяла Элен Клеман уже во второй раз.

Незначительная вещица, которую она мне вчера принесла, была этюдом моря в обрамлении двух кактусов-опунций: голубой кобальт на химической голубизне моря — этюд удачно построенный и все же несколько тяжеловатый.

— Но ты ведь пришла мне его подарить?

— Да… Просто поскольку он голубой и поскольку вы любите окружать себя голубым всех оттенков… Но ужасно неловко дарить такие незначительные вещицы вам…

Значит, она видела у меня «значительные вещицы»? Я обвела рукой, показывая, что это не так… Поблагодарила ее, и она осторожно поставила свое полотно на край одной из этажерок, где маленький тугой луч цвета молнии разрезал тень между двумя пластинками жалюзи. Полотно сверкнуло всеми своими голубыми красками, обнажив все уловки художника, подобно тому как выдает свои секреты под огнем прожектора загримированное лицо, и Элен вздохнула.

— Видите, — сказала она, — какой он неудач-

ный.

— Что ты ставишь в упрек этому этюду?

— То, что он мой, вот и все. Если бы его сделал кто-нибудь другой, он был бы лучше. Трудно рисовать.

— Трудно писать.

— Правда?

Она мне задала этот банальный вопрос голосом, в котором прозвучали тревога, недоверие и удивление.

— Уверяю тебя.

В полумраке, который после обеда я всегда устраиваю с такой же тщательностью, как если бы составляла букет, глаза девушки стали темно-зелеными, волосы— менее светлыми, а под ними вырисовывалась, вызывая мое восхищение, шея: живого цвета красной глины, упругая, подвижная, длинная, какая обычно бывает у людей недалекого ума, и в то же время плотная, говорящая о силе, напористости, уверенности в себе…

— Вы работаете, мадам?

— Нет, в это время никогда, по крайней мере летом.

— Значит, сейчас я вам мешаю меньше, чем если бы пришла в другое время.

— Если бы ты мне мешала, я бы тебя выпро-

водила.

— Конечно… Хотите, я вам сделаю стакан лимонада?

— Нет, спасибо, но, может, ты хочешь пить сама? Извини меня, я, кажется, плохо тебя принимаю.

— О!..

Она сделала неопределенный жест рукой, схватила и раскрыла какую-то книгу. Белая страница зажглась в луче, рассекающем мрак, и, как зеркало, отбросила свое отражение в потолок. Могучий летний свет овладевает для подобных игр любым предметом, вплоть до самого неподходящего, выхватывает его и либо возносит, либо губит. Полуденное солнце окрашивает в черный цвет красные герани и сбрасывает на нас совершенно отвесно печальный пепел. Бывает, что в полдень короткие тени у стен и под деревьями оказываются единственной чистой лазурью пейзажа… Я терпеливо ждала, когда Элен Клеман уйдет. А она только подняла руку, чтобы пригладить ладонью волосы. Даже если бы я ее не видела, по одному этому жесту я бы ее себе представила блондинкой, блондинкой правильной и немного резковатой… При этом блондинкой взволнованной, нервничающей — в этом я не могла

сомневаться. Она быстро опустила в замешательстве свою открытую руку, изящную, как ручка вазы, хотя и немного плосковатую между плечом и локтем.

— Элен, у тебя очень красивые руки.

Она улыбнулась, впервые с тех пор как вошла, и оказала мне милость, показав свое смущение. Дело в том, что, принимая невозмутимо от мужчин комплименты, касающиеся конкретных прелестей своего тела, женщины и девушки оказываются более чувствительными к женской похвале, которая их украшает одновременно и замешательством, и удовольствием, порой довольно сильными. Элен улыбнулась, потом пожала плечом.

— И что это мне дает, при моей-то удачливости?

— Значит, это могло бы тебе что-то дать без твоей удачливости?

Я здесь использовала втихую тот самый прием вопросительного ответа, который порицала у Вьяля…

Она посмотрела на меня с откровенностью, которой благоприятствовал полумрак, превращавший ее в молодую шатенку с темно-зелеными глазами.

— Мадам Колетт, — начала она без большого усилия, — вы пожелали обращаться со мной и прошлым летом и сейчас, как с… действительно, как с…

— Подружкой? — подсказала я.

— Два дня назад я бы именно так и сказала, как с подружкой. Я, вероятно, еще бы добавила, что мне осточертели все эти миляги или что-нибудь в этом роде. Только сегодня меня на жаргон не тянет. С вами, мадам Колетт, меня никогда не тянет на жаргон.

— Элен, я вполне обойдусь и без него.

Этот ребенок нагревал мою прохладную комнату, а ее взволнованность сгущала воздух. Сначала я сердилась на нее только за это и за то, что она укорачивает мой день. К тому же секрет Элен мне был уже известен и я боялась заскучать. Слушая воскрешенную моим вниманием саранчу, которая распиливала летний зной на мельчайшие кусочки, я в мыслях ускользала на раскаленный глинобитный пол террасы… Резким движением я распахнула свои органы чувств навстречу всему тому, что сияло по ту сторону жалюзи, и тут же без промедления выразила свое нетерпение, воскликнув:

— Элен, ну и?.. — что сформировавшаяся жен-

щина восприняла бы как едва замаскированное прощание. Однако Элен — это девица в полном смысле этого слова, что она тут же мне и доказала. Она набросилась на это «ну и?..» с доверчивостью животного, на которого еще никогда не ставили капкан, и начала:

— Ну и вот, мадам, я хочу вам показать, что я достойна доверия… в общем, того приема, который вы мне оказали. Я не хочу, чтобы вы считали меня вруньей или… В общем, мадам Колетт, это верно, что я живу совершенно независимо и что я работаю… Но все-таки вы достаточно знаете жизнь, чтобы понять, что бывают такие не слишком веселые часы… что я тоже женщина, как и другие… что нельзя избежать каких-то симпатий… каких-то надежд, и вот как раз эта-то надежда меня и обманула, поскольку у меня были основания верить… В прошлом году, здесь же, он мне говорил, и совершенно недвусмысленно…

Не столько из хитрости, сколько чтобы дать ей передохнуть, я спросила:

— Кто?

Она его назвала как-то очень музыкально:

— Вьяль, мадам.

Упрек, который можно было прочитать в ее глазах, относился не к моему любопытству, а к то-

му лукавству, которое, по ее мнению, было ниже нашего достоинства. Поэтому я запротестовала:

— Я, милая моя, хорошо понимаю, что это Вьяль. Только… что же нам с этим делать?

Она замолчала, приоткрыв рот, прикусила свои пересохшие губы. Пока мы говорили, упругое древко солнца, усеянное пылинками, приблизилось к ней и стало ей жечь плечо, а она шевелила рукой, отгоняя ладонью, как муху, печать света. То, что ей оставалось сказать, не выходило из ее губ. Ей оставалось сказать мне: «Мадам, я полагаю, что вы являетесь… подругой Вьяля и что поэтому Вьяль не может меня любить». Я бы охотно ей это подсказала, но секунды шли, и ни я, ни она не решались говорить. Элен немного отодвинула свое кресло, и лезвие света скользнуло по ее лицу. Я была уверена, что через мгновение вся эта юная планета — открытые, закругленные, лунообразные лоб и щеки — растрескается, оказавшись во власти подземных толчков рыданий. Белый пушок, обычно лишь слегка заметный, увлажнился вокруг рта росой волнения. Элен вытирала виски концом своего разноцветного шарфа. Бешенство искренности, дух отчаявшейся блондинки исходили от нее, хотя она и сдерживалась изо всех своих сил. Она меня умоляла понять,

не заставлять ее говорить; но я внезапно перестала заниматься ею как Элен Клеман. Я ей нашла место во вселенной, посреди тех былых зрелищ, коих анонимным зрителем либо горделивым дирижером я была. Эта честная жертва одержимости никогда не узнает, что в моей памяти она оказалась достойной встретиться со слезами наслаждения подростка, — с первым ударом темного огня, на заре, по вершине голубого железа и фиолетового снега, — с цветовидным разжатием сморщенной руки новорожденного, — с эхом единственной, долгой ноты, вырвавшейся из птичьей гортани, сначала низкой, а потом такой высокой, что в момент, когда она оборвалась, она уже казалась мне скольжением падающей звезды, — и с теми языками пламени, моя самая дорогая, с теми растрепанными пионами пламени, которые пожар развевал над твоим садом… Довольная, Ты сидела за столом счастливая, с чайной ложечкой в руке, «потому что речь шла только о соломе»…

Впрочем, я охотно вернулась к Элен. Она лепетала, вся запутавшаяся в своей неуютной любви и в своем почтительном подозрении. «А, ты здесь!» — чуть было не сказала я ей. Видение с трудом превращалось в плоть. Она говорила о стыде,

который испытывала, о своем долге отойти «в сторону», упрекала себя в том, что нанесла мне сегодня визит, обещала «никогда больше не возвращаться, потому что…». Она с жалким видом крутилась вокруг окончательного вывода, натыкаясь на четыре или пять колючих, ужасных, непреодолимых слова: «Потому что вы… подруга Вьяля». Ведь сказать «любовница» она не осмеливалась.

Момент, который ее всю осветил, прошел у нее быстро, и я теперь смотрела, как мои воспоминания съеживаются, гаснут, чернеют…

— Если бы, мадам, вы сказали мне хотя бы одно слово, только одно слово, хотя бы чтобы выставить меня за дверь… Я не имею ничего против вас, мадам, я вам клянусь…

— Но я ведь тоже. Элен, я ничего не имею против тебя…

И вот тебе пожалуйста, слезы. Ах! уж эти мне большие девы-лошади, которые без колебания отправляются одни в дорогу, водят машину, курят грубый табак и почем зря рычат на родителей.

— Ну, Элен, Элен…

Еще и сейчас, описывая это, я испытываю страшное отвращение к тому, что сегодня — полночь еще не наступила — произошло. Только

теперь я отваживаюсь назвать причину своего смущения, своей краски, той неловкости, с которой я произнесла несколько простых слов: она называется робостью. Неужели можно ощутить ее вновь, отказавшись от любви и от практики любви? Значит, это так трудно произносить то, что в результате я все-таки сказала этой залитой слезами просительнице: «Да нет же, милая, вы вообразили просто большую глупость… Никто здесь уже больше ни у кого ничего не берет… Я вам охотно прощаю, и если я могу вам помочь…»

Славная девушка об этом даже и не мечтала. Она мне говорила: «Спасибо, спасибо», запинающимися губами славила мою «доброту», увлажняя мне руки своими поцелуями… «Не говорите мне «вы», мадам, не говорите мне «вы»… Когда я открыла ей дверь, на пороге ее всю обняло спустившееся солнце: ее белое помятое платье, ее опухшие глаза, ее самое, чуть-чуть смеющуюся, вспотевшую, снова попудрившуюся, может быть, трогательную… Однако, стоя лицом к лицу с этой юной полной смятения Элен, я пребывала во власти своей злополучной робости. Смятение не является робостью. Напротив, это своего рода бесцеремонность, сладострастие самоуничтожения…

Этот день мой не стал для меня приятным днем. Я надеюсь, у меня еще есть впереди много-много дней, но я уже не хочу тратить их понапрасну. Несвоевременная робость, слегка увядшая и горькая, как все то, что остается нерешенным, двусмысленным, бесполезным… Ни украшение, ни хлеб насущный…

Слабый, молчаливый сирокко прогуливается из одного конца комнаты в другой. Он так же мало способен освежить комнату, как какая-нибудь сидящая в клетке сова. Как только я расстанусь с этими страницами цвета светлого дня в ночи, я пойду спать во двор, на матрасе из рафии. Над головой тех, кто спит под открытым небом, вращается весь небосвод, и когда, проснувшись раз-другой до рассвета, я обнаруживаю бег крупных звезд, не оказавшихся на прежнем месте, то испытываю легкое головокружение… Иногда конец ночи столь холоден, что роса в три часа прокладывает себе на листьях дорожку из слез, а длинная шерсть ангорского одеяла серебрится как луг… Ро-бость, у меня был приступ робости. А всего-то и нужно было — поговорить о любви, снять с себя подозрение… Ведь боязнь смешного — даже моя собственная — имеет пределы. Можете ли вы меня представить кричащей, с

румянцем невинности на лице, что Вьяль…

А кстати, какова же его собственная роль во всем этом? Героиня добивается, чтобы весь свет прожектора маленькой истории был направлен на нее. Она выскакивает на первый план, выворачивает себя наизнанку, обнаруживает свое дурное пристрастие к неприступной добропорядочности… А мужчина, что же он? Он молчит, он скрывается. Какое преимущество!..

VII

Что касается мужчины, то молчал он недолго. Я не в силах выразить свое изумление перед той стремительностью, с которой мысль Элен, ловко маневрирующая на трехстах метрах побережья, повторяя, подобно ослабевшей птице, береговые извилины, ворвалась в дом, в спокойное существование Вьяля. Я припоминаю, что в то утро, вместо того чтобы открыть решетку и идти в сопровождении собачьих приветствий, Вьяль, прислонившись к решетке, закричал еще издалека:

— Это мы вдвоем: Люк-Альбер Моро!

А рукой он мне показывал на Люка-Альбера Моро, представшего в странном черном одеянии, со скрещенными руками, влажными, как у лани, глазами и вооруженного терпением и кротостью не хуже, чем какой-нибудь деревенский святой.

— Ты, значит, нуждаешься в рекомендациях? — кричала я Вьялю. — Входите, вы-вдвоем-Люк-Альбер!

Однако Люк-Альбер тут же стал прощаться, потому что у него была назначена встреча с чистыми холстами и со своей женой — она должна

была ему их принести.

— Вы извините меня… Ни одного холста в доме… Ни одного холста в городе. Гектары и гектары истраченных холстов, раскрашенных американцами и чехословаками… Я рисую на донышках шляпных коробок… Они говорят, что это из-за отсутствия вокзала… О! уж этот мне вокзал! Вы знаете, что это за вокзал…

При этом казалось, что его рука, сложенная раковиной, прощает и благословляет все то, что осуждает его речь.

Освещаемый десятичасовым солнцем день все еще сохранял свою юность благодаря сильному бризу, дувшему с залива. Какая-то веселость в освещении, плеск листьев шелковицы, свежесть изнанки очень сильной жары — все напоминало июнь. Помолодевшие животные бродили как весной, словно огромная ночная рука стерла с лица земли два месяца… Теперь, после того как меня поставили в глупое положение, я с легким сердцем, без натуги, обкладывала соломой мандариновые деревья. В выкопанную вокруг их ствола кольцевидную яму диаметром в два метра я набрасывала обессоленные водоросли, потом закрывала их землей и утаптывала обеими ногами как при сборе винограда, а весенний ветер

тем временем сушил мой пот…

Приподнять, разорвать землю, проникнуть в нее — это одновременно и труд, и удовольствие, порождающее такую экзальтацию, которую никакая бесплодная гимнастика дать неспособна. Нутро земли, которое удается увидеть тем, кто на ней живет, делает их внимательными и жадными. За мной следовали зяблики и с криком набрасывались на червей; кошки принюхивались к скудной влаге, окрашивающей рыхлые комки в темный цвет; моя захмелевшая собака всеми лапами рыла себе нору… Когда вскрываешь землю, пусть всего лишь для одного капустного кочана, всегда ощущаешь себя первопроходцем, хозяином, не имеющим соперников супругом. У раскрытой земли нет больше прошлого — она вся вверяется будущему. С обожженной спиной, с навощенным носом, с глухо, как шаги за стеной, стучащим сердцем я так увлеклась, что на какое-то мгновение забыла о присутствии Вьяля. Садовничество приковывает глаза и дух к земле, и я чувствую, как во мне пробуждается любовь к ставшей вдруг счастливой, по-буржуазному степенной внешности деревца, которое поддержали, укрепили, накормили и одели в солому, прикрытую новой землей…

— А все-таки, Вьяль, насколько земля была бы душистее, если бы сейчас была весна!

— Если бы сейчас была весна… — повторил Вьяль. — Но ведь тогда мы были бы не здесь и все равно лишены аромата этой земли.

— Ничего, Вьяль, скоро я буду приезжать сюда весной… и осенью… да и в те месяцы, что заполняют интервалы между двумя сезонами… Февраль, например, или вторая половина ноября… Вторая половина ноября и голые виноградники… Вот у этого мандаринового деревца, похожего на шар, у него уже есть свой найденный им стиль, ведь правда? Круглое, как яблоко! Я постараюсь у него сохранить эту форму… Через десять лет…

Надо полагать, в конце этого срока меня ожидает нечто невидимое, несказуемое, поскольку я споткнулась об эти десять лет и остановилась.

— Через десять лет?.. — повторил Вьяль как эхо.

Я подняла голову, чтобы ответить, и обратила внимание, что в моем дворике на фоне розовой стены, гераней, георгинов и высоких стеблей этот втиснутый в свою прекрасную коричневую кожу, хорошо сложенный юноша смотрится темным пятном, несмотря на свою белую одежду…

— Через десять лет, Вьяль, с этого маленького

дерева будут собирать прекрасные мандарины.

— Их будете собирать вы, — сказал Вьяль.

— Я или кто-нибудь другой, это не имеет значения.

— Имеет, — сказал Вьяль.

Он опустил свой нос, который у него несколько великоват, и дал мне самой поднять полную лейку, не поспешив на помощь.

— Не перетрудись, Вьяль!

— Извините…

Он протянул свою бронзовую руку, свою кисть с изящными, подкрашенными солнцем пальцами. Было заметное несоответствие между мощью всей руки и кистью с длинными пальцами, и я пожала плечами, пренебрегая помощью этой кисти.

— Пф!..

— Да, я, конечно, понимаю…

Вьяль восполнил пропущенные в фразе слова, передавая интонацией точный смысл восклицания.

— Я не… хотела тебя обидеть. Это достаточно красиво — тонкая рука у мужчины.

— Это достаточно красиво, но вам это не нравится.

— У землекопа, естественно, нет… естественно…

О! я сейчас свалюсь замертво от кровоизлияния, сейчас же в море! Кожа на спине трескается, плечи облезают, а что касается носа… Подумай только! с самого утра, с полвосьмого! Я выгляжу ужасно, правда?

Вьяль посмотрел на мое лицо, на руки; солнце заставляло его щурить глаза, из-за чего верхняя губа у него приподнималась над зубами. Его гримаса сменилась маленькой обреченной конвульсией, и он ответил:

— Правда.

Признаться, это был единственный ответ, которого я не ожидала. И интонация Вьяля не позволяла мне отшутиться. *Я* все же попыталась рассмеяться, вытирая шею и лоб:

— Что ж, хорошо хоть ты, старина, не кривишь душой…

И я снова издала неловкий женский смешок, продолжая настаивать:

— Так, значит, я тебе кажусь ужасной, и ты мне об этом говоришь?

Вьяль по-прежнему смотрел на меня и по-прежнему с выражением нестерпимого страдания, медля с ответом:

— Да… Вот уже три часа вы бьетесь с этой дурацкой… ну, скажем, бесполезной работой… и

так почти все дни… Целых три часа вы жаритесь на солнце, ваши руки стали похожи на руки поденщика-мужчины, ваш казакин с оторванными полами совсем полинял, и вы с самого утра не соизволили даже попудрить лицо. Зачем, зачем вы это делаете?.. Конечно, я знаю, вы находите в этом удовольствие, тратите свою неистовую энергию… Но есть ведь и другие удовольствия подобного рода… Я не знаю, скажем… Собирать цветы, гулять у моря… Надеть свою большую белую шляпу, повязать голубой шарф вокруг шеи… У вас такие красивые глаза, когда вы этого хотите… И подумайте хоть немного о нас, о тех, кто вас любит, мы вполне, мне кажется, стоим этих мелких пустяковых деревьев…

Он почувствовал, что его смелость подходит к концу, и, пошевеливая носком землю, добавил, уже как-то совсем капризно:

— В этом все, все дело!

Солнце сверху омывало его бронзовую, гладковыбритую щеку. По-видимому, молодость на этом лице никогда не была слишком яркой. Карие глаза в сочетании с загорелой кожей обрели своеобразную глубину. Рот хорошо смотрится благодаря красивым зубам и бороздке, которая разделяет верхнюю губу. Вьяль доживет до бла-

гопристойной старости, до того зрелого возраста, когда, глядя на его длинный нос с умеренной горбинкой, на крепкий подбородок, на выступающие брови, о нем будут говорить: «Как, вероятно, он был красив в молодости!» А он со вздохом ответит. «Ах! если бы вы меня видели, когда мне было тридцать лет! Не хвалясь, я…» И это будет неправдой…

Вот о чем я думала, вытирая затылок и поправляя волосы, стоя перед мужчиной, который, впервые *с тех* пор как мы знакомы, обратился ко мне со словами, наполненными тайным смыслом. Так-то! О чем же еще можем мы думать при виде чужой молодости, когда, отгородившись ото всех чем-то вроде не очень надежного барьера, смотрим на мужчин, да, впрочем, и на женщин тоже? Конечно же, мы безжалостны в наших суждениях, а что касается меня, то когда я пытаюсь обрести безмятежность, то опираюсь на что-нибудь прочное: «Ты уже больше мне совершенно не нужен…», чтобы затем дойти до: «Что ж, тогда я хочу быть в чем-то полезной тебе…» Неужели я все еще способна на самозабвение? Да, коль скоро я не могу без этого обойтись. Ради того, ради той… Надо бы меньше. Однако я чувствую себя все еще слишком хрупкой для абсолютного гармонич-

ного одиночества, такого одиночества, которое отвечает звоном на малейшее прикосновение, но при этом сохраняет свою форму, обратив свою раскрытую чашечку к живому миру…

Я думала все-таки о Вьяле, когда смотрела на Вьяля, стряхивая со своих ног легкую песчаную, соленую землю. Ничто не торопило меня с ответом, и я скорее всего сознательно растягивала молчание, в котором я чувствовала себя как в своей стихии, *«поскольку речь шла только о соломе…»*, и потому что робость, вчерашняя робость умерла. О мужчина! прирожденный собеседник, противник или друг, надежный фронтон, отсылающий обратно, отражающий все то, что мы тебе бросаем… Я уверенно перешагнула через последний насыпанный мною холм:

— Ну пошли, мой маленький Вьяль. Сейчас пойдем искупаемся, а потом мне надо с тобой поговорить. Если ты согласен со мной пообедать, могу предложить фаршированные сардины.

Купание оказалось неудачным из-за страха перед акулами (это месяц, когда им случается забредать в устья рек и заливы; как-то на днях мой сосед уперся на своей барке прямо в бок одной из этих тварей, правда, на мелководье, где ее движения были стеснены) и не принесло

нам ни мирного покоя, ни душевной близости. Соседи-туристы и мои друзья по летнему отдыху, всего человек двенадцать, наслаждались контрастом между легким ветерком и теплой водой. Мы вполне благоразумны и потому опасаемся ежегодно наведывающихся в эти места акул. Когда мы с открытыми глазами ныряем в тусклую кристальную массу цвета медузы, то малейшая неожиданная тень облака на белом песке уже выбрасывает нас на поверхность, со сбившимся дыханием и не слишком уверенных в себе. Голые, мокрые, безоружные, мы в это утро чувствовали себя столь же сплоченными, как занесенные на край земли жертвы кораблекрушения, а матери то и дело подзывали своих плескавшихся в воде детей, как если бы хотели их уберечь от летящих дротиков и щупалец осьминогов.

— Уверяют, — говорил Жеральди, высунув из воды полкорпуса наподобие сирены, — что в Тихом океане детишки играют с акулами и, плавая под водой, бьют их пятками по морде. Поэтому…

— Неправда! — орал Вьяль. — Вас обманули! Никаких детишек в Тихом океане! Мы вам запрещаем всякий показ! Сейчас же вернитесь на берег!

И мы смеемся, потому что смеяться приятно и

потому что так легко смеяться в этом климате, где нашли пристанище жара, настоящее лето, бризы, возможность утверждать: «И завтра, и послезавтра у нас еще будет день, подобный этому, наполненный до краев голубыми и золотистыми мгновениями, день «остановившегося времени», милосердный день, когда тень создается задернутой шторой, закрытой дверью, листвой, а не печалью неба…»

Сегодня я обратила внимание на то, как мои друзья и мои соседи по заливу покидают меня после купания в одиннадцать часов, которое мы заканчиваем в половине первого. Ни один из присутствовавших мужчин не спросил у Вьяля: «Вы идете?» Ни один ему не предложил: «Я вас подброшу до вашего дома, мне по пути». Они знали, что Вьяль обедает со мной. Даже в те дни, когда мне не известно, обедает ли Вьяль со мной или нет, им это уже известно. Ни один из них, расходящихся в разные стороны к конечным точкам изогнутого полумесяцем пляжа, не подумал остановиться, обернуться, чтобы посмотреть, идет ли Вьяль… Точно так же никто из них не стал бы, рискуя вызвать у меня досаду или раздражение, обращаться к Вьялю: «Ах да, верно, вы ведь остаетесь…»

Вьяль угрюмо смотрел, как они удаляются. В другие дни его настроение омрачалось только их присутствием… Тайна, хорошо оберегаемая ее владельцами, вынашиваемая в герметической оболочке, сохраняется невредимой и бесплодной. Но вот Элен Клеман нарушила молчание, и почтительной безмятежности пришел конец. Тайна, подчинившаяся силе, разбрасывает свои семена обнаруженной тайны. У Вьяля теперь вид человека, которого разбудили посреди ночи, украв у него одежду, и вытолкнули наружу. А я себя чувствую не оскорбленной или раздраженной, но немного разочарованной своим собственным одиночеством… Двадцать четыре часа, несколько слов: нужно только еще двадцать четыре часа, несколько других слов, и поток времени снова станет прозрачным… Есть такие счастливые реки, безмолвное течение которых нарушает лишь один всплеск, лишь одно всхлипывание, указывая местонахождение погруженного в воду камня…

— Вьяль, когда будем пить кофе, я тебе скажу кое-что.

Ибо трапеза принадлежит рассеянному солнечному свету, умиротворенности, порожденной и поддерживаемой освежающим купанием,

животным-попрошайкам. На скатерти слабо шевелились блики солнца, а самая молодая кошка, встав на задние лапы перед кувшином, исследовала лапой его выпуклую, украшенную гирляндами поверхность из розовой глины…

Однако случилось так, что, когда кофе был готов, зашел садовник, занимающийся выращиванием саженцев, и мы пили вместе с ним.

Затем я проводила садовника через виноградник до изгороди из кустов с обломанными, поредевшими ветками, которые нужно усилить новыми саженцами, чтобы защитить от мистраля виноградник и молодые персиковые деревья… А потом заявил о себе мой послеполуденный, получивший отсрочку сон. Пусть тот бросит в меня камень, кто в долгий, жаркий провансальский день не испытывал желания уснуть! Оно проникает через лоб, через глаза, которые оно обесцвечивает, и ему повинуется все тело, вздрагивая, как увлеченное сновидением животное. А Вьяль!.. Ушел, растворившись в пылающем оцепенении, поглощенный на пути тенью сосны или шпалеры…

Уже половина четвертого… Какая забота, какой долг способны сопротивляться в этом климате потребности поспать, потребности открыть про-

хладную пучину в пылающей середине дня?

Вьяль вернулся как получивший отсрочку платеж. Он вернулся, не возвращаясь, и ограничился тем, что высадил у дома моих соседей, моих спокойных соседей, особняком живущих на своем прекрасном, широко раскинувшемся винограднике, от которого на почтительном расстоянии держится торговец мелкими участками. Наступал вечер, и Вьяль был одет в белое. Когда он притворился, что заводит свою пятисилку, чтобы уехать, я сурово окликнула его:

— Ну что, Вьяль?.. Стакан ореховой воды?

Он устремился в аллею, не говоря ни слова, и, пока он рассекал голубой вечерний воздух, мне начали казаться ужасно грустными и этот человек с опущенной головой, и внезапно остывшее время, и маленький простой домик, на пороге которого стояла женщина с неразличимыми чертами лица, и красная лампа на перилах… Ужасно, ужасно грустными… Напишем, повторим эти слова; пусть их примет золотистая ночь…

Ужасно грустными, покинутыми, еще теплыми, едва живыми, онемевшими от неведомо какого стыда… Золотистая ночь сейчас закончится; между спрессованными звездами проскальзывает какая-то бледность, и это уже не та абсолютная

синева августовской полночи. Но еще пока все вокруг — сплошной бархат, ночное тепло, вновь обретенное удовольствие проснуться посреди сна и жить… Это самое глубокое время ночи, и расположившиеся, как обычно, недалеко от меня мои животные кажутся, если бы не легкие движения их боков, неодушевленными.

Ужасно грустными, грустными до невыносимого, до спазм в горле, до пересыхания слюны, до появления самого примитивного инстинкта страха и защиты, — разве не было такого мгновения, когда этого идущего сейчас ко мне человека я бы забросала камнями, толкнула бы ему навстречу свою пустую тачку, бросила бы грабли и лопату? Моя сука, которая никогда не рычит, вдруг зарычала, словно уловив мои мысли, и Вьяль ей крикнул: «Это же Вьяль!», как крикнул бы: «Друг!», оказавшись в опасности.

Мы вошли в низкую розово-голубую гостиную, и все стало на свои места. Драма, феерия страха, эмоциональные иллюзии — с какого-то момента уже больше не в моей власти давать всему этому пищу. Вьяль улыбался, приподнимая верхнюю губу над зубами, ослепленный светом двух ламп, зажженных, потому что дни уменьшались, и в окне в это время оставался только большой садок

зеленого неба с двумя-тремя беспорядочно пульсирующими звездочками просветов.

— О! это хорошо, эти лампы… — вздохнул Вьяль.

Он тянулся к ним руками, как к очагу.

— Сигареты в голубой кружке… Ты сегодня газеты получил?

— Да… Хотите взглянуть?

— Ах! ты же знаешь, газеты для меня… Я просто, чтобы узнать новости о лесных пожарах.

— А что, были лесные пожары?

— В августе они всегда бывают.

Он присел как посетитель, зажег сигарету как в театре, а я достала из-под стола плоский кирпич, на котором с помощью свинцового молоточка — память о типографии газеты «Матен» — колю орешки сосновых шишек.

Все работы, которые я не люблю, — это те, что требуют терпения. Для того чтобы написать книгу, нужно терпение, равно как и для того, чтобы приручить мужчину, находящегося в состоянии дикарства, или чтобы штопать старое белье, или перебирать коринку для кекса с изюмом. Мне, очевидно, просто не дано стать ни хорошей кухаркой, ни хорошей супругой — я почти всегда рву веревочки, вместо того чтобы развязывать

узелки.

У Вьяля, сидевшего наискосок, был вид человека, попавшего в ловушку, и. я принялась терпеливо развязывать конец веревочки…

— Тебя не раздражает, что я колю орешки? Если хочешь пить, кувшин вон там, снаружи, лимоны тоже.

— Я знаю, спасибо.

Он сердился на меня за мою необычайную предупредительность. Про себя он отметил, что у меня на ногах новые каталонские туфли на веревочной подошве и что я торжественно облачилась в чистейшее хлопчатобумажное платье, одно из тех негритянских платьев, которые бывают белыми, желтыми, красными и расцвечивают побережье, подчиняясь не столько моде, сколько законам солнечного света. Занимаясь своими орешками, я раскрыла иллюстрированный журнал, а Вьяль тем временем беспрестанно курил и старательно наблюдал, как за окном, на фоне постепенно темнеющего неба, снуют летучие мыши. Ниже неба пока еще можно было отличить от земли окаменевшую, черную массу моря. Появился и провел свой красный сигнальный огонь посреди более бледных огней вечерний гидросамолет, опережаемый низким, вырванным у

ветра, «фа». Снаружи замяукала кошка, просясь, чтобы ее впустили, встала на задние лапы перед опущенной решеткой и начала деликатно, как арфистка, ее скрести. Однако Вьяль, увидев ее, засмеялся, и она исчезла, задержав на нем свой холодный взгляд.

— Она меня не любит, — вздохнул Вьяль. — А ведь я пошел бы на любые унижения, чтобы завоевать ее симпатию. Как думаете, если бы она это знала, стала бы она относиться ко мне чуть благосклоннее?

— Она это знает, будь уверен.

На несколько минут он удовлетворился этим ответом, а потом принялся добиваться каких-либо других успокоительных слов, еще какого-то ответа:

— А супруги Люк-Альбер, или Восхитительный, или, может быть, еще кто-нибудь не собирались заглянуть к вам вечером на обратном пути после ужина в «Коммерсе»? А то мне показалось… А может быть, это вы должны были туда пойти… А Карко с женой… Я не очень хорошо помню…

Я косо посмотрела на него.

— В такой час художники спят. *С* каких это пор я устраиваю приемы по вечерам? А Карко с женой сейчас в Тулоне.

— Ах, да…

Он втайне уже чувствовал себя усталым и решил принять полулежачую позу. Он прислонился щекой к диванной подушке, закрыл глаза и судорожно сжатой рукой невольно уцепился за угол другой подушки, словно повиснув на рифе… Что делать с этим обломком кораблекрушения? Вот досада… А еще вы ведь, конечно, думаете про возраст, про неловкость из-за разницы в возрасте? Как же вы далеки от того, что происходит в таких случаях… Мы, мы даже об этом и не думаем. Мы думаем об этом, я уверена, меньше, чем зрелый мужчина, которому, казалось бы, ничто не мешает афишировать свою любовь к нежной девичьей юности. Если бы вы знали, с каким легким сердцем мы принимаем, мы забываем наш «долг старшинства»! Мы вспоминаем о нем лишь только для того, чтобы вооружиться кокетством, внести больше изобретательности в гигиену и туалет, в любезное лукавство, необходимые, кстати, и молодым женщинам тоже. Нет, нет, когда я пишу «вот досада», я не хочу, чтобы читатель впоследствии на этот счет заблуждался. Не нужно представлять себе нас, женщин, в моей ситуации, дрожащими и испуганными, освещенными светом недолгого будущего, попрошайничающими

у любимого человека, удрученными сознанием собственного положения. Мы, слава богу, несем в себе больше неосознанности, бесстрашия и чистоты. Что такое для нас разница в пятнадцать лет? Когда для нас приходит время рассуждать об этом с мудростью или безумием, достойными другого пола, то уж этим-то пустяком нас запугать невозможно. Для того чтобы это утверждать, я не могла бы выбрать более подходящую пору, чем та, которую я переживаю сейчас, исполненная рассудительности, почти вдовая, нежная к своим воспоминаниям, настроенная таковой и оставаться…

Когда я пишу «мы», я не включаю в это число ее, ту, которой я обязана способностью стряхивать свои годы, как яблоня стряхивает цветы. Послушайте, как она мне рассказывала об одном свадебном обеде:

«Вечером — большой обед на восемьдесят шесть персон, что уже само по себе говорит о том, что он был отвратительным. Если бы я умерла в тот день, то это бы произошло от тех четырех с половиной часов принятия дурной пищи, к которой я почти не притронулась. Я там услышала массу комплиментов. По поводу моего туалета? О! вовсе нет, по поводу моей молодо-

сти. Семьдесят пять лет… Невероятно, скажи? Неужели и вправду скоро придется отказаться быть молодой?» Конечно, нет, конечно, нет, не надо пока от этого отказываться, — я тебя знала только молодой, а теперь тебя, мою проводницу, от старения и даже от гибели оберегает смерть… Твоя последняя молодость, молодость твоих семидесяти пяти лет все еще продолжается: ее увенчивает большая соломенная шляпа, что в любой сезон ночевала снаружи. Под этим колоколом тонко сплетенной полбы резвятся твои серые, подвижные, меняющиеся, ненасытные глаза, которым озабоченность, бдительность странным образом придают форму ромба. Бровей не больше, чем у Джоконды, а нос, боже мой, нос… «У нас скверный нос», — говорила ты, глядя на меня, приблизительно таким же тоном, как если бы произнесла: «У нас есть одна чудесная собственность». А голос, а походка… Когда посторонние люди слышали на лестнице твои мелкие девичьи шажки и твою шальную манеру открывать дверь, они оборачивались и замирали в растерянности, увидев тебя переодетой в маленькую старую даму… *«Неужели и вправду придется отказаться быть молодой?»* Я в этом не вижу ни пользы, ни даже приличия. Посмотри,

моя дорогая, каким этот растерявшийся юноша, витающий вокруг мертворожденной надежды, которую он вертит так и сяк, посмотри, каким он нам кажется старомодным, традиционным и тяжеловесным! Что бы ты с ним сделала, что нужно было с ним сделать?

Да, вот досада… Это тело, уцепившееся за угол подушки, его скромность в печали, его старательное притворство — все то, что покоилось на моем диване, вот досада!.. Еще один вампир, сомнений в этом у меня больше не оставалось. Так я называю тех, кто нацеливается на мою жалость. Они ничего не просят. «Только оставьте меня здесь, в тени!..»

Время, протекавшее в молчании, тянулось долго. Я читала, потом переставала читать. В другой раз я могла бы предположить, что Вьяль спит. Ведь случается же моим друзьям спать на моем диване после целого дня рыбной ловли, вождения автомобиля, купания, даже работы, которая их лишает дара речи и околдовывает сном прямо на месте. Но этот не спал. Этот был несчастен. Страдание, первая маскировка, первое нападение вампира… Вьяль, далекий от того, чтобы чувствовать себя счастливым, притворялся, что отдыхает, и я почувствовала, как где-то внутри

зашевелилась та, которая теперь во мне живет, более легкая для моего сердца, чем я когда-то была для ее чрева… Я хорошо знаю, что они идут от нее, эти порывы жалости, которые я так не люблю. Правда, она их тоже не любила: *«Племяннице папаши Шампьона стало лучше. Твоему брату будет тяжело вытащить ее из этого. Я ей послала дров и еще раз собирала для нее пожертвования, поскольку сделать что-либо еще я сейчас не в состоянии. Только просить — это такая вещь, которую делать любезно я не умею, потому что, как только я вижу тех, которые ничего не дают и живут как сыр в масле, в лицо мне сразу ударяет краска, и вместо того чтобы говорить им любезности, мне хочется их обругать…*

Что касается твоей кошки, то каждый день после полудня я прихожу в Маленький Домик, чтобы дать ей немного теплого молока и стопить немного дров. Когда у меня ничего нет, я варю ей яйцо. Не то чтобы это было мне так уж приятно, бог свидетель, но я никогда не чувствую себя спокойной, когда мне кажется, что какой-то ребенок или какое-то животное голодает. Тогда я поступаю так, чтобы вернуть себе покой: тебе ведь известен мой эгоизм».

Вот так слово! Разве не подыскивала она свои

слова лучше, чем кто-либо другой? Эгоизм. Этот эгоизм водил ее от двери к двери и заставлял кричать, что она не может переносить холода, от которого зимой коченеют в нетопленой комнате дети бедняков. Она не могла вынести, когда собака, которую ошпарил кипятком хозяин-колбасник, не находила иного спасения как выть и крутиться у крыльца запертого и бесстрастного дома…

Видны ли тебе, моя самая дорогая, мои заботы с высоты этой располагающей к бдению ночи, более теплой и более разукрашенной золотом, чем любой бархатный шатер? Что бы ты сделала на моем месте? Тебе известно, куда меня заводили приступы эгоизма, который я унаследовала от тебя? Тебя они довели до материального разорения, ставшего твоим уделом, когда ты отдавала все. Но ведь не иметь денег — это всего лишь один из этапов лишений. Стойкая в своей бесповоротной бедности, ты становилась все более чистой от примесей и сверкала все ярче, по мере того как тебя обирали. Все же я не совсем уверена, не обошла ли бы ты стороной это полулежащее тело, подобрав край своей юбки, как ты делала, когда переходила через лужу… И вот в твою честь я захотела наконец показать свою силу тому, кто,

оцепенев от опасений, притворялся спящим.

— Вьяль, ты спишь?

Он бодрствовал и поэтому не вздрогнул.

— Немного измотался, — сказал он, выпрямляясь.

Он пригладил волосы, оправил свою открытую рубашку и фланелевый пиджак, завязал шнурок своей туфли на веревочной подошве. Его нос мне казался длинным, а лицо как бы сжатым между двумя створками дверей, как у людей, которые полагают, что им удается скрывать свои неприятности. Я его не торопила, хорошо понимая, что человека, который не уверен, все ли у него на рубашке пуговицы и завязаны ли шнурки на ботинках, вовлекать в психологию неуместно.

— Вьяль, я тебе сказала сегодня утром, что мне нужно с тобой поговорить.

Он наклонил голову с немного негритянской величавостью.

— Так вот. Мой маленький Вьяль, какая прекрасная погода! Послушай, как гидросамолет тянет свое «фа», как поет где-то очень высоко мягкий северо-восточный ветер, вдохни сосну и мяту соленого болотца, запах которого скребется о решетку, как кошка!

Вьяль поднял глаза, которые до этого держал

опущенными, его удивленное лицо стало открытым, на нем отпечаталось все его мужское чистосердечие, и при виде этого полного наивности, восприимчивого к уловкам слова существа я почувствовала, что мои намерения еще больше окрепли.

— Вьяль, ты видел, какие на винограднике ягоды? Видел, что грозди уже налились соком, окрасились в голубой цвет и стали такими плотными, что туда не пролезла бы даже оса? Думал ли ты, что сбор винограда придется начать еще до пятнадцатого сентября? Хочешь, побьемся об заклад, что раньше, чем закончится сезон, грозам не удастся преодолеть Моры, где их, как шары на кончике нити, собирает горная цепь? Вьяль, в Париже идет дождь. Дождь идет также в Биаррице и в Довиле. Бретань покрывается плесенью, а в Дофине полно грибов… И только Прованс…

Пока я говорила, его глаза уменьшались, а все его лицо закрывалось. Живым существом заниматься можно бесконечно. Теперь тот, кто находился передо мной, был осторожен и лишь едва-едва себя приоткрывал. Это мужчина, он опасается иронии. Несмотря на всю свою меланхолию, он был теперь весь недоумение и натянутость.

— Ты понимаешь, Вьяль? Я здесь провожу самое лучшее время года. Это также, я тебя уверяю, и самое лучшее время моей жизни. Тебе нравятся эти месяцы, которые ты проводишь здесь?

С помощью неуловимых движений черты Вьяля восстановили лицо мужественного человека, которому вернули его способность пользоваться своим мужеством.

— Нет, — ответил он, — я их не люблю. Я бы не променял их ни на что иное, но я их не люблю. В течение этого времени я не только не работаю, но к тому же и не чувствую себя счастливым.

— Мне казалось, что ты делал какой-то «ансамбль» для…

— Да верно, для «Катр-Картье». Макеты у меня уже готовы. Это большая работа. Жилая комната, спальни, столовая, весь дом… Я трачу все мои незначительные средства и даже немного больше, чтобы изготовить модели из дерева и металла. Однако если у меня получится, то для меня это будет означать руководство мастерскими современной мебели в «Катр-Картье»…

— Ты мне никогда не говорил об этом так подробно.

— Тоже верно. Ведь вы очень мало интересуетесь современной мебелью.

— По крайней мере, я интересуюсь тем, что касается моих друзей.

Вьяль изменил позу на диване, сделав движение всадника, который укрепился в седле.

— Мадам, у меня не возникает ни на минуту иллюзий относительно вашей дружбы. Таким друзьям, как я, которых вы одариваете обращением на «ты», рукопожатием и вашим хорошим летним настроением, вы не знаете числа.

— Ты скромен.

— Я просто трезво мыслю. Это не так уж трудно.

Он говорил почтительно, ровным голосом, лицо было снова открытым, а взгляд его больших и, честное слово, красивых глаз непринужденно останавливался на моих глазах и вообще везде на моей персоне.

— Это верно, Вьяль, что я скорее приветлива, чем привязчива. Но что касается дружбы, то разве время так уж поджимает? Мы бы стали друзьями… попозже. Я тебя мало знаю…

Он резко провел рукой в воздухе, как бы стирая мои слова:

— Я вас умоляю, мадам! Я вас умоляю!

— Вчера ты меня называл Колетт!

— При всех, да, чтобы затеряться в безымянной

толпе. Но если бы вы уделили мне немного внимания, вы бы заметили, что за всю свою жизнь я ни разу не назвал вас по имени, когда мы были наедине. А наедине *с* первого июля мы оказывались очень часто.

— Я это знаю.

— По тону этих вот трех слов, мадам, я вижу, что мы приближаемся к тому, что нас волнует.

— К тому, что волнует тебя.

— То, что вам просто докучает, мадам, меня действительно, волнует больше, чем все остальное.

На этом мы позволили себе сделать небольшую передышку, потому что неожиданно быстрый темп наших реплик рисковал внести в нашу беседу интонации ссоры.

— Тише, Вьяль, тише! Сначала зябко ежился, а потом сразу вдруг…

Он улыбнулся, отвечая на улыбку.

— Иногда «раскалываться» обвиняемых заставляет уверенность, что их все равно осудят. Тогда они принимаются рассказывать и о своем преступлении, и о своей первой любви, и о крестинах своей маленькой сестренки… О чем угодно…

Он хрустнул суставами своих зажатых между коленями пальцев и спросил скороговоркой:

— Мадам, чего вы от меня хотите? Или, точнее,

чего вы не хотите? Я уже сейчас уверен, что то, что вы от меня потребуете, будет для меня самым мучительным, и что я выполню все, что вы захотите.

Как все же мужское благородство, даже будучи сведенным к своему словесному выражению, вдруг внушает нам тревогу, создает препятствия у нас на пути. Во мне как прежде все еще живуча женская склонность облачать в доспехи героя мужчину, когда тот говорит о готовности пожертвовать своим душевным спокойствием…

— Так. Ну тогда все пойдет прекрасно. Элен Клеман…

— Нет, мадам, только не Элен Клеман.

— Как это, только не Элен Клеман?

— Как я это говорю, мадам. Никакой Элен Клеман. Хватит об Элен Клеман. Что-нибудь другое.

— Да полно, пойми же меня! Подожди! Ты ведь даже не знаешь… Она приходила вчера, и мне нетрудно было убедиться…

— Браво, мадам! Это делает честь вашей проницательности. Вы, стало быть, убедились? Я просто в восторге. Но не будем больше об этом говорить.

Маленький пронзительный огонек сверкал в глазах Вьяля, который дерзко смотрел мне в лицо. Когда он увидел, что я собираюсь рассердиться,

он положил свои руки на мои.

— Нет, мадам, не будем больше об этом говорить. Вы ведь хотите мне сообщить, что Элен Клеман меня любит, что мое безразличие повергает ее в отчаяние, что я должен сжалиться и даже полюбить эту «красивую неиспорченную девушку» — я цитирую Жеральди — и на ней жениться? Так. Я это знаю. С этим покончено. И не будем больше об этом говорить.

Я высвободила свои руки.

— О! если, Вьяль, ты это так воспринимаешь…

— Да, мадам, я это воспринимаю именно так, более того, я виню вас в том, что вы вообще употребили имя этой девушки в нашей беседе. У вас была причина это сделать? Какая? Назовите ее. Назовите же ее. Вы принимаете участие в судьбе этой девушки? Вы ее хорошо знаете? На вас лежит обязанность обеспечить будущее и даже счастье хрупкого создания, которому едва исполнилось двадцать шесть лет? Вы испытываете к ней чувство привязанности? Вы ее подруга?.. Ответьте, мадам, быстро ответьте! Почему вы не отвечаете быстро? Чтобы честно ответить «да» на все мои вопросы, не нужно, мадам, много времени, а реакция у вас обычно скорая… Вы не любите Элен Клеман, и, простите мне выражение, вам в

высшей степени наплевать на ее счастье, которое к тому же никоим образом вас не касается. Не сердитесь, я высказал все, и с этим покончено. Уф! Я охотно бы выпил немного лимонада, и вам тоже сейчас сделаю. Не двигайтесь!

Он налил нам обоим по стакану и добавил:

— Если не считать этого, то я сделаю все, что вы пожелаете, я вам это повторяю. Я вас слушаю…

— Извини! Это ведь ты собирался «раскалываться».

— Мне, мадам, не было бы прощения, если бы из-за меня мы не услышали продолжение милой песенки про прекрасный сезон.

Ах! если бы хоть, по крайней мере, я вдруг ощутила в сердце биение, в ладонях — озноб предзнаменования, а во всем теле — праздник томления. Именно в тот момент, а не позже — насколько я себя знаю — я пожалела, что с нами нет сиятельнейшего самозванца — желания. Будь он здесь, мне кажется, в нем я бы без труда обнаружила смысл нашего вечернего свидания, ту пряность и ту опасность, которой так не хватало нашей встрече. Мне показалось также слишком очевидным, что Вьяль хотел подчеркнуть разницу между молодым вчерашним компаньоном, «моим маленьким Вьялем», включенным в

команду летних друзей, и абсолютно самостоятельным любовником…

— Вьяль, нам не нужно много слов, чтобы понять друг друга, я это уже заметила.

То была двусмысленная вежливость, которая имела более далекие последствия, чем мне хотелось.

— Это правда? — сказал Вьяль. — Это правда? Вы так считаете? Скольким мужчинам в своей жизни вы говорили эти слова? Может быть, вы их сказали только мне одному? Я, кстати, не обнаруживаю их следа ни в одной из ваших книг… ни в одной, нет… То, что вы только что сказали, не похоже на презрение к любви, которое, когда вас читаешь, всегда немного угадывается в вашей любви к любви… Это совсем не то слово, которое вы бы сказали одному из тех мужчин, которые…

— Вьяль, книги мои здесь совершенно ни при чем.

Я не могла скрыть от него моего ревнивого разочарования, моей несправедливой враждебности, которые овладевают мной всегда, когда я осознаю, что меня, живую, ищут меж страниц моих романов.

— Оставь мне право в них прятаться, пусть хотя бы как в «Украденной букве…». И вернемся

к тому, что нас интересует.

— Нас вместе, мадам, ничто не интересует, и мне от этого очень грустно. Вам было угодно между собой и мной поместить третьего человека. Отошлите его, и мы останемся одни.

— Но дело ведь в том, что я ей обещала…

Вьяль поднял свои черные руки, выглядывающие из белых рукавов.

— А! вот оно что! Вы ей обещали! И что же обещали? Честное слово, мадам, что вам во всем этом надо?

— Не так громко, Вьяль, Дивина спит в хижине на винограднике… Малышка Клеман мне сказала, что в прошлом году, здесь же, вы обменялись словами, которые позволяли ей верить…

— Вполне возможно, — сказал Вьяль. — А в этом году все изменилось, вот и все.

— Это некрасиво.

Вьяль резко ко мне повернулся.

— Почему же? Было бы некрасиво, если бы, переменившись, я не поставил бы ее об этом в известность. Я не похитил несовершеннолетнего ребенка, не соблазнил добродетельную девушку. Это все, в чем вы можете меня упрекнуть? Это вот ради этого-то пустячка вы и приготовили свою песенку про прекрасный сезон? Для того чтобы

обеспечить счастье Элен Клеман, вы решили — а ведь вы это решили — прогнать меня? Почему вы хотите отдалить от себя именно того, кто больше всех вами дорожит и лучше всех вас понимает? В этом, значит, и состоит обещание, которое вы дали Элен Клеман? Во имя чего она от вас его добилась? Во имя «морали»? Или же во имя нашей разницы в возрасте? Она на это вполне способна! — вскрикнул он голосом, веселость которого не обманывала.

Я ему подарила, вместе с опровергающим кивком, свой самый ласковый взгляд. Бедный Вьяль, какое признание… Так, значит, он об этом думал, о нашей разнице в возрасте? Какое признание своих терзаний, немых дебатов…

— Нужно ли, Вьяль, тебе об этом говорить? Я никогда не думаю о разнице в возрасте.

— Никогда? как, никогда?

— Я хочу сказать… я не обращаю на это внимания. Так же как и на мнение дураков. А Элен я обещала совсем не это. Вьяль, — я положила, как не раз прежде, свою руку плашмя на его выпирающую грудную клетку, — так ты, значит, и вправду испытываешь ко мне привязанность?

Он опустил веки и сжал губы.

— Ты испытываешь привязанность ко мне

несмотря, как ты говоришь, на разницу в возрасте… Если бы между нами не было другого барьера, уверяю тебя, этот барьер в моих глазах значил бы не слишком много.

Он сделал подбородком в направлении моей раскрытой на его груди руки совсем легкое ретивое движение и порывисто ответил:

— Я у вас ни о чем не спрашиваю. Я даже не спрошу у вас, что вы имеете в виду, говоря о каком-то другом барьере. Я даже с удивлением вижу, что об… об этих затрагивающих вас вещах вы говорите так… так просто.

— Но ведь, Вьяль, о них же нужно говорить. А в разговоре с Элен Клеман я утверждала лишь то, — впрочем, достаточно неопределенно, — что не являюсь препятствием между тобой и ею и что никогда таковым не стану.

Вьяль переменился в лице, отбросил тыльной стороной руки мою лежавшую на его груди руку.

— Это, это уже предел, — воскликнул он, приглушая свой голос. — Какая нелепость… Вам смешивать себя… Поставить себя на один уровень с ней! Предстать в роли великодушной соперницы! Соперницы кого? Тогда почему не соперницей какой-нибудь мидинетки? Это же невероятно! Чтобы вы, мадам, вы! Воспринимать

себя, вести себя как совсем обыкновенная женщина, когда я хотел бы вас видеть, не знаю, я…

Своей вскинутой рукой он очень высоко очертил передо мной в воздухе нечто вроде цоколя, но я его прервала с иронией, болезненно отозвавшейся во мне самой.

— О! мадам…

— Вьяль, оставь меня еще на некоторое время среди живых. Мне здесь не так уж плохо.

Вьяль смотрел на меня, задохнувшись от укоризны и огорчения. Он резко прижался своей щекой к моей обнаженной руке около плеча и закрыл глаза.

— Среди живых?.. — повторил он. — Ведь сам пепел, даже пепел от этих рук и тот был бы более горячим, чем любая живая плоть, и у него осталась бы их форма ожерелья…

Мне не пришлось нарушать прикосновенье, которое он тотчас же прервал, чтобы я осталась им довольна. Я была довольна и сделала головой знак «да, да», продолжая на него смотреть. Усталость, иссиня-черный налет на щеках, проступивший из-за поздней ночи… Тридцать пять, тридцать шесть лет, ни некрасив, ни испорчен, ни зол… Я погружалась в эту абсолютно безветренную ночь, достигшую момента всеобщего

сна, а от этого взволнованного, не слишком обремененного одеждами юноши исходил запах любовной полночи, который тихо навевал на меня грусть.

— Вьяль, ну а как ты вообще живешь, помимо меня? Ты меня понимаешь?

— Немногим, мадам… Немногим… и вами.

— Не слишком богатый у тебя удел.

— Это уж мне оценивать.

Я рассердилась:

— Так куда же ты, упрямый грубиян, исчезаешь, куда ты исчезал, не говоря ни слова, при этой завладевшей тобой привычке ко мне?

— Это мне абсолютно неизвестно, честное слово, — сказал он небрежно. — Знаю только, что я старался думать об этом как можно меньше. Иногда в Париже, когда у вас не было времени меня принять, я себе говорил…

Он улыбнулся самому себе, уже весь во власти желания порисоваться, представить себя рельефнее:

— Я себе говорил: «О! тем лучше, желание ее видеть у меня пройдет быстрее, если ее не будет в поле моего зрения. Нужно только потерпеть, а когда я вернусь, ей сразу будет шестьдесят или семьдесят лет, и тогда жизнь снова станет воз-

можной и даже приятной…»

— Да… А потом?

— А потом? А потом, когда я вновь приходил к вам, оказывалось, что это как раз один из тех дней, когда просыпаются все ваши бесы, и я заставал вас напудренной, с удлиненными глазами, в новом платье, и разговор шел только о путешествиях, о театре, об инсценировке «Шери» на гастролях, о посадке виноградных лоз и персиков, о покупке маленького автомобиля… И все начиналось опять… Здесь, впрочем, то же самое, — закончил он, замедляя темп.

Во время молчания, которое последовало за его словами, ничто снаружи не нарушало неподвижности всех вещей. Кошка, лежащая на террасе, во впадине шезлонга, освещенная падающим на нее лучом лампы, свернулась, поменяв позу, калачиком — признак, что скоро выпадет роса, — и раздался гулкий, как под сводом, треск ивовых прутьев.

Вьяль вопрошал меня взглядом, как если бы наступила моя очередь высказаться. Но что еще могла бы я добавить к владевшему им чувству меланхолической удовлетворенности. Он, очевидно, полагал, что я взволнована. И я была взволнованной. Я сделала всего лишь один

жест, который он истолковал в смысле: «Продолжай…», и по его чертам скользнуло почти женское, полное соблазна выражение, словно вся смуглая мужская оболочка должна была вот-вот рассыпаться и открыть какое-то ослепительное лицо; но это длилось совсем недолго. Это был блеск только некоего подобия торжества, сверкание лишь частицы счастья… Ладно, немного скорости, немного строгости, выведем этого порядочного человека из заблуждения… Но он опередил меня, устремляясь все дальше.

— Мадам, — возобновил он, стараясь не горячиться, — мне осталось сказать вам совсем немного. Мне и всегда нужно было сказать вам совсем немного. Никто не лишен намерений, задних мыслей — я мог бы почти даже добавить: и желаний — в большей степени, чем я.

— Неправда, например, я.

— Простите меня, не могу вам поверить. Вы меня позвали сегодня вечером…

— Вчера вечером.

Он провел рукой по щеке и смутился, почувствовав ее шероховатость.

— О… как уже поздно… Вы меня позвали вчера вечером, а вчера утром вы меня… вызвали. Неужели только для того, чтобы поговорить со мной

о малышке Клеман? И о вашем долге отделаться от меня?

— Да…

Я колебалась, и он взбунтовался:

— А что еще, мадам? Я вас умоляю, только не подумайте, что со мной нужно обращаться осторожно или заботливо. Я даже могу вам признаться, что я совсем не считаю себя несчастным. Отнюдь. До сегодняшнего дня я себе казался человеком, который несет что-то очень хрупкое. Каждый день я вздыхал: «Ничего не разбилось и сегодня!» И никогда, мадам, ничего бы не разбилось, если бы не чужая рука, достаточно тяжелая, может быть, с не очень добрыми намерениями…

— Не надо, оставь ее, эту малышку…

Как только я их услышала, эти свои слова, мне стало за них стыдно. Мне стыдно за них и сейчас, когда я их пишу. Слова, тон слащавой соперницы, коварной свекрови… То была исконная дань уважения, постыдное признание, которое вырывается у нас, когда мужчина его добивается, мужчина, роскошь, отборная дичь, редчайшая мужская особь. Вьяль, утратив осторожность, заблестел от радости, как осколок стекла в лунном свете.

— Да я ее и оставляю, мадам, я ничего другого и

не желал! Я же ведь ничего и ни у кого не прошу! Я ведь такой милый, такой удобный… Послушайте, мадам, а что, если бы вы, вы сами, мне предложили изменить… улучшить мою судьбу, чтобы я мог кричать самому себе: «Вон!» и даже «Изыди!»

И он разразился смехом, один, без меня. Здесь он не рассчитал своих возможностей. Когда уже сложившийся человек вдруг пытается ребячиться, это никогда не остается безнаказанным. К тому же для того, чтобы преуспеть в любезной наглости, он должен располагать атавистическим величием злого умысла, даром импровизации или хотя бы легкостью, доступной некоторым Мефистофелям средней руки, — всеми теми свойствами, которые небрежно восполняются задором ранней юности…

Возможно, что, «изображая блудницу», подобно бросающейся от отчаяния на улицу девушке из буржуазного семейства, порядочный Вьяль пытался, в надежде мне понравиться, имитировать одного персонажа, о котором ему поведали те подписанные моим именем триста страниц, где я воспеваю некоторые достаточно постыдные мужские привилегии? Я могла бы этому только улыбнуться. Однако одновременно с самой ночью я стряхивала с себя истому, перед тем как

стряхнуть мрак. Через дверь входила прохлада, которая вносила раздор между юным дуновением и вчерашним, согретым нашими двумя телами воздухом. Плита порога заблестела, как под дождем, и клочковатый призрак высокого эвкалипта постепенно вновь занял свое место на небе.

Вьяль, заблуждаясь, сильно надеялся на свою пассивность. Эта тактика для мужчины отнюдь не необычна, скорее напротив. Вьяль принадлежит к той категории любовников, которую на протяжении моей любовной жизни я лишь мельком замечала в отдалении, за что я несу ответственность. Он выглядит несколько сероватым днем, но становится ярко фосфоресцирующим с наступлением темноты, одаренным в любви, грациозным во время любви, как молодые крестьяне, рабочие в цвету, — я, честное слово, видела его так, как будто сама в этом участвовала…

Вьяль живо набросил на меня шерстяной шарф, хотя я и не думала дрожать.

— Этого вам достаточно? Вам так будет тепло? Вот уже и почти что день. Пусть он будет мне свидетелем, что я никогда не надеялся увидеть его наступление наедине с вами, в вашем доме. Позвольте же мне найти в этом для себя если не

источник счастья, то хотя бы повод для гордости. Я часто грешу гордыней, как это случается с людьми скромного происхождения, которые с брезгливостью относятся к среде, в которой они родились. Брезгливый… вот в чем все дело, я уродился брезгливым. Мои друзья по армии подшучивали над тем, что я брезговал случайными женщинами, банальными интрижками. Иной принц не столь брезглив, как я… Смешно, не правда ли?

— Нет, — сказала я рассеянно.

— Если бы вы знали, — продолжал он тише, — я только здесь познал такие длинные дни… Из всех проявлений оказанной вами мне помощи нет ни одного, которое стоило бы той особой окраски, которую ваша безмятежность придает дням, того особого привкуса, который они обретают, коснувшись вас в своем движении. И это несмотря на что-то вроде стиля эмансипированности, благоэмансипированности, который у вас явно не ваш собственный…

Я его не прерывала. Голубой, неотчетливый свет льнул к его лбу и к изгибам его щек; от вкрадчивого нарастания голубого цвета оранжеватые лампы стали более красными. Какая-то птица в саду освободилась от оков ночи с помощью тако-

го долгого, настолько немелодичного крика, что у меня возникло ощущение, будто он вырвал меня из сна. Темный в своем белом одеянии, Вьяль сидел, вжавшись в углубление дивана, все еще находясь во власти ночи, а я, чтобы лучше его разглядеть, воспользовалась тайным воскрешением моего прежнего «двойника», который пробуждался во мне с наступлением дня, двойника, жадного до физических контактов, научившегося форму тела переводить на язык обещаний. Повседневная обнаженность этого тела во время купаний сделала для меня привычными его контуры, — плечо, как на египетском барельефе, цилиндрическая и сильная шея и особенно этот глянец, — эти разрозненные и таинственные свойства, по которым в иерархии сладострастия, в животной аристократии некоторым мужчинам присваивается нечто вроде степени… И вот, чувствуя, что у меня остается не слишком много времени, я торопилась вдыхать всеми своими порами жар, который рождало запретное зрелище, «поскольку речь шла всего лишь о соломе…»

— …Когда так удачно, я бы даже сказал, так банально, всего с двумя шрамами на руке, выпутываются из войны, то после этого хочется только одного: долго жить, много работать. Но

мой отец…

Чего же ему не хватает? Что за хаос! Что за драма зарождения, роста? У него нет ничего общего с теми людьми, которых я знала, чье заразительное удушье я держала в своих руках, в своем взгляде…

— …Всего хотеть, все угадывать и в глубине души на все претендовать — это большое несчастье для молодого человека, который вынужден жалко прозябать и который не знал, что когда-нибудь ему будет дано разговаривать с вами…

Да. Только нет никакой надежды, что его вид, его направленное на соединение со мной усилие и даже само его страдание напомнят мне мучение ростка под землей, терзание растения, которое в поспешном стремлении выполнить свой долг и расцвести готово рвать собственную плоть… Я их узнавала, потом теряла, тех, что клялись — так они подтверждали мою силу — погибнуть, если я не освобожу их от них самих, никогда не распуститься, если я откажусь дать им их единственный климат: мое присутствие… Но вот этот, он-то уже расцветал и отцветал не один раз…

— …и мне не стыдно предстать перед вами более удивленным, более нищим воспоминаниями, чем в случае, если бы моя жизнь только

начиналась…

Да… Но ведь она у тебя не только начинается. Это не больше, чем сравнение. Тут тебе меня не обмануть, даже *с* помощью своей невинности. Ведь в самом конце наших последних, доблестных битв мы обычно имеем дело только с тем, что есть самого худшего либо самого лучшего; и нет большой заслуги в том, чтобы разобраться, что ты не принадлежишь ни к первым, ни ко вторым… Я опираюсь на будущее, в котором можно сосчитать часы. Если бы я и вступила в борьбу, то все свое будущее отдала бы без остатка жгучим истинам и таким огорчениям, с которыми ничто не сравнимо, или таким дуэлям, где обе стороны жаждут превзойти друг друга в гордыне. Вьяль, тебе назначена более легкая судьба, чем превосходить меня в гордыне…

— Дорогой Валер Вьяль!

Я помогла себе криком, чтобы вырваться из защищенного места, с высоты которого я могла выбирать, когда наносить удары, а когда приходить на помощь…

— Мадам! Я здесь, мадам. И в этом как раз и состоит мое самое большое преступление.

Он встал, одеревенелый от своего долгого бдения, и, потянувшись, сломал все свои углы.

Коричневый глянец его прекрасной летней оболочки казался испачканным пробивающейся сквозь кожу жесткой щетиной. Не так отчетливо, как вчера, блестел белок его глаз. А что выражало мое лицо, лишенное обычного ухода и ночного отдыха?.. Я думаю об этом сегодня, а вчера не думала. Я думала только о том, чтобы скрепить закончившуюся наконец ночь печатью ушиба или объятия. Занятой собой паре неведомы краткие беседы. Как же они длинны, эти разговоры, в которых мечутся непрошеные бастарды любви…

Своим уже слегка кисловатым запахом напомнили о себе забытые в вазе персики; я надкусила один из них, и он вместе с голодом и жаждой вернул мне материальный, сферический, переполненный ощущениями мир: пройдет еще немного мгновений, и кипящее молоко, черный кофе, выдерживаемое в глубине колодца масло сослужат свою службу панацеи…

— Дорогой Валер Вьяль, ты меня отвлек от того, что я тебе начала говорить, всего… — я, шутя, показала ему на одну из последних звезд, окрашенную в бледно-желтый цвет и уже прекратившую свой мерцающий танец, — всего минуту назад.

— Вам стоит лишь продолжить, мадам. Или

начать сначала. Я все еще здесь.

Искренняя дружба, дружба мнимая?.. По тому удовольствию, которое мне доставил звук его голоса, я поняла, сколько сил забрала у меня эта ночь без сна.

— Вьяль, я хотела бы поговорить с тобой как с человеком сердечным, если люди сердечные вообще существуют…

Моя оговорка попала в цель: Вьяль споткнулся об это ненавистное для всех любовников слово, и его взгляд взял свое доверие назад.

— Я тебе сказала, что здесь я нашла прекрасное время года и, что еще важнее, прекрасную пору своей жизни… Эта истина еще не слишком давняя… Мои друзья это знают…

Он продолжал молчать, словно иссякнув.

— …Так что я еще не всегда чувствую себя очень уверенно в моем новом состоянии. Иногда, например, когда развиваю внезапную бурную деятельность — уборки, бессмысленные садовые работы, переезды, — я вынуждена себя спрашивать, что это у меня: новое веселье или остаток прежней лихорадки. Ты понимаешь?

Он ответил «да» кивком головы, но все лицо его выражало отчужденность, и мне не пришло в голову тогда, что он, возможно, страдает.

— Изменить образ жизни, все перестроить, возродиться— это никогда не было для меня непосильной задачей. Но сейчас речь идет не о том, чтобы сменить оболочку, речь идет о том, чтобы начать нечто такое, чего раньше я никогда не делала. Пойми же, Вьяль, в первый раз с тех пор, как мне исполнилось шестнадцать лет, мне нужно будет жить — или даже умереть — так, чтобы моя жизнь или моя смерть не зависели от любви. Это настолько необычно… Ты этого знать не можешь… У тебя есть время.

Вьяль, весь облик которого с ног до головы выражал упрямство и сухость, безмолвно отказывался от какого бы то ни было понимания, от любого утешения. Я чувствовала себя очень усталой, готовой отступить перед овладевающей небом ярко-красной лавиной, но в то же время мне хотелось завершить эту ночь — слово пришло мне на ум и больше меня не покидало — достойно.

— Ты понимаешь, отныне необходимо, чтобы моя грусть, когда я грустна, моя веселость, когда я весела, обходились без одного мотива, которого им хватало на протяжении тридцати лет: без любви. И мне это удается. Это чудесно. Это так чудесно… Иногда у рожениц при пробуждении от

первого после родов сна опять возникает рефлекс крика… Представь себе, у меня все еще сохраняется рефлекс любви, я забываю, что уже избавилась от своего плода. Я от него не защищаюсь, Вьяль. Иногда я внутренне себе кричу: «Ах! боже мой, пусть Он будет еще!», а иногда: «Ах! боже мой, пусть Его больше не будет!»

— Кого? — наивно спросил Вьяль.

Я принялась смеяться, гладя под расстегнутой рубашкой его могучую грудь, доступную утреннему ветру и моей руке, моей руке, которая кажется старше меня, но в этот час и я сама, должно быть, выглядела не моложе…

— Никого, Вьяль, никого… Больше никого. Но я еще не умерла отнюдь и не стала бесчувственной. Мне можно причинить боль… И ты мог бы причинить мне боль. Но ведь ты же не такой человек, чтобы получить от этого удовлетворение?

Длинная ладонь с тонкими пальцами быстро, как лапа, схватила мою руку.

— А мог бы и получить, — глухо сказал Вьяль.

Это была всего лишь мимолетная угроза. Я была благодарна Вьялю за такое признание и наслаждалась его несколько оскорбительной формой, его прямым и ясным источником. Я нерезко высвободила руку, пожала плечами, и

мне захотелось пристыдить его, как ребенка:

— О! Вьяль… Какой же конец ты бы нам уготовил, если бы я тебя послушала?

— Какой конец? — повторил он. — Ах? да… Ваш, очевидно, или свой собственный. Я признаюсь, — добавил он охотно, — да, я признаюсь, что в некоторые мгновения ваша смерть мне не была бы неприятна.

Мне нечего было возразить на это столь традиционное признание. Легкое подергивание зрачков, какой-то неопределенный смех говорили мне о том, что Вьяль еще не совсем отказался от искушения вести себя как одержимый, и у меня появилось мелочное опасение, как бы этого расстроенного юношу не заметили на моем пороге. Нужно было спешить, день вот-вот мог застать нас врасплох — первые ласточки уже кружились со свистом над домом. Одна только длинная джонка из облаков, выкрашенная в густой фиолетовый и кроваво-красный цвета и причаленная к самому горизонту, пока еще сдерживала первый огонь зари. Какая-то тележка на дороге, идущей вдоль побережья, громким рокотом глухого, раскатистого грома возвестила, что везет пустые бочки. Вьяль поднял воротник своего белого пиджака вокруг выросшей со вчерашнего дня

щетины и коричневого лица, которое от бдения и голодания приобрело зеленый оттенок. Он переступал с одной ноги на другую, как если бы утаптывал снег, и долго рассматривал море, мой дом и два пустых стула на террасе.

— Что ж… до свидания, мадам.

— До свидания, дорогой Вьяль. Ты… В обед тебя не будет?

Он заподозрил в этих словах враждебную предосторожность и оскорбился.

— Нет. И завтра тоже. Я должен съездить в Мустье-Сент-Мари, а оттуда в несколько разных местечек, это километров двести по побережью. Купить провансальские стеганые одеяла для моего магазина в Париже… Баранские блюда, мне о них сообщили…

— А-а… Ну это не «прощание навеки»! Еще увидимся, Вьяль?

— Как только я смогу, мадам.

Он показался удовлетворенным тем, что ответил так удачно, так немногословно, и я позволила ему уйти. Его маленькая машина осторожно тронулась в глубокой белой пыли иссохшейся дороги. Тогда, подобно фее, появилась кошка, а я, не дожидаясь Дивины, пошла на кухню разжигать огонь, потому что вся дрожала от холода

и испытывала жгучую потребность окунуться в очень горячую воду, в кисловатую ароматическую ванну, как те ванны, в которых в Париже спасаешься черными зимними утрами.

VIII

Мы, рассеянные по побережью поселенцы, любим импровизированные ужины, потому что они нас объединяют на час-другой и потому что они не нарушают покоя наших жилищ, секрета нашей летней жизни, в которой совсем нет ни послеполуденных собраний, ни полдников в пять часов. Воля сезонного протокола такова, что наши отношения регулируются скорее единодушным капризом, чем дружеской преднамеренностью. Приглашение прийти часов в восемь наткнется на наши колебания, уклончивость: «Ах! не знаю, буду ли я свободна… Этот парнишка Гиньу как раз должен отвести нас в Ласейн…» Или мы работаем, или «как раз» собирались пойти в лес есть добытую браконьерами дичь…

Случай обычно препоручает объявить наше желание немного пообщаться одному из голосов, причем заранее не известно — какому. Это может быть голос Большого Деде, слабенькая, с носовым акцентом флейта Дорни или булимический зевок Дараньеса, который вдруг вздохнет: «Что-то сосет под ложечкой…» Нужно также, чтобы на похожей на луковицу колокольне пробило полседьмого,

чтобы последняя вспышка заката, танцующая на выпуклостях сифонов, отразилась в зеленых, колдовских глазах Сегонзака и чтобы от розовых фасадов набережной, более теплых, чем остывший воздух, донесся не совсем отчетливый запах хлеба. Тогда раздается беззаботный голос:

— А что бы такого можно было поесть «У лионки»?

Никто не пошевелился, однако ответ приходит, и с совершенно захватывающими подробностями:

— Ничего. Ветчины по-провансальски с помидорами.

— У нас есть большой кусок болонской колбасы и прекрасная горгонзола, — шепчет еще один мягкий голос, принадлежащий скрипачке Моранж. — Только на всех этого не хватит…

— А *мой* суп из *моего* лука с тертым сыром, это вам что, козий помет? — кричит Тереза Дорни или Сюзанна Вильбеф.

Тогда встает Сегонзак и снимает с головы свою старомодную фетровую шляпу:

— Мои добрые господа, мои добрые дамы, разве вираж до меняж вас напугаш? Я лишь есть простой крестьян, я имем, что имем, но, мать честна, имем серьце на ладони, а ладонь везде…

Наш Восхитительный еще продолжает свою любимую игру подражания, а бесшумные ноги, обутые в туфли на веревочной подошве, уже бегут, а местная ветчина, помидоры и персики, сыры, миндальные пироги, похожая на дубину колбаса, длинный хлеб, который сжимают в объятиях, как украденных детей, горячая, завязанная в салфетку супница уже отправляются с нами на двух-трех машинах по изрытой дороге, ведущей на холм. Маневр этот нам привычен — через двадцать минут нас радостно приветствует воздвигнутый под плетеной крышей стол, и зеленый «лунный свет» из бывших огней правого борта, подвешенных высоко на ветках, маслянистой струей стекает на выпуклые листья магнолии.

Вот и вчера вечером точно таким же образом мы расположились вверху на холме. Внизу выемка моря удерживала молочный свет, источник которого теперь уже находился не в небе. Мы различали неподвижные огни порта и их дрожащее отражение. Над нашими головами, между двумя факелами, качалась длинная гроздь созревающего винограда, и кто-то из нас отделил светлую ягоду:

— Сбор винограда будет ранний, но плохой.

— Мой арендатор говорит, что мы все-таки по-

лучим десять гектолитров, — с гордостью заявил Сегонзак. — А у вас, Колетт?

— Я рассчитываю получить треть от обычного урожая, дождей было мало, а к тому же виноградник очень старый: что-нибудь от тысячи восьмисот до двух тысяч.

— Двух тысяч чего?

— Литров; но мне из этого останется только половина.

— Громы небесные, милая моя, вы собираетесь попробовать себя в торговле!

— Тысяча литров! — тяжело вздохнула Сюзанна Вильбеф, как если бы ее заставляли их все выпить.

На ней было платье с цветными узорами на черном фоне, из итальянской деревенской ткани, которую она раскроила по старинной провансальской моде, и никто не мог объяснить, почему она казалась переодетой в цыганку.

Воздух приятно пах эвкалиптом и перезрелыми персиками. Шелкопряды и нежные бабочки, живущие в кустах смородины, потрескивали, сгорая в чашах рефлекторов. Элен Клеман терпеливо спасала наименее поврежденных из них концом вилки для пикулей, а потом из жалости отдавала их коту.

— Ой! падающая звезда…

— Она упала на Сен-Рафаэль…

Мы закончили есть и почти перестали говорить. Большой кувшин из простого зеленоватого стекла с выступом в середине лениво бродил вокруг стола и кланялся, не запрокидываясь, чтобы еще наполнить наши стаканы добрым вином из Кавалера, молодым, с привкусом кедрового дерева, которое своими знойными парами разбудило нескольких ос. Наша удовлетворенная общительность была уже совсем готова уступить место — в соответствии с законом чередования прилива и отлива — нашей необщительности. Художники, измочаленные солнцем, готовы были по-детски поддаться охватившему их оцепенению, но их жены, отдохнувшие после обеда в гаремном покое, то и дело обращали свои взоры в сторону залива и тихонько напевали.

— Ведь сейчас, — рискнула одна из них, — еще только без четверти десять.

— «Танцуйте вальс, прелестные девчушки!» — затянуло было робкое сопрано и смолкло.

— Если бы был Карко… — произнес другой голос.

— Карко не танцует. Кто нам был бы нужен, так это Вьяль.

После этого возникло очень краткое затишье, и Люк-Альбер Моро, побуждаемый опасением, как бы кто-нибудь не сказал что-то обидное для меня, закричал:

— Конечно, конечно, нам нужен был бы Вьяль! Но раз уж его нет, не так ли… Ну нет его, и все тут!

— Он готовит свою выставку белья и распродажу домашней утвари, — сказала неприязненно Тереза, которая, разыскивая для аренды «маленькую забавную лавчонку», с вожделением посматривает на парижский магазин Вьяля.

— Он в Везоне, под Авиньоном, — сказала Элен Клеман.

Мои друзья посмотрели на нее сурово.

Опустив глаза вниз, она кормила обгорелыми пяденицами похожего на морского угря кота, который сидел у нее на коленях.

— С такой пищи он вполне может околеть, — мстительно заметила ей Моранж. — Разве нет, Колетт?

— Нет, почему же? Они и жирные, и жареные. Я, естественно, не стала бы специально жарить бабочек для кошек, но ведь шелкопрядам не запретишь лететь на рефлекторы.

— А женщинам ходить на танцы, — вздох-

нул, вставая, долговязый пейзажист. — Пошли прогуляемся до Пастекки. Но только вернемся пораньше, а?

Одна из молодых женщин издала пронзительное, как ржание кобылицы, «да!», фары повернулись в сторону виноградника, посылая молнии то в ртутную лозу, то в соляную собаку, то в мертвенно-бледный куст шиповника. Проходя мимо Люка-Альбера, просительно распростертого перед старым и упрямым автомобильчиком, Тереза Дорни бросила:

— Что, сегодня твой «Мирюс» не тянет? — и наши смешки спустились по косогору, цепочкой, уносимые бесшумными машинами с выключенными скоростями.

По мере того как мы приближались к морю, залив все больше и больше искрился огнями. Своей голой рукой я чувствовала прикосновение голой руки Элен Клеман. После отъезда Вьяля я ее встречала только на набережной, в книжном магазине, в часы походов на рынок, в часы лимонада, и всегда не одну. Первые дни недели, встречая меня, она выражала предупредительность, почтительность, в духе: «Ну и?.. Ну и?.. Что вам удалось сделать? Что нового?..», на которые я ничего не отвечала. Она (мне так показалось)

смирилась и думала (и как это я в это поверила) о других вещах… Ее голая рука в темноте соскользнула под мою.

— Знаете, мадам Колетт, — прошептала Элен, — я знаю об этом только из почтовой открытки.

— О чем это, милая?

— А открытка пришла от моей матери, которая сейчас с папой в Везоне у моей бабушки Клеман, — продолжала она, перескочив через мой вопрос. — Они знакомы с моей семьей. Но я подумала, что мне не обязательно было рассказывать об этом, только что… Что так лучше… Я не смогла с вами посоветоваться об этом до ужина.

Я сжала ее голую руку, которая была прохладной как вечером:

— Так лучше.

И я восхитилась тем, что она так хорошо знает, что лучше, что хуже, я восхищалась ее лицом, полным проектов, повернутым к событиям, к приездам, к пристаням…

Когда ночь закрывает все, сводя море к его языку всплесков, неясному шамканью между утробами стоящих на якоре кораблей, морскую необъятность — к маленькой стене, черной, низкой, отвесно поднимающейся к небу, битву голубого с золотым — к огням мола, коммерцию

— к двум кафе и маленькому, плохо освещенному базару, то мы обнаруживаем, что наш порт — это совсем маленький порт. Когда мы проезжали, какая-то иностранная яхта, пришвартовавшаяся в хорошем месте, вровень *с* пристанью, беззастенчиво выставила напоказ свою медь, свое электричество, свою облицованную заморским деревом палубу, свой ужин на столе, окруженном голыми по пояс мужчинами и женщинами в открытых платьях, с жемчугом в несколько рядов, своих непорочно чистых официантов, которые все казались девственниками. Мы остановились посозерцать этот великолепный ковчег, принесенный морем, которое должно было забрать его вновь, как только эти люди выкинут за борт свою последнюю кожуру от фрукта и украсят воду своими плавающими газетами.

— Гля, эй, дай сигарету, — крикнул им с набережной мальчишка в стоптанных башмаках.

Один из стоявших на виду пассажиров повернулся, чтобы внимательно рассмотреть парнишку, взобравшегося на сходни, и ничего не ответил.

— Гля, а скажите, в котором часу вы займетесь любовью? Если поздно, то боюсь, я не смогу дождаться..

И он улетел, награжденный нашим дружным смехом.

В ста метрах отсюда, в изгибе пирса, содержит танцплощадку и торгует напитками Пастекки. Угол хороший, защищенный от ветра. Здесь красиво, потому что вид открывается и на кусок закрытого моря с разноцветными полосатыми одномачтовиками, которые здесь называются тартанами, и на плоские, с приплюснутым основанием дома цвета нежной сирени и розовой горлицы. Хозяин — маленький изнуренный человечек, который редко отдыхает, но при этом сохраняет на лице ленивое выражение — зорко следит за наготой четырехугольного зала, как если бы ему поручили устранять из него любое украшение. Здесь нет ни гирлянды на стенах, ни какого-нибудь букета в углу стойки, ни новой краски, ни бумажных юбочек вокруг электрических лампочек. Как в приделе, где идут заупокойные службы для бедных, здесь роскошь цветов и излишества все собраны на катафалке. Катафалком я называю древнее, испытанное временем, механическое пианино цвета старого черного фрака. И при этом нет на нем такой панели, на которой бы не были изображены во всей их красе Венеция, Тироль, озеро в лунном

свете, Кадис, глицинии с голубыми лентами. Через узкое отверстие, окаймленное медью, оно глотает двадцатисантимовые жетоны и сторицею возвращает их в виде металлических полек и тускло-жестяных мелодий явы, перемежаемых большими провалами чахоточной тишины. Эта глухая музыка обладала такой похоронной серьезностью, что без танцоров мы бы ее просто не вынесли. Едва раздаются первые такты и в ящике начинается ритмическое падение старых монет, битого стекла и свинцовых расчесок, как уже одна пара, две пары, десять пар танцоров послушно кружатся, и если не слышно скольжения пеньковых подошв, то шелковистый шелест голых ног слышится отчетливо.

Я пишу танцоров, а не танцорок. Эти последние на Молу составляют не принимаемое в расчет меньшинство. Миловидные, смелые, с подбритой по моде шеей, они учатся у туристок шику загорелых ног и бесподобных шейных платков. Но при этом «приезжие» приходят на вечерний бал обычно в обуви на веревочной подошве, а местные девушки надевают лакированные туфли на босу ногу.

Мы тесно прижались друг к другу на деревянных расшатанных скамейках, стоящих вокруг

расколотого мраморного стола. И все равно для этого понадобилось, чтобы несколько молодых заводских рабочих и два моряка отодвинули, освобождая для нас место, свои котовьи поясницы и свои наполненные анисовой настойкой стаканы. Элен Клеман прижала свое голое плечо, бедро и длинную ногу к отполированному, как ценное дерево, молодому морскому животному, сделав это со спокойствием девушки, которой никогда не доводилось оказаться на пустынной дороге в овраге, в трех шагах от совершенно незнакомого человека, безмолвного, неподвижного, раскачивающего руками. Некоторые мужчины принимают у Элен за бесстыдство то, что является всего лишь устойчивой невинностью. Она проворно встала и пошла танцевать с голубым матросом, который танцевал, как танцуют здесь все парни, то есть без слов, высоко подняв лицо, на котором ничего нельзя прочитать, и держа свою партнершу в тесном, лишенном эмоций объятии.

Вокруг этой прекрасной пары крутились, перенося все неудобства отвратительного освещения, несколько старожилов этого побережья: двое шведов — муж и жена, брат и сестра? — выдержанных от лодыжек до волос в едином

бледно-румяном цвете, массивные, выполненные по принципу минимума телесной отделки чехословаки, две или три немки нового образца, худые, полуголые, смуглые и горячие на вид. Все эти цветные пятна выделялись на темном фоне подростков без белья с шеей, схваченной тонким черным трико, синих, как ночь, матросов и героев танца — грузчиков с тартан, плотных, легких, отливающих красноватой медью… Они вальсировали друг с другом, привлекая нездоровое внимание публики, пришедшей издалека, чтобы на них посмотреть. Два друга, близнецы по росту, по легкости ног, по сходству улыбок, которые за все лето не удостоили приглашением ни одну из «парижских шлюх», присели отдохнуть рядом с нами, приняли от Большого Деде, который ими восхищался, бутылку газированной воды, ответили на нескромный вопрос: «Мы танцуем вдвоем, потому что девушки танцуют недостаточно хорошо» и пошли снова выделывать фигуры, сплетая руки и колени.

Исступленная брюнетка с прямыми волосами, в желтой косынке на шее, прикатившая на автомобиле прямо с соседнего пляжа, чокалась животом *с* каким-то сдержанным рабочим, который, держа ее за талию, казалось, не видел ее.

Обольстительный черный молодой негр в серой разорванной рубашке из бумазеи, словно прикрепленный к другому, тоже черному молодому человеку с тонким, пустым, нематериальным лицом, выглядевшим более белым из-за красного платка, высоко, под самым ухом затянутого на шее, оказываясь поблизости, бросал нам вызывающие взгляды, а мулат в форме молотка — безмерные плечи, способная пройти в подвязку талия — нес на своей груди, приподняв над полом, почти уснувшего от вращения мальчишку, голова которого болталась, а руки висели…

Никакого другого гама, кроме шума мелкой монеты, посуды и домино, сливающегося со звуками механического пианино. На Мол приходят не для того, чтобы беседовать, и даже не для того, чтобы напиваться. На Молу танцуют.

Открытые окна впускали запах дынных корок, плавающих в водах порта; между двумя половинками танго долгий вздох означал, что какая-то волна, родившись в открытом море, заканчивала свое существование в нескольких шагах от нас.

Мои молодые спутницы смотрели, как кружатся мужские пары. В их слишком пристальном внимании я могла прочитать одновременно и недоверчивость, и свойственную им тягу к

загадкам. Большой Деде, прищуривая свой зеленый глаз, спокойно наслаждался зрелищем, наклонял голову в сторону, время от времени приговаривая:

— Прелестно… Прелестно. В этом уже есть что-то гнилое, но это прелестно. Следующим летом они будут танцевать, потому что Вольтерра будет смотреть, как они танцуют.

А маленькая цыганка Вильбеф вертелась, как венчик цветка. Мы воздерживались от разговоров, одурманенные кружением и неприятным освещением. Ветер танца приклеивал к потолку вуаль дыма, который при каждой паузе пытался опуститься вниз, и я припоминаю, что была довольна почти полным отсутствием мыслей, своей готовностью слушать эту дробленую музыку, белым местным вином этого года, согревающимся сразу, как только его наливали в стакан, усиливающейся жарой, которая все больше наполнялась запахами… Сначала преобладал грубый табак, потом он отступил перед зеленой мятой, которая посторонилась, давая дорогу шероховатому духу смоченных в рассоле одежд; когда же рядом оказывался затянутый в маленький трикотажный полукафтан без рукавов коричневый торс, то распространялся аромат сандаловых стружек,

а хлопающая дверь погреба выпускала пар капающего на песок вина… Меня поддерживало сильное дружеское плечо, и я дожидалась, когда пресыщение вернет мне силу и желание подняться, вернуться в свое тесное царство, к моим обеспокоенным кошкам, к винограднику, к черным шелковицам… Я дожидалась только этого… еще минута, и я ухожу… только этого, право же…

— Нет, — произнесла молодая женщина цвета корицы, — сегодня вечером нам был бы нужен Вьяль.

— Отвези меня домой, Элен, — сказала я, вставая, — ты ведь знаешь, что я не могу водить ночью.

Я помню, что она везла меня очень медленно, объезжая столь привычные нам камни и ямы, и что, приехав, она направила фары так, чтобы они освещали аллею. По дороге она мне говорила о танцах, о температуре и о проселочных дорогах таким сдержанным, таким полным внимания и предупредительности тоном, что когда она рискнула обеспокоенным голосом у меня спросить:

— Разве эти две ямы не засыпали еще три года назад?

То у меня было искушение ей ответить:

— Нет, Элен, спасибо, сегодня вечером банки

мне не нужны, и я обойдусь без бромовой микстуры.

Я угадывала, что она была преисполнена рвения и заботливости настолько, как если бы трогала на мне какой-то безболезненный ушиб, какое-то не замечаемое мною самой кровотечение. Желая ее поблагодарить, я ей сказала, когда она выскочила, чтобы открыть мою решетку, у которой нет замка, а я опускала на землю свою одряхлевшую брабантскую суку:

— Сегодня вечером, Элен, ты была великолепна, лучше даже, чем в прошлом месяце.

Она вся так и выпрямилась в свете фар от гордости:

— Правда? Я чувствую, мадам Колетт, что это так и есть. И это еще не все! Это еще только начало. Я думаю…

Она подняла палец вверх как какой-то большой ангел войны, стоящий в центре белого ореола. Таинство рассеялось, когда она повернула голову в сторону «кубика»…

— Да?.. — сказала я неопределенно, уже торопясь по аллее, обуреваемая каким-то отвращением ко всему, что не было моим пристанищем, встречей с животными, свежим бельем, пещерой тишины… Однако Элен рванулась вперед, схва-

тила меня за локоть, и я не видела перед собой больше ничего, кроме двух необъятных синих, словно из чернила, теней, которые, лежа и ползая по земле, ломались у основания фасада, вертикально взбирались по нему и жестикулировали на крыше:

— Мадам, это безумие, это глупо, и все же без всякого на то основания… у меня предчувствие… что-то вроде большой надежды… Мадам, я вам очень признательна, вы знаете… Мадам, вы все понимаете…

Ее длинная тень дала моей более короткой тени какой-то нелепый поцелуй, который упал где-то в воздухе, и она убежала.

IX

«Я разбирала сейчас бумаги в секретере нашего дорогого папы. И я обнаружила все письма, написанные мной из Дома Дюбуа после моей операции, и все телеграммы, которые ты ему посылала в течение этого периода, когда я писать ему не могла. Он все сберег, это меня так взволновало! Но ведь, скажешь ты мне, это же так естественно, что он их сохранил. И вовсе не так уж естественно, отнюдь, ты сейчас увидишь... После тех двух-трех коротких поездок в Париж, которые я совершила незадолго до его смерти, чтобы повидаться с тобой, я находила моего дорогого Колетта похудевшим, с ввалившимися щеками, едва притрагивавшимся к пище... Ах! Что за ребенок! Как жаль, что он меня так любил! Это его любовь ко мне одну за другой погасила все его прекрасные способности, которые он бы мог направить на занятия литературой и науками. А он предпочел думать только обо мне, страдать только ради меня, и именно это я считала непростительным. Такая великая любовь! Какое легкомыслие! А что касается меня, то как же ты хочешь, чтобы я утешилась, когда я потеряла

такого нежного друга?..»

Два часа идет теплый дождь, скоро он прекратится. Уже все небесные знаки взялись оспаривать друг у друга конец дня. Попыталась пересечь залив радуга; сломавшись на полпути о крепкую груду грозовых облаков, она потрясает в воздухе остатком великолепной арки, цвета которой умирают все разом. Напротив нее спускается к морю на ободьях, скрепленных расходящимися спицами, солнце. Растущая, белая среди дня луна колышется меж хлопьями освободившихся от своего груза облаков. Это первый за все лето дождь. Что от него выиграет сбор винограда? Ничего. Виноград уже почти созрел. Ранняя заря предлагает его мне холодным, эластичным, покрытым каплями росы и полным сахара, который скоро брызнет на зубах…

Сосны фильтруют затихающий ливень; несмотря на их бальзам, несмотря на бальзам мокрых апельсиновых деревьев и дымящихся у кромки моря сернистых водорослей, падающая с неба вода придает Провансу запах тумана, подлеска, сентября, запах какой-нибудь центральной провинции. Это такая редкость — мглистый горизонт за моим окном! Я вижу, как пейзаж дрожит словно сквозь пелену слез. Во всем — новизна

и мягкое нарушение правил, даже в движении моей пишущей руки, в движении, которое так давно было только ночным. Но мне же надо было отпраздновать на свой лад приход дождя, и потом — на этой неделе у меня прихоть делать только то, что мне не нравится.

Ливень уходит к Морам. Все обитатели моего дома славят конец ненастья. Из кухни возносится благодарственный молебен, расцвеченный выражениями вроде «Ах ты боже мой!», «Боже, помилуй!» и «Не могу, Иисусе!». На краю лужи Кошка собирает капли воды в свою маленькую кошачью ладонь и смотрит, как они струятся: так могла бы играть со своими бусами девушка… А вот Кот, который успел забыть, что такое дождь, пока еще его не узнает. Он изучает его, сидя на пороге, и по шерсти у него пробегает дрожь. На его чистом и глупом лице начинает появляться неопределенная улыбка. Если бы ненастье еще продлилось, он бы непременно воскликнул, сияя от самодовольства: «Я понял! Я вспоминаю! Дождь идет». А его дочь, эта бескостная дылда, которую в память о времени, когда ей было шесть недель, зовут Крошечкой, охотится независимо от того, идет ли дождь или светит солнце. Она отягощена убийствами и по характеру не слиш-

ком общительна. Ее шерсть, более светлая, чем то позволительно при ее голубых кровях, напоминает белоснежное желе на черепичной крыше. За ней тянется хмельной запах птичьей крови, мятой травы, нагретого чердака, и собственная мать отстраняется от нее, как от лисы.

Достаточно мне перестать писать всего на одну неделю, как моя рука от письма отвыкает. Вот уже дней восемь или десять — как раз со времени отъезда Вьяля — у меня много работы… правильнее будет написать: я много работала. Я углубила, вычистила проходящую посредине канаву, которая отводит лишние зимние воды. «Гля, сейчас же не сезон!» — упрекала меня Дивина. Надо упомянуть и об утомительной прополке в твердой земле, и о мытье оплетенных стеклянных бутылей. Кроме того, я смазала маслом, начистила наждаком ножницы для сбора винограда. Три дня сильной жары продержали нас у моря и в море, позволив насладиться счастьем в его короткой, тяжелой, свежей зыби. Едва высохнув, наши руки и ноги покрывались инеем мелкой соли. Однако, испытывая уколы солнца и покоряясь ему, мы чувствуем, что целится оно в нас уже из других точек неба. На заре теперь уже не эвкалипт, стоящий перед моим окном, делит надвое

первый сегмент выходящего из моря солнца, а соседняя с эвкалиптом сосна. Сколько нас таких, наблюдающих за появлением дня? Это старение светила, которое каждое утро укорачивает свой ход, по-прежнему несет в себе тайну. А моим парижским друзьям и тем парижанам, которые моими друзьями не являются, хватает и того, что закат надолго заполняет небо, занимает и увенчивает вторую половину дня…

Нужно ли здесь говорить о двух экскурсиях, в которые мы веселой оравой с удовольствием отправлялись и откуда с еще большим удовольствием возвращались? Я люблю старые провансальские деревни, которые облегают вершины своих холмов. Развалины там сухие, здоровые, лишенные травы и зеленой плесени, и только плющевидная герань с розовыми цветами свешивается из черного зияющего уха какой-нибудь башни. Однако летом я быстро устаю, когда углубляюсь в сушу; очень скоро я начинаю тосковать по морю, по негибкому горизонтальному шву, соединяющему голубое с голубым…

Вот, мне кажется, и все. Вы находите, что этого мало? Возможно, вы не ошибаетесь. Возможно, я не в состоянии нарисовать вам то, что и сама не различаю отчетливо. Иногда я смешиваю ти-

шину и громкий внутренний шорох, усталость и блаженство, а сожаление почти всегда вырывает у меня улыбку. Со времени отъезда Вьяля я старательно упражняюсь в безмятежности и поставляю для нее, естественно, только материалы благородного происхождения, одни из которых беру в совсем недавнем прошлом, другие в моем настоящем, которое просветляется, а лучшие — я их выпрашиваю у тебя, моя самая дорогая. Так что у моей безмятежности, сооруженной без участия стихийного гения, выражение лица получается не то чтобы неестественное, но оно выдает усилие, как те произведения, куда вкладывают слишком много рассудка. Я закричала бы ей: «Ну же! Напейся! Спотыкайся!», если бы была уверена, что опьянение будет веселым. Когда Вьяль был здесь, два лета подряд, его присутствие… Нет, разговор о нем у меня не получится. Заботу похвалить Вьяля, которого ты не знала, я поручаю тебе, моя деликатная спутница.

«Я с тобой расстаюсь, чтобы пойти поиграть в шахматы с моим маленьким торговцем шерстью. Ты его знаешь. Это тот маленький, толстый, жалкий человек, который весь день уныло торгует пуговицами и шерстью для штопки и не говорит ни слова. Но, — о удивление, — он

искусно играет в шахматы! Мы играем в задней комнате его лавчонки, где есть печка, кресло, которое он пододвигает ко мне, а на окне, которое выходит во дворик, два горшка очень красивой герани, той непостижимой герани, которая встречается в бедных жилищах и у дежурных по переезду. Мне никогда не удавалось вырастить такие же, хотя я даю им и воздух, и чистую воду, выполняю все их капризы. Так вот, я очень часто хожу играть к моему маленькому торговцу шерстью. А он преданно меня ждет. Он каждый раз меня спрашивает, хочу ли я чашку чая, потому что я «дама», а чай является напитком изысканным. Мы играем, а я думаю о том, что живет в заточении в нем, маленьком толстом человеке. Кто и когда узнает это? Я становлюсь любопытной. Однако смиряюсь с тем, что никогда этого не узнаю, и нахожу свое утешение в том, что оно есть, и знаю о нем лишь я одна».

Вкус, способность находить спрятанное сокровище… Будучи искательницей подземных родников, она сразу направлялась к тому, что обладает лишь потаенным блеском, к дремлющим рудным жилам, к сердцам, у которых отняли все шансы расцвести. Она прислуши валась к всхлипыванию струи, к долгому подземному приливу,

к вздоху…

Уж она бы не спросила так прямолинейно: «Вьяль, так ты, значит, испытываешь ко мне привязанность?» Подобные слова портят все… Это что, раскаяние? Этот заурядный юноша?.. В любви нет никаких каст. Разве спрашивают какого-нибудь героя: «Маленький торговец шерстью, вы меня любите?» Кто же подгоняет ход всех событий, с такой поспешностью добиваясь их свершения? Когда маленькой девочкой я вставала часов в семь, восхищаясь тем, что солнце находится низко, что ласточки еще сидят рядочком на кровельном желобе и что ореховое дерево подобрало под себя свою ледяную тень, то слышала, как моя мать кричит: «Семь часов! Боже мой, как уже поздно!» Неужели я так никогда и не стану вровень с ней? Она парит свободно и высоко, говорит о постоянной, редкостной любви: «Какое легкомыслие!», а потом не соизволивает объясниться поподробнее. А я — понимай. Я делаю, что могу. Уже давно бы пора подступиться к ней иначе, чем через мою привязанность к трудам, лишенным и срочности, и величия, пора бы преодолеть то, что мы, непочтительные дети, когда-то называли «культом маленькой голубой кастрюли». Ей было бы недостаточно — и мне то-

же — осознавать, что иногда я созерцаю и ласкаю все, что проходит через мои руки. Бывают дни, когда что-то выталкивает меня прочь из самой себя, чтобы я могла радушно принять тех, кто, уступив мне свое место на земле, казалось бы, навсегда погрузились в смерть. Накатывает волна ярости, вздымающаяся во мне и управляющая мной подобно чувственному наслаждению: вот мой отец, его протянутая к клинкам белая рука итальянца, сжимающая кинжал с пружиной, который его никогда не покидал. И опять мой отец, и ревность, которая делала меня когда-то такой несносной… След в след я послушно повторяю те навеки остановившиеся шаги, которыми отмечен путь из сада в погреб, из погреба к насосу, от насоса к большому креслу, заваленному подушками, растрепанными книгами, газетами. На этом истоптанном пути, освещенном косым и низким лучом, первым дневным лучом, я надеюсь понять, почему маленькому торговцу шерстью — я хочу сказать Вьялю, но ведь это все тот же идеальный любовник — никогда не следует задавать одного вопроса и почему истинное имя любви, которая раздвигает и преодолевает все на своем пути, звучит как «легкомыслие».

Я вспоминаю, как однажды вечером — почти

неделю назад, это был вечер, когда Элен привезла меня с танцев, — мне показалось, что я оставила на дороге, в руках тени Элен, обхватившей плечи моей тени, остаток некоего долга, который предназначался не совсем ей, но от которого мне нужно было избавиться: прежние рефлексы, рабские привычки, безобидные заблуждения…

Как только Элен уехала, я открыла калитку, соединяющую двор с виноградником, и позвала своих: «Эй, вы!» Они прибежали, омываемые лунным светом, насыщенные бальзамами, которые они берут у жемчужин смолы, у мохнатых листьев мяты, обожествленные ночью, и я снова, в который раз, удивилась, что они, такие свободные и такие прекрасные, принадлежащие самим себе и этому ночному часу, считают нужным прибежать на мой голос…

Потом я устроила суку в ее ящик открытого комода, установила перед собой, на кровати, столик для игры в бассет с резиновыми наконечниками на ножках, поправила фарфоровый абажур, чей зеленый свет издалека отвечал красной лампе, которую Вьяль зажигал в «кубике».

— Вы, — шутил Вьяль, — это огонь правого борта, а я — левого.

— Да, — отвечала я, — мы никогда не смотрим

друг на друга.

Потом я сняла колпачок с золотого, отшлифованного пера одной из моих авторучек, самой быстрой, и ничего не написала. Я ждала, чтобы ночь, теперь уже более длинная, принесла мне покой. Еще длиннее будет следующая ночь и та, что наступит после нее. По ночам тела становятся менее напряженными, их покидает летняя лихорадка. И я себе говорила, что, вверяя себя своему обрамлению, — темной ночи, одиночеству, друзьям-животным, большому кругу полей и моря, простирающихся во все стороны, — я отныне становлюсь похожей на ту, кого я описывала много раз, вы знаете, на ту одинокую женщину, прямую, как печальная роза, которая, теряя лепестки, выглядит еще более гордой. Однако я больше уже не полагаюсь на создаваемое мной самой правдоподобие, поскольку было время, когда, рисуя портрет этой отшельницы, я показывала свою ложь — страницу за страницей — мужчине и спрашивала его: «Ну как, хорошо соврала?» И смеялась, отыскивала лбом плечо мужчины под его ухом, покусывала ухо, поскольку неистребимо верила, что соврала… Кусала упругий, прохладный кончик уха, упиралась лбом в плечо, тихо-тихо смеялась. «Ты ведь здесь, правда, ты ведь здесь?»

Уже тогда я владела лишь обманчивой реальностью. Зачем ему было оставаться? Я ему внушала доверие. Он знал, что меня можно оставить одну со спичками, газом и огнестрельным оружием.

Пропела свою мелодию решетка. По аллее, где дымится, соприкасаясь с горячей землей, упавшая с неба влага, к моему дому идет молодая женщина, встряхивая на пути большие плакучие перья мимозы.

Это Элен. После отъезда Вьяля она больше не присоединяется к нам во время утреннего купания, где, несмотря на мое покровительство, она встречает холодные взгляды, так как среди моих друзей есть люди, наделенные опасным чистосердечием, которые, обладая способностью улавливать движение мыслей, плохо воспринимают звуки слов.

Элен скоро уезжает в Париж. Когда я сообщила эту новость, мне ответил один только слабый голосок Моранж:

— Ах! тем лучше, эта дылда!.. Я ее не люблю, она нехорошая.

Я стала настаивать, чтобы узнать о причине столь живой антипатии.

— Нет, она нехорошая, — сказала Моранж. — А доказательство в том, что я ее не люблю.

К вечеру поднялся сильный ветер. Он высушил оставленную дождем воду, унес толстые рыхлые бурдюки раздувшихся облаков с благотворной влагой. Он дует с севера, рассказывает о засухе, о дальних снегах, о суровом времени года, пока невидимом, но уже обосновавшемся там, наверху, в Альпах.

Животные сидят и с важным видом наблюдают, как он дует и дует непрестанно за черным окном… Может быть, они размышляют о зиме. Это первый вечер, когда мы собрались в таком узком кругу. Когда я возвратилась, кошки ждали меня под навесом из тростника. Я ужинала у соседей напротив — молодой пары, которая строит свое гнездо с религиозной серьезностью. Они пока еще столь взволнованы своим новым достоянием, что я тороплюсь оставить их одних, чтобы, проводив меня, они могли вновь заняться подсчетом своих приобретенных сокровищ и пытать свое счастье в трепетных вожделениях. После ужина к ним в низкий зал с потолком из толстых балок приносят пустую колыбель, которую наполняют сделанным по ее размерам круглым и розовым, как редиска, младенцем. Так я узнаю, что уже десять часов, и возвращаюсь к себе.

Сегодня днем Элен оставалась недолго. Она

пришла сообщить мне, что отправляется в путь, как она сказала, в своей пятисильной машине, вместе с подругой, которая может сменить ее за рулем и поставить новое колесо.

— Вьяль, мадам Колетт, не выезжает из Парижа. Он работает как лошадь над своим большим делом для «Катр Картье»... У меня собственная полиция, — добавила она.

— Не слишком с полицией, Элен, не слишком...

— Не беспокойтесь! Моя полиция — это папа, он помогает Вьялю на некоторых непроторенных дорожках... Этой зимой, если правительство не сменится, то папа понадобится Вьялю, потому что папа приятель министра еще по коллежу... Главное только, чтобы правительство не сменилось раньше, чем «Катр Картье» назначит Вьяля управляющим своими мастерскими...

Она мне сжала руки, и у нее вырвалась страстная фраза:

— Ах! мадам, я так бы хотела ему помочь!

Она получит Вьяля. В эти последние дни я попыталась посоветовать ей осторожность в преследовании — думала я при этом о «достоинстве», а вовсе не об «осторожности» — и иной стратегический стиль. Однако она отмела мои советы широким жестом своей обнаженной ру-

ки, уверенно, энергично кивая головой. Тогда я увидела, что до этого я ничего не понимала. У нее такая манера говорить мне: «Не беспокойтесь!», где присутствуют и нежность, и чувство превосходства. Еще немного, и она бы добавила: «Поскольку теперь вас уже по соседству с Вьялем нет, я займусь этим делом сама».

Последние две-три недели я иногда тешила свою гордыню мыслью о том, что если бы захотела, то могла бы ей навредить. «А мог бы и получить», — глухо говорил Вьяль. Оба мы только хвастались. А Элен получит Вьяля, и это будет справедливо, — разве не собиралась моя рука написать: и это будет умело сделано?..

Снаружи дует ветер без единой капли влаги. Из-за этого я потеряю остаток своих груш, а вот налившимся гроздьям винограда до мистраля нет дела. *«Не унаследовала ли ты мою любовь к бурям и всем катаклизмам природы?»* — писала мне моя мать. Нет. Ветер обычно охлаждает мои мысли, отвращает меня от настоящего и всегда без исключения обращает мой взгляд к прошлому. Однако сегодня вечером настоящее не соединяется полюбовно с моим прошлым. После отъезда Вьяля мне необходимо снова запасаться терпением, идти вперед, не оглядываясь,

а обернуться назад можно будет лишь по здравому размышлению месяцев через шесть, недели через три… Как, столько предосторожностей? Да, столько предосторожностей, и страх перед любой спешкой, и медленный химический процесс — позаботимся о почвах, где выросли мои воспоминания.

Когда-нибудь, глядя со стороны, я увижу, как вдыхаю где-то в прошлом воздух любви, и буду восхищаться великими смутами, войнами, праздниками, моментами одиночества… Терпкий апрель, его лихорадочный ветер, его пчела, завязшая в клею коричневой почки, его запах цветущего абрикоса, и вот передо мной стоит коленопреклоненная сама весна, какой она вторглась в мою жизнь: танцующая, плачущая, безрассудная, колющаяся о собственные шипы… Но, может быть, я подумаю: «У меня было нечто лучшее. У меня был Вьяль».

Вы удивитесь: «Как, этот маленький человек, который произнес три слова и ушел? Право же, осмелиться сравнить этого маленького человека с…» Об этом не спорят. Когда вы расхваливаете матери красоту одной из ее дочерей, она внутренне улыбается, потому что думает, что самая некрасивая как раз и есть самая миловидная. Я

не воспеваю Вьяля в лирическом стиле, я о нем сожалею. Да, я о нем сожалею. У меня появится желание его возвеличить, когда я буду меньше о нем сожалеть. Он спустится, — моя память тогда уже завершит свой причудливый труд, который зачастую отнимает у чудовища его горб, его рог, стирает гору, оказывает честь соломинке, усику, отблеску — он спустится и займет свое место в тех глубинах, куда любовь, эта пена на поверхности, по-прежнему не имеет доступа.

Тогда я подумаю о нем, повторяя себе, что я от него отказалась, что отдала Вьяля одной молодой женщине, сделав, честное слово, красивый жест, в котором были и блеск, и расточительность. Уже сейчас, перечитывая то, что написала почти три недели назад, я нахожу, что Вьяль там нарисован плохо, с той точностью, которая обедняет его облик. На протяжении последних дней я много думала о Вьяле. Сегодня я думаю гораздо больше о себе, потому что я о нем сожалею… О, дорогой мужчина, наша трудная дружба все еще неустойчива, какое счастье!..

Позволь мне, моя самая дорогая, еще раз издать свой крик… Какое счастье! Исполнено, я умолкаю. И ты должна призвать меня к молчанию. Говори, уже готовая умереть, говори во имя твоих

непреклонных правил, во имя той единственной добродетели, которую ты называла «настоящим комильфо».

«И вправду, я тебя обманула, чтобы иметь возможность пожить спокойно. Старая Жозефина не ночует в маленьком домике. Я там сплю одна. Пощадите меня, все вы! Ни ты, ни твой брат не рассказывайте мне больше всяких историй про взломщиков и злонамеренных прохожих. Что касается ночных визитов, то есть лишь одна посетительница, которая должна переступить мой порог, и вы это прекрасно знаете. Подарите мне собаку, если вам так хочется. Да, собака, это еще куда ни шло. Но только не заставляйте меня запираться на ночь с кем-то еще! Я дожила до того, что больше не переношу, чтобы в моем доме спал кто-либо из людей, если это человеческое существо не создано мной самой. Мне это запрещает моя мораль. Это уж последний из разводов, когда приходится гнать из своего дома, особенно из маленького жилья, со смятой постелью, с туалетным ведром, чью-то тень — мужчины ли, женщины — в ночной рубашке. Тьфу! Нет, нет, больше никакого общества на ночь, никакого чужого дыхания, никакого унизительного одновременного пробуждения! Я предпочитаю

умереть, это более достойно.

А сделав этот выбор, я всецело предаюсь кокетству. Ты припоминаешь, что в ту пору, когда мне делали операцию, я попросила сделать два больших постельных халата из белой фланели? А сейчас из этих двух я только что сделала один. А зачем? Да чтобы быть в нем похороненной. У него есть капюшон, украшенный вокруг кружевом, настоящим кружевом из нити, — ты же знаешь, что я терпеть не могу прикасаться к хлопчатобумажному кружеву. Такое же кружево на рукавах и вокруг воротника (здесь есть и воротник). Этот вид предусмотрительности входит в мое представление о строгом комильфо. У меня и так уже было немало причин для сожалений, когда Виктор Консидеран счел нужным отдать моей свояченице Каро великолепный гроб из черного дерева с серебряными ручками, который он заказывал по меркам для своей собственной жены. А та распухла и в нем не поместилась. И моя дуреха Каро, испугавшись такого подарка, отдала его своей домашней работнице. И почему только она не отдала его мне? Я люблю роскошь, и ты представляешь, как бы хорошо я в нем расположилась? Пусть тебя не слишком впечатляет это письмо, оно написано в свое время, и оно именно

такое, каким и должно быть.

Сколько у меня еще осталось шахматных партий? Я ведь все еще играю время от времени с моим маленьким торговцем шерстью. Ничего не изменилось, если не считать, что теперь хуже играю я, а не он, и проигрываю. Когда я стану совсем уж немощной и неуклюжей, я откажусь от этого, как отказываюсь от остального, просто из благопристойности».

Это полезно — получить подобный урок выправки. Какой тон! Мне кажется, что он звучит у меня в ушах, и я выпрямляюсь. Беги же, мой фаворит! И появляйся вновь лишь неузнаваемым. Прыгай в окно и, касаясь земли, меняй форму, цвети, лети, звени… Тебе сто раз удалось бы ввести в заблуждение меня, прежде чем обмануть ее, и все же отбывай свое наказание, отбрасывай свою кожу. Когда ты ко мне вернешься, нужно, чтобы, по примеру моей матери, я могла бы тебя тоже назвать твоим именем «Розового кактуса» или не знаю какого другого с трудом расцветающего цветка в форме пламени, твоим будущим именем существа, освобожденного от злых чар.

Письмо, которое я только что скопировала, она написала, еще свободно владея рукой. Ее острые перья царапали бумагу, и при письме она произ-

водила много шума. Шум этого письма, где она защищалась — где она нас защищала — против тюрьмы, болезни и бесстыдства, — должен был наполнять ее комнату царапаньем разъяренных лап насекомого. И все же в конце строчек последние слова спускаются, притягиваемые невидимым склоном. Такая отважная, она все же боится. Она думает об ужасной зависимости, о всех видах зависимости; она берет на себя труд меня предостеречь… На следующий день другое письмо от нее мне деликатно подсказывает какие-то компенсации, какие-то размены: за нотацией следует очаровательная история про овсюг, у которого устремленная направо и налево ость предсказывает погоду. Она воодушевляется, вспоминая о визите, который ей нанесла во время одного из приступов нездоровой, отравленной дигиталисом дремоты ее внучка Г…

«…Восемь лет, ее черные волосы все спутаны, так как она бежала, чтобы принести розу. Она стояла на пороге моей комнаты столь же напуганная моим пробуждением, как и моим сном. До самой смерти я не увижу ничего более прекрасного, чем этот озадаченный ребенок, которому хотелось плакать и который протягивал розу». Кто же из нас двоих лучший писатель? Не оче-

видно ли, что именно она.

Наступает заря, ветер стихает. Из вчерашнего дождя в тени родился новый аромат, а может быть, это я в который уже раз вновь открываю мир и накладываю на него новые ощущения?.. Это ведь не слишком чрезмерно — рождаться и созидать каждый день. Рука цвета бронзы, вся холодная от волнения, бежит, останавливается, зачеркивает, снова начинает движение, холодная от юного волнения. Не хотела ли скупая любовь в последний раз наполнить пригоршни маленьким заскорузлым сокровищем? Теперь я буду собирать только охапками. Большие охапки ветра, раскрашенных атомов, щедрой пустоты, которые я буду с гордостью сваливать в гумно…

Наступает заря. Принято считать, что ни один демон не может выдержать ее присутствие, ее бледность, ее голубоватое скольжение; но никогда не говорят о прозрачных демонах, которые любовно приносят ее с собой. Прощальный голубой цвет, приглушенный, размытый водяными парами, проникает вместе с туманом. Мне нужно мало сна; вот уже несколько недель мне хватает послеобеденного отдыха. Когда тяга ко сну меня охватит вновь, я буду спать неистово и как пьяная. Мне надо только подождать, пока восста-

новится прервавшийся на некоторое время ритм. Ждать, ждать… Этому обучаются в хорошей школе, где преподают также великую элегантность нравов — высший шик умения — отклонять…

Этому обучаешь ты, к которой я беспрестанно обращаюсь… Одно письмо, последнее, пришло сразу вслед за смеющимся посланием, где ты рассказываешь про гроб из черного дерева… Ах! спрячем под последним письмом образ, который мне не хочется видеть: наполовину побежденная голова, которая поворачивала на подушке так и сяк свою сухую шею и свое нетерпение коротко привязанной козы… В последнем письме моя мать, очевидно, хотела меня уверить, что она уже рассталась с необходимостью пользоваться нашей речью. На двух набросанных карандашом листках нет ничего кроме кажущихся веселыми знаков, стрелок, отходящих от лишь намеченного слова, маленьких лучей, двух: «да, да» и одного очень отчетливого: «она танцевала». Она также написала ниже: «моя любовь» — так она называла меня, когда наши разлуки оказывались долгими и когда она по мне скучала. Однако на этот раз я не решаюсь требовать для себя одной такое пламенеющее слово. Оно занимает свое место среди линий, плетений ласточкина полета,

завитков растений, среди вестей, посланных рукой, которая пыталась мне передать новый алфавит или набросок ландшафта, мельком замеченного на заре в лучах, которым совсем не дано достигнуть мрачного зенита. Поэтому вместо того чтобы смотреть на это письмо как на неясный бред, я читаю его как один из тех загадочных пейзажей, на которых игры ради лицо спрятано в листве, рука — между двумя ветками, торс — под грудой скал…

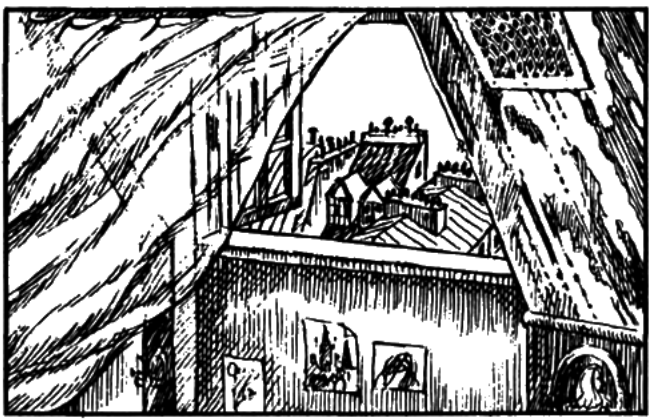
В мою комнату проник холодный голубой цвет, увлекая с собой искажающую его очень слабую примесь телесного цвета. Струящаяся влагой, напряженная, вырванная у ночи, это она — заря. Завтра этот же час станет свидетелем того, как я, срезая первые грозди, начинаю уборку винограда. Послезавтра, опережая этот час, я хочу… Не так скоро, не так скоро! Пусть оно наберется терпения, жгучее желание застать тот момент, который рождает день: выпрыгнувший из окна сомнительный друг все еще скитается. Коснувшись земли, он не отказался от своей формы. Ему не хватило времени, чтобы стать совершенным. Но стоит только мне прийти ему на помощь, и вот он уже — чаща, водяная пыль, метеоры, открытая безграничная книга, гроздь, корабль, оазис…



ЗАКУТОК



ПЕРЕВОД Т. ЕРОФЕЕВОЙ



Поднимаясь по лестнице, Алиса нащупывала зажатый в руке ключ. «Тот самый ключ… У него было все то же погнутое кольцо, они его не заменили». Как только она закрыла за собой дверь и отбросила назад маленькую креповую вуаль, то сразу почувствовала знакомый запах квартиры. Тридцать — сорок сигарет, выкуривавшихся ежедневно в течение многих лет, окрашивали, пропитывали всю мастерскую, прокоптили ее стеклянную наклонную крышу.

Тридцать — сорок окурков, раздавленных в

бокале из черного стекла, свидетельствовали, сколь упорна была привычка. И бокал из черного стекла все еще был здесь! За тридцать лет кое-где побитый, потертый, пришедший в негодность. Но все же черный бокал цел. Кто же здесь сменил духи? Коломба или Эрмина? Не задумываясь больше над этим, она машинально «втянула в себя живот», чтобы протиснуться между кабинетным роялем и стеной, затем по привычке оригинальным способом, то есть амазонкой, села на обитую кожей спинку дивана, опрокинулась и скатилась на сиденье. Но маленький флажок из крепа, который украшал ее траурную шляпку, зацепился за край партитуры и повис на полпути. Алиса с усталым видом наморщила нос и лоб и поднялась. В стенном платяном шкафу, устроенном в скошенной части мансарды мастерской, она сразу же нашла то, что искала: горчичного цвета костюм: однотонную юбку и трикотажную блузу с зеленым рисунком, которую она тоже понюхала. «Чья? Эрмины или Коломбы?..» Она проворно сбросила свой черный жакет и юбку, спокойно надела платье из джерси, затянула молнию и завязала на шее шарф блузы. Сестры Эд не были близнецами, но были одинаковыми и похожими друг на друга своими прекрасными

крупными фигурами, для которых когда-то были впору костюм на двоих, шляпка на троих, одна пара перчаток на четверых. «Противный черный цвет!» Алиса собрала свою одежду, спрятала ее в шкаф и тщетно стала искать сигареты. «Из всех троих никто не догадался оставить мне хотя бы одну!» Она вспомнила, что из троих осталось только две. Бизута, младшая, неудачно вышедшая замуж, вела съемки слегка романтических документальных фильмов у берегов Маркизских островов. Ее муж снимал, Бизута ставила сценки с аборигенами. Полуголодные, так как денег заказчика, которого преследовали неудачи, едва хватало, они влачили освещенную солнцем нищенскую жизнь, переезжали на торговой шхуне от «океанского рая» «на остров мечты». Об этом свидетельствовал лист картона, прислоненный к трубе холодной плиты и весь увешанный моментальными фотографиями: Бизута на коралловом острове, Бизута в короткой пляжной юбке, с развевающимися волосами и увенченная тиарой из цветов, Бизута, размахивающая рыбой… «Она очень худа, естественно. Все это бесконечно грустно… Если бы я была тогда дома. И надо же было, чтобы она вышла замуж, когда Мишель и я отсутствовали. Это случается иногда в доме, когда

буфет особенно пуст и оставались только крошки табака в глубине карманов. Такая прелестная Бизута прилепилась к какому-то поношенному Буттеми… Идиотка…»

На изрезанном письменном столе, усыпанном маленькими прожженными пятнами, под набросками мелодий, записанных Коломбой, Алиса нашла большую коробку спичек. Она стряхнула небольшие кучки пепла, раздавленные между листами нотной бумаги, нашла одну-единственную, немного поврежденную сигарету и трубку из черного дерева дикой вишни: «Трубка папы!» Ее рука плотно охватила головку трубки в форме яйца и поднесла ее к носу. «Бедный папа…» Две маленькие слезинки выступили у нее на глазах. Она пожала плечами. «Теперь он отдыхает. Нет больше уроков сольфеджио, ни пианино. Он всегда был уверен, что никогда не сможет отдохнуть… А теперь продолжает Коломба».

Наконец она устроилась в родном закутке на не поддающемся разрушению диване английского производства, который был весь во вмятинах, как лесная дорога в сезон дождей. Алиса прислонилась затылком к диванной подушке. Кожа подушки была прохладной и нежной, как щека. Она принюхалась к старому сафьяну, пропитан-

ному табачным дымом и запахом волос, и слегка коснулась ее губами.

«Кто теперь спит здесь? Эрмина или Коломба? Но сейчас, когда у них так много места, может быть, никто не спит в закутке?..» Она просунула руку между спинкой и сиденьем, исследовала всю длину дивана, извлекла рассыпанные крошки табака, смятый в комок целлофан, карандаш, таблетку аспирина, но не нашла никакой свернутой валиком пижамы. Тогда она замерла, прислушиваясь к дождю, который бил по стеклам. «Если бы не было дождя, я бы проветрила комнату, но я слышу, дождь еще идет. Кто первый вернется: Эрмина или Коломба?»

Имя Мишеля, его лицо возникли в ее памяти и причинили ей боль. Она затаила на своего покойного мужа обиду, которая часто отвлекала ее от неописуемого, капризного горя, с которым она не смогла ни свыкнуться, ни совладать. Она думала о Мишеле без бурных слез, без горького самозабвения. Этот беглец, которого нашли утонувшим под Верхне-Сарсайской плотиной, этот сумасброд отважился приблизиться к берегу разлившейся реки. Алиса думала о нем почти с такой же злостью, как и с сожалением. Лежа на спине, с зажатой в губах раздавленной и потух-

шей сигаретой, Алиса еще раз представила себе умершего, мало пробывшего в воде, бледного и спокойного Мишеля, его мокрые волосы, закурчавившиеся от воды. Она не испытывала ужаса перед мертвецом, в столь тщательно застегнутым на все пуговицы костюме, этим недотепой, который не остерегся красноватой глины. Но она не находила в себе снисходительности.

Внезапный оползень на скользком, раскисшем берегу вел к другому невидимому берегу. «Поступить так со мной...» Столь легкий неожиданный уход, без болезни, без недомогания; как только Алиса оставалась одна, она отказывалась с этим примириться.

Ее блуждающий взгляд, скользя по пожелтевшим стенам, останавливался на знакомых паспарту и набросках без рам. Большое облупившееся пятно за печной трубой указывало на путь распространения тепла.

«А что, если Эрмина не вернется? И Коломба тоже?..» Такое безумное предположение заставило ее улыбнуться. Мелкий дождь, стучавший по стеклу, словно песок, почти усыпил путешественницу, и она вздрогнула при звуке погнутого ключа, который повертывали в замке.

— Эрмина, — крикнула она.

— Нет, Коломба.

Алиса сразу же села.

— Ты не кашляла, и я подумала, что это Эрмина. Так попираются все традиции! Ради бога, у тебя есть сигареты?

Пачка сигарет светлого табака упала ей на колени.

Лишь после того как обе сестры затянулись и выпустили первые струйки дыма, они поцеловались в висок и кончик уха.

— Какая скверная привычка, — сказала Коломба. — Итак? Ты здесь? Но что это, что это? Мне кажется, я узнаю эту ткань.

Она пощупала юбку горчичного цвета.

— А! Это твоя? Взамен я даю тебе мое траурное платье.

Они снова перешли на «тон закутка», так сестры называли укоренившуюся здесь свободу подшучивать вполне серьезно, говорить на любую тему, почти во всех случаях сохранять хладнокровие, при всех обстоятельствах воздерживаться от слез.

— Как Эрмина? — спросила Алиса.

— Все в порядке… почти все.

— Ее занимает все тот же мосье Уикенд?

— Все тот же.

— Неужели все тот же?

— Абсолютно. Такая дура, как Эрмина, если бы она сменила мужчину, это было бы заметно по ее лицу. Более однолюбых, чем мы четверо, нигде больше не отыщешь.

— Нет… — сказала Алиса мрачно.

Коломба извинилась, коснувшись рукой плеча сестры.

— Извини!.. Я буду осмотрительней. Скажи мне, правильно ли я поступила или нет не поехав на…

— На похороны Мишеля? О! Да, хорошо сделала!.. Ох!

Ударом кулака она сплющила кожаную подушку. Ее безжалостная рука убрала со лба густую жесткую челку черных волос, и ее светлые глаза, которые зеленели от малейшего волнения, выразили угрозу всему, что она только что оставила в недоброжелательной провинции, и даже тому, который покоился безразличный ко всему на маленьком деревенском кладбище в конце аллеи цветущих яблонь…

— О! Коломба, эти похороны! Дождь лил не переставая, глаза людей, этот священник, которого я никогда не видела, и столько людей, сотни людей, толпа, которую я тоже никогда не видела

за все семь лет. Ну, знаешь, если ткнуть ногой в муравейник, они начинают выбегать отовсюду… А эта манера смотреть на меня… Точно я была в чем-то виноватой, ты представляешь?

Она посмотрела в глаза Коломбы, гнев ее прошел. Ее обветренные губы задрожали, одновременно затрепетали и ноздри. Слабость, даже скоропроходящая, плохо подходила к ее волевому с неправильными чертами, чуть плоскому лицу, к ее глазам, похожим на лист вербы.

— Тс, тс, тс… — сказала Коломба.

— К тому же, — продолжала Алиса, — это происшествие, эта неожиданность… Так глупо не умирают, Коломба, подумай только! В воду не падают, как идиот, ну а если упал, так плыви! Эти южане, разве они не умеют плавать?.. О! Я не знаю, что бы я с ним сделала!

Откинувшись назад, она закурила с запальчивым видом.

— Такой ты мне нравишься больше, — сказала Коломба.

— Мне тоже, — сказала Алиса. — Однако до сего времени у меня было другое представление о скорби вдов…

Ирония тут же придала ей насмешливый вид. Сколько раз Мишель из-за этого вида чувствовал

себя задетым в том, что он называл мужским самолюбием.

Коломба вскинула свои длинные брови к черным вьющимся волосам, разделенным пробором над левым виском. Одна прядь широкой лентой спускалась на лоб и закалывалась за правым ухом. Остальные волосы — прекрасные волосы всех четырех сестер Эд, — спускались густыми локонами на затылке.

— Лишь одна Мария пришла мне на помощь. Да, Мария, сторожиха. Она была великолепна. Такт, своего рода сострадание, которое она скрывала, но тем не менее оно чувствовалось…

— Это что-то новое, Алиса! Ты мне всегда говорила, что эта хитрая старуха была ставленницей Мишеля!

— Да, тип гувернантки «только для мосье». Так вот, все изменилось еще даже до исчезновения Мишеля. Должно быть, он ей разонравился, я не знаю почему.

Она видела сквозь стены! Она спала рядом со мной в гостиной. *Я на* диване, она на другом в своей большой монашеской рубашке.

— В гостиной? Почему в гостиной?

— Потому что я боялась, — сказала Алиса.

Она подняла свою длинную руку и опустила ее

на плечо сестры.

— Боялась, Коломба. По-настоящему боялась. Боялась всего: пустого дома, боялась, когда хлопали дверью, боялась, когда наступала ночь, боялась того, как Мишель… ушел.

Коломба посмотрела в глаза сестры своим умным взглядом.

— Да?.. Ты предполагала?

— Нет, — четко сказала Алиса, — но это возможно, — прибавила она вялым голосом.

— Какие-нибудь неприятности? Дела?

Алиса не отвела глаз.

— Оставим это. Бывают моменты, когда жизнь мужчины и женщины мне представляется как нечто немного недостойное, вроде туалета в стенном шкафу… Это должно быть скрытым. Доказательство то, что я боялась всего того, что было в Крансаке, эти книжные шкафы в глубине гостиной. Соловьи, которые пели в течение всей ночи. Всю ночь напролет… Этот ящик, в который уложили Мишеля, потом исчезновение этого ящика. О, как я ненавижу покойников, Коломба. Они совсем не то, что мы. Я тебя шокирую? Человек, такой безжизненный. Неужели это в самом деле тот, которого любили?.. Ты не можешь понять.

С заговорщическим жестом Коломба дотро-

нулась до поблекшего дерева рояля. Алиса, успокоенная, улыбнулась.

— Хорошо, хорошо. Понимаю, все идет по-старому между Баляби и тобой. Хорошие друзья? Или хорошие любовники?

— Разве мы можем быть кем-либо иным, чем добрыми друзьями. Мы наполовину измучены работой как один, так и другой.

Она зевнула, затем внезапно просветлела:

— Однако для него все как будто бы устраивается. Он будет руководить опереттой Пурика в начале сезона.

Она понизила голос, чтобы довериться Алисе, и заговорила со скрытой надеждой:

— Его жена больна!

— Да? Не может быть!

— Да, малышка! И серьезно, — у нее отказывают ноги, и как будто бы, если инъекции, которые ей делают, не помогут, сердце может не выдержать и в любой момент… пуф!..

Она замолчала, разглядывая что-то приятное и невидимое. Ее усталые щеки и прищуренные близорукие глаза помолодели.

— Но, знаешь, не следует обнадеживать себя подобным образом. Бедный Каррин… Он так плохо выглядит… Это в основном от недосыпания.

Мы никогда не спим достаточно. Мы слишком устаем. Сердце не отдыхает. Я готовлю для него отдельные кусочки оркестровки, переписываю ноты, все, что могу после моих уроков…

Она внезапно помолодела, широко раскрыла свои прекрасные усталые глаза.

— Ты знаешь, Морис Шевалье взял одну из его песен! И еще… Видишь ли, за исключением припева, песенку сочинила я… Она прелестна…

Она попыталась через спинку дивана нащупать клавиатуру позади себя. Но вскоре отказалась от этой затеи.

— Алиса, быть может, я мало говорю о… о том, что произошло *с* тобой?

— Да нет же, нет, вполне достаточно, — сказала холодно Алиса.

Их почти одинаковые глаза встретились. Они скрывали удовольствие, которое испытывали от того, что были такими сходными, жесткими по отношению к самим себе, циничными от нежности и стыдливости.

— Я слышу шаги, — сказала Коломба. — Пойду ей открою.

С легкостью, которая говорила о многолетней привычке, она перебросила ноги через спинку дивана и встала.

— Входи. Да, здесь Алиса. Поцелуй ее и дай нам поговорить.

Эрмина бросила свою шляпку на рояль и устроилась рядом с сестрами. Она прижалась к щеке Алисы своей более худой щекой, светлыми крашеными волосами и тихо *с* нежностью закрыла глаза.

— От тебя приятно пахнет, моя милая девочка, — сказала Алиса. — Оставайся здесь.

— О чем вы говорили? — спросила Эрмина, не открывая глаз.

— Да ни о чем хорошем, понимаешь… я говорила, что сыта по горло всем тем, что видела там…

Все трое замолчали. Алиса гладила золотистые волосы крашеной блондинки. Коломба барабанила пальцами по звонкому потускневшему дереву инструмента. На вздох Алисы Эрмина приподнялась и вопросительно посмотрела в лицо сестры.

— Нет, я не плачу, — запротестовала Алиса. — Просто я очень устала. Я думаю обо всем этом. Бедный Мишу, он расплатился за свою страховку.

— Какую страховку?

— Так, одна штуковина, страхование жизни. Страховая компания тоже смотрела на меня косо… Вежливость с подозрительностью… Рас-

следование, дети мои, они вели расследование!.. Говорю вам, уж я-то там насмотрелась более чем достаточно… Наконец все уладилось. А Ласкуметт, ну и Ласкуметт!.. Тип с мельницы. Он мне проговорился: он хочет дом и прилегающие к нему земли! Он их получит. О, господи, он их получит. Если не будет никого, кроме меня, чтобы отказать ему.

— Но тогда, — медленно сказала Коломба, — тогда у тебя будут деньги?

— Они уже у меня есть. Я получу по страховке от продажи владения… Что-то вроде… двухсот восьмидесяти пяти тысяч франков, девочки.

— С ума сойти… Но тогда, — сказала Коломба тем же мечтательным тоном, — тогда ты бы мне дала… Ты смогла бы мне дать пятьсот франков?

— Вот они, — сказала Алиса, роясь в своей сумке. — Глупышка, ты так в них нуждалась?

— В общем, да, — сказала Коломба.

Для приличия она покашляла, опустила глаза, кончиками указательных пальцев покрутила в углах своих век у носа. Алиса чуть было не растрогалась, глядя на прекрасные изможденные черты лица своей сестры, но вовремя вспомнила, что их личный кодекс запрещал проявление чувств. Она положила руки на плечи своих сестер.

— Ну, дети мои, идемте! Пойдемте со мной обедать, пить… Не давайте мне думать, что Мишель не присоединится к нам во время десерта, мой толстый Мишель, мой Мишель, который так глупо умер…

— Тс, тс, тс… — проворчала неодобрительно Коломба.

Алиса не протестуя приняла это напоминание о соглашении соблюдать легкость разговора, молчание и иронию, которое управляло их отношениями. На мгновенье она потеряла контроль над собой и еще крепче обняла сестер.

— Дети мои, я здесь. Наконец-то я здесь, — прошептала она со сдержанным волнением.

— Это не в первый раз, — холодно сказала Коломба.

— И не в последний, я думаю? — бросила Эрмина.

Чтобы лучше ее видеть, Алиса отстранила светлую головку. К воротнику своего узкого черного платья Эрмина приколола золотую розу. На одном из лепестков блестела бриллиантовая капелька.

— О! Как красиво, — воскликнула Алиса. — Это мосье Уикенд тебе ее подарил?

Эрмина покраснела.

— Ну конечно… Кто же еще…

— Да, больше некому! Я вполне удовлетворена мосье Уикендом!

— Такой славный начальник, — вкрадчиво намекнула Коломба.

Эрмина собралась с мужеством и смерила взглядом сестру.

— Он, знаешь ли, стоит Каррина. Причем без всяких усилий с его стороны.

Алиса погладила золотистую головку той, которая предпочла стать блондинкой.

— Оставь ее в покое, Коломба. Ей двадцать девять лет. Она знает, что делает. А знаешь, Эрмина, этот старый Баляби Коломбы очень мил…

— Такой же идиот, как и я, — вздохнула Коломба.

— Да, но золотое сердце…

— А ты все-таки выбирай выражения, — сказала оскорбленная Коломба.

— Но я не вижу, почему мосье Уикенд не мог бы тоже обладать этими солидными качествами, которые…

— Которые внушают вам отвращение к мужчине. Лично я ничего не имею против мосье Уикенда. Если только ему не восемьдесят лет.

— И не прыщавый.

— И не слишком светлый блондин…

— И не офицер действующей армии…

— И не дирижер. Мы имеем право только на одного дирижера на четверых. Эрмина, ты меня слышишь? Эрмина, я к тебе обращаюсь.

Эрмина с опущенной головой счищала лак ногтем большого пальца с других ногтей. Достаточно было светлых волос, чтобы ослабить ее сходство с Алисой, несмотря на чуть приплюснутый нос, аномитский нос семьи. Маленькая сверкающая капелька скользнула вдоль мясистой ноздри, блеснула, задержавшись на губе Эрмины, и исчезла в темном платье.

— Эрмина, — воскликнула Алиса возмущенно.

Эрмина еще ниже опустила голову.

— Дай мне твой носовой платок, — пробормотала она.

— Оставь ее, она сошла с ума, — сказала пренебрежительно Коломба. — С ней невозможно разговаривать, она или устраивает сцену, или плачет.

— Оставь сама ее в покое. По-видимому, у нее какие-то неприятности. Посмотри, какая она худая.

Она потрогала верхнюю часть руки Эрмины, затем взяла ее грудь, сжала рукой и взвесила на

ладони.

— Недостаточно полная, — сказала она. — Что делает с тобой мосье Уикенд? Он тебя не кормит?

— Кормит, — прохныкала Эрмина. — Он очень добр. Он повысил мне зарплату. Только вот…

— Что?

— Он женат…

— И этот… — воскликнула Алиса. — Вы нравитесь только женатым, вы обе? И конечно, ты его любовница?

— Нет, — сказала Эрмина в свой носовой платок.

Поверх склоненной головы Алиса и Коломба обменялись взглядами.

— Почему?

— Не знаю, — сказала Эрмина. — Я сдерживаюсь. Как мне все осточертело… И идиотские шутки Коломбы плюс ко всему…

— Мы нервничаем, — сказала Коломба огорченно. — Целомудренная и нервная.

— Вы только послушайте ее! — крикнула Эрмина. — Она это говорит таким тоном, как если бы у меня были вши. Прежде всего я свободна! Тебя что касается, что я нервная?

Она съежилась в своем узком черном платье, подняла плечи, скрестила руки на груди. Своим

посуровевшим с красивыми зубами ртом она неистово стала упрекать их, так что Алиса удивилась.

— Бог мой, малышка, не принимаешь же ты это всерьез? Мы, закутошники в своем родном закутке, не впервые ругаемся. Никто не говорил, что ты не свободна. Ты похожа на маленькую летучую мышь, которую я поймала сачком для ловли бабочек.

Зевок прервал ее слова.

— О-о, есть хочу… Не важно что, только бы поесть! Десять минут десятого! Не найдется ли здесь чего-нибудь перекусить?

— Я могу приготовить яичницу с ветчиной, — предложила Коломба.

— Лучше не надо. Мы пятнадцать лет питались ветчиной и яйцами. Я поведу вас к Густаву. Сосиску толщиной в мою руку, вот что мне надо. Они у Густава все такие же вкусненькие, вкусненькие, вкусненькие?

— Нет, не очень, — сказала Эрмина.

— Не слушай ее! — запротестовала Коломба. — Жирные, как *мясные* черви, и сочные…

— Вы кончили? — прервала их Алиса. — Я за Густава. Ну живо, командую я! Коломба, нет ли у тебя шапочки, которая бы подходила к твоему

костюму горчичного цвета?

— У меня есть зеленая вязаная шапочка. Чудо за семнадцать франков.

— Алиса, ты же не можешь выйти в таком виде? — спросила встревоженная Эрмина.

Алиса строго посмотрела на нее.

— Почему? Потому что я сбросила черную одежду? Да, я оставила свой траур в шкафу.

Она указала рукой на стенной шкаф.

— Завтра я снова его надену.

— Тебе это безразлично, потому что это…

— Мишель? Да, и ему, наверное, тоже…

Она замолчала и покачала головой.

— Пошли. Это касается только меня.

Они начали толкаться в тесном туалете, втягивали животы, убирали зады, чтобы двигаться между умывальником и оцинкованной ванной, десять раз перекрашенной, одновременно ведя пустые разговоры, которые давали возможность расслабиться. Поочередно они накладывали толстым слоем губную помаду на губы, оранжевую краску на щеки, одинаково погримасничали, чтобы проверить блеск зубов, и стали поразительно и банально походить друга на друга. Но они перестали быть похожими, когда надели три разных головных убора. Коломба и Алиса, казалось, не

заметили еще одну маленькую золотую розу, приколотую к черному бархатному берету на светлых волосах Эрмины. Все трое одинаковым неизменным жестом натянули на правый глаз берет, поношенную фетровую шляпу, шапочку из зеленой шерсти. Так как у Коломбы не было пальто горчичного цвета, Алиса подвязала ей под подбородком большой фиолетовый платок. Их движения, когда они приводили себя в порядок, доходили до виртуозности, они умели в совершенстве использовать украшения и ткани, хорошо подходившие друг другу.

— Ты помнишь, Коломба, папин шелковый шарф? Он очень шел мне.

Все трое улыбнулись в зеркало в пятнах от подпорченной амальгамы, обменялись привычными словами, прежде чем спуститься.

— Ключ?

— Он в замочной скважине. Я беру его. Сигареты?

— Мы будем проходить мимо табачной лавки, — сказала Алиса, — я куплю на всех.

Они пошли под руку по пустынной улице, громко разговаривая и вдыхая влажный воздух спустившихся сумерек. Алиса, как постоянный посетитель, толкнула ногой дверь ресторана

Густава. Она проскользнула к столу, который предпочитала, — у камина с вытяжным колпаком, села и вздохнула от удовольствия. Длинный зал, устроенный в самом центре старой парижской постройки, заглушал шум. Ничто здесь никогда не носило отпечатка ни личного вкуса, ни изысканности.

— Видишь, — сказала Коломба, — это незыблемо. Сюда приходят поесть, как в исповедальню, чтобы исповедаться.

— И еще, в исповедальне допускаются гирлянды и скульптура в современном духе… А где же Эрмина?

Эрмина, задержавшись у столика, беседовала с обедающей в одиночестве дамой, простой, немного полноватой.

— Кто эта дама с претензиями? — спросила Алиса.

Коломба стала шептать Алисе на ухо.

— Мадам Уикенд. Истинная. Законная.

— Как?

— Да. По имени Розита Лакост.

— Но он, тот, которого мы зовем мосье Уикенд… его зовут?..

— Ба, его зовут Лакост, ну да. Не в своем торговом доме, его торговый дом — это Линдауэр.

— Коломба, как, по-твоему, он поступит с малышкой?

Коломба пожала плечами.

— Для малышки нет оснований, чтобы он не женился на ней в один прекрасный день. Если бы выходили замуж только за холостяков!..

— Но есть масса вещей, которых я не знаю. Эрмина изменилась, как ты успела заметить.

— А если я задам ей вопрос прямо в лоб?

— Я думаю, что это не совсем правильно. Будь осторожна, она возвращается.

— Что ты будешь есть, малыш? А, Эрмина?

— Я... То же, что и вы, — сказала Эрмина наобум.

— Я треску в томатном соусе и одну сосиску, — сказала Алиса.

— А я бифштекс из рубленого мяса с яйцом и гарниром из сырого лука. И шоколадный крем после сыра.

— И конечно же, натуральное шампанское или божоле, Эрмина? Эрмина! Где ты?

— Мне холодно, — сказала Эрмина, потирая руки. — Бифштекс с перцем и салат.

— Холодно? В такое время года? Восьмого мая? Коломба, ты ее слышишь?

Коломба ответила ей незаметным знаком, и

Алиса не настаивала.

— Пей, Эрмина, ты согреешься.

Они опорожнили натощак первый кувшинчик вина. Алиса стала дышать глубже, сняла тем самым напряжение, сжимавшее ей грудную клетку. Она немного опьянела и захотела есть. От вина и желания есть у нее по телу разлилось блаженство, и все вокруг стало светло-желтым. Лица ее двух сестер внезапно утратили привычное выражение, над которым она никогда не задумывалась, и превратились в незнакомые лица, похожие на те, которые встречаешь один раз и которые ничего не утаивают. Видно было, что Коломбе исполнилось тридцать четыре года и она не переставая пичкала никотином свой хронический трахеит.

«Красивое лицо, — думала Алиса. — У нее морщинки в углах рта и губы похожи на мои, но они стали тоньше от усилий держать сигарету во время чтения, игры на пианино, пения, разговора. Взгляд честного робкого человека, длинные морщины на щеках… Я уверена, что она никогда ни на кого не смотрела, кроме Баляби, второй экземпляр чистой добродетели и верности. Малышка очень хороша, несмотря на свои светлые волосы или как раз из-за светлых волос. Но у нее

что-то не ладится, не знаю только, что именно. Здоровье? Неприятности? Ревность?.. Эта история с «мосье Уикендом» не очень понятна… Зачем она пришла сюда, эта вторая мадам Уикенд? Приятно быть здесь с моими закутошницами, и треска такая нежная…»

Она жадно выпила еще один стакан холодного, пахнущего фруктами вина, и шум моря возник в ее ушах. Ей стало еще лучше, блаженство нарушалось лишь неясным беспокойством, чем-то черным, как закопченный потолок или низко ползущая туча. Сморщив лоб, она стала вспоминать.

«Ах, да! — сказала она себе. — Вот что это такое, Мишель умер. Он умер, и это тянется уже столько дней, и я спрашиваю себя, долго ли это будет еще продолжаться… Из-за чего опять эти двое ссорятся?»

— Нет, я туда не ходила, — говорила Эрмина.

— Мне это хорошо известно, — сказала Коломба.

— Нет, точно, я туда не ходила, я этого не скрываю.

— Ты этого не скрываешь, но ты мне об этом не сказала. Ты мне сказала «я должна подождать» таким тоном, чтобы я поверила, что именно

дирекция театра просила тебя подождать, пока служащая по найму уйдет. Тогда я, набитая дура, делала все возможное и невозможное, чтобы никто другой не занял этого места. Ты могла бы просто сказать, что тебя это не интересует, что тебе это не нужно, — и я тебя поздравляю с этим, — дополнительная тысяча франков в месяц.

— Прежде всего я ни о чем тебя не просила!

Эрмина не повышала голоса, но у нее снова появилось выражение озлобленной жертвы, ее взгляд снизу вверх и чуть заметное хрипящее стенание в конце фраз. Коломба обходилась с ней без язвительности, но говорила достаточно настойчиво, так что в конце концов она рассердилась. Алиса сделала над собой усилие, чтобы выйти из своего состояния светло-желтой отрешенности и прекратить легкий шум в ушах.

— А ну-ка, ну-ка, что это за манеры? Никаких историй во время еды, параграф третий кодекса закутка. Параграф четвертый: никаких публичных дискуссий.

— Здесь, кроме нас, никого нет, — сказала Коломба.

— Осталась еще Эрминина дама с претензиями. Она расплачивается по счету.

— У нее не будет расстройства пищеварения, она выпила один коктейль, — заметила Коломба.

— Кто эта толстая тетка? — пренебрежительно спросила Алиса.

— Кажется, бывшая модистка у Вертишу, — сказала Эрмина тем же тоном. — Я познакомилась с ней в студии Эпиней, когда выступала в «Ее Величестве Мими».

— Она у Вертишу?

— По-моему, она там была… А теперь я не знаю. Налей мне чего-нибудь, я так хочу пить…

Она разбавила вино водой, и горлышко графина застучало по краю стакана. Алиса искала глазами даму с седыми волосами, которая уже дошла до двери. Эрмина перестала есть и положила свой прибор поперек тарелки.

— Больше не голодна?

— Больше нет.

— Жаль. Поменять вино, Коломба?

— Капельку божоле, чтобы получить удовольствие от сыра…

У Коломбы немного покраснели щеки и крылья носа. С глазом, прищуренным из-за привычки держать во рту сигарету, она барабанила как на пианино по краю стола. Алиса не удивлялась,

что ни одна из ее сестер не говорила с ней о Мишеле. Она сама, обуреваемая время от времени воспоминаниями о покойнике, подавляла их, как если бы он ждал ее дома. «Попозже… Немного терпения…» Он перестал быть телом, вытащенным из воды, мокрым, распластанным на земле. Возможно, он сидит у себя с прижатой к уху телефонной трубкой или стоит, облокотившись о высокий пюпитр в бюро Траншена. «Одну минутку, Мишель… Оставь нас… Ты же знаешь, что эти маленькие обеды, на которых мы не хотим никаких гостей… Это наш отдых, нас, сестер Эд».

— Не хочешь ли фруктов, Эрмина? Или фирменного торта?

— Спасибо, не надо.

— Что-нибудь не так?

— Все отлично.

И как бы в доказательство сказанного Эрмина оттолкнула свою тарелку, приложила салфетку к глазам и разрыдалась.

— Эрмина! — воскликнула Коломба.

— Оставь ее. Она успокоится быстрее, если не будет себя сдерживать.

Алиса вновь принялась за еду, подражая Коломбе, которая расцвела под благотворным действием бифштекса с кровью и благородного

вина, утешенная, кроме того, и как бы избавленная навсегда от всех забот крупной банкнотой в пятьсот франков, лежащей в ее сумке.

Сестринская щепетильность заставляла их не обращать внимания на плачущую сестру, и они старались не смотреть на нее, как если бы она в общественном месте страдала животом или если бы у нее носом пошла кровь. Эрмина успокоилась, вытерла глаза и попудрилась.

— Не вешать носа, — сказал ей Алиса бодрым голосом.

Светлые глаза Эрмины, которые казались голубыми с тех пор, как она стала блондинкой, блеснули под покрасневшими веками.

— Да, конечно, — вторила она. — Это легко сказать, надо еще и суметь.

Она попросила свежей черешни, собранной очень далеко от Парижа, но с уже увядшими стебельками. «На опушке леса совсем близко от воды черешня была еще в цвету… — вспомнила Алиса. — На мокрых волосах Мишеля было два-три лепестка цветов черешни…» Она нахмурила брови, со злостью представила себе эту мрачную картину, целиком было овладевшую ее мыслями, и обратила всю защитную силу своего разума на наблюдение за младшей сестрой.

Эрмина оставалась бледной и взволнованной, рассеянно выщипывала косточки черешни большим и указательным пальцем. С опаской и некоторого рода брезгливостью Алиса думала, что ей придется, может быть, нарушить молчание этой скрытной сестры-блондинки. «Скрытная? Мы всегда скрывали друг от друга наши неприятности, с самого детства…» Сестры не знали ни междоусобной борьбы, ни семейного соперничества. Их борьба была другого рода: борьба за пропитание, за получение места чертежницы, должности продавщицы, секретарши, аккомпаниаторши в местном кабачке; борьба за организацию вчетвером квартета струнных инструментов, весьма посредственного для больших кафе… Эрмина много раз была манекенщицей. Прекрасный способ быстро зачахнуть, дойти до полного изнеможения, до полного отвращения к черному кофе, потом она искала место натурщицы в мастерских художников… А Бизута? Как Бизута была хороша в рамке окошечка по продаже предварительных билетов театра «Комедия буфф». Но когда ты одна из четырех сестер Эд, то быстро узнаешь, чего стоят планы, основанные на преклонении мужчин, которые разбиваются о стеклянные перегородки, медную решетку, о порог портного, — преклоне-

ние, которое даже не пытается преодолеть эти препятствия. «До такой степени, — размышляла Алиса, — что невольно начинаешь думать, не забивают ли себе чепухой голову большинство так называемых жертв большой любви».

Коломба, музыкантша, в самые тяжелые времена не променяла бы музыку на гуся с каштанами… Она же, Алиса, все умела делать. Она сумела даже выйти замуж… Чистые жизни, в общем-то, жизни девушек бедных и гордых, элегантных на своих сбитых каблуках, девушек, взиравших на любовь без особого почтения, с видом, который как бы говорил: «Посторонись немножко, старушка, сделайся незаметной… Сначала — голод да еще борьба за жизнь, а еще мы любили посмеяться…»

Алиса украдкой рассматривала лицо Эрмины, ее заострившийся подбородок, тень на щеке от мягкого локона светлых волос… Она вздохнула и вышла из задумчивости.

— Кофе выпьем, закутошницы?

Коломба отклонила резким жестом соблазнительное предложение, потом приняла его с извиняющейся улыбкой.

— О! Да, кофе, и будь что будет! Кофе, кальвадос, словом, все!

Она перевернула меню и быстро набросала на нем нотные знаки. Ее фетровая шляпа, надвинутая на глаз, сигарета, которая перекашивала ее рот вправо, лишали ее лицо симметрии, но на нем оставалось выражение благородной и отвлеченной усталости. «Эта заслуживает большего, чем имеет, — рассудила Алиса, — даже включая сюда Каррина, прозванного Баляби».

— Ты не должна бы пить вечером кофе, Эрмина…

— Ты так думаешь?

Младшая улыбалась, но Алиса почувствовала холодность, вызов в ее улыбке и встревожилась, хотя и не выдала себя.

— Как тебе угодно, малыш.

На освобожденном от посуды столе официант с серыми усами расстелил бумажную скатерть, поставил кальвадос цвета светлой карамели и подогретые чашки, затем глиняный кувшин с фильтром, и Коломба оживилась.

— Кофе у них всегда хорошо пахнет, а, Алиса… Итак? Что ты собираешься делать после всего этого?

— Чего именно?

— Но, Алиса, я хотела сказать… Ну, о Мишеле.

— Ах, да… Ничего. В данный момент ничего.

Еще предстоит много юридической волокиты… О, ля, ля… К счастью, у Мишеля нет никаких родственников, но, главное, я рассчитываю рассказывать о нем как можно меньше.

— Хорошо. Как тебе будет угодно.

— Потому что, откровенно говоря, я… я не очень им довольна в этом деле…

— В каком деле?

— Ну… я считаю, что ему не следовало бы умирать.

Она раздавила сигарету в блюдечке и повторила не очень уверенно:

— Так вот, я считаю, что он не должен был умирать. Я не знаю, понимаешь ли ты меня…

— Очень хорошо. Кажется, понимаю. В общем, ты так же осуждающе относишься к этому нелепому происшествию, как отнеслась бы к самоубийству.

— Правильно. Самоубийство — это не очень-то красиво.

— Какова бы ни была причина? — спросила Эрмина.

Она слушала своих сестер с волнением, водя острым ногтем по бумажной скатерти.

— Какой бы ни была причина, — сказала Алиса.

— Какой бы ни была причина, — повторила Коломба.

Она обменялась с Алисой спокойным и преданным взглядом.

— Но, наконец, — воскликнула Эрмина, — бывают же самоубийства от… отчаяния, из-за любви.

— Что ты на это скажешь, Алиса? Я, — рискнула Коломба, — я думаю, что, если мужчина меня любит, он не должен предпочесть мне что-нибудь другое, даже самоубийство.

— Но, если ты довела его до отчаяния, Коломба?

Коломба посмотрела на сестру с величественной наивностью.

— Что же ты хочешь, раз я с ним, он не может быть в отчаянии? Логически он мог бы быть доведенным до отчаяния только в том случае, если бы меня с ним не было…

— Мне нравится «логически», — сказала Алиса, улыбаясь Коломбе.

Но Эрмина покраснела до корней волос. Будучи более скрытной, чем ее сестры, она иногда бывала более откровенной.

— Вы, вы… Это неслыханно! — воскликнула она. — Вы оспариваете у человека право упасть в воду непреднамеренно!

— Ну, разумеется, — сказала Алиса.

— Этот человек, который думал о твоей судьбе и после своей смерти, о том, чтобы обеспечить твою жизнь…

— Ну и что? — резко сказала Алиса. — Материальные блага, ты знаешь, я… лучше бы он подумал, как сохранить свою жизнь.

— О! Ты… Ты…

Эрмина оторвала длинную ленту от бумажной скатерти и, понизив голос, бросила несколько оскорбительных слов. Коломба и Алиса подождали, пока она успокоится, их терпение и сдержанность, казалось, оскорбили ее. Когда она неосмотрительно сказала со вздохом: «Бедный Мишель!», Алиса положила ладонь на ее руку:

— Осторожно, малышка, ты сегодня вечером немного выпила. Ты одна из нас четырех не переносишь вина. Мишель — это мое дело. Даже там, где он сейчас. Уж если я не могу больше перед вами двоими говорить то, что думаю, если я не могу больше ошибаться, когда мне хочется, будь это от несправедливости или от… любви…

Эрмина стремительно освободила свою руку, прижавшись щекой к щеке Алисы.

— Нет! Нет! Ты можешь! — быстро и совсем тихо сказала она. — Ошибайся, ошибайся! Не

обращай на меня внимания! Ты же знаешь, что я самая младшая.

— Тс, тс, тс, — укоризненно зацокала Коломба.

— Не ругай ее, — сказала Алиса.

Она поддерживала рукой с такой же нежностью, как и с беспокойством горячую щеку, и по ее зелено-каштановому рукаву, который казался ей чужим, скользили растрепавшиеся мягкие светлые волосы Эрмины.

— Держись, малыш. Здесь еще почтенный слуга с усами, как у банщика… Пошли-ка спать. Коломба, ты увидишься с Баляби в его заведении сегодня вечером?

Коломба только отрицательно покачала головой с меланхолическим выражением лица.

— А ты, Эрмина? Ты пойдешь куда-нибудь?

— Нет, — сказала Эрмина глухо, — куда же мне, по-твоему, пойти?

— Тогда отвезите меня, я заплачу за такси. Я падаю от усталости.

— Но, — спросила Коломба, — у тебя есть кто-нибудь дома, чтобы тебе помочь?

— На завтра я вызвала приходящую прислугу.

— А сегодня вечером?

— Сегодня никого.

Все трое замолчали и приготовились выйти,

скрывая, что все их помыслы были об Алисе, о том, что сейчас она войдет в пустую квартиру и в одиночестве проведет там ночь.

— Алиса, — спросила Эрмина, — ты оставишь за собой эту квартиру, я имею в виду твою квартиру?

Алиса воздела свои длинные руки.

— Ну о чем ты спрашиваешь?.. Почем я знаю? Нет, я ее не оставлю. А впрочем, я сохраню ее за собой на какое-то время. Пошли же наконец, или я засну на столе…

Ночь была мягкой и влажной; не чувствовалось ни дуновения ветерка, ни каких-либо запахов. В такси Алиса уселась между двумя сестрами, взяла их под руки, похожие на ее руки, такие же красивые. Но рука Эрмины была худой, Алиса сжимала острый локоть сестры. «Отчего это? Что приключилось с малышкой Эрминой?..»

— Если тебе что-нибудь понадобится… — внезапно сказала Коломба. — Телефон Одеон 28–27.

— Наконец-то ты поставила телефон! Это великое событие!

— Это не я, — сказала отрывисто Коломба. — Он в комнате Эрмины.

Стоя на тротуаре, они все трое подняли головы и посмотрели на третий этаж, как если бы опаса-

лись увидеть там свет. Алиса проводила сестер и закрыла тяжелую дверь. Уже у медленно скользящего лифта, украшенного железным орнаментом в готическом стиле, она осознала свое малодушие. Шум повернутого в замочной скважине ключа, скрип половицы, которая застонала под ковром, когда она проходила через переднюю, другие знакомые звуки, те самые, которые сопутствовали возвращению Мишеля ночью, навели ее на мысль, что она теряет хладнокровие. Она храбро переносила страх, как любое другое недомогание, принимала его, пересиливая себя. «Мне следует только оставить свет на всю ночь», — подумала она.

Твердой рукой открыла она дверь кабинета Мишеля, зажгла яркий свет, вдохнула слабый запах кожи, туалетной воды, табака и типографской бумаги, и к горлу подступило рыдание, на глаза навернулись слезы ничем не затуманенного сожаления, — так ей хотелось выплакаться вволю. Но она увидела боковым зрением лежащую на письменном столе пару мужских перчаток из толстой кожи сернисто-желтого цвета, перчатки Мишеля, и ее слегка прошиб пот при взгляде на эти желтые перчатки, пальцы которых, вздутые и присог-нутые, напоминали знакомую живую

руку. Она опустила голову, заставила себя смириться и сосредоточить внимание, вслушиваясь в биение своего сердца, взвешивая шансы, которые у нее остались, и прикидывая, как более или менее спокойно провести ночь. Она учла неизбежность встречи *с* пижамой Мишеля, висящей в ванной, и особенно присутствие второй кровати, которая возле ее кровати останется пустой, покрытая рыжеватым бархатом… С тех пор как она встретилась лицом к лицу в Крансаке с навсегда уснувшим Мишелем, она изо всех сил противилась маячившему перед ней образу кровати, кровати Мишеля, недоступной теперь ни для отдыха, ни для удовольствия.

Но по зрелым размышлениям, а также из гордости, она решила не сдаваться и встала посреди рабочего кабинета, перед письменным столом, на котором царил порядок, легко поддерживаемый теми, кто мало пишет. В центре — бювар с кожаными уголками, сбоку от него пресс-папье, красные и синие карандаши, линейка из хромированного металла. «Линейка, — констатировала Алиса. — Кто пользуется линейкой? Я никогда не замечала, чтобы была линейка… И эта пепельница… Как могла я оставить ему пепельницу из пивной…» Она заставила себя улыбнуться. Но она

знала, что не выдержит. Ее челка прилипла ко лбу. Проникнув меж планок закрытых жалюзи, дуновение ветра прошло по комнате, один из листков, лежащих на письменном столе, шевельнулся…

«С меня хватит», — подумала Алиса. Капли пота скатились с ее виска. С большим усилием ей удалось изгнать из своих мыслей тревожащее облако, видение, стоящее у нее перед глазами, и она вышла из комнаты, не забыв выключить электричество.

Лестница, которую она осветила, оказалась испытанием для ее дрожащих коленей. «Скоро конец… Еще один этаж… Ну вот и все…» Перед ней была улица, ее быстрые полуночные прохожие и звездная россыпь над головой… Она улыбалась, изможденная, и машинально повторяла: «Закуток… Закуток…»

На площадке родной квартиры она услышала голос Коломбы и ответивший ей голос Эрмины, и она тихонько постучала условным стуком. Коломба воскликнула: «Вот тебе и на!» и открыла дверь. Она была одета в пижаму папаши Эд, волосы, совсем мокрые, были зачесаны щеткой назад со лба, более белого, чем все лицо.

— Входи, закутошница, вот ты и вернулась. Что

случилось?

Алиса опустила свой маленький чуть приплюснутый носик, на ее лице появилось плаксивое выражение:

— Мне было страшно одной, — сказала она, не стыдясь. — Где спит малышка?

— В спальне. В настоящей кровати, а я осталась в закутке.

Алиса смотрела на широкий диван, кое-где подогнутые простыни, вмятину посредине, вечерние газеты на пледе, служившие одеялом, и лампу рояля, накрытую на ночь рожком из голубой бумаги…

Получасом позже она погрузилась в чуткий сон, каким спят животные. Во сне, когда Коломба легла рядом, Алиса вытянула руку. Она смутно почувствовала, что ее длинная нога прилаживалась к согнутому колену похожей ноги. Рука, поискав в воздухе, нашла удобное место на груди. Коломба наугад поцеловала кончик уха, гладкие волосы и прошептала: «Выше нос, старушка», чтобы отогнать дурные сны, и замолкла до утра.

— Салат!., прекрасный дикий цикорий!.. — распевал чей-то голос на улице. Алиса прислушивалась к нему недоверчиво. Она наполовину бодрствовала, наполовину не могла освободиться

ото сна.

«Салат!.. Это слишком уж хорошо. Мне снится сон… — казалось Алисе. — Или же мне опять двадцать шесть лет, и Мишель мне назначил свидание сегодня вечером в маленьком театре «Гревен».

Арпеджио на пианино, затем речитатив — пролог из «Шехерезады» — окончательно разбудил ее. В глубине родного закутка она покоилась в одиночестве под стеклянной крышей мастерской, завешанной зеленой шторой. Образуя как бы единое целое с роялем, к которому вплотную примыкал диван, она проникалась музыкой, вибрирующей в каждой клеточке ее тела. Она почувствовала себя столь наполненной музыкой, что сбросила остатки сна и протянула руку к зеленому дню, мелодии, музыкантше, своим ушедшим двадцати шести годам…

Коломба, сидя за роялем, курила, прикрыв один глаз, склонив голову набок. Она закатала выше локтя рукава пижамы папаши Эд и маневрировала педалями рояля босыми ногами.

— А где другая? — крикнула Алиса.

— Готовит кофе, — процедила сквозь зубы Коломба.

Она отошла от рояля, открыла низкое окно под

стеклянной крышей и облокотилась на него.

— Салат… Прекрасный дикий цикорий…—

распевали на улице.

Алиса вскочила, затянула витой пояс банного халата, в котором спала, и присоединилась к сестре.

— Коломба! Эта та же уличная торговка зеленью? Коломба!

— Ну да.

— Неужели уличная торговка четырех сезонов года может прожить столько раз все четыре времени года?

В ответ Коломба только зевнула, и майское утро осветило ее усталость.

— Я мешала тебе спать, Коломба?

Большая рука опустилась на плечо Алисы.

— Бог с тобой, моя девочка. Но мне кажется, что я недосыпаю уже три года. А ты? Хорошо спалось? Сун, сун вени вени бен? Как ты свежа! Я еще не успела тебя рассмотреть, Алиса… Мне не хотелось бы тебя обидеть, но… Неужели в самом деле ты можешь быть такой, как сегодня утром, и испытывать горе?

Алиса повела плечами.

— Это глупо, Коломба… Есть же собаки, которые умирают с влажным носом. К тому же речь идет совсем не о том, что я умираю. Морально мы не ответственны за хорошее здоровье.

— Нет, ответственны, — сказала Коломба. — Всегда немного.

От солнца, которое проникало в окно, Алиса щурила веки, морщила нос, поднимая верхнюю губу. Эта гримаса обнажила ее розовые десны, широкие, глубоко посаженные зубы, на шапке ее черных волос, подстриженных челкой на уровне бровей, играл голубой блик. Вдруг она оживилась.

— Подумай только, Коломба, в течение трех недель я вела там, не говоря никому, невозможную жизнь… *И* самое любопытное, что я ее выдержала. Представители страховой компании, Ляскуметт, нотариус, все против меня. Даже Мишель. Да, даже Мишель! Бросить меня вот так, совсем одну в одно мгновенье… Все, что тебе угодно, но утонуть случайно в шесть часов утра это подозрительно. И прежде всего — это непорядочно. Какая свора меня преследовала! Что они себе вообразили? Что они меня загонят? Что я брошу все имущество, дом и земли задаром? Тогда я сказала себе: посмотрим. Ты

знаешь, Ляскуметт, он что-нибудь да значит. Да нет же, ты его знаешь, такой коренастый, владелец виноградников на холме и не только там. Он хотел получить Крансак. Шевестр, естественно, то же самое. Но Шевестр, нет! Продать землю своему управляющему — это слишком уж противно. Тогда я пригласила Ляскуметта на завтрак, чтобы договориться о продаже. Арманьяк, тушеная говядина, заяц, пойманный в силки… Ах! Старушка… Я поняла, почему вдовы жиреют в деревне. И знаешь, Ляскуметт был бы не прочь на мне жениться. Одним махом он получил бы весь комплект, и поместье и жену. Наконец, как бы там ни было, все кончено. Только вот вчера вечером я возненавидела свою квартиру и стала ее бояться. Тогда я вернулась сюда. Этот закуток и сон в одной корзинке с тобой… Пробуждение под звуки «Шехерезады», «Прекрасный дикий цикорий», все, все… Это то, в чем я нуждалась, Коломба… Предоставь мне снова гостеприимство в закутке нашей голодной молодости.

Она остановилась, ей не хватало воздуха, потянулась, задела руками раму окна, закрыла глаза, наполненные солнцем и слезами. Ее банный халат приоткрылся на высокой маленькой груди.

— Подумать только, я была такой же, — вздох-

нула Коломба, любуясь сестрою. — Ах! Бедный Баляби… Он заслуживает лучшего, чем то, что его ждет… Что его больше не ждет…

Она откинула назад свои зачесанные на одну сторону волосы и крикнула в сторону дальней комнаты:

— Однако где же кофе? Без четверти десять, черт возьми!

Она понизила голос.

— Алиса, ты знаешь, что делает Эрмина? Она звонит по телефону. Сегодня утром в семь часов я ее слышала.

— Что она говорила?

— Я не различала слов. Но интонация мне не понравилась. Голос вялый, невыразительный. Я услышала только: «Я вам объясню. Нет. Нет. Ни под каким видом», а затем слезы.

Они озадаченно переглянулись. От удара ногой открылась дверь, которая отделяла мастерскую от коридора. С подносом в руках вошла Эрмина, и одновременно распространился запах кофе и поджаренного хлеба.

— Два со сливками и один черный! — объяснила она. — Консьержка оставила молоко внизу. Сегодня масло растаявшее. Доброе утро, дорогие.

Проходя между диваном и роялем и устанав-

ливая поднос на кипе бумаги, лежавшей на письменном столе, она проявила ловкость, любезность хорошо воспитанной девушки. Когда чашки были наполнены, тосты распределены, Эрмина села на подлокотнике дивана-закутка.

— Ты хорошо спала, Алиса?

Алиса ответила кивком и улыбкой. Она разглядывала, ошеломленная, пижаму Эрмины. Персидские шаровары из розового крепсатена, пояс шелковый с бахромой, кокетка из золотистых кружев, сквозь которую просвечивала смуглая грудь искусственной блондинки… На голой ноге Эрмины качалась розовая туфелька без пятки с большой серебряной пряжкой цветком.

— Как много можно, однако, приобрести за тридцать девять франков, — сказала Алиса.

Маленькие бледные ушки Эрмины под ее светлыми волосами покраснели. Она бросила на сестру свирепый взгляд, замолкла, собрала пустые чашки на поднос с облупившимся лаком и вышла.

— Я вижу, что и пошутить больше нельзя, — сказала Алиса Коломбе. — Она не была такой. А речь идет все о том же мосье Уикенде?

— Да, но уже не скажешь, что о той же Эрмине. И ты находишь приличным, что она знакома

с мадам Уикенд? Я считаю, что, когда две женщины, которым лучше бы не знать друг друга, знакомы, — это безнравственно.

— И часто ли ты употребляешь мудреные слова вроде этих, моя Черная голубка? Что ты можешь знать о безнравственности?

Алиса рассмеялась, в ее смехе прозвучало нечто вроде непочтительного уважения, которое ей внушала сестра. Коломба бросила взгляд, в коем отразилась детская порядочность, — ее душу ничто не принижало, ничто не ожесточало.

— Послушай, Алиса, что я тебе предлагаю: я уступаю тебе туалетный столик, уступи мне ванную, я опаздываю.

— К чему торговаться! Занимай все. *Я* выкупаюсь у себя. А обедать будем здесь или куда-нибудь пойдем?

Высокая Коломба обескураженно развела руками.

— У меня два урока в Валь-де-Грас и занятия хоралом в половине третьего в Отейе… В общем, как хочешь… По дороге у меня есть кафе-молочная.

— А Эрмина?

— Малышка обедать не приходит. Работа не позволяет… по ее словам. Так что ты будешь совсем одна.

— Поверь, у меня масса дел, — сказала Алиса как можно серьезней, чтобы скрыть свое разочарование. — Консьержка, как всегда, приходит в двенадцать? Я хотела бы дать ей денег на хозяйство.

— Ты мне дала их уже вчера вечером.

— О, только без разговоров. Все финансовые дела я опять беру в свои руки. Позволь мне поступать по своему усмотрению. Меня тяготят эти деньги. Значит, мы встречаемся?..

— В родном закутке в половине седьмого, в семь.

— А Эрмина?

— На нее особенно не рассчитывай… Эрмина! — крикнула Коломба во весь голос. — Ты обедаешь с нами?

Никакого ответа не последовало, но через несколько секунд, хлопнув дверью, вошла Эрмина. Она была одета кое-как. Ее развязавшийся пояс с шелковой бахромой волочился по полу, одно плечо было обнажено, с него сползли кружева, а на лице были видны следы макияжа, который она не закончила. Алиса, следуя почти ритуальному хладнокровию Коломбы, молча ждала. Свирепое выражение лица Эрмины смягчилось, и она прислонилась к дверному косяку.

— Ты только что дралась с кем-нибудь? — спросила, не повышая голоса, Коломба.

— Почти, — ответила Эрмина.

— Можно узнать подробности или нельзя?

— Нельзя.

Она завязала пояс и прикрыла обнаженное плечо.

— Ладно, — сказала Коломба, — Алиса интересуется, *будешь ли* ты с нами обедать.

— А, обедать… Да, конечно.

Со слегка запоздалой вежливостью она добавила: «С удовольствием» и, машинально улыбнувшись, обнажила большие, красивые, как у них у всех в роду, зубы и бледные десны. Потом, бросив на Алису взгляд ребенка, которому чем-то угрожали, она вышла.

— Ну как, — сказала Коломба. — Ты видела? О господи, мое метро, я опаздываю…

— Но, Коломба… Что же, мы так ее и оставим? И не попытаемся что-нибудь выяснить… уладить… Я ее не узнаю больше, нашу малышку.

Склонив голову и прищурив один глаз, чтобы в него не попадал дым сигареты, Коломба пожала плечами.

— Можешь попробовать. Я же от этого отказываюсь. Мне все это надоело. Эти истории *с* мосье

Уикендом, телефоном, разводом и даже с анонимными письмами… О ля, ля!

Она встряхнула своими сильными с пятнами никотина пальцами, искусно играющими на пианино и на струнных инструментах.

— Анонимные письма? — живо переспросила Алиса. — На чье имя?

— Вполне может быть, что и Эрмина получала такие же, — нерешительно сказала Коломба. — Однажды ее уже вызывали…

— Вызывали[9] Куда? Кто? Когда?

— Кажется, это называется следователь по гражданским делам. Куда ходят жаловаться по поводу всяких семейных скандалов и… ну, как тебе сказать… По поводу шантажа…

— Но ведь это не Эрмина жаловалась? Говори же, из тебя все надо вытягивать.

— Кажется, в январе.

— Ее, значит, подозревали, — сказала Алиса, помолчав немного. — Но в чем?

— Я не знаю, — искренне призналась Коломба. — То, что я знаю и что тебе говорю, это пришло потом, из отдельных слов, из ее телефонных разговоров, из моих досужих размышлений. Ты же видишь, что к ней не подступишься… О ля, ля! Скорее в метро, меня ждут два ученика…

Алиса ушла, не попрощавшись с младшей сестрой, которую не свойственная ей стыдливость удерживала в спальне. Из-за закрытой двери она кричала. «Сюда нельзя, я голая и вся в татуировке! Да, милочка, до вечера! Сначала ужин, а потом в кино! Да, конечно, милочка!»

Алиса потеряла терпение и ушла, одетая во все черное, с траурной вуалью до половины лица.

Машинально она шла по знакомому маршруту. Ее широкий шаг уверенно вел ее, как в те времена, когда она после невинной оргии в закутке с болтовней, молчанием и курением возвращалась к своему мужу в их временное пристанище. В зеркале одного из магазинов она издалека увидела приближающуюся к ней высокую женщину в трауре, которая высоко несла голову и, казалось, соизмеряла свои шаги с какой-то мелодией. «Гм, платье у меня немного коротковато», — решила она. Черные чулки плотно облегали длинные красивые ноги. Она услышала приятный голос Мишеля: «Куда же ты вот так уходишь, моя ненаглядная?» Воспоминание было таким живым, что она споткнулась о столик уличного кафе и ушибла себе палец ноги. Она никогда не думала, что отсутствие Мишеля, смерть Мишеля, ее собственное горе так укоренятся в ней, достигнут

предела, станут реальностью, которую не смогут поколебать ни сон, ни активная деятельность. Какой хаос… И как это назвать? Временами приступы полного тупого забвения утраты: «Да, надо еще пришить новую подкладку к его летнему пальто…» На этом память Алисы грубо восставала, и кровь приливала к ее щекам. А потом, откуда-то издалека без малейших усилий с ее стороны приходили минуты какого-то неприятия, безразличия, словно у нее никогда не было ни мужа, ни любимого, ни Мишеля, ни слез по умершему. «Во-первых, мертвого не оплакивают, его забывают или его заменяют, если только сами не умирают от отсутствия человека». Во время таких тщательно скрываемых периодов черствости она пыталась пристыдить самое себя, но другая Алиса, более опытная, говорила ей, что женщины стыдятся лишь того, что написано у них на лице, а не того, что они скрывают в глубине своей души… «Они удивительно красивы, эти кувшинки с влажных лугов…» Она уже открывала сумочку, чтобы купить букет крупных желтых цветов, обмытых до блеска, вскормленных проточной водой. Но тут она вдруг подумала о консьержке и о приходящей прислуге, которые придерживались консервативных взглядов. «Не покупать же

мне из уважения к этим дамам только крашеные бессмертники? Ничего, я их перевоспитаю…»

Однако ей пришлось покорно выслушать сначала одну, потом вторую. Ожидая в темноте лифта, она услышала доносившиеся из комнатушки консьержки слова осуждения: «Такую короткую вуаль, я вас уверяю, не носят даже, когда оплакивают дядю». Приходящая в определенные дни безликая и безропотная прислуга пристально разглядывала Алису, пытаясь обнаружить на ее лбу белую вдовью повязку, а на руках черные нитяные перчатки. Ее соболезнования выразились лишь в одном вопросе:

— Не хочет ли мадам, чтобы я приготовила ей отвар из трав?

Алиса чуть не прыснула со смеха. Однако ее неуместное веселье продолжалось недолго. В их супружеской квартире, при открытых в солнечный майский день окнах, она чувствовала себя раздраженной, нетерпимой, вчерашнего страха и бродящего призрака мужа как не бывало. «Я хотела привести в порядок бумаги… Какие бумаги? Папки Мишеля? Я с ними знакома, они в порядке. Существуют досье по управлению кинотеатром «Омниум» в Сан-Рафаэле, театром «Дюмай» в Монпелье, досье галереи графики и акварели в

Лионе, «Средиземноморского маршрута…» Потом разорительные счета из Крансака… Итог короткой незадачливой жизни человека без особых средств, немного легкомысленного, не слишком работящего, который часто оказывался на самом дне, но которого я всегда вытаскивала… Здесь есть и мои наброски, рисунки костюмов к «Королеве Альенор». Два платья, два манто… — Она облокотилась на окно и посмотрела на улицу, где не было ни единой лавки. — Мне ничего здешнего не надо. Мне ничто не дорого, я ничего не проклинаю… Но почему же мне так больно?»

— Мадам сегодня обедает здесь?

Алиса стремительно обернулась:

— Нет, нет, я пообедаю со своими сестрами. Вы понимаете…

Она замолчала, охваченная отчаянием, которое ей самой показалось странным, но которое служанка, напротив, нашла вполне естественным, она покачала головой, покрытой безжизненными волосами, и, подняв руку, сказала:

— Еще бы мне не понимать… А сегодня вечером мадам ужинает здесь?

Алиса ждала этого вопроса, но все же вздрогнула:

— Нет, нет… Мне сейчас лучше у сестер. Я там

и переночую. Кстати, я не буду включать телефон… Горячая вода есть? Я сейчас пойду и быстро приму ванну…

Ей хватило четверти часа. Несмотря на горячую воду, она дрожала. Она не стала трогать бежевую пижаму, которая висела в ванной и как бы ждала возвращения Мишеля, с большой осторожностью достала из опаловой коробочки свою зубную щетку, рядом с которой лежала щетка Мишеля. Потом собрала чемодан, набросила на руку черное пальто и, чтобы быть уверенной, что ее больше ничто не удерживает, широко распахнула входную дверь, поручив прислуге присматривать за квартирой. «Я перенесла смерть Мишеля, а теперь пасую перед самыми незначительными вещами, перед безобидными людьми. Хотя еще не доказано, что наша прислуга человек безобидный… Закуток… Скорее в закуток».

От нахлынувшей нежности она закрыла свои большие глаза. «Закуток»… Их жилье, их пристанище со следами человеческого тепла; его потертые отметины на стенах, его неухоженность, но не неряшливость… Никто в нем не был особенно счастлив, но никто не хочет с ним расставаться… Она вспомнила, что ей предстоит обедать одной, но идти в ресторан не хотелось.

По дороге она купила свежий укроп, банку тунца, несколько яиц, творог и маленькую бутылку шампанского. Однако властное чувство голода, от которого у нее засосало в желудке, немного испортило ей предвкушение обеда. Пока яйцо приплясывало в кипящей воде, Алиса без хлеба поглощала тунца и творог, посыпанный перцем, и только, закусывая укропом в качестве десерта, вспомнила, что забыла откупорить бутылочку шампанского. Она ее убрала в их огромный кухонный шкаф, который из-за своих размеров получил название «Падирак-два». В раковине в эмалированном тазике мокла пара шелковых чулок. «Это чулки Коломбы или Эрмины?.. Скорее Эрмины, уж слишком они тонкие». Она быстро постирала их и положила сушить на полотенце. Она тихонечко напевала с зажатой во рту сигаретой. «А кофе? Я забыла про кофе! Пойду выпью его в кафе напротив».

Она зашла в комнату, где спала Эрмина. «Немного беспорядка, но пахнет приятно». Алиса прибрала пару туфель, креп-сатеновую пижаму, щетку для волос. Грустный серый день во внутреннем дворике становился веселым, просачиваясь через розовые занавески с черными цветами. «Здесь шикарнее, чем во времена па-

паши Эд, — отметила Алиса, — но мне больше нравится в мастерской. Эта комната, как и сама Эрмина, полна множества незнакомых мне вещей».

Напевая вполголоса: «Кофе чудесный напиток…», она вновь надела свою маленькую траурную шляпку и стала спускаться. На втором этаже женщина, бежавшая ей навстречу, налетела на нее и извинилась.

— Эрмина!

— Да.

— Что случилось?

— Ничего… Пропусти. Я тороплюсь…

Эрмина споткнулась, и Алиса крепко обняла ее за талию. Маленький черный берет, заколотый золотой розой, упал, но Эрмина не нагнулась, чтобы подобрать его.

— Я поднимусь вместе с тобой. Держись за перила, — сказала Алиса. — За перила держись, говорю тебе.

Она на ощупь подобрала бархатный берет, впустила сестру в мастерскую и подтолкнула ее к кожаному дивану. В Эрмине с непокрытой головой и разметавшимися по лбу светлыми волосами ничто не вызывало беспокойства, если бы не ее бледность и не беспрерывно вращающи-

еся зрачки, которые бегали справа налево, слева направо так, как если бы она читала книгу.

— Ты выпила? — спросила Алиса.

Эрмина отрицательно покачала головой.

— Ты ела? Тоже нет? Ты не ранена?

Она быстро схватила сумочку своей сестры, но не нашла там никакого оружия.

— Подожди минутку.

Она принесла бутылочку шампанского, наполнила стакан до половины.

— На. Нет, нет пей. Теплое шампанское лучшее из рвотных… Что с тобой происходит, моя девочка?

Эрмина отвела стакан от своих влажных губ и впилась взглядом в сестру:

— Я не твоя девочка! Я стреляла в мадам Ляк… в мадам Уикенд!

— Что?

— Я стреляла в мадам Уикенд. Сколько раз я должна тебе это повторять?

Она опорожнила стакан и поставила его. Алиса опустила голову и потерла свои пальцы, которые начали неметь от холодных мурашек.

— Она… мертва? — спросила Алиса.

Эрмина зло вскинула плечами.

— Если бы! Я слишком неловка для этого. Нет,

она не умерла, она даже не ранена!

— Но это уже известно? Тебя арестуют? Эрмина, это правда, что ты мне говоришь? Моя Миночка…

Эрмина заплакала, всхлипывая словно ребенок:

— Нет, меня не арестуют… Мне это не удалось… Она посмеялась надо мной… Она мне сказала, что я могу убираться к себе… что она даже не будет обращаться в полицию… Что я просто дура… Она мне также сказала, что это у меня в крови… О! Алиса…

Она со злостью прижала кулаки к глазам.

— Свидетелей не было?

— Нет. Вначале не было.

— А потом?

— А потом…

Эрмина замолкла, сделала несколько шагов в узком пространстве между роялем, письменным столом и окном. Она бессознательно ходила с опущенными вдоль бедер руками, ссутулив спину и втянув живот, как это делают изнемогающие от усталости манекенщицы.

— Даже не знаю, зачем я тебе все это рассказываю, — резко сказала она. — Ну да ладно… А потом вошел он, Леон… мосье Уикенд. Так как

я не должна была находиться там в это время, он вздрогнул от удивления. Тогда мадам Ляк… Мадам Уикенд сказала ему, что я попросила отпустить меня, так как я плохо себя чувствую. Глядя на лицо, какое у меня было в то время, он мог в это поверить.

— А револьвер?

— Она спрятала его в ящик. Такое старье… Он вообще не действовал. Представляешь, какой я имела вид с револьвером, зажатым в руке, который только щелкал, когда я нажимала курок.

Она стала смотреть рассеянным взглядом на улицу, покусывая губы и съедая помаду.

— Ну а она? — настаивала Алиса. — Как она себя вела?

— Она? Да никак. Она мне выкрутила руку…

Эрмина немного приподняла край своего рукава, потом опустила.

— Она подняла револьвер. Вот и все. О! Ты ее совсем не знаешь…

— Ты сказала, что потом вошел мосье Уикенд. Что он сделал, когда ты уходила?

— Ничего, — ответила Эрмина. — Он мужчина, — продолжала она с горечью. — Ты когда-нибудь встречала мужчину, который бы сделал хоть один жест в тот именно момент, когда этого

от него ждешь?

— Не часто, — сказала Алиса. — Но я встречала женщин, которые, как ты говоришь, делали жесты довольно идиотские… Ты все же не станешь утверждать…

— Спокойно, детка, спокойно. Каждому свое.

Удивленная, старшая сестра подняла глаза на высокую смуглую молодую женщину, которая была похожа на нее, если не считать светлых волос и болезненной худобы, и которая никогда в своей жизни и не помышляла называть ее «деткой», да еще развязным и покровительственным тоном. Алиса внезапно почувствовала себя беспричинно усталой, вытянула ноги на диване и мысленно пожелала чашку горячего кофе и присутствия Мишеля, его легкомысленного молчания после обеда, шелеста иллюстрированных журналов, которые он просматривал…

— Послушай, Эрмина…

Движением руки младшая сестра отмела то, что собиралась сказать Алисе.

— Нет. «Послушай, Эрмина». Это то же, что и «Видишь ли, малыш» из уст умудренного опытом отца, обращающегося к своему сыну. А ты совсем не умудренная опытом, Алиса…

— Не меньше, чем ты, во всяком случае…

— Меньше, чем я. Тебе никогда не приходилось заниматься самой тяжелой женской работой, которая заключается в том, чтобы завоевать себе мужчину. Мы вчетвером, мы вкалывали больше, чем четверо, смеялись немного меньше, чем четверо, а потом тебе, тебе Мишель достался без всякого усилия. Ведь, если честно, ты не особенно себя утруждала! О Бизуте я не говорю — это отрезанный ломоть.

Вся дрожа, она остановилась на мгновенье у окна и набросила на плечи двусторонний плед в широкую клетку, который по ночам использовался как дополнительное одеяло. В памяти Алисы Эрмина воскресила ту Алису, двадцати пяти лет, которая, закутавшись в этот же плед у этого же приоткрытого окна, поджидала три хриплых гудка жалкого, маленького, еле ездившего автомобиля, которым управлял Мишель.

— Любовь, — заговорила Эрмина, — когда она взаимна, не требует особых усилий. Тебе ни с кем не надо было бороться, между тобой и Мишелем все было ясно.

— Но разве твой роман с мосье Уикендом — это не любовь?

Эрмина повела своими дрожащими от волнения плечами, сжала руками свои пылающие

щеки.

— Конечно… Нет… Ты сама должна догадаться…

— Прошу прощения, — оборвала ее Алиса. — Но мне незачем «догадываться самой». Беспочвенные предположения никогда не входили в правила нашей семьи. Как, впрочем, и оскорбительные расспросы. Я послала бы тебя подальше, если бы ты сунула свой нос, самый красивый и наименее аннамитский нос в нашей семье, в мои сердечные дела… И никто не нарушал *твоего не* очень-то любезного молчания, когда речь заходила о мосье Уикенде, и которое ты можешь хранить и дальше.

— Леон… Мосье Уикенд, это… это мой последний шанс, ну, как бы тебе объяснить… Это моя цель, удача, которая подвернулась, это…

— Но он же женат, Эрмина!

— Знаешь, старушка, в том не моя вина. Ты говоришь, как женщина тех времен, когда развод был запрещен.

— Ты его любишь?

— Да… Да. Я думаю только об этом. Вот уже два года, как я размышляю, примеряюсь, веду себя осторожно, познаю самое себя, я себя воспитываю самым строгим образом… Жестким… Я даже

ревную… Если это не любовь, черт возьми, то это вполне ее стоит.

Ожесточенность исчезла с лица тридцатилетней женщины, она наклонилась к Алисе с улыбкой молодой, кокетливой девушки:

— Знаешь, не надо думать, что он так плох… Во-первых, ему только сорок пять и…

Алиса взорвалась, перебив ее:

— Но, дурочка, можно подумать, что ты даже не понимаешь, что ты только что стреляла в его жену и что теперь все пропало!

— Тсс! — промолвила Эрмина и со значительным видом подняла указательный палец. — Может быть, и нет… Может быть, и нет…

И она уже опять светилась от прилива энергии. Вновь обретя румянец, Эрмина скинула плед, стала ходить между окном и роялем, в маленьком пространстве, где они все четверо выросли.

Потом она опустилась на старый диван. На нее вдруг напала вялость, она побледнела, губы пересохли, ее охватила глубокая усталость. Она сомкнула веки и сделала долгий, долгий выдох.

— Не знаю, может быть, я и ненормальная, — пробормотала она, — но мне кажется весьма утешительным, когда теряешь мужчину только в случае его смерти.

— Подобное мнение в основном распространено среди женщин, которые еще не теряли ни своих мужей, ни своих возлюбленных, — холодно сказала Алиса. — Могу ли я узнать, что ты собираешься делать? Что касается меня, я иду вниз выпить чашку кофе.

— Я тоже.

Она вскочила с дивана, цвет щек ее изменился, и она прислонилась к роялю.

— Сейчас пройдет… Ах да! Прежде всего… Ты подождешь минутку?

Облокотившись на рояль, она сжала виски обеими руками.

— Так… Было без четверти двенадцать, когда я оставила их вдвоем. Она завтракает дома с дочерью… Он же, он почти всегда питается в столовой для своих служащих. Если он сегодня там обедал, то обед кончается в… час, час десять. Сколько времени, Алиса?

— Половина второго.

— Он, наверное, поднялся к себе в кабинет, а может, пошел прогуляться. Интересно, рассказала она ему все или все-таки не все. Подожди, я попытаюсь сообразить…

Нажимая кончиками пальцев на глаза, она старательно напрягала свои телепатические

способности, пытаясь как бы видеть сквозь стены и расстояния.

— Я думаю, она ему все рассказала. Со мной она была само спокойствие! Но потом должна была наступить разрядка и он, вероятно, наслушался такого! В этом случае он у себя в кабинете и ждет моего звонка! — выпалила Эрмина на одном дыхании.

Быстрым и нетвердым шагом она бросилась в свою комнату, откуда Алиса услышала шум набираемого диска телефонного аппарата.

— Алло… Алло… Да, это я… Как?.. Да, я так и думала… Что… Да мне все равно, не важно где… Договорились.

Она вернулась преображенная. Ярко накрашенные губы, два разных тона пудры на лице и серо-зеленые глаза, наполненные какой-то безумной мыслью, вызывающе светловолосая, красивая, благодаря сочетанию такого большого рта *с* таким маленьким носом, она вызвала восхищение и удивление Алисы.

— Черт возьми, прекрасная убийца!..

Эрмина ответила рассеянной улыбкой, она застегнула перчатки.

— Ну что?.. Ты с ним говорила?

— Говорила.

— Все, как ты предполагала?

— Да, она ему рассказала.

— И все же, Мина, если бы ты ее убила… Где бы ты сейчас была? Хотелось бы мне знать…

— Ты начисто лишена воображения.

Эрмина раскинула руки, и стало казаться, что она вот-вот улетит, что она как бы распята, что она возвеличивается прямо-таки на глазах.

— Да, — закричала она, — он ждал у телефона! Он повторял свое «гм, гм», как человек в затруднительном положении, бормотал бог весть что, он почти не упомянул об этой штуке, об оружии… Щелк, щелк-щелк…

Вытянутой рукой, согнутым указательным пальцем она целилась в стену. Потом опустила руку и нежно взглянула на сестру:

— Все начинается снова, ну же, Алиса! Прекрасная и невыносимая жизнь начинается снова! Но на этот раз я клянусь тебе…

Дрожа, как лань, Эрмина прижалась к сестре. Алиса своим боком почувствовала выступ исхудавшего бедра.

— Идем, моя бедная девочка. Пойдем, ты немного подкрепишься.

По лестнице Эрмина легко спускалась бегом. «Что с ней будет? — спрашивала себя Алиса. — А

если бы револьвер выстрелил… Что бы сказал Мишель? С тех пор как я здесь, у меня нет времени подумать о Мишеле. А хочется ли мне сейчас думать о Мишеле?»

Она еле успевала за сестрой, вдыхала запах ее духов, одновременно продумывая, как бы поговорить с ней, терпеливо и весомо. Но она знала, что ничего подобного не сделает, она чувствовала себя чем-то обделенной по сравнению с Эрминой и немного завидовала ей.

Эйфория, охватившая Эрмину, когда она пила обжигающий кофе, довольно быстро прошла. Как только фаянсовые часы *с* кукушкой, висевшие на стене кафе «Банк и спорт», пробили два часа сорок пять минут, ее пыл начал угасать.

— Я предпочла, чтобы ты съела что-нибудь более существенное, чем эта воздушная булочка, — сказала ей Алиса.

— Придумаешь тоже… Во времена, когда я была манекенщицей у Вертюшу, профессиональные манекенщицы всегда говорили, что перед большим показом лучше немного поголодать, чем отяжелять себя перееданием. Впрочем, напитки в счет не шли… И хоп! Теплый кофе… И хоп! Стаканчик полусухого шампанского. При таких стрессах и усталости все это быстро выходило

вон, поверь мне.

Она замолчала, быстро посмотрела на себя в зеркало и встала.

— Ну я пошла.

Смотря куда-то в сторону, она протянула Алисе руку в перчатке.

— Ты не хочешь, чтобы я тебя отвезла?

— Нет, знаешь, не стоит… А впрочем, да, отвези меня.

Она дала шоферу такси адрес бара на улице Поля Сезанна. Всю дорогу она хмурила брови и *с* очень сосредоточенным видом, как если бы она повторяла заученный урок, покусывала изнутри свои щеки. У Алисы хватило времени увидеть через открытую дверь бара, как какой-то мужчина стремительно поднялся навстречу Эрмине.

Вторая половина дня тянулась для нее очень медленно. Около пяти часов она решила вернуться к себе, где стала разбирать ящики письменного стола и комода. Она обнаружила два-три хорошо запрятанных письма, которые тут же уничтожила *с* холодной небрежностью: «В них было то, что огорчило бы Мишеля, если бы он их обнаружил… Все та же история с Амброджио! Значит, я не была хорошей женой? Конечно, была. С точки зрения супружеской жизни, я стоила Мишеля. Ни один

из нас двоих не думал, что он изменяет другому. До чего же мы гадкие, сами того не подозревая…»

Поглядывая в открытое окно, она подстерегала наступление вечера, боясь, что темнота застанет ее врасплох. Она опасалась также оказаться во власти сентиментальных чувств, связанных с недавним прошлым и навеянных исписанными листками, слабым запахом духов, датой на почтовом штемпеле. Как только она почувствовала легкую дрожь, она перестала просматривать связки бумаг и раскрывать конверты. Алиса вымыла руки и одела свою маленькую шляпку с короткой вуалеткой.

«Меня нигде не ждут, ничто меня не торопит…» Слово «ожидание» возродило навязчивое видение: Эрмина и мельком увиденный мужчина, идущие навстречу друг другу.

На улице она шла размашистыми шагами, но как только зажглись первые витрины, она замедлила шаг. Канцтовары, фруктовые лавки, кондитерские будили в ней укоренившуюся привычку, потребность «купить что-нибудь Мишелю», что-нибудь приятное, какое-либо необычное сладкое… *«С* таким же успехом я могу принести что-нибудь для Коломбы… и для Эрмины… Но Эрмина и Коломба сейчас там, ку-

да их зовут их собственные устремления. Одна работает и обслуживает своего бедного друга, обремененного профессией и больной женой. Другая — в пылу битвы за мужчину, которого она пытается сделать своим союзником… А я…»

Ее вдруг охватило желание ничего не делать, и она зацокала языком на манер Коломбы: «Тс… тс… тс…» Она купила фрукты, копченую говядину, хлебцы, посыпанные зернами укропа, пирожные. «Если они устали, будет приятно поужинать наверху с босыми ногами, как когда-то… Да, но когда-то нас было четверо, даже пятеро, считая с папой… Хлеб, подогретый на сковородке, копченая колбаса и сыр — все запиваемое сидром…»

Содрогнувшись от чисто физического ретроспективного ужаса, она вспомнила ту дальнюю рождественскую ночь: четыре сестры Эд в легких платьях цвета морской волны, создавшие оркестр и нанятые выступать в кафе, играют с пяти часов вечера до семи утра. «Я помню, что мы даже не осмеливались поесть из-за боязни скатиться под стол от усталости. Я со своей виолончелью скорее исполняла партию контрабаса: бум… бум… Тонико, доминанто, тонико, доминанто… Эрмину, которой исполнилось пятнадцать лет, вырвало всем, что она выпила, а публика

аплодировала, считая ее пьяной. Коломба хотела убить какого-то типа ударом стула… А Бизута… Бедная очаровательная Бизута позировала в это время для «Художественного фото», то с лирой, то с молитвенником, то с облезлым львом, то с гигантскими тенями рук на ее теле…»

Все-таки она почувствовала какой-то прилив нежности, вспоминая некоторые вечера из прошлого, когда в нагретом углублении диванчика-закутка в атмосфере надежной безопасности собирались все четыре сестры Эд, самая красивая — иногда полностью обнаженная, самая стыдливая в длинной венецианской шали… «Это так далеко… Это уже невозможно вернуть. Теперь Мишель уж больше не разделяет моей судьбы, а Эрмина только что пыталась застрелить мадам Уикенд…»

Она задумчиво приступила к приготовлению легкой закуски, накрыла старой маленькой розовой скатертью письменный стол и расставила на нем приборы, сменные тарелки она поставила на рояль… «Как обычно, как всегда… Ой, я ставлю одну лишнюю тарелку, нас только трое… Неужели так трудно устроиться в жизни, закрепиться где-нибудь таким четырем девушкам, как мы?.. Не злые, не глупые, не уродливые, только немно-

го упрямые… Семь часов. Где же может быть Эрмина? Никто никогда не задавал себе вопроса: «Где же может быть Коломба?» Коломба такая цельная, загнанная до предела, но неутомимая, все время курившая и кашлявшая, не была ли она всегда на том месте, где требовал ее долг?..» Знакомый кашель послышался за дверью, и Алиса поспешила открыть.

— Как я рада, моя закутошница, что ты так рано вернулась! Не слишком переутомлена? Располагайся здесь, вытяни свои большие лапы. Как Баляби? Он зайдет меня проведать? Мне нужно столько тебе рассказать! Ничего страшного, слава богу. Но ты представляешь, что наделала Эрмина?

В нескольких словах Алиса рассказала о покушении.

— …К счастью, револьвер заело, или, скорее, я полагаю, он был не заряжен… щелк-щелк-щелк… В три часа Эрмина снова встретилась с мосье Уикендом в баре…

Рассказывая, она вытирала руки, которыми только что резала салат.

— Вот новость так новость! Как тебе это нравится!

— Да… — рассеянно сказала Коломба. — Разу-

меется.

Удивленная, Алиса внимательно всмотрелась в обрамленное прядями волос, красивое, печальное от чрезмерной усталости лицо сестры.

— Ты знала об этом, Коломба?

— Что?.. Нет, я ничего об этом не знала. Что ты хочешь… Дело обыкновенное. Не в первый и не в последний раз.

— Что *с* тобой, Коломба? Тебе нездоровится?

На нее смотрели усталые светлые глаза.

— Нет… Но мне как-то не по себе. Этот Каррин, представь себе…

Алиса с раздражением бросила полотенце на рояль.

— Прекрасно! Теперь Каррин! Что с ним еще, с Каррином? Вы поссорились? У него умерла жена?

Коломба терпеливо покачала головой.

— К сожалению, речь об этом сейчас не идет. Нет. Каррину предлагают провести предстоящий музыкальный сезон в По — дирижирование оркестром, участие в фестивалях в Биаррице и постановка там оперетты, первая постановка, раньше, чем в Париже. И гонорары…

Она присвистнула, запустила свою большую руку в волосы, обнажив белый лоб.

— Кроме того, выяснилось, что спокойная атмосфера страны басков будет весьма полезной для его жены… Спокойная, — воскликнула она. — Спокойная! Я тебе покажу спокойную!

Она закашлялась, и на ее сделавшемся вдруг враждебном лице проступила на какое-то время легкая краснота.

— Сколько времени его не будет? — немного помолчав, спросила Алиса.

— Я думаю, месяцев шесть. Шесть месяцев, — вздохнула Коломба. — Я и так уже питаюсь крохами… Ой! Прости меня, девочка…

Она схватила руку Алисы, прижала ее к своему сухому рту, потом к щеке.

— Когда Эрмина тебе не причиняет боли, то это делаю я… С самого своего приезда ты только и наталкиваешься на нашу грубую бесчувственность… Впрочем…

Она посмотрела на Алису своим простосердечным взглядом:

— Впрочем, ты совсем другое дело. Никто не может ни взять, ни отобрать то, что у тебя было с Мишелем.

— Я знаю. Эрмина уже позаботилась о том, чтобы объяснить мне преимущества моего положения.

Обеими руками старшая сестра повисла на плечах Алисы, усадила ее на старый диван и крепко обняла.

— Моя Лели! Мой голубой воробышек! Мой маленький птенчик! Видишь, как мы тебя мучаем. Мой родной…

Они немного всплакнули, захваченные вновь языком своего детства, потребностью смеяться и проливать слезы. Но эта расслабленность длилась недолго. Коломба снова вернулась к своим заботам смиренной влюбленной.

— Понимаешь, мой маленький, если Каррин поедет, ему надо дать ответ уже завтра. Это очень благородно со стороны Альберта Вольфа: не только уступить свое место, но и рекомендовать Каррина себе на замену и вообще провернуть всю эту операцию…

— Ты бы тоже поехала?

Честные глаза Коломбы забегали, пытаясь солгать.

— Не представляю, как бы я смогла это сделать. Первым жестом Баляби было предложить мне нечто вроде весьма расплывчатой должности секретаря… Работа вполне почетная и сугубо техническая. Ты знаешь, с тех пор как мы стали работать вместе, я для него не бесполезна, — доба-

вила она с гордостью. — Но там вдали, представь себе этот маленький ад: больная жена, шантаж на почве стенокардии… И потом, чтобы уехать, надо иметь на что…

Пальцы Коломбы, пожелтевшие от табака, схватили, а потом отбросили старую фетровую шляпу, которую она положила рядом с собой.

— Ты забываешь, что у меня есть деньги, — сказала Алиса после непродолжительной паузы.

Она ожидала, что Коломба вздрогнет от неожиданности, может быть, даже вскрикнет. Но уже многие годы Коломба отводила лишь незначительное место искушениям в своей жизни. Она приняла предложение вопросительной и недоверчивой улыбкой, образовавшей две большие складки на ее щеках. Она погладила плечо Алисы и встала.

— Оставим это. До завтра. Баляби должен завтра дать ответ. Сейчас он в своем «рабочем коридоре». Он ходит взад и вперед. Две большие кудрявые седые пряди падают ему на лицо… Он смотрит взглядом близорукой овцы вот так и вполголоса напевает свое священное заклинание: «Я бодр, как никогда… Я бодр, как никогда…»

Она изображала походку своего любимого, его опущенные плечи, его голос.

«Она тоже видит сквозь стены, как и Эрмина, — подумала Алиса. — Как получилось, что я утратила свое второе зрение! Воспоминания, сожаления, покойник, оказывается, это все так ничтожно по сравнению с их стремлением к будущему. Это у них еще пройдет… — Она улыбнулась легкой улыбкой, которую тут же погасила и за которую она хотела себя наказать. — Честно говоря, нам всем бывает стыдно, как только мужчина уходит из нашей жизни…»

— Ты его по-прежнему сильно любишь, а, Коломба?.. — спросила она вполголоса.

Коломба посмотрела на нее глазами честного человека.

— Очень. Очень, уверяю тебя. Он беззащитен, ты ведь его знаешь, — тихо добавила она.

Она помрачнела, выудила из своего кармана смятую гармошкой сигарету.

— Я прекрасно знаю, все мы наивно полагаем, что, любя мужчину, мы отвращаем его от другой женщины, которая, конечно же, хуже нас…

— Оставь свою сигарету и иди есть. У меня под краном охлаждаются две бутылочки твоего отвратительного черного тягучего пива. Второй сумасшедшей ждать не будем.

— Все чудесно! — воскликнула Коломба. — В

сторону все дела…

Развязав шнурки, она вытрясла свои большие плоские туфли, сняла чулки и твердо встала на свои большие ноги, с удовольствием взглянув на них — белые, безукоризненной формы. Худые, как ноги распятого.

— Они сегодня опять хорошо походили. Вечером сначала я проводила Баляби, потом он меня сюда и все пешком. Их я сейчас тоже подставлю под кран. Я принесла «Пари-суар», дать?

Она пошла в ванную, откуда до Алисы донеслось посвистывание. «Она свистит… Значит, уедет». Глаза Алисы, расположившейся на диване-закутке, соскользнули с раскрытой газеты и проследовали тем же путем, что и накануне, задерживаясь на тех же памятных точках, но к чувству радости, испытанному вчера, уже примешивалось немного неудовольствия. «Я не смогу больше терпеть эти черные разводы от дыма позади печной трубы. И потом, этот письменный стол и куча бумаг на нем… Мишель и я, мы не выносили этот беспорядок, который я бы назвала снобизмом беспорядка. Завтра я возьмусь за письменный стол…» Через окно, открытое под стеклянной крышей, проникало дыхание мая. На улице громко хлопнула дверца такси, закры-

тая со всего размаха. «Держу пари… Это почерк Эрмины…»

— Это Эрмина, — подтвердила Коломба, принесшая с собой после душа бесхитростный запах лаванды.

Она завязала поясок своего банного халата, открыла входную дверь и крикнула в коридор:

— Я все знаю! Он тебе сопротивлялся, ты его убила!

В ответ раздался взрыв хриплого смеха, и Коломба бросилась босиком навстречу сестре, обменявшись с нею восклицаниями. «Ну ты даешь!» — говорила она перешептываниями и смешками. «Они обе сумасшедшие, — думала Алиса, не тронувшись с места. — А может, я утратила чувство внутреннего настроя дома и не могу понять то комическое, что несет в себе неудавшееся покушение». Сестры вошли рука об руку. «С момента моего приезда я ни разу не видела, чтобы им было так хорошо вместе и чтобы они были такими красивыми к тому же…»

Когда Коломба выходила из воды, надевала свой голубой халат и распускала темные волосы, она становилась необыкновенно красивой, и от нее как бы исходило величественное сияние, которое Алиса называла «ореолом вокруг лица

архангела». Коломба поддерживала Эрмину, та, казалось, таяла на глазах и уменьшалась в размерах, должно быть, она устала до предела. Платье и черный берет, оба с приколотыми золотыми розами, были покрыты пылью. Тело было побеждено, но лицо светилось счастьем женщины, празднующей победу. Алиса встала ей навстречу и коротко спросила:

— Ну что, Эрмина?..

— Все нормально.

— Что нормально? Он разводится?

Волнение вновь проступило на лице младшей сестры. Она упала в углубление дивана.

— Не так быстро! Подожди… Глупость, которую я совершила, кажется, оборачивается далеко не к худшему. Я наконец приобрела уверенность, детки. Горизонт очень и очень проясняется.

— Оставь эту метеорологическую галиматью и рассказывай понятно, — проворчала Алиса.

— Прежде всего я требую сочувствия, — прохныкала Эрмина. — Вместо супа у меня в желудке два коктейля и два сандвича с салатом… Человек-который-желает-мне-добра хотел напоить меня анисовой водой и накормить кофейными эклерами… Кому после этого верить?

Она рассмеялась, рассказывая, и снимала с себя

одежду, не вставая, выскальзывая из узкого платья, снимая шелковые трусики в сеточку, пояс с розовыми резинками, длинные золотистые чулки… Начав сбрасывать бретельки своей короткой комбинации, она остановилась, прижала к груди руки и жалобно посмотрела на сестер.

— Я припаду к ногам той из вас, которая сходит за моим большим халатом…

Она дрожала от нервного озноба и застенчивости. Пока Коломба ходила за халатом, Алиса прочла в тусклых, но выразительных глазах Эрмины робкое желание прижаться к ней, желание, которому она не пошла навстречу.

Стеганый халатик тонкой шерсти с рисунком накрыл дрожащие плечи, и розовый отсвет упал на щеки с утренним искусственным румянцем, который уже потерял свою нежную окраску под несколькими слоями пудры.

— Оставайтесь здесь обе, — скомандовала Алиса. — С вами столько всего произошло за сегодняшний день…

Она одна принялась за приготовление легкого ужина, заказала по телефону вина, хлеба и льда в соседней пивной. Все это она делала легко, с удовлетворением думая о том, что она избежала очередной версии романа «Дело Уикендов» и

робких причитаний Коломбы. Впрочем, ее сестры совсем не горели желанием ей помогать. Она ходила взад-вперед и ловила урывками подробности рассказов двух «так много переживших» женщин.

— С одной стороны, — рассуждала Коломба, — мой Баляби будет чувствовать себя значительно свободней в По, да и я тоже, так как работа обязательно будет нас объединять… Эго будет своего рода легализацией нашей привязанности, ты меня понимаешь?..

Эрмина энергично кивала головой в знак одобрения, равномерно повторяя: «Мм… Мм…»

«А Коломба даже не замечает, что Эрмина думает совсем о другом», — усмехнулась Алиса. Она раскупоривала вино, крошила лед, переливала в графин шипучий портер с его коричневатой пеной…

— Я не претендую на то, — воскликнула Эрмина, — чтобы мой жест считался гениальным, однако…

Алиса протирала стаканы и пожимала плечами. «Как же, как же, она как раз близка к тому, чтобы претендовать на это! Если дело пойдет хорошо, она дойдет до того, что будет утверждать, что нарочно не зарядила револьвер…» Усилием

воли она подавила желание посмеяться над новоиспеченной неудачницей, хлопнула в ладоши, и в квартире раздался радостный клич:

— К столу! К столу! К столу!
Съедим эти котлеты,
Они так не вкусны,
Когда не подогреты!

Голод заставил их на время умолкнуть. Они только обменивались понимающими улыбками, с благодарностью смотрели на Алису, радостно приветствовали сверкание вина и свежесть масла, плававшего среди кусочков льда в холодной воде. Дым сигарет, гаснувших в пальцах Коломбы лишь для того, чтобы вновь вспыхнуть в губах Эрмины или Алисы, портил вкус и запах блюд. Но уже со времен далекой юности сестры этого не замечали. Насытившись, они еще продолжали запивать маленькими глотками остатки пирожных. Выражение лица как Коломбы, так и Эрмины стало постепенно меняться. Архангел с ореолом превращался в озабоченного архангела, а Эрмина нервно соскребала яркий лак со своего мизинца.

— Кофе не будет? — спросила она Алису.

— Ты его не заказывала.

Эрмина, извиняясь, вытянула свою тонкую руку из толстого рукава розового халата.

— Но, закутошница, это и ребенку понятно! Коломба, держу пари, что ты хочешь кофе… Да? Коломба, посвисти!

Коломба, усевшись на край открытого окна, издала трель, закончившуюся тремя отдельными нотами. С улицы послышался аналогичный сигнал.

— Кафе «Банк и спорт» посылает нам три кофе, — сказала Эрмина. — Это очень удобно. Как видишь, мы окружили себя комфортом. Только я чувствую себя крайне униженной, так как я никогда не умела свистеть. Манекенщицы у Вертюшу говорили, что только холодные женщины не умеют свистеть.

Ее вдруг охватил необъяснимый приступ безумного смеха, и она прекратила смеяться лишь тогда, когда появился большой коричневый кофейник. Коломба лениво, с безразличием опытного официанта, вылила остатки вина из трех стаканов в ведерко со льдом и наполнила их теплым кофе. Эрмина, вновь погруженная в свои заботы, отвечала невпопад: «Нет, без сахара… спасибо… Да, два куска…» Кубок черного стекла наполнялся пеплом и окурками.

— Ты пьешь слишком много кофе, Эрмина.

— Оставь ее, — сказала Коломба. — Сигареты и кофе— это хлеб сестер Эд. Они так много пережили!

— Но не я, — сказала Алиса. — По крайней мере… не сегодня.

Обе ее сестры виновато взглянули на нее. «Они, видимо, забыли, что Мишель умер, — подумала она. — Не мне их упрекать за это».

— Дети мои, мы на повороте нашей жизни… Эрмина, мне бы так хотелось знать, что ты собираешься… что ты думаешь делать…

Эрмина опустила голову, поджав губы.

— Не забивай себе голову больше, чем нужно, — сказала она, не желая откровенничать. — Тебе не задавали вопросов, когда ты покинула «команду».

— Это не одно и то же, Мина. Я вышла замуж за Мишеля, вот и все.

— Ну, допустим, я выйду за Леона… И это все.

— Боже мой, малышка, не очень-то у тебя дружелюбный тон…

Телефонный звонок прервал и так поразил Эрмину, что она не сразу бросилась к телефону в свою комнату. Она замерла, устремив взгляд на дверь своей комнаты, и даже не поправила

расстегнувшийся на груди халат. Затем вскочила, зацепилась полой широкого халата за угол стола и, вместо того чтобы остановиться и отцепить, с раздражением сбросила его и помчалась почти голая к аппарату… Алиса неодобрительно покачала головой, глядя на Коломбу.

— Пещерная женщина, — сказала она. — Кто бы мог такое подумать?

Они замолчали, курили, допивая остатки кофе. Из комнаты Эрмины доносились обрывки разговора, короткие слова, произносимые очень громко, и еле слышные фразы. В какой-то момент молчание так затянулось, что Алиса забеспокоилась. Но монолог продолжался более тихо, то ли из предосторожности, то ли от успокоенности.

— О чем они могут говорить друг с другом? — спросила Алиса.

Коломба думала о другом и не услышала ее. Она подпирала рукой щеку, наполовину закрытую темными волосами, и глядела в окно светлыми, нежными, покорными женскими глазами. «Она тоже мысленно говорит *с* ним…» Впервые после приезда Алисе пришлось сделать над собой усилие, чтобы побороть комок, подступивший к горлу, проглотить солоноватую слюну, которая предшествует рыданиям. Из комнаты Эрмины

раздался крик, такой же победоносный, как последний крик роженицы, и минутой позже Эрмина вернулась. Она подобрала дрожащей рукой свой стеганый халат, прижав его к себе. *Ее* босая ледяная нога задела руку Алисы, когда она перешагивала через спинку дивана.

— От такого крика и молоку недолго свернуться, — проворчала отвлеченная от своих мечтаний Коломба.

— Что случилось, Эрмина?

Эрмина обратила к сестрам свое бледное лицо, бледное от пудры и по контрасту с помадой; ее глаза наполнились крупными, блестящими слезами.

— Он… он сказал… — заикаясь, промолвила она… — Он сказал, что… он разводится, что мы поженимся… и уедем далеко-далеко… вдвоем…

Сияющие крупные слезы брызнули из глаз. К плечу Алисы припало обнаженное плечо, волна светлых волос, пахнуло горячечным дыханием, которое появляется у женщин в минуты сильного волнения, она ощутила тяжесть тела, оно, обессилев, давило на нее всем своим весом. Алиса напряглась, чтобы крепче поддержать ослабевшую сестру, слегка побаюкала ее и дала ей выплакаться.

— Ты, по крайней мере, уверена… — рискнула она спросить чуть попозже.

— Уверена?

Покрасневший нос показался из золотистых волос; подурневшая, счастливая, вся блестящая от слез, Эрмина сказала с возмущением:

— Уверена! Да как ты можешь… Человек, который перевернет всю свою жизнь, который уговорил свою жену подать на развод, такой человек…

«Обычная история, — думала Алиса. — Она уже гордится злом, которое причинила, и горем, которое причиняет…»

— Представь себе, Коломба, — воскликнула Эрмина, меняя тон. — О том, что она требует развода, он мне сказал только в самом конце разговора! О, я не знаю, что я ему сделаю! — проворчала она со смехом, полным раздраженного восхищения. — Ты представляешь, Коломба?

«Она обращается только к Коломбе, — думала Алиса. — Я не в счет…»

— Он вредный, — признала Коломба. — А что он подразумевает под словом «уехать далеко»?

— Не знаю… — сказала Эрмина, занятая тем, что пудрила свое осунувшееся лицо, подправляя влажными пальцами брови и ресницы. Она заду-

малась, держа в руках пуховку и зеркало.

— Может быть, на Мадеру…

Ее распустившиеся волосы падали на обнаженное плечо. Она мысленно пыталась представить себе будущее, которое только что спас случай, и Мадеру, — остров и золотистое вино по имени острова, в чье название входит слово «золото».

— Мадера? — повторила Коломба. — Почему Мадера? Что за странная идея!..

Эрмина глянула на сестру с лукавством ребенка:

— Послушай, а ведь это не хуже, чем По!

Она громко рассмеялась. Коломба вторила ей, но октавой ниже.

«Они играют сейчас, — думала Алиса. — Они теперь единомышленницы. Надолго ли?» Смех прекратился, Эрмина обратилась к Алисе со слишком уж подчеркнутой любезностью:

— Тебе сегодня совсем нет покоя от нас…

«Я им мешаю… Я стала лишней… Они не будут больше откровенничать между собой в моем присутствии».

Услышав три удара в дверь, Эрмина вздрогнула, но Коломба потупила глаза и встала без всякого удивления.

— Это Каррин. Он мне сказал, что зайдет, если

у него появится что-то новое. Лишь бы…

Она завязала пояс банного халата, закрепила за правым ухом прядь волос и открыла дверь. Высокий, с козлиным профилем, худой и утонувший в своем почти белом плаще, Каррин подошел сначала к Алисе.

— Алиса, мой добрый друг…

Он крепко обнял ее, затем отстранил от себя, чтобы получше рассмотреть.

— Очень рад видеть вас такой красивой… Красота— это лучший признак…

«Эге! Этот неуклюжий Баляби всегда знает, что надо сказать…» Алиса улыбнулась лицу сатира с вьющимися светлыми волосами с проседью и с красивыми карими глазами, немного выпуклыми, всегда полными мольбы.

Эрмина бросила «привет Баляби», как маленькому мальчику. Коломба ничего ему не сказала, но помогла освободиться от плаща, который она бережно сложила, затем села и прикрыла ноги полой халата до самых безукоризненно подстриженных ногтей.

— Эрмина, запахни халат, — прошептала Алиса на ухо сестре.

Эрмина послушалась, но с явной насмешкой во взгляде: «Из-за него? Стоит ли?»

Видя нерешительность Каррина, Алиса догадалась, что он ищет слова утешения по поводу смерти Мишеля, и ей захотелось избавить его от этого бремени.

— Мне кажется, у тебя много новостей, Баляби? Коломба мне сказала… Итак, По, дирижирование, Биарриц и так далее.

— Да… Я как раз пришел… Я вас отвлекаю…

— Нет, старина. Это очень интересное предложение, не так ли?

— Да… В том-то и дело… Не то чтобы я опасался быть не на уровне с профессиональной точки зрения…

Он не сводил глаз с Коломбы, и полное отсутствие у него тщеславия трогало и чем-то раздражало Алису. «У него почти нет подбородка. Да, подбородка явно недостает; ему бы немного пошире нижнюю часть лица да и плечи тоже, и Каррин был бы красивым мужчиной, в нем даже появилось бы какое-то величие…»

При детальном рассмотрении лица этого хорошо знакомого друга к ней снова вернулась ее склонность все подвергать критике, все предвидеть и эта независимость, пропавшая после смерти Мишеля и тяжб с органами закона, последовавшими после нее. Присутствие Каррина,

целомудренное поведение Коломбы, ее девичья мягкость вернули Алису к нормальным человеческим интересам. Она сравнила покатые плечи Каррина, походившие на бутылку из-под рейнского вина, на которых болтался пиджак, с широкими плечами Мишеля, его мощной спиной, как у всех в роду Ляскуметтов. Ей мимолетно вспомнился бывший компаньон Мишеля, Амброджио, который терял дар речи от восхищения при виде очень темной челки, так контрастирующей с парой серо-зеленых глаз…

Живительный поток самоутверждения и кокетства охватил Алису… «Как, из-за Каррина? Ну да из-за Каррина и из-за этих двух поглупевших дев…»

Поджав под себя ноги в углу закутка, Эрмина смотрела на Баляби с пренебрежительным вниманием. «Она считает, что ее лучше. Это еще как посмотреть… Мой тоже был лучше. А Коломба считает, что Баляби— жемчужина Голконды… Кстати, о чем там болтает этот Каррин…»

— …Директор казино вернулся, когда мы садились… когда я садился за стол, так как моя жена не ест… Я хочу сказать, что у нее очень строгая диета, которая пока не дала никакого улучшения…

Архангел в купальном халате сверкнул на него

жестким взглядом, потом снова смягчился, опустив глаза.

— …Он меня попросил, в качестве личной услуги, дать ему ответ незамедлительно, поскольку мы уже договорились, не так ли, Коломба, об условиях, я, следовательно, должен был прийти, прошу извинить за это, спросить у Коломбы…

Он говорил таким приятным голосом, что не было желания его прерывать, и Алиса дружелюбно слушала его. Коломба наклонила к нему свое музыкальное ухо; даже с лица Эрмины сошла скупая улыбка, и покачиванием головы она одобряла если не слова, то, по крайней мере, звук его голоса.

«Сегодня вечером решится не только судьба этих двух влюбленных, но и моя собственная. И наступит одиночество, так как они уедут, и та и другая. Они уже уезжают… Мы никогда не умели противостоять мужчине. Только в смерти мы не следуем за ними…»

— …Итак, я хотел бы знать, Алиса, ваше мнение по этому поводу.

Она улыбнулась ему и не стала просить его повторить то, что она пропустила мимо ушей.

— Мне кажется, что все это очень хорошо, старина. Хорошо для вас и хорошо для Коломбы.

— Да? Правда?

— Правда. Коломба, ты помнишь, что я тебе говорила?

Она заметила, что ее старшая сестра еще не проронила ни слова. Это молчание… Как она предана и готова на все ради этого некрасивого, второразрядного мужчины, этого застенчивого мученика, ну словом, этого просто порядочного человека…

Каррин стоя сжимал руку Коломбы, но не проявлял каких-либо других признаков волнения. Она поправила ему галстук, одернула на спине плохо сшитый пиджак и сказала только:

— Если у тебя не будет завтра времени, я зайду к Эноку вместо тебя.

— Ладно, — сказал Каррин. — Но это не срочно… Впрочем, нет, это действительно срочно.

— Хорошо, — сказала Коломба. — Не раньше шести часов, у меня три урока.

— О! Твои уроки теперь…

Они обменялись веселым взглядом невинных шутников. Эрмина бросила Каррину небрежно: «Всего доброго, Баляби!» И три сестры Эд остались одни.

— Ааа! — вскрикнула Эрмина.

— Что? — спросила Коломба, резко повернув-

шись к ней.

— Ничего. Мне жарко.

Она сбросила халат, потянулась похудевшим белым телом брюнетки со светлыми волосами. Коломба налила себе стакан воды, быстро его выпила, с остервенением обхватила двумя руками голову.

«Их нетерпение… — думала Алиса. — Они сгорают от нетерпения… Их как будто обеих обожгло. Бедные девы тридцати пяти и двадцати девяти лет, созданные, чтобы перенести все — и счастье и несчастье. Они думают, что вся их жизнь решается сегодня…»

— О! — воскликнула Эрмина. — О! Горячую ванну! В воду!

— Иди принимай ванну, — согласилась Коломба. — Ты ее заслужила.

Коломба принялась медленными и уверенными движениями собирать стаканы и тарелки на поднос, затем унесла их на кухню. Алиса последовала ее примеру, стряхнула ладонью крошки хлеба, накрыла синей бумагой шарнирную лампу рояля, накрыла простынями английский диван. Они работали ловко, не сталкиваясь, обмениваясь словами, которые приходили им на ум из далекой юности.

— Брось свое платье в шкаф, ты почистишь его завтра утром.

— На, лови плед, сложи его вдвое на диване.

Вернулась Эрмина до ужаса бледная, готовая упасть от усталости. Но она все-таки заставила себя намазать жирным кремом лицо и уложить волосы локонами под крупной сеткой. Она прошептала слабым голосом: «Доброй ночи, дамы-господа», скорчила рожицу и, послав воздушный поцелуй, исчезла. Ложась на диван, где уже дремала Коломба, Алиса заколебалась.

— Я тебе не помешаю? Тебе следует все хорошенько обдумать…

Коломба, вытянувшись с раскинутыми руками, спокойно улыбнулась ей:

— Зачем же, милая, раз все уже решено. Слава богу, в этот час я уже ни о чем не думаю.

— Ты хочешь сказать, что больше не думаешь о себе? Ты ведь бросаешься в омут, мудрая Коломба, идя след в след за мужчиной.

Тревога и сомнение отразились в красивых широко расставленных глазах архангела.

— Ты знаешь… мне кажется, наоборот, что я совершаю свой первый эгоистический поступок. Подумай-ка, мне никогда раньше не приходилось выбирать то, что мне больше по душе. Вот

так уехать, работать рядом с Каррином, вот что я предпочла бы, если бы у меня был выбор. Я тебе очень благодарна за… Я надеюсь, что смогу отдать тебе долг.

— Как это великодушно, — сказала с горечью Алиса. — И особенно так любезно. Параграф седьмой кодекса закутка…

— …«Все принадлежащее тебе принадлежит мне, и все, что принадлежит мне, принадлежит и тебе», — продолжала Коломба. — Текст, впрочем, следует пересмотреть. Можешь ли ты себе представить, что Бизута дарит мне своего Буттеми?

— А я забираю себе Баляби? Да, текст надо пересмотреть. Тебе будет трудно, Коломба…

Она протянула руку и с удовольствием коснулась волос Коломбы, которые, будучи гладкими и влажными, по мнению Алисы, становились мягкими, как бок лошади.

— …Это сложнее, чем просто сожительство. А в самом деле, почему ты не стала любовницей Баляби?

— Не знаю, — ответила Коломба. — Я боялась, что это все усложнит.

— И тебе не хочется стать ею?

Коломба тряхнула головой, и волосы упали ей на лицо.

— Иногда мне кажется, что хочу, иногда, что нет.

— Он тебя когда-нибудь просил стать ею?

— Да, — ответила Коломба смущенно. — Только в последнее время, как тебе известно, он уже меньше думает об этом, к тому же у нас нет крова для подобного рода встреч, нет холостяцкой квартиры.

— А эта, — сказала Алиса, хлопая ладонью по старому дивану.

Возмущенная Коломба резко привстала.

— В закутке! — воскликнула она. — Заниматься этим в закутке! Да я лучше на всю жизнь постригусь в монахини! Паш закуток столь чист, — сказала она неожиданно с благоговением.

Она не закончила, покраснела и засмеялась, чтобы скрыть свое смущение.

— Алиса, если мы, Баляби и я, останемся вместе… Получился бы у нас прочный союз?

Она смеялась, но ее глаза были полны растерянности и мучительного неведения.

— Да, очень прочный, — глубокомысленно заявила Алиса. — Союз высшего класса, какой ты можешь только себе представить.

— Я тебе верю, — поспешно сказала Коломба, — но если наоборот, когда мы будем там, Каррин…

— ...превратится в сатира? И это тоже будет очень хорошо.

— А...

Коломба раздумывала, покручивая перед носом самой длинной прядью волос, спадавшей с ее лба.

— Но как ты можешь объяснить, что две таких противоположных возможности могут привести к одинаково счастливому результату?

— Чушь, — сказала Алиса. — От таких проблем можно полысеть. Подвинься немного, и давай спать. Ну и денек!

Коломба снова закашляла, раздавила последнюю сигарету и придвинулась к спинке дивана. Алиса погасила лампу, легла, согнув немного колени. Две длинные ноги в мужской пижаме пристроились к ее ногам, и почти тотчас же она услышала ровное дыхание уснувшей сестры.

В приоткрытое окно проникали с улицы резкие непонятные звуки и тусклый свет. Квадрат этого света отражался на застекленной части потолка. Мягкие и прохладные волосы сползли со лба Коломбы на затылок Алисы, которая от этого прикосновения была готова заплакать слезами благодарности. «А когда она уедет? А когда они обе уедут?..»

Присутствие сестры не напоминало ей о супружеской жизни. Будучи замужем за Мишелем, она, кроме часов любви, спала раздельно с ним. Иногда засыпая случайно около Мишеля, она забывала, где находится, и обращалась к кому-то из сестер: «Подвинься, Коломба… Бизута, который час?..» Но в родном закутке, когда большая женская рука ложилась на ее тело, Алиса никогда не произносила: «Оставь меня, Мишель».

Смутная картина, навеянная страхом потерять все то, что связывало четырех сестер, оказавшихся без матери, не давала ей уснуть. «Вернуться сюда… Остаться здесь. Почистить и привести в порядок их старое любимое жилье. Для меня одной? Нет, для них также. Возможно, они вернутся. Возможно, мне не придется ждать их долго. А может быть, я буду ждать здесь кого-нибудь другого». Она с негодованием отвергла это последнее предположение, любую мысль о присутствии незнакомого мужчины. Лежа на согнутой руке, она поддерживала ладонью свою голую грудь, которая и в тридцать лет сохранила девичью форму. Она с недоверием изгнала из своих мыслей стыдливость, свойственную вдовам. Внезапный ливень, принесший с собой запах пруда, успокоил ее, и она заснула, думая, что не сможет уснуть.

Еще не рассвело, когда она была разбужена прикосновением хрупкого тела, которое с тихим стоном двигалось по большому дивану, извиваясь, как змея.

— Ну вот и ты, — проворчала Коломба, — отодвинься хотя бы на другой конец, не разбуди Алису и не царапайся так своими ногтями.

Алиса сделала вид, что не заметила присутствия самой младшей сестры, не почувствовала ее свернутого в клубок тела, которое пыталось, может быть, в последний раз найти себе защиту в сплетении рук и ног их дикой и девственной привычки общего сна. Она повернулась как бы во сне, положила руку на маленькую круглую головку и вдохнула знакомый запах светлых волос. Однако на языке у нее вертелось лишь имя четвертой сестры, далекой и затерявшейся на другом конце земли. Сквозь сон в темноте она на ощупь коснулась приподнятого колена и теплого плеча.

— Бизута, это ты? Это ты здесь, Бизута?

— Да, — послышался голос Эрмины.

Она приняла эту нежную ложь и снова заснула.



INFO

Колетт
К 6 °Странница; Ранние всходы; Рождение дня; Закуток: Романы. Пер. с фр./Ред. кол. Т. Балашов, Д. Затонский, С. Никольский и др.; Предисл. В. Балашова:, Худож. И. Шипулин. — М.: Худож. лит., 1987.—431 с., ил. («Зарубежный роман XX века»)

К 4703000000-296/028(01)-87*164-87
ББК 84.4Фр

КОЛЕТТ

СТРАННИЦА
РАННИЕ
ВСХОДЫ
РОЖДЕНИЕ ДНЯ
ЗАКУТОК

Редакторы Е. ОСЕНЕВА, Р. РОДИНА
Художественный
редактор Л. КАЛИТОВСКАЯ
Технические редакторы Е. ПОЛОНСКАЯ и Л. ПЛАТОНОВА
Корректоры

Т. КАЛИНИНА, И. ФИЛАТОВА

ИБ № 4566

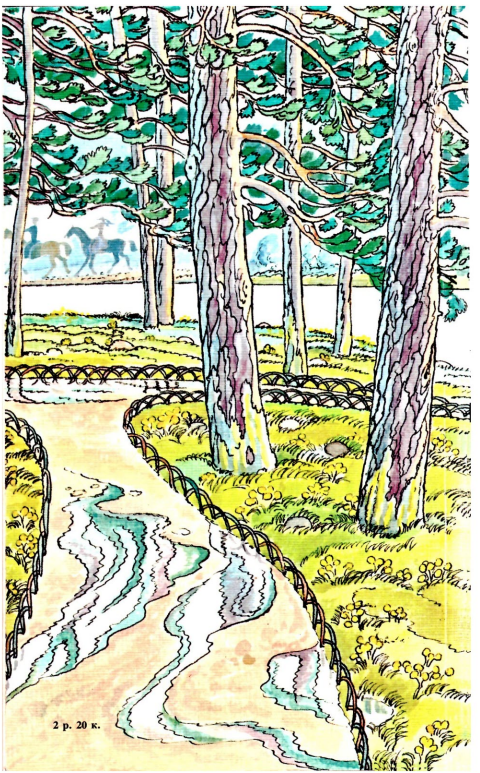
Сдано в набор 10.12.86. Подписано к печати 19.06.87. Формат 84x108 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр-отт. 23, 10. Уч-изд. л. 26,03. Тираж 75 000 экз. Изд. № 2419. Заказ № 3441. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.

.....

FB2 — mefysto, 2023


2 р. 20 к.